

ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ

СОЛДАТСКИЕ ПЕСНИ

Дорога к дому

передовых дорогами степью
к городу визганию подошли.
туманной дымке, в сказочном покое
ред нам и явился вдруг вдали.
еж двух холмов округлых и покатых
ежал от тихо, как дитя во сне.
цветущих яблонях и ароматах
есь обращенный к жизни и к весне.
ома в садах издалека белели
всегда таким живым теплом,
то бодрость разлилась в усталом теле,
и будто мы пришли в родимый дом.
огра дальняя к родному дому,
когда же ты окончилась для нас?
Но лунному сиянию голубому
Вошли мы в город в полуночный час.

Все, что манило издали красью,
Белело, серебрилось и звело,
Все, что блестело, искрилось росою,
Сверкало ослепительно светло.—
Ужасной явью встадо перед нами,
Когда за тучей месяц вдруг лягас...
Развалинами, тягостными спами
Нустьяния улиц обступила нас.
Холодный чепел и цвет яблонь белых,
Как странный снег неведомых миров,
Кружился срель развалин обгорелых
И у порогов падал в темный ров.

Дорога дальняя к родному дому.
Тебя какие вьюги замели?
Но лунному сиянию голубому
Чрез город вымерший мы дальшешли.

Вот улица, где детворой веселой
Играли мы... Разрушены дома...
Ни кровель, ни дверей... Нет большие
школы...
Новсюду разрушенье, ужас, тьма...
У этого окна в кустах сирени
Другую майскую мы помним ють,
Но нас теперь встречают только тени.
И мы тоски не в силах тревозомочь.

Вот этим бережком мышли с работы...
Труба упала, запрудив ручей...
И к торгу комом подступает что-то,
И нам не подавить тоски своей,—

Мы знаем: на пути к родному дому
Лежат лишь кучи глины и золы...
Но лунному сиянию голубому
Но мертвым улицам мышли срь
ммы.

Пусть гаснет месяц в небе молчаливом,
Пускай во тьме лежит моя земля,
Пусть ранняя весна бурлит разливом.

Души солдатской не развеселя.
Как пахнут тяжело цветы и травы!
Не си, солдат, и отдыха не знай.
Отравлен воздух чумною огровой,
Покуда тонет враг родной твой край,
Не си, солдат... Ты видишь...
не тебе ли

Зарыцей замигал почной зенит.
И мир лежит, как будто в колыбели,
Где наше будущее счастье спит.
Оно проснется от удара грома,
И молния прорежет облака...
Порога дальняя к родному дому
Уже не так, как прежде, далека!

Перевод с украинского
МИХАИЛА ЗВЕНИГЕРУЧ

Трубка

Закурим трубку, чорт возьми!
Летят бомбы опять.
Зенитка бьет. Ну, что ж, греми —
Нам все равно не сидать...

Два года, день и ночь подряд, —
Что умер, тот не в счет, —
Кривую трубочку солдат
Задумчиво грызет.

От лютого огня в бою
Ее он прикурил,
Любовь и молодость свою
Сменил на дымный пыл.

Винишевый теплый корешок,
Заветный кремешок,
А жар такой, как в трубке той,
Не каждый уберег...

Закурим трубку: дым изымет,
Душистое кольцо.
Опять в тумане оживет
Любимое лицо.

Лавайте вспомним о любви,
Как будто в первый раз,
О тех, кто письма пишет свои,
О тех, кто не знает нас.

О том, что вспомнить мы могли,
С собой настин...
О смехе, что заснит вдруг
Теперь — увы! — не мир.

Набейте же трубку и тогда
Тяни, солдат, до дна!
Изывает дымок и нет следа.
Не жаль... на то война...

Не жаль... Кто это говорит?
А сам забыть не мог!
Не жаль (как трубка говорит —
Рассеется дымок).

Что ж, если так, пусть будет так...
На то, солдат, война...
Закурим трубку. Что за знах,
Что гаснет вновь она?

Боль жар ногас — забыли нас.
Не думают давно:
Как ило оно, как жило оно,
Бродило, как вино...

Ну, что же! Иадо закурить,
Чтоб дым синел и гас,
Хоть та, которой не забыть,
Не думает о нас.

Ведь остаются от огней
Лишь песни да тоска,
Да пепел в трубочке моей,
Да запах табака...

Закурим трубку, чорт возьми!
Летят бомбы опять.
Зенитка бьет. Ну что ж, гремя —
Нам все равно не сидать...

Перевод с украинского
ИЛЬЯ ФРЕНЧЕЛЬ

Третья весна

Тишина... По умолкшим полям и лононам переправам
Ходит шагом неслышим в холодном раздумье весна.
Звезды сият, привалившись к седым, подмероженным травам,
Не шелохнет камыши, не дохнет ветерком тишина.
Дремлют пушки во рвах, притавились в кустарнике танки,
Пулемет в амбразуре заснул и не дышит во сне.
Сняты огни, блиндажи, захолустные сняты полустанки.
Артиллерийской склоненный лес и поля — в тишине.
Самолеты умолкнут в таинственной мгле расстояния,
И ракеты сверкнут, и не веришь — была ли она...
Сняты вода и земля. Тихо, словно в камуне морозданья,
Только в черном оконе солдатской душе не до сна.

Тишина. Напылают из тьмы на солдатские очи
Все развилии дорог, верстовые косые столбы.
Все, кто сгинул бесследно, все те, кто в июньские ночи
Шел бок о бок, все люди живой или мертвай судьбы.
Он идет через память, как огненный брод переходит...
Ветер шулями свищет. Свинцовый гудит листопад.
И, ломясь сквозь буран, он счастливую долю находит,
По старинным дорогам весной возвращаться назад.
Наше горькое счастье — на выжженных дощетах нивах.
Пусть горячою кровью они окропятся сполна.
Сняты бугор и овраг. Дремлют искры в холодных огнивах.
Только в черном оконе солдатской душе не до сна.

Тишина... Месяц вышел в дозор, пробираясь от тучи до тучи
Как объятья, на тысячу верст все открыто вокруг.
Сад бы время садить. Землю резать железом могучим —
Рукоятки плугов ждут солдатских задымленных рук.
Одноковая молит земля, чтобы сеятель шел бороздою,
Содрогается жадное лоно ее и во сне.
Всем дыханием земным, всей святою печалью землю
Отвечает простор истомленной и ждущей весне.
Меркнет в небе звезда... Я хочу, чтобы все возвратилось
Перед тем, что сберег, будет сердце стоять, как стена.
Сняты леса и пруды. Мать лицом к колыбели склонилась.
Только в черном оконе солдатской душе не до сна.

Тишина... Пушки в темноте подошли к батарее.
В танк садятся тяжелы, Мотор еще спит. Тишина...
За холмами лехота лежит... Начинать бы скорее!
Затаивши дыханье, вдоль фронта проходит весна...
Две ракеты уже в рассвевающем небе сгорают
И выводят грозу за собой в пробужденную даль.

Быть хоть раз царицей, тем приомнится, как начинают,
Как от сна пробуждаются порох, солдаты и сталь.
Жарко весныхнул восток. Тень ночная бежит перед нами.
А открылась глазам беспредельная голубизна,
Над простором весны, над лесами, лугами, полями
Солнце смотрит в окно, где солдатской душе не до сна.

*Перевел с украинского
ИЛЬЯ ФРЕНКЕЛЬ*

Сапер и смерть

Сапер — он держит смерть в руках,
он с нею в спор вступает:
как видно, в других делах
он выше забывает.

Он ходит по полю один,
где в шахматном порядке
расставлено две сотни мин
сомнительной новадки.

С ним смерть заводит разговор
такого направления:
— Сыграем в шахматы, сапер,
но бойся пораженья!

— Давай! — сапер немолодой
ей говорит, — я знаю:
на смерть играть обычай твой,
а я на жизнь играю!

Хоть смерть грозит со всех сторон,
но и сапер в ударе:
себя по клеткам движет он,
вокруг руками шагая.

И смерть готова плутовством
ренинть судьбу солдата.

Сменяется орудий гром
стрельбой из автомата.

Сапер ползет, ползёт солдат,
игрой захвачен ярой,
на все, чем только он богат,
играя с ведьмой старой.

И ставит он на этот свет —
на всю семью играя.
На всю весну, которой нет
конца, границы, края,

На эти итичины голоса
над этими ярами,
на тех, кто через полчаса
пойдет его путями.

Он честно выиграл... Ну что ж,
попробуем вторую?
Лишь зная цель, вперед идешь,
самим собой рискуя.

Сапер — он держит смерть в руке,
пути он расчищает...
И вот по шахматной доске
пехота наступает.

*Перевел с украинского
НИК. УПАКОВ*

Солдатские письма

Любишь или разлюбила,
не пиши мне, строк не трать.—
сколько б почта ни спешила,
быстрой почту не позвать!

Цензор медленно читает,
долго ставит штемпеля,
долго твой конверт блуждает
там, где вся в крови земля.

Грузовик во мгле осенней
долго рыхкать принужден,
в юношах соединений
долго бродит почтальон.

Но проходит срок, и милый
иль немилый развернет
твой листок небыстро крылый
и его с трудом прочтет.

Стерся адрес, как нарочно,
чтоб не знать — куда писать,
фраз твоих и так неточных,
чочерка не разобрать.

Буря снежная стонала,
стоном разрывая тиши.
В зимний день ты мне писала,
что ты любишь и грустишь.

А теперь шинь воздушный,
светлосиний, голубой.
Блещет небо равнодушно
всей прозрачной синевой.

А теперь в разгаре лето,
и, покамест почта шла,

ты, не получив ответа,
дважды разлюбить могла.

Почта шутит... ну и ладно!
Вся земля, весь шар земной
так беседуют нескладно,
А не только мы с тобой.

Хоть солдат не доверяет
почте медленной весьма,
жизнь свою он измеряет
От письма и до письма.

Он письмом любимым дышит.
Дринь одна зашим вица:
сам он слишком редко пишет,
Что поделашь — война!

Если он пишет все же,—
Всю печаль отдаст письму,
и вину вторую тоже
надо отпустить ему.

Ведь — достойный извиненья —
повторяет, как сквозь сон,
даже в смертное мгновенье
дорогое имя он.

Та секунда адресату
скажет явственней еще —
как хотелось жить солдату,
как любил он горячо.

Письма же — счастливый случай,—
им ли новое сказать!
Он писал живым, и лучше
меж живых его считать!

Перевел с украинского
НИК. УЛАКОВ

К. СИМОНОВ

ДНИ и НОЧИ

Глава X¹

Дома, в батальоне, Сабурова ждал гость. За столом, против комиссара, сидел незнакомый человек, средних лет, в очках, с двумя шпагами на петлицах. Когда Сабуров вошел, оба — и незнакомец и комиссар — поднялись.

— Вот, позволь представить тебе. Алексей Иванович, — товарищ Авдеев, из Москвы, корреспондент центральной прессы.

Сабуров поздоровался.

— Из Москвы, — сказал он с интересом. — Давно?

— Вчера утром был еще в Москве на центральном аэродроме, — сказал Авдеев.

— По-моему, я ваши статьи иногда читал в «Известиях», да?

— Да, главным образом, там.

— Вчера еще в Москве, а сегодня здесь, — с некоторой завистью сказал Сабуров. — Ну, как там Москва без нас?

Авдеев улыбнулся. Сколько бы он ни встречал людей, пожалуй, ни один не мог удержаться от этого вопроса.

— Ничего, стоит, — сказал он. — Как была, так и стоит, — ответил он той же стереотипной фразой, какой отвечал всегда на этот вопрос. — А вы что — москвичи?

— Нет, я там учился. Вы уже давно у нас?

— Как только ты ушел, — сказал Ванин, — так он и явился. Мы уж тут немножко поговорили...

— Кто же вас к нам направил?

— Командир вашей дивизии. Впрочем, мне еще во фронте посоветовали заехать именно к вам.

— Ну? — сказал Сабуров.

— Да, к вам, в батальон Сабурова.

— Ишь как, уже официальное наименование мы получили, — сказал Сабуров, стараясь под грубоватой шутливостью скрыть удовлетворение, которое он почувствовал, услышав, что во фронте, на том берегу Авдееву сказали, чтобы он приехал сюда, именно к нему.

— Что ж вам там сказали, когда отправляли к нам? — спросил он прямодушно, — интересно все-таки.

— Сказали, что вы решительной атакой отбили три дома и площадь и с тех пор за пестцацать суток ничего не отдали немцам.

— Это верно, не отдали, — сказал Сабуров, — хотя, впрочем, последнюю неделю они и не особенно собирались брать. Вот если бы вы попали к нам дней семь-восемь тому назад, вам бы, пожалуй, было интересно. А сейчас тихо.

¹ Начало см. «Знамя» № 9—10 за 1943 г.

Авдеев улыбнулся. Сколько раз в своей жизни фронтового корреспондента он слышал эти слова: «Вы бы приехали к нам пораньше...» Людям всегда казалось, будто все, что у них происходит сейчас — не самое интересное, что заслуживающее внимания у них или уже было или еще только будет.

— Ничего, — сказал он, — я посижу у вас, соберу материал. Это даже хорошо, что тихо, можно будет с людьми поговорить.

— Да, — согласился Сабуров. — тогда бы не поговорили...

Они посмотрели друг на друга.

— Ну, что про Сталинград пишут, что говорят вообще? — спросил Сабуров с жадностью человека, давно не видавшего газет.

— Много пишут, — сказал Авдеев, — а еще больше говорят, а еще больше думают... Я недавно был на Северо-Западном фронте, там многие командиры просто изводятся: вот сидим тут, в то время как в Сталинграде... И в большинстве случаев, знаете, не сомневаются, что здесь ад, и все-таки искренно хотят сюда ехать.

— Вы к нам надолго? — спросил Сабуров.

— Да нет, на денек, на два, потом еще на южный участок...

— Правильно... — сказал Сабуров, — там сейчас торячее.

— С кем вы посоветуете поговорить у вас?

— Ну, с кем же? Вот с Конюковым можно поговорить. Есть у нас такой старый солдат. Потом тут один недавно в разведку удачно ходил — Васильев... Ну, да по ротам можно сходить, Гордиенко — командир первой роты или хотя бы Масленников — мой начальник штаба, молодой, но очень хороший командир. — вам командиры тоже нужны?

— Конечно.

— Тогда с Масленниковым поговорите...

— Я с вами хочу поговорить, — сказал Авдеев.

— Со мной? Можно ли со мной поговорить, — ответил Сабуров, — только со мной потом, с батальоном познакомьтесь спачала. Ведь командира батальона узнать можно только, узнав, какой батальон у него. А что он сам про себя расскажет — это дело второе. Верно, комиссар? — улыбнувшись, обратился он к Ванину.

— Верно, — сказал Ванин. — А то что сам командир батальона забудет о себе рассказать, то я напомню, — кивнул он Авдееву.

— Сколько времени? — поглядел на часы Сабуров. — Четыре часа! Долго я провозился... Надо спать. Как вы?

— Да, я тоже не прочь, — согласился Авдеев.

— Мы вам, если вы останетесь, завтра сюда койку притягим, а сегодня уж вы с начальником штаба или с комиссаром, они у меня телосложения не завидного, так что поместитесь. Положил бы с собой, но боюсь, что прогадаете.

— Да, боюсь, что так, — согласился Авдеев, поглядев на могучую фигуру Сабурова.

Сабуров уже совсем собрался укладываться спать и стоял посреди комнаты, размышляя над тем, где бы достать еще одно одеяло для гостя. Вдруг его взгляд упал на стоявшую на столе фляжку, и ему, что редко с ним бывало, вдруг захотелось выпить, вот именно выпить и потом посидеть, задавая этому человеку из Москвы всякие вопросы, которые сразу не пришли в голову.

— А вам очень хочется спать? — сказал он.

— Да нет, не очень.
— Тогда, может быть, все-таки... Ты кормил его, комиссар?
— Да, немножко кормил...
— Ну, если немножко, так это не называется кормил, значит, не кормил.
Давай же поужинаем, если спать не очень хочется...

Петя собирал на стол, Сабуров один за другим задавал Авдееву краткие неожиданные вопросы.

— Как, баррикады стоят еще в Москве?
— Нет, разобрали.
— А укрепления есть? Прибавили к тому, что было?
— Но-моему, прибавили, — сказал Авдеев.
— А люди там на всякий случай сидят?
— Но-моему, сидят.
— Вот это хорошо. Тогда это, значит, действительно укрепления... Все время сидят?
— Но-моему, все время.
— Хорошо. А в опере вы бывали?
— Бывал.
— На чем?
— На «Евгении Онегине».
— Интересно, — сказал Сабуров. — Не то, чтобы я хотел обязательно туда попасть, мне интересна не сама опера, а то, что она идет, то, что, как раньше, люди в зале сидят, вот что мне интересно, одним глазом бы глянуть только... Я, знаете, вообще-то не люблю оперу.
— Я тоже, — сказал Авдеев.
— Певицы обычно все такие чопорные, а играют все девушки, не вяжется никак. Может сейчас, в связи с войной, они похудели, а?
— Нет, не похудели, — улыбнулся Авдеев.
— Ну, это ничего, — сказал Сабуров, — если глаза закрыть, слушать все равно хорошо. Все-таки я бы туда хотел попасть. А милиционеры как, например в белых перчатках, а?
— Вот не заметил. Чего не заметил, того не заметил...

— Да это не важно, — сказал Сабуров, — хотя, впрочем, может быть, и важно. Машин, наверное, стало меньше в Москве?

— Меньше, а пароду опять больше, не то что в декабре. Вы были в декабре?

— Был. Хорошо было в декабре... Я один раз заехал на день. Москва была какая-то пустая, спокойная.

Петя принес сковородку с жареными консервами.

— Вот американские консервы, — сказал Сабуров, — прошу. Мы тут между собой, шутя, их вторым фронтом называем. Вы пьете? — сказал он с некоторым колебанием, ставя перед Авдеевым фужерник.

— Конечно, — сказал Авдеев.

Он уже привык к тому, что ему постоянно задавали этот вопрос, даже на фронте, когда обычно человека не спрашивают, пьет он или не пьет.

То ли это внешность научного работника средних лет, то ли сильные с двойными стеклами очки, которые придавали ему особенно интеллигентский вид, то ли медлительная манера разговаривать, а может быть, и все это вместе взятое — заставляло людей, которые с ним не были близко знакомы, считать

его за человека серьезного, пожалуй, даже скучного. При нем, казалось, было неудобно соленошутить, выругаться или выпить лишнее.

В ответ на вопрос Сабурова, пьет он или не пьет, Авдеев, хитро сонгурился очками глаза, тихонько улыбнулся.

— Пью, конечно, — сказал он.

Они вышли по одному фуражнику, а потом и по второму.

Сабуров страшно устал за день и против обыкновения водка не то что ударила ему в голову, но просто создала в нем неожиданное ощущение теплоты, уюта и трогательности всего происходящего сейчас в блиндаже.

— Я вам советую завтра во вторую роту сходить, там у меня очень хорошие люди, особенно с Конюковым поговорите, сами посмотрите, полазите. А вы знаете, — сказал он, приостанавливаясь, как будто внезапная мысль пришла ему в голову, — вы знаете, хотя, быть может, мы тут большей опасности в общем, чем вы, подвергаемся, но вам должно быть страшнее на войне.

— Почему?

— Весь вы же свое дело делаете потом, когда в Москву вернетесь, или там, на телеграфе, в штабе, а тут только смотрите, чтобы потом написать... Мне почему не так страшно? Потому, что я занят, мне дохнуть некогда. Тут идет обстрел, мины рвутся, а я говорю по телефону — мне дождить нужно, но телефонист не слышит, я его матом, ну и понимаете, за всем этим как будто я забудешь про мины. А вам же тут делать нечего, только сиди и жди — попадет или нет. Вот вам и страшней. И не возражайте, это же так.

— Да, может быть, вы и правы, — сказал Авдеев.

Они оба помолчали.

— Может, ляжем спать? — сказал Сабуров.

— Сейчас ляжем, — нехотя ответил Авдеев.

Ему не хотелось прерывать беседы. Он твердо убедился за год войны, что люди на войне стали проще, чище и умнее. Быть может, они остались в сущности теми же самими, какими были, но хорошее у них выплыло на поверхность оттого, что их перестали судить по многочисленным и неясным критериям, то есть по тому, посещал ли человек собрания или нет, вежлив ли он, любезен ли, умеет ли разговаривать, показывает ли внешние признаки внимания и добродушия... И вдруг наступила война, и все это оказалось не самым существенным, и люди перед лицом смерти перестали думать о том, как они выглядят и какими они кажутся, — на это у них не оставалось ни времени, ни желания.

Никогда за всю свою бродячую журналистскую жизнь не слышал Авдеев сразу такого количества откровенных разговоров, какое он услышал за год войны. Поэтому, как бы он ни уставал, но если заходил душевный разговор, Авдеев старался затянуть его как можно дольше.

— Сейчас ляжем, — сказал он. — Я только хотел вас спросить...

Но Сабуров так и не упал, о чем хотел его спросить Авдеев, потому что вошел Петя и доложил, что разведка вернулась.

Сабуров посмотрел на часы — было пять утра.

— Кто сегодня ходил?

— Васильев, — сказал Петя.

Сабуров усмехнулся:

— Ровно в пять. Прошлый раз он пришел тоже ровно в пять. Пунктуаль-

ный человек, похмелье только, чтобы он опять пошел сейчас с унтер-офицерскими документами и заряжен и с немецким автоматом в руках. Ну, пусть войдет, — сказал Сабуров.

Васильев вошел. Автомата в руках у него не было, и, откозыряв капитану, он толкнул на стол пачку документов. На этот раз он принес документы фельдфебеля.

— О, — сказал Сабуров, — хорошо. Где ты его?

— У дома номер четыре. Посты он обходил. Между двумя постами взял.

— Взял?

— Нет, не взял, товарищ капитан, кончил... Нельзя оттуда взять было.

— Оружие не привнес?

— Нет, — сказал Васильев, внутренне еще раз доказывая на немецкого майора, который и на этот раз не дал ему, вопреки его просьбе, парабеллум. Теперь из-за глупой склонности немца приходилось вратить лишний раз, а лишний раз этого никогда не стоило делать.

— У шего парабеллум был, — сказал Васильев, — я взял, заложил за плюс, но как плюз, так и выскоции он где-то... Прямо для вас, товарищ капитан, нес, хороший парабеллум, вороненый, новенький...

Васильев действительно в эту минуту вспомнил новенький вороненый парабеллум, лежавший на столе у майора.

— Так, — сказал Сабуров, проглядев документы, — садись вон там на табуретку.

У Васильева на секунду екнуло сердце: «Зачем задерживает?» — подумал он.

— Вот тут товарищ корреспондент, — сказал Сабуров, — он с тобой поговорит. А это, — обратился он к Авдееву, — как раз Васильев, о котором я вам говорил. Ну, вы посидите тут пока, поговорите, а я пойду посты поверю.

Он поднялся и пошел к дверям.

— Вы в который раз в разведку ходите? — спросил Авдеев.

Сабуров остановился.

— Вы его лучше не об этой разведке спросите, а о той, в которую он прошлый раз ходил. Тогда у него трагически обернулось дело, вам будет интересно.

Сабуров вышел. Авдеев посмотрел на Васильева. Перед ним сидел человек лет тридцати с довольно невыразительной внешностью и спокойными ленивыми глазами.

— Значит, вы второй раз ходили? — спросил Авдеев.

— Да.

— Вот капитан говорил о первой вашей разведке, расскажите мне оней...

— Что ж рассказывать? — сказал Васильев.

Узнав, что его расспрашивает корреспондент, он приободрился, пожалуй, он даже злорадствовал: вдруг где-нибудь в «Известиях» или в «Правде» напечатают статью о ловлике его, Васильева.

— Расскажите все по порядку.

— Что ж рассказывать? — повторил Васильев. — Вышли в одиннадцать часов вечера вдвоем, шу, потом добрались, немцы не стреляли... Сняли часового унтер-офицера, я его штыком заколол... Потом поползли обратно. Мы вдвоем ходили... На обратном пути убили моего товарища, то есть это потом оказалось, а первоначально его смертельно ранили, он еще полз. Но я-то думал, что он убит...

— Так,— сказал Авдеев.— Нет, вы мне все не то рассказываете.
— Как не то? — спокойно, но с внутренней дрожью спросил Васильев.
— Не то,— сказал Авдеев.— Вы мне рассказываете так, как капитану своему, наверное, докладывали... Мне не это интересно. Вы мне расскажите — шаг за шагом, как вы шли, что чувствовали, когда подползли, как немца убили, какое ощущение у вас в этот момент было, как потом обратно поползли. Что у вас на душе было, — вот все это расскажите.

— Ну, как же было... Дали нам задание, мы и пошли вдвоем с Панасюком. Пошли... — Он остановился, у него вдруг стало смутно и противно на душе так, словно этот, сидевший против него спокойный человек в очках все знает и просто расспрашивает его для проверки. Ему почудилось, что перед ним сидит следователь, между тем как это было явно не так; все было в порядке, нужно было просто рассказать...

— Ну, пошли мы с ним... Сначала в рост или до линии...

— О чём вы говорили в это время? — спросил Авдеев.

— О чём говорили? Да ни о чём.

— Ну, что вы думали?

Что он думал? Он вспомнил, что он думал о том, где удобнее убить Панасюка — сразу же, перейдя линию, или ближе к немцам... Потом он думал о том, как поползти так, чтобы не попасть под немецкий обстрел... Что он еще думал? Потом он думал об отце, что вдруг отец здесь...

— Так, о чём же вы думали? — повторил вопрос Авдеев.

Васильеву часто приходилось лгать, но придумывать жизнь он не умел.

— Я ничего не думал...

— Не может быть,— сказал Авдеев,— человек всегда что-нибудь думает. Вы попробуйте вспомнить, мне это интересно...

— Ничего не думал,— упрямо сказал Васильев.— Думал о том, как лучше выполнить задание,— неожиданно выпалил он,— вот и все...

— Ну, хорошо. А что вы чувствовали, когда вы подползли к немцу?

Что он чувствовал?

— Это было уже на немецкой линии,— настойчиво продолжал Авдеев.— Вы шептались с товарищем или молча давали друг другу знаки, как действовать. Ну, вспомните?

Васильев вспомнил, как Панасюк пополз немножко впереди него, слева, и как он сам подвинулся еще немножко вправо, чтобы было сподручнее сбоку ударить ножом, и как он ударил, и как Панасюк загреб руками обломки кирпича... Они запнулись... И как он схватил Панасюка за руки, чтобы тот не шумел в агонии, потому что немцы могли выстрелить на этот шум,— но всего этого он, естественно, не мог рассказать.

— Нет, мы ничего не делали и не шептались, просто ползли,— сказал он.

— Ну, хорошо,— сказал Авдеев.— А когда вы подползли к немцу, что в этот момент вы чувствовали?

— Ну, он был рядом,— сказал Васильев, внезапно вспомнив, как он ударил ножом Панасюка.— Ну, он был рядом, и я его ударил ножом в бок.

— Вы вскочили и ударили?

— Нет, зачем же вскочил? То есть, да. конечно, вскочил, ударил...

— А ваш товарищ что в это время делал?

— Ничего,— сказал Васильев,— он помогал мне.

— Как?

- Ну, помогал потом, когда мы оттаскивали.
- Ну, как вы потом пошли?
- Потом пошли... обыкновенно пошли... Потом его убили, Иванаюка...
- Как убили?
- Стали стрелять и убили.
- Ну, он вам что-нибудь сказал, когда ранили его. Его же ранили.
- Да, ранили, но он ничего не сказал мне, я думал, что он убит.

Васильев чувствовал пустоту под ложечкой от этого допроса. У него не было ни упреждений совести, ни жалости к Иванаюку. Но то, что из него сейчас слово за словом вытягивали все обстоятельства дела, а ему трудно было выдумывать сейчас на ходу, привело его в состояние тупого раздражения.

— Потом я вернулся и доложил капитану, — желая закончить разговор, сказал он.

Он боялся, что Авдеев опять начнет задавать ему вопросы, но Авдеев посмотрел на него и сказал:

- Ну, хорошо, спасибо. Все... — и что-то записал в блокнот.

Васильев поднялся:

- Разрешите идти?

- Да.

Он вышел.

— Поговорили? — сказал вошедший Сабуров, поглядев вслед Васильеву. — Ну, как разведчик?

- Ничего, — неопределенно сказал Авдеев, — ничего.

- Писать о нем будете?

— Не знаю. Нет, не буду. Мне очень важно, когда люди рассказывают, расспросить их о чувствах, что они думали, что чувствовали. А вот он рассказал, и я никак не мог восстановить картину, — так рассказал, как будто с чужих слов. Нет, я не буду писать...

— Так это же часто бывает, — сказал Сабуров, — человек делает, а рассказать не может...

— Нет, — сказал Авдеев, — почти всегда может, надо только уметь расспросить, но иногда не хочет, не то что не умеет, а именно не хочет... И обычно, знаете, когда это бывает, — когда про человека наговорят одно, а на самом деле было другое и коротко солгать ему просто, но когда начнешь недоброю расспрашивать, то лгать ему уже трудно и рассказывает он плохо. Обычно не хочет и не может не оттого, что не умеет, а оттого, что этого на самом деле не было.

- Ну, тут уж быво, — сказал Сабуров.

- Наверное так, — не знаю, но писать нечего... Ни одного живого слова.

— Ну, ничего, — сказал Сабуров — завтра поговорите с другими, сами найдете того, с кем стоит поговорить, у меня много хороших людей, почти все хорошие. Вам, наверное, часто от командиров приходится слышать эту фразу.

- Часто, — лукаво твердил Авдеев.

— Ну, что ж, она правильная. Не знало, какими были эти люди до войны и какими будут после нее, но сейчас они действительно почти все хорошие. И думаю, большинство останется хорошими, те, конечно, кто будет жив. И знаете что?.. Я почти уверен в этом. Ну, будем сидеть.

Сабуров подошел к кровати, на которой, раскинувшись, лежал уже давно уснувший Ванин, приподнял его и переложил к краю.

— Зачем? — торопливо сказал Авдеев. — Разбудите.

— Нет, — сказал Сабуров. — Я же знаю, будет спать. Вот если телефон зазвонит, так проснется сразу, а так можно хоть три раза перевернуть, я во сне засну. Ложитесь, полковати свободно.

Авдеев снял сапоги и, не раздеваясь, лег, накрывши пинцетом.

Сабуров сел на свою кровать, снял гимнастерку, брюки, аккуратно сложил все, поставил сапоги и вложил в них сверху портнянки. Потом, накрывши одеялом, закурил.

— Я, когда можно, всегда раздеваюсь, — сказал он. — Я когда-то на границе служил, так у меня все по старой пограничной привычке сложено в порядке, одеться мне пятьдесят секунд, вычитано. Но-москву, война еще надолго. Вот силу под одеялом... Что, не одобряете, — улыбнулся он.

— Нет, одобряю, — сказал Авдеев, — одобряю и желаю спокойной ночи.

Сабуров откинулся на подушку и несколько раз подряд затянулся.

Ему не спалось. Дверь блиндажа была, очевидно, открыта, и спаружи доносился равномерный, унылый шелест дождя, быть может, последнего в этом году.

XI

Рано утром Авдеев с Ваниным ушли в первую роту. Сабуров остался, он хотел воспользоваться затишьем и сделать те дела, которые обычно сделать не поспевал. С самого утра они два или три часа просидели с Масленниковым за составлением различной военной отчетности, часть которой была действительно необходимой, а часть казалась Сабурову лишней и заведенной только в силу давней привычки ко всякого рода канцелярии.

Когда Масленников ушел, Сабуров сел за давно отложенное и тяготившее его дело — за ответы на письма, пришедшие к мертвым. Как-то так уж повелось у него почти с самого начала войны, что он брал на себя трудную обязанность отвечать на эти письма. Его всегда огорчало, что мы стараемся, когда человек умирает, как можно дольше не ставить в известность его близких, как можно дольше тянуть с ответом, и если возможно, то и вообще не отвечать. Эта кажущаяся доброта всегда представлялась ему, по-существу, не чем иным, как просто желанием пройти мимо чужого горя, постаравшись не доспаться его, чтобы не сделать больно себе самому.

Первым было письмо жены Парфенова.

«Петенька, милый, — начиналось письмо (Парфенова, оказывается, звали Петей, Сабуров и не знал этого), — мы все без тебя скучаем и ждем, когда кончится война, чтобы ты вернулся... Галочка стала совсем большая и уже ходит сама и почти не падает...»

Сабуров внимательно прочел письмо до конца. Оно было не длинное, — привет от родных, несколько слов о работе, пожелание поскорее разбить фашистов, в конце две строчки детских фразакуль, написанных старшим сыном, и потом несколько нетвердых палочек, сделанных детской рукой, которой вошла рука матери, и приписка: «А это написала сама Галочка...»

Что ответить? Всегда в таких случаях Сабуров знал, что ответить можно только одно: он убит, его нет, — и все-таки всегда он неизменно думал над

этим, словно писал ответ в первый раз. Что ответить? В самом деле, что ответить?

Он вспомнил маленькую фигурку Парфенова, лежавшего навзничь на цементном полу, его бледное лицо и подложенное под голову полевые сумки. Этот человек, который погиб у него в первый же день боев и которого он до этого очень мало знал, был для него только товарищем по оружию, одним из многих, слишком многих, которые дрались рядом с ним и гибли рядом с ним, тогда как он сам остался цел. Он привык к этому, привык к войне, и ему было просто сказать себе: вот был Парфенов, он сражался и умер. Но там, в Нене, на улице Маркса, 24, эти слова — «он умер» — были катастрофой, потерей всех надежд. После этих слов там, на улице Маркса, 24, жена становилась называться женой и становилась вдовой, дети переставали называться просто детьми, они уже назывались сиротами... Это было не только горе, это была полная перемена жизни, всего будущего. И всегда, когда он писал такие письма, он больше всего боялся, чтобы тому, кто прочтет, не показалось, что ему, писавшему, было легко. Ему хотелось, чтобы тем, кто прочтет, казалось, что это написал их товарищ по горю, человек, так же горюющий, как они, — тогда легче прочесть. Может быть, даже не то: не легче, — но не так одинично, не так скорбно прочесть...

Людям иногда пущна ложь, он знал это. Они непременно хотят, чтобы тот, кого они любили, умер геройски, или, как это пишут, — на смертью храбрых... Они хотят, чтобы он не просто погиб, чтобы он погиб, сделав что-то важное; и они непременно хотят, чтобы он их вспомнил перед смертью.

И Сабуров, когда отвечал на письма, всегда старался утолить эти желания, и, когда нужно было, он лгал, лгал больше или меньше — это была единственная ложь, которая его не смущала. Он взял ручку и, вырвав из блокнота листок, начал писать своим быстрым размашистым почерком. Он написал о том, как они долго служили вместе с Парфеновым, как Парфенов геройски погиб здесь, в ночном бою в Сталинграде (что было правдой), и как он, прежде чем упасть, сам застрелил трех немцев (что было неправдой), и как он умер на руках у Сабурова, и как он перед смертью вспомнил сына Володю и просил передать ему, чтобы тот помнил об отце.

Докончив письмо, Сабуров взял лежавшую перед ним фотографию и, прежде чем вложить в конверт, посмотрел на нее. Она была снята еще в Саратове, где они формировались — у уличного фотографа: маленький Парфенов стоял, вытянувшись в воинственной позе, придерживая рукой щобуру пагана — наверное, на этом настаивал фотограф.

Следующее письмо было сержанту Тарасову из первой роты. Сабуров знал только мельком, что Тарасов тоже погиб в первом бою, но как и при каких обстоятельствах погиб — не знал. Это было простое письмо из деревни, письмо крестьянки, написанное крупными буквами, на клетчатой тетрадной бумаге, с упоминанием всех родных, короткое, обычное письмо, в котором, однако, за каждой буквой его чувствовались любовь и тоска, неумело выраженные, но от этого не менее сильные... И, отвечая на это письмо, не зная, как погиб Тарасов, Сабуров все-таки написал, что тот был хорошим бойцом, погиб смертью храбрых и, что он, командир, гордился им.

Докончив это, Сабуров взялся за третье письмо и, дописав его до конца, позвонил в первую роту, где были сейчас комиссар и Авдеев.

— Уже пошли к вам, — сказал в телефон командир роты Гордиенко.

— Много лазил? — спросил Сабуров.

— Порядочно.

Сабуров услышал, как Гердиненко усмехнулся в телефон, и положив трубку, облегченно вздохнул.

Обедали вчетвером: кроме комиссара и Авдеева, подошел и Масленников. Ванин был таким, как всегда. Что же до Авдеева, то он устал и, вернувшись в штаб, испытывал то радостное облегчение, которое появляется у человека на зорне тогда, когда чувство опасности сменяется чувством относительной безопасности.

За обедом он заговорил как раз об этом.

— Вы знаете, откровенно сказать, ощущение опасности и возможности умереть — утомительное чувство, от него устаетесь, не правда ли?

— Правда, — сказал Сабуров.

— Солдат мне иногда напоминает, — сказал Авдеев, — водолаза, которого выпускают постепенно, все время увеличивая давление. Так же и тут. Постепенно увеличивается опасность и возрастает привычка к ней. В тылу часто ее понимают, что опасность не есть величина постоянная, что на фронте все относительно. Когда после атаки солдат попадает в окоп, окоп кажется ему спасенным; когда я из роты прихожу в батальон, мне ваша эта нора кажется крепостью; когда вы попадаете в штаб армии, вам кажется — эм типина, а на том берегу Волги, хоть его и обстреливают, для вас курорт; и почти курорт, между тем как для человека, который в первый раз туда вышел из тыла, уже тот берег кажется страшной опасностью. Как по-вашему, верно я говорю?

— Верно. Вообще, конечно, верно, — сказал Сабуров, — с той поправкой о Сталинграде, что здесь иногда штаб армии находится так же близко от немцев и в такой же опасности, как мы, или даже, учитывая сегодняшнее типилье у нас, даже в большей, чем мы.

После обеда Сабуров взял шинель и, надевая ее, без всякой задней мысли сказал:

— Ну, я пойду во вторую роту...

Но Авдеев воспринял это, как приглашение или, может быть, даже высокомерие, тоже поднялся и молча надел шинель.

— А вы куда?

— С вами, — сказал Авдеев.

Сабуров посмотрел на его усталое лицо, хотел сперва возразить, но потом понял, что раз этот человек принял простые, не относившиеся к нему слова предложение ити, то если теперь отговаривать его ити, он все равно стоит на своем. И, натая непримянь к лишним разговорам, Сабуров просто сказал:

— Ну, хорошо, пойдемте.

Второй ротой нынешнему командовал сибиряк Потапов. Увидев Сабурова незнакомым человеком, должно быть из штаба, Потапов, по укоренившемуся у офицеров в дни загнивания привычке, начал с того, что пригласил их с бе в блиндаж закусить чем бог послал.

— Ничего особенного, правда, нет, наши сибиряки нельзя, только и ето...

Сабуров знал, что если уж у Потапова есть нельзя, то это отличные лямы. И вообще в тоне, которым было сказано Потаповым «ничего особо-

бенного», было то особое фронтовое щегольство, с которым младшие начальники приглашали к столу старших, повсюду, начиная с роты и кончая армией. Всепда, когда это было мало-мальски возможно, они старались устроить так, чтобы у них повар был лучше, чем у начальства, и готовил вкуснее... И надо сказать, что это им часто удавалось.

Отказавшись от пельменей, Сабуров и Авдеев пошли по оконам.

Отделение, которым командовал Конюков, находилось в окопе, за передней стеной дома. Окоп был вырыт под самой степной, вдоль фундамента.

Два хоропих хода сообщенияшли из окопа назад под дом, где была вырыта падежно покрытая обгорелыми бревнами землянка. Два пулеметных гнезда были аккуратно устроены, места для стрелков тоже, причем слева всюду были сделаны земляные полочки, где лежал всякий солдатский припас: котлы, табак и прочее.

— Курите, курите,— сказал Сабуров, когда собравшиеся перекурить бойцы вытянулись при его появлении.

— Часышай табачок да кури, землячок! — сказал в рифму Конюков, все кругом засмеялись, и Сабуров почувствовал, что разговор в рифму не случайность, что, видимо, Конюков часто щеголяет этим.

— Ну, как живешь, Конюков? — спросил Сабуров.

— Хорошо, товарищ капитан.

В Конюкове не исчезла дисциплинированность, но некоторая излишняя деревянность сейчас, после полумесяца боев, смягчилась в нем. Среди опасностей, он стал чувствовать себя невольно более на товарищеской ноге с начальством.

— Как, привык к бомбам?

— Так точно, привык. Ежели к ним тут не привыкнуть, так, разрешите доложить, в Волге тониться надо. Уж он... (он) на солдатском языке неизменно означало — немец)... Уж он бросает их, бросает, приучает, приучает, как же тут не привыкнуть...

— Вот старший сержант Конюков, — сказал Сабуров, повернувшись к Авдееву. — За храбрость представлен мной двадцать седьмого числа к ордену.

Конюков счастливо улыбнулся. Собственно говоря, он уже слышал от коменданта роты, что его представили к ордену, но то, что сейчас командир батальона вслух повторил это при всех его бойцах, было ему особенно приятно. Как это часто бывает с людьми в минуту волнения, он вспомнил не то, что нужно было сказать сейчас, а то, что въелось в него издавна, еще с действительной, я вместо: «Служу Советскому Союзу» — рявкнул: «Рад стараться!» — с трудом в последнюю минуту прикусив язык, чтобы фраза не выскочила полностью с «вашим благородием».

— Вот, товарищ батальонный комиссар — из Москвы, — сказал Сабуров, — расскажи ему Конюков, чем ты двадцать седьмого отличился, а мне дай пока бинокль.

Конюков спая с груди и передал капитану большой цейсовский бинокль, подобранный им в первый день при взятии дома. Он неизменно носил бинокль на груди, что придавало ему почти командирский, во всяком случае, не совсем солдатский вид. Он сам это чувствовал и сейчас отдавал бинокль Сабурову с некоторым душевным трепетом, ибо еще с той войны знал, что занима-

злые и полезные трофеи начальство иногда любит отбирать у починенных
свою пользу.

Пока Сабуров, приставившись за выступом стены, внимательно рассматривал в бинокль развалины соседней улицы, Конюков неторопливо приступил к рассказу. 27-го числа он и сам считал своим особенно удачным днем, и рассказывать об этом ему доставляло удовольствие.

27-го он был связанным и семь раз засветло переползал по открытому месту из второй роты в первую и обратно, где все остальные связные были убиты. Рассказывал он об этом со свойственной старым солдатам особой карикатурностью изображения.

— Ползу, значит, это я, а пули так поверх меня летят и летят, а у меня на спине тонкий такой венцевой мешочек, и в нем табачок да хлебушко, потому что хлебушко да табачок, хотя и легче без них ползти, оставлять нельзя — не засесть, куда ползешь, вдруг обратно не приползешь... Или ранят посередине дороги, снять же перекурить надо и хлебушка пожевать... И котелок у меня за спиной поверх мешка, потому что пет едока, чтобы он был без котелка, — снять срифмовал он. — Ползу и так у меня котелок мотается из стороны в сторону, гремит, и не потому гремит, что привязал плохо, а потому, что пули по нему бьют, он же высокое, — ползу и вдруг чувствую, что на спине у меня горячо. Ну, на спине горячо... Я это голову поднял, неижу, а горячо, силы падут. Вытащил нож, чиркнул по ремню и отрезал — кертик сорвался рядом со мной и дымится. Он его, значит, зажигательной пулью прожег. И тут я засмеялся — мне смешно стало, потому что, думаю, что я танк, что ли, что он у меня башню поджег... Ну, скинул мешок и дальше пополз, а табак пропал, сгорел. Опять дальше ползу... Совсем ровное место, а грязно было, слякоть, и до того ползу к земле тесно, что аж криз в голенища залезает, а он еще и еще по мне бьет. Ну, я уж совсем крик прижимаюсь...

Тут он оглянулся на внимательно слушавших его бойцов. Они слушали не в первый раз, и на лицах их изобразилась в этом месте готовность улыбнуться, они предвидели, что здесь будет уже известная им и неизменно доставлявшая удовольствие шутка.

— ...Ползу и до того тесно к земле прижимаюсь, так по первому году к молодой жене не прижимался, ей-богу, вот те крест — сердце перекрестился Конюков под хохот окружающих. — А потом я за развалину заполз, так он меня из пулемета взять не может и в живых отпустить тоже не хочет — обидно ему: вторую войну все в меня целит, а попасть не может, промахивается... Ну, и начал он в меня мины бросать. А кругом грязища... Мина разорвается, и осколки кругом меня шлепают, как будто овцы по грязи идут...

— Ну, вы еще тут пока поговорите, — сказал, прерывая Конюкова, Сабуров, — я сейчас вернусь. — И, отдав обрадованному Конюкову бинокль, вылез из окопа и пополз в соседний взвод.

Минут через тридцать, когда он собирался вернуться, он услышал слева от себя, там, где было огневое Копюкова, несколько длинных пулеметных очередей из «максима».

Он не успел подумать, с чего бы это вдруг, как сейчас же одна за другой пять или шесть немецких мин просвистели над его головой и разорвались примерно там, где был Конюков. Выждав с минуту, Сабуров пополз обратно. Он застал Конюкова и Авдеева сидящими друг против друга в окопе.

— Вот видишь, я же говорил, — рассудительно произнес Конюков, — мы по нему стегнули, так и он по нас.

— Ну, и правильно, — отвечал несколько взъерошенный Авдеев, — правильно, так и ладо...

— В чем тут дело? — спросил Сабуров. — Ни в кого не попало?

— Нет, вот только ихнюю фуражечку попортило, — сказал Конюков, приподнимаясь и насмешливо двумя пальцами беря с края окна ложившуюся донышком вниз фуражку Авдеева. — Опи ее, как целиться стали, смыли и вот положили. А немец аккурат, как яйца в луконко, туда осколки и

Действительно, на дне фуражки лежало два мелких осколка мин, попавших туда уже на излете и не прорвавших фуражки насеквоздь, а то можно было и поцарапавших ее так, как словно проела моль. Сабуров, вытирая осколки, посмотрел на фуражку.

— Все скажут — моль проела, никто же поверит вам, если скажете, что осколки попали.

— А я и не буду рассказывать, — сказал Авдеев.

— Значит, это вы стреляли? — спросил Сабуров.

— Я. Вот по тем развалинам. Он мне сказал, — там немцы сидят.

— Сидят, так точно, — подтвердил Конюков, — оттого и отстрелялись сидят.

— Вот видите, — сказал Авдеев, — была тишина и сразу нет. А вы не редко стреляете? Патроны бережете?

— Чего патроны, — сказал Конюков, — не патроны бережем, а стрелять, пока его не видно. Как видно будет, так и будем стрелять, а там не видно...

— Кончили разговор? — спросил Сабуров, не желая здесь вдаваться в подробности инцидента.

— Кончили.

— Ну, хорошо, тогда пойдемте.

Когда они шли к потаповскому блиндажу, Авдеев повернулся к Сабурову и вдруг сказал:

— А знаете, ведь я нарочно, принципиально из пулемета стреляю.

— Что, самому немца захотелось убить?

— Нет, вы не сердитесь, может быть, я вмешиваюсь в ваши дела, но мне показалось, что это неправильно...

— Что неправильно?

— Что вот такая тишина. Это вроде перемирия.

— Почему?

— Нет, — сказал Авдеев, — может быть, это и верно, что пока не видно немцев, в них не стреляют, по мне показалось, что еще и отстреляются и стреляют.

— Отчего?

— Оттого, что не хотят, чтобы отвечали, хотят, чтобы тихо было. И видел несколько очередей — и немцы сразу мины выпустили. Еще дать немецкою очередей — они опять выпустят мины, а то получается так: мы не будем стрелять, и они не будут стрелять, по-моему, это не хорошо. Как по-вашему?

— Да, пожалуй.

— Мне почему это в голову пришло? — сказал Авдеев. — Я на Западе

Фронте этой весной наблюдал, как после наступления затишье было, и вот так же молчали, иногда больше чем нужно, по-моему...

— Да, может быть, вы и правы, — задумчиво сказал Сабуров и про себя подумал, что этот человек и в самом деле, очевидно, прав. После тяжелых боев и постоянной ежеминутной возможности умереть, солдатам, да, пожалуй, и ему самому иногда, может быть, подсознательно хотелось хоть немножко не нарушать эту тишину, но обмениваться, пока это возможно, пулеметными очередями и минами. Это было естественно и в то же время этого нельзя было делать. «Он прав, — подумал Сабуров. — Надо будет приказать, чтобы помимо личных вылазок днем не только отвечали на немецкий огонь, но и от времени до времени сами беспокоили немцев даже бесприцельным огнем, так, просто, чтобы первировать их».

Когда они добрались до блиндажа Потапова, Потапов, встретивший их на пороге, опять заговорил о польмиях. За время их отсутствия он насторожил своего повара и решил обязательно их угостить.

— Ну, очень прошу, хотя бы ради приезда гостя, а, товарищ капитан, — начал Потапов иimmerно в эту секунду сразу три или четыре тяжелых снаряда разорвались позади блиндажа.

Сабуров толкнул Авдеева в блиндаж, а сам, прижавшись к стенке, стал ждать. Вслед за первыми, спереди и сзади обрушилось еще десятка полтора снарядов, потом начали рваться мины, и снова спаряды, и снова мины, и так продолжалось минут пятнадцать.

Стараясь перекричать шум, Потапов уже давал приказания связным, и то во ходам сообщения бежали во взводы.

Сабуров поглядел на лобо. Построившись аккуратным гусиным клином, они немецкие бомбардировщики. Он прикинул на глаз: отсюда, мазали, трудно было разобрать, но казалось, что их не меньше шестидесяти.

После минутной паузы начала снова бить артиллерия. Сзади блиндажа вздымались черные фонтаны.

— Вот и кончилось затишье, — тихо сказал Сабуров, скорее себе, чем Авдееву. — Потапов! — позвал он.

— Слушаю.

— Товарищ батальонный комиссар останется у вас, пока не кончится артподготовка. Выберете паузу и пошлете его с автоматчиком ко мне. Я пойду в батальон.

— Товарищ Сабуров, я с вами!

— Нет, — резко сказал Сабуров. — Сейчас мы с вами дискусируем не будем. Потапов выберет минуту и пошлет вас с автоматчиком.

— А не лучше ли...

— Всё. Не спорьте. Здесь хозяин я. Петя, пошли...

И, выскочив из окна, Сабуров и Петя быстрыми перебежками двинулись к дому, где помещался штаб батальона.

Затишье действительно кончилось. И Сабуров, переползая от воронки к воронке, подумал о том, что если самое большое через пятнадцать минут не начнется немецкая атака, значит он еще ничему не научился на этой войне.

XII

Было утро. После затишья или уже пятые сутки боев. Васильев лежал на две окопа, прикрытый сверху от дождя плащ-палаткой. Он лежал лицом кверху и, приоткрыв краешек плащ-палатки, смотрел в серое тусклое осеннее небо.

бо. Ночью он вернулся после удачной разведки, уже третьей за это время, и ему дали возможность, в награду, как следует поспать. Он без памяти проспал три часа, но дальше ему не спалось. Он лежал, открыв глаза, и думал.

Уходя от немцев, он договорился, что в эту ночь будет устроена ловушка среди развалин дома, ставших теперь пятью землей. Это была обыкновенная военная ловушка — не слишком хитрая и не слишком простая, такая, в какую обычно попадаются, если не произойдет какой-нибудь особой нелепости или промаха.

Утром, вернувшись из разведки и притащив на этот раз для большей убедительности уже не унтер-офицерские, а офицерские документы и парабеллум, Васильев, выслушав благодарность Сабурова, доложил ему, что проход между южными развалинами — так условно в батальоне называли развалины бывшего кинотеатра — и черным домом — так называли обгоревшие развалины банка, — этот проход, видимо, только заминирован и то неаккуратно и не охраняется немцами.

— Если там ночную атаку сделать, то можно всю роту, которая у немцев впереди развалин, отрезать, побить и в плен взять. Это уже точно, товарищ капитан, — сказал Васильев. — Только надо аккуратно проверить. Сами посмотрите, правду я говорю или нет. Мы по этому проулочку почти в тыл к ним выйдем. А на другую ночь можно и атаку сделать.

Соблазн произвести в эти тяжелые дни ночную атаку и захватить пленных немцев был для Сабурова очень велик. Вопрос заключался только в том, решится ли капитан сам ночью вдвоем или втроем пойти на рекогносцировку. Васильев думал, что решится — так он и сказал в немецком штабе, договариваясь на эту ночь о засаде, которая сможет взять Сабурова почти голыми руками.

Когда Васильев, вернувшись, стоял перед Сабуровым и равнодушным-tonem человека, привычного и не видящего в этом особенного риска, предлагал капитану свой план рекогносцировки, в душе он волновался — клюнет или не клюнет. Сабуров клюнул.

— В котором часу там типе всего? — спросил он.

— Часов с одиннадцати и до полночи.

— Иди к себе и выспись, — решительно сказал Сабуров, — в двадцать три часа явишься ко мне..

В окопе было грязно и мокро: по стекам стекала вода; она сочилась по плащ-палатке и каплями сползала сквозь прореху в ней. Уже трое суток подряд шли поздние осенние дожди, все так отсырело, что почти нокуда было укрыться. Васильев лежал, глядя в небо, и думал о том, что бесконечно выносить все, что он выносил последние времена, дальше нельзя. Иногда он, помимо своей воли, даже завидовал лежавшим с ним рядом людям, над которыми с таким же воем, как над ним, проносились немецкие снаряды: в этом был смысл — они стреляли по немцам, и немцы стреляли по ним. А он подвергался одинаковой опасности с ними, неизменно чувствуя всю глупость своего положения: ненавидеть всех этих людей, с которыми он рядом сидел, учиться тод в краковской немецкой школе, надеяться после победы немцев занять, наконец, свое место под солнцем, и вдруг среди грязи и слякоти глупо погибнуть от осколков немецкого снаряда — пасть «смертию храбрых». И тогда его же соседи пожалеют его и зароют как бойца, погибшего в отечественной войне против немцев. Что может быть глупей этого?

Когда он сегодня ночью предложил немцам завести в ловушку своего командира батальона, они дали ему понять, что после этого ему представится возможность на некоторое время остаться на той стороне и отдохнуть. Пусть это будет короткая передышка, он постарается ее затянуть — в конце концов война скоро кончится, а если нет — может быть, его забросят подальше в тыл, опять в какую-нибудь формирующуюся часть на более спокойную работу.

Если что-нибудь могло еще увеличить его ненависть ко всему окружающему, то это страх за свою жизнь, который он испытывал в последние дни. Он боялся глупой смерти и от этого еще больше ненавидел окружающих.

Эта ненависть не была новым для него чувством, она родилась давно, почти с детства, хотя, собственно говоря, ни отец, ни мать не воспитывали ее в нем, и он потом в душе презирал их за это, особенно отца... Ну, мать, что с нее взять, она была простая, тихая и забитая женщина. Но отец — это тяжелая рука всегда чувствовалась в доме, он был властел, временами груб... И, однако, при всем том в отце не было ненависти. Он не любил демобилизованного красноармейца Степанюка, открывшего в селе ячейку «Безбожник»; он не любил председателя сельсовета, который хотел закрыть церковь; он не любил в селе, еще двух-трех человек, которые в свою очередь не любили его. Но все вместе взятое, называвшееся «советской Россией», он не умел ненавидеть, он говорил про нее «Россия», или иногда даже «Россиюшка», он любил ее приторки, пашни, леса, любил свое село Городище, любил людей, живших в соседних с ним домах.

Когда Васильев с затаенным дыханием расспиривал отца о прошлом, он отвечал равнодушно. Его огорчали вообще все людские неправды, о которых он говорил, что они всегда были и, пожалуй, никогда не выведутся. Он стомяко крестил, венчал и хоронил за свою жизнь, что ему казалось, — люди не меняются, все равно они всегда будут рождаться, жениться и умирать, а правы они или не правы перед ним, отцом Николаем из Городищенской церкви, в этом бог рассудит его с ними потом. Он не поднимал руки на власть, потому что кругом была Россия, и власть так и осталась русской, и он не брал на себя права судить ее и призывать против нее кого-нибудь.

Сын в этом отношении был непохож на него. Он начал ненавидеть со школы. Он плохо учился, не любил ничего особенно и завидовал тем, которым что-то давалось и которые что-то любили. Он плохо кончил школу и провалился, когда хотел учиться дальше. Постепенно он стал озлобленным неудачником. Препятствия, которые в те времена возникали перед ним, как перед сыном пана, не возбуждали в нем желания преодолеть их, учиться лучше всех или стараться быть умнее всех. Нет, они были для него не столько камнем преткновения, сколько отдушиной: — Ну, конечно, — говорил он себе, — конечно, его не любят потому, что он сын пана; провалился на экзамене — потому что сын пана; не приняли — потому что сын пана... Если бы старое время... Он не знал старого времени, но считал: если сейчас его не ласкают и гонят, то в старое время, наоборот, его должны были ласкать, помогать ему возвращаться над всеми теми, которые сейчас возвышались над ним. И когда отец в минуты раздражения говорил ему, что из такого, как он, отродясь, ни сейчас, ни в старое время никакого толку не вышло бы, он принимал это за старческое брюзжание, за ложь. Ему казалось, что при старом режиме из него вышел бы большой человек: и только то, что сейчас все иначе, что иная

власть и г. юй закон — единственно это мешало ему выйти в люди, и он не познавал эту власть, и это время, и этот закон. По отношению к ним постепенно ему стало казаться позорительным все: можно было украдь, потому что он думал, что эта власть медленно убивает его. И оттого, что он был ничтожеством, нечтохожим на других, ему казалось, что он-то и есть настоящий, а ничтожества — это все остальные, именно потому что они нечтохожи на него...

Он кончил тем, чем и должен был кончить — уголовщиной, в которой было достаточно политических мотивов для того, чтобы поймав его, ему предъявили статью о контрреволюции. Работая клаузенщиком в совхозе, он перед вечерним сеансом разворовал запасные автомобильные части, а когда кража должна была вынырнуть наружу поджег склад. Его приговорили к расстрелу, заменив потом это многими годами заключения.

Он бежал из лагеря в первый же месяц войны с заранее обдуманным твердым намерением добраться до немцев. Обстоятельства немецкого наступления ему благоприятствовали и в августе 41 года где-то вблизи Смоленска он оказался на той стороне.

Он выдал себя за убежденного борца с советской властью и пропитировал допрашивающему его немцу несколько перевраченых афоризмов из Ницше, затрапезную книжку которого он читал когда-то еще в библиотеке отца.

Впрочем, немцам это было безразлично. Он мог быть полезен им при всех обстоятельствах и они взяли его без долгих расспросов. Так для него началась Краковская шинопонская школа, а потом — работа. Отныне безвыходность положения в соединении с силой немецкой муштры и силой собственной испанности заставили его на войне действовать смелей и решительней, чем он раньше мог бы предположить сам. Иногда он со свойственной ему способностью самообольщаться, даже втайне любовался своей работой. Но сейчас... Сейчас в Сталинграде он бесконечно и отвратительно устал от чувства постоянной опасности. Самое простое сосущее тошнотворное ощущение страха охватывало его при каждом близком разрыве. Сейчас он хотел только отдыха, отыска во что бы то ни стало.

Мысли Васильева прервал немецкий спарид, разорвавшийся в десяти шагах от окна. Силой воздуха цлац-палатку сорвало, хлестнув грязным концом ее по лицу Васильева. В окон посыпалась комья густой грязи...

«Началось», — с раздражением подумал Васильев.

Последние пять дней начиналось каждый раз одинаково, примерно в то же самое время, в шесть часов утра, с рассветом.

Капонада продолжалась минут пятнадцать, после чего донесся далекий трохог гусениц. Охрипший взводный крикнул: «Готовься!!» и Васильев, так же, как и другие, схватив автомат, поднялся в окно.

Отсюда было хорошо видно все, что делалось впереди. Танки выползли с улицы и двинулись на соседнюю, третью роту. Против той роты, где был Васильев, или автоматчики. На этот раз их было много, больше чем обычно.

Когда другие начали стрелять, Васильев тоже приложился и дал первую очередь из автомата. Злость за то, что он для немцев в эту минуту ничто, и если они доберутся до окна, то в этой горячке они убьют его так же, как других, заставляя его стрелять. Больше того, он знал, что если немец подбежит к нему вилотную, а так уже один раз было, он непременно постарается застрелить, потому что если он не застрелит немца, то немец застрелит его.

Он знал это и как часто бывает с людьми, которым известно, что же се-

годия-завтра они уже будут находиться в безопасности, сегодняшняя опасность, именно в этот день, когда вечером возможно предстояло освобождение от всех опасностей, казалась ему особенно страшной. Он судорожно был из автомата, почему-то быстро шепча про себя с детства привычную фразу: «Боже мой, боже мой...»

Сабуров, все-таки кое-как спавший и в эту ночь, проснулся тогда же, когда и Васильев, от трохота канонады. Быстро, еще не открывая глаз, он нашарил рядом с собой свалившуюся с койки шинель, натянул ее и только тогда, сев на койку, открыл глаза. В первый раз за всю войну он почувствовал головокружение: в воздухе плясали огненные точки, потом они превращались в сплошные огненные круги и вертелись перед глазами, как ярмарочное колесо.

Он поднялся, подошел к лампочке и, взяв со стола зеркало, посмотрелся в него. «Сегодня можно еще не бриться», — подумал он. Собственное лицо показалось ему уже не бледным, а зеленым. В блиндаже было душно и вместе с тем сырь, со степ текло. Кладя на стол зеркало, он уронил его, и оно, упав на пол, разбилось. Он подобрал самый большой осколок, в который можно было еще смотреться, и положил обратно на стол.

«Разбить зеркало — дурная примета, говорят, к беде». Он усмехнулся.

В самом деле, война сейчас была такая, что все дурные приметы и сны неизменно исполнялись. Не одно, так другое несчастье или беда приходили каждый день. Да, стать суеверным в таких условиях не трудно.

Он свернулся цыгарку и чиркнул спичку. Спичка не зажглась. Он чиркнул еще и еще, подряд штук десять. Плюнув, бросил на пол и цыгарку и спичечную жоробку. В блиндаже скопилось столько углекислоты, что спички не загорались. Он перешел сюда позавчера. В первый же день немецкого наступления после затишья, у него разбило несколькими прямыми попаданиями снарядов подвал котельной. Он перешел в другой, но на следующий день к вечеру разбило и другой. Тогда он перебрался сюда.

Этот блиндаж был еще глубже подвала. Здесь когда-то лежали канализационные трубы, уходившие под землю. Саперы расширили за одну ночь отверстие и сделали блиндаж. За пять дней третий командный пункт! Он не мог понять — то ли немцам начало неслыханно везти, то ли у них здесь в его батальоне были свои глаза и уши. Он невольно старался отнести эту мысль, хотя каждый раз, отмечая, снова наталкивался на нее. По своему складу души, он любил верить людям и не хотел поддаваться мысли о предательстве. Ему казалось, что сейчас, вот здесь, в Сталинграде, где они все равны перед лицом смерти, предательства среди них не должно и не может быть. Нет, это простая случайность, дикое совпадение. Бывают же на войне, в конце концов, и такие удивительные совпадения...

Он вышел из блиндажа, по ходу сообщения добрался до наблюдательного пункта и оттуда стал руководить отражением атаки. Телефонная связь с ротами рвалась три раза; за час убило двух связных. Наконец, немцев отбили. День обещал быть трудным.

Сабуров вернулся в блиндаж, позвал Масленникова и отдал приказания, необходимые для отражения новых атак.

Едва он успел поговорить с Масленниковым, как к нему в блиндаж влез

знакомый военюрист из дивизии, следователь прокуратуры. Сабуров, поднявшись с койки, поздоровался с ним.

— Что, — спросил он, — со Степанова допрос снимать будете?

— Да.

— Горячо сегодня, не время.

— Ну, что ж — не время. Все время не время, неизвестно, когда время будет, — возразил следователь. — Ничего не поделаешь.

— Отряхнитесь, — сказал Сабуров.

Следователь только теперь заметил, что был весь в грязи.

— Ползли?

— Да.

— Хорошо, что благополучно.

— Да, почти, — сказал следователь. — У вас сапожника нет в батальоне?

— А что?

— Да вот осколком, как на смеx, полкаблука оторвало.

Он вытянул ногу: у сапога действительно было аккуратно отрезано полкаблука.

— Нет сапожника. Был один — вчера ранили. Где же Степанов? Петя, — кивнул Сабуров, — проводи товарища командира к дежурному, там у него за помощника Степанов сидит — боец, знаешь?

— Знаю.

— Как, помощник дежурного? — удивился следователь.

— А что же мне с ним делать? Охрану возле него ставить? У меня и таких людей нет...

— Так он же под следствием.

— Так что ж, что под следствием. Говорю вам — нет людей. Тут мне в ожидании ваших решений его охранять некем и, по совести говоря, на этот раз, по моему, не для чего...

Следователь вышел вместе с Петей. Сабуров, глядя им вслед, подумал, что война изобилует странными вещами, почти нелепыми. Конечно, этот следователь делает свое дело, и Степанова, быть может, и надо отдать под суд, но вот следователь приполз допрашивать здесь... Для того, чтобы снять допрос, он рисковал жизнью... Его пять раз могли убить по дороге, и когда он будет допрашивать, его тоже могут убить, и когда он пойдет обратно в дивизию, ее может быть, возьмет с собой Степанова, то и Степанова и его из обратного пути совершенно одинаковым образом могут убить. А между тем все это вместе взятое так будто происходило по правилам, так, как и должно было происходить.

Забрав Степанова из дежурки и для порядка взяв конвоя, следователь устроился в полуподвале с обвалившимися окнами и просвечивающим сквозь дыру в перекрытии пеблом. Стена была в двух местах сквозь пробита снарядами, на каменном полу застыли темные пятна крови — наверное тут кого-нибудь убили или ранили.

Степанов сидел на карточках у стены, следователь на кирпичах посредине подвала. Он записывал, положив на колени плащевку...

Степанов был колхозник из-под Пензы, боец второй роты. Ему было тридцать лет. Дома у него остались жена и двое детей. Его призвали в армию, и он сразу же попал в Сталинград. Вчера вечером, во время последней атаки немцев, когда он со своим напарником Смыслиевым сидел в глубоком «ласточ-

кином гнезде» и стрелял по танкам из длинного противотанкового ружья, он промахнулся два раза подряд, и следший на окопы танк, прогрохотав гусеницами над головой и обдав окоп запахом бензина и гари, прополз дальше. Смыслиев закричал что-то непонятное, яростное, приподнялся и бросил вслед танку под гусеницу тяжелую противотанковую гранату. Она взорвалась, танк остановился, но в это время второй с тем же ревом пронесся над окопом. Степанов успел нырнуть глубоко в гнездо и его только засыпало землей. Смыслиев не успел. Когда Степанов приподнялся, вместе с землей в «ласточкино гнездо» свалился Смыслиев, вернее, нижняя часть его, до пояса, — все, что было выше, было отрезано и раздавлено танком. Когда этот кровавый обрубок упал в окоп, рядом со Степановым, он не выдержал и, не думая больше ни о чем, пополз из окопа. Он полз все время к Волге, ничего не соображая, стремясь только отползти как можно дальше назад.

Ночью его нашли уже в расположении штаба полка. Он не был в состоянии что-либо скрыть, и просто рассказал все, как было. Бабченко дал ему полвоира и с сопроводительной отправил обратно к Сабурову, послав по официальной линии в дивизию сведения о нем, как о дезертире.

Сабурову доложили об этом случае, но он в суматохе боя не успел поговорить со Степановым, а теперь по донесению Бабченко сюда уже явился следователь разбирать дело...

Степанов сидел перед ним и отвечал то же самое, что он отвечал вчера ночью Бабченко. Следователь против обыкновения медлил и задавал много вопросов. Происходило это от того, что он, в сущности, не знал, что делать со Степановым. Степанов был дезертир, но в то же время ничего преднамеренного он не сделал. С ним произошел шок: он не вынес ужаса и пополз назад. Может быть, если бы он дополз до берега Волги, он бы отомнился и вернулся обратно. Так думал следователь, так думал сейчас, прия в себя, и сам Степанов. Но факт дезертирства оставался фактом и ради общего порядка оставить это безнаказанным было нельзя.

— Я бы обратно пришел, ей богу, — после молчания, не ожидая новых вопросов, убежденно сказал Степанов. — Я бы и сам пришел...

В эту минуту беспрерывно гремевшая кругом канонада прекратилась и раздались близкие автоматные очереди. Петя, пробегавший через подвал от Сабурова к дежурному, крикнул на ходу:

— Немцы прорываются. Капитан приказал всем, кто с оружием, в бой, — и побежал дальше.

Следователь, немолодой и, в сущности, штатский человек, переодетый в военное, снял очки, протер стекла, снова надел их, и взяв лежавший рядом с ним автомат, оружие, с которым уже давно никто в дивизии не расставался, петропливо вылез через пролом наружу. Красноармеец, охранявший Степанова, в сомнении посмотрел на него, потом на пролом в стене, потом снова на Степанова, и, спокойно сказав: «Ты посиди пока тут», вылез вслед за следователем.

Это была вторая за день решительная атака немцев, когда их автоматчики, человек двадцать или тридцать, через стену забрались в самый двор дома. Во дворе шла перестрелка, в упор. Были подняты на ноги все, кто находился в штабе батальона и кругом него.

Сабуров сам выбрался наверх и руководил боем настолько, насколько возможно руководить рукопашной.

Мыслут через двадцать большинство немцев было убито, остальные были выбиты за ограду двора. Следователь и конвойр влезли обратно через пролом и устало опустились на кирпичи. У следователя из кисти руки, слегка задетой пулей, сочилась кровь.

— Надо перевязать, — сказал конвойр.

— У меня пакета нет.

— Нет? — сказал Степанов и, торывшись в кармане гимнастерки, вытащил оттуда индивидуальный пакет.

Он и конвойр вдвоем перевязали раненому руку. Потом Степанов отошел и снова присел у стены. Лишь теперь они вспомнили, что допрос был прерван атакой и его очевидно надо продолжить. Но продолжать допрос следователю не хотелось. Чтобы протянуть время и отдохнуться, он здоровой рукой вытащил из кармана кисет с табаком, с трудом, помогая себе забинтованными пальцами, свернул цыгарку, потом, посмотрев на Степанова и конвойра, машинально, с той автоматической привычкой делиться табаком, которая появляется у людей, долго пробывших на фронте, протянул им кисет.

— Берите.

Степанов вслед за конвойром тоже взял щепотку и, вытащив заботливо хранимый обрывок газеты, оторвал полоску и свернул цыгарку. Они все втроем закурили. Это молчаливое курение продолжалось минут десять. Тем временем снова началась канонада. Под звуки ее следователь стал часах доканчивать допрос, с трудом придерживая пакет раненой рукой.

Вскоре допрос был окончен, предстояло только сделать заключение. В эту минуту, так же, как и в первый раз, канонада прекратилась, и снова начались немецкая атака.

Заслышав автоматные очереди, следователь снова молча потянул к себе автомат, взял его в здоровую руку и, не оборачиваясь, вылез из подвала. Конвойр полез вслед за ним.

Степанов снова остался один. Он растерянно огляделся по сторонам. За стеною слышались близкие выстрелы. Степанов еще раз поглядел по сторонам и подошел в пролом следом за конвойром. Выскочив наружу, он огляделся и, увидев рядом с лежавшим на земле трупом красноармейца, винтовку, схватил ее. Пробежав несколько шагов, он лег за груду кирпичей, неподалеку от следователя и еще нескольких лежавших тут же бойцов. Когда левее него немцы выскочили из-за стены, он вместе со всеми начал стрелять по ним. Потом поднялся, пробежал несколько шагов и, перевернув винтовку, прикладом ударили по голове побежавшего на него автоматчика. Потом снова упал за камни и несколько раз выстрелил по двигавшимся в глубине двора немцам.

Немцы тоже стреляли. На этот раз во двор их прибралось человек десять и через несколько минут они все были или убиты или ранены.

Атака отхлынула, выстрелы гремели уже далеко за стеной. Степанов встал и, не зная что делать, подошел к стене, где лежали следователь и конвойр. Конвойр встал, но следователь продолжал лежать: он был ранен в ногу. Степанов поднял его, увидев, что пога, почти пересеченная автоматной очередью, сильно кровоточит, и, взвалив следователя на плечи, потащил в подвал. Там он опустил его на пол, подложив, чтобы было човыше, два или три кирпича в изголовье.

— Сходи за фестрой или санитаром, — сказал следователь Степанову.

Через несколько минут Степанов привел санитара, который, согнувшись

над раненым, стал перевязывать ему ногу. Раненый не стонал. Он лежал молча и ждал, когда кончится эта боль.

По дороге к себе в блиндаж, через подвал прошел Сабуров. Он сегодня окончательно устал. Несмотря на всю его физическую силу, ему было даже тяжело нести автомат, и он волочил его за собой прикладом по земле.

Он посмотрел на Степанова, потом на раненого и спросил:

— Сильно задело?

— Порядочно.

— Сейчас скажу, чтоб вынесли вас, а то опять начнется.

Он с сожалением посмотрел на белое без кровинки лицо следователя и, не зная, что добавить, спросил:

— Что с допросом-то хотят кончили?

— Да, кончили, — сказал следователь, кивнув на Степанова.

— Ну, и какое же ваше заключение?

— Какое ж заключение, — сказал следователь. — Будет воевать. Вот и все.

Он взял папашу, вытащил оттуда протокол и написал внизу: «Состава преступления, достаточного для предания суду трибунала, нет. Отправить на передовые», и расписался.

— Отправить на передовые, — повторил он вслух и, превозмогая боль, улыбнулся, вспомнив все, только что произшедшее с ними.

— Да, — сказал Сабуров, в свою очередь усмехнувшись, — отправлять будет недалеко, шагов сто. Ну, — повернулся он к Степанову, — иди к себе в роту. Винтовка у тебя чья?

— С убитого взял, товарищ капитан.

— Ну, будет твоей. Можешь идти... Должи Потапову, что я тебя прислал.

Был особенно тяжелый день, — один из тех, когда напряжение всех душевных сил доходит до такой степени, что в самый разгар боя неожиданно и невыносимо хочется спать. После двух утренних атак в полдень последовала третья. В обращенной к немцам части двора высилось небольшое полуразрушенное складское здание. Было оно построено прочно, с толстыми стенами и глубоко уходившим в землю подвалом. Среди оставшихся зданий, занимаемых Сабуровым, оно стояло особняком, немного впереди и на отлете. Именно сюда и направили немцы свою атаку в третий раз.

Когда четырем или пяти танкам удалось подойти вплотную к складу и они, прикрывшись его стенами от огня артиллерии, стали стрелять из пушек прямо внутрь, немецкие автоматчики забрались через проломы, и через пятнадцать минут там произвучал последний выстрел. Первое, естественное, желание Сабурова было попытаться тут же, среди белого дня, отбить склад. Но Сабуров сдержал себя. Он принял трезвое решение: сосредоточить весь огонь позади склада, не давая немцам до темноты втянуться туда крупными сплами, а контратаку произвести в темноте, когда решимость и привычка к почной штурмовой работе козметят ему очевидный недостаток людей.

Бабченко, которому он доложил по телефону о потере склада, ничего не ответил по существу, но долго и злобно матюгался и в заключение сказал, что сейчас придет сам. Нельзя сказать, чтобы это обрадовало Сабурова. Он предчувствовал столкновение с Бабченко, и его опасения оправдались. Бабченко, согнувшись, влез в блиндаж, злой, потный, с головы до ног обрызганный грязью. Сабуров ждал его внутри.

— Ишь, забрался,— сказал Бабченко.— Сколько метров над головой?

— Три,— сказал Сабуров.

— Ты бы еще глубже залез.

— А мне глубже не надо,— сказал Сабуров.— И так не пробьет.

— Залез в землю, как крот,— сказал Бабченко тем же злым голосом.

В сущности, ему не к чему было придраться. Сабуров копал этот блиндаж не специально, а только расширил канализационные трубы, и то, что блиндаж его был глубоко и находился в безопасности даже от прямых попаданий, было только хорошо. Но в связи с тем, что немцы отбили склад, Бабченко хотел сказать Сабурову что-нибудь обидное, и он сказал эти слова о блиндаже именно в обидном смысле,— что вот Сабуров залопался в землю, в то время как его бойцы сидят наверху.

— Залопался,— повторил он.

Сабуров сегодня устал, был зол и не меньше, а может быть больше, чем Бабченко, расстроен потерей склада. Он чувствовал, что до самого вечера,— до тех пор, пока не удастся отбить склад обратно, эта мысль, как заноза, будет мучить его, и поэтому в ответ на слово «залопался» сказал с вызовом:

— Что, товарищ подполковник, прикажете командный пункт наверх перенести?

— Нет,— сказал Бабченко, почувствовав в словах Сабурова иронию.— Склад отдавать не надо было, вот что.

Сабуров промолчал. Он ждал продолжения.

— А что думаешь делать?

Сабуров доложил свой план ночной контратаки.

— Что ж,— сказал Бабченко, посмотрев на часы.— Сейчас два. Значит, так и будут они до темноты там сидеть? Ты приказ читал, что ни шагу назад, а? Или, может быть, ты с приказом не согласен?

— В шесть часов я начну атаку,— стараясь сдержаться, сказал Сабуров,— а в семь склад будет у меня.

— Ты мне это не говори. Ты приказ читал, что ни шагу назад?

— Да,— сказал Сабуров.

— А склад отдал?

— Да.

— Сейчас же отбить! — крикнул не своим голосом Бабченко, вскакивая с табуретки.— Не в семь, а сейчас же.

По его лицу и движениям Сабуров понял, что Бабченко был на той же грани усталости и нервного исступления, на которой находился сегодня он сам. Спорить с Бабченко в эту минуту было бесполезно, и если бы дело шло лишь о том, что вот сейчас ему, Сабурову, было бы приказано идти одному к сараю среди белого дня,— то он бы встал и пошел, с горьким чувством, что если нельзя командиру полка доказать его неправоту не чем иным, кроме своей собственной смерти, то,— чорт с ним,— он, Сабуров, докажет ему это своей смертью. Но в контратаку сейчас нужно было вести людей, то есть надо было доказывать Бабченко, что он неправ, не только ценой собственной жизни, но и жизни других.

— Товарищ подполковник, разрешите доложить...

— Ну?

Сабуров еще раз повторил все мотивы, по которым он решил отложить атаку до ночи, и добавил, что он ручается за то, что в течение дня будет держать всю площадь за складом под таким огнем, что до ночи там внутри не прибавится ни одного немца.

— Ты приказ, чтобы ни на шаг не отступать, читал? — еще раз спросил Бабченко все с тем же беспощадным упрямством.

— Читал, — сказал Сабуров, вытягиваясь, не сводя глаз с Бабченко, и встречая его взгляд таким же злым и беспощадным взглядом. — Читал. Но я не хочу сейчас людей класть там, где их не надо класть, где можно почти без потерь все взять обратно.

— Не хочешь? Я тебе приказываю.

У Сабурова вдруг мелькнула мысль, что надо вот сейчас же что-то сделать с Бабченко, заставить его замолчать, не дать ему больше повторять этих слов, ради спасения жизни многих людей, позвонить Проценко и дождаться ему, что делать так, как хочет Бабченко, нельзя.

Но вместо всего этого, продолжая все тем же беспощадным взглядом смотреть на Бабченко, Сабуров сказал: — Разрешите выполнять?

— Выполняй.

Все, что произошло после этого, осталось надолго в памяти Сабурова, как дурной сон. Они вылезли из блиндажа, Сабуров в течение получаса собрал всех, кто был под рукой. Бабченко по телефону приказал поддержать контратаку пятью, оставшимися еще в полку, пушками, которые, впрочем, едва ли могли принести тут пользу. И контратака началась.

Хотя батальон начинал бои всего двадцать дней назад почти в полном составе, но сейчас, когда понадобилось днем, среди боя, организовать контратаку, Сабуров собрал вокруг себя тридцать человек. Это был весь резерв, на который он мог рассчитывать.

Бабченко торопил. Слова «ни шагу назад» он понимал буквально, не желая считаться ни с тем, что было, ни с тем, чего будут стоить эти ненужные сегодняшние потери завтра, когда немцы снова пойдут в атаку. Атака не была подготовлена, к началу ее с левого фланга не успели перетащить даже минометы, которые хоть как-то могли помочь, а Сабуров со своими тридцатью бойцами, перебегая от стены к стени, от развалин к развалинам, уже пошел в атаку на дом.

Кончилось это так, как он и ожидал. Десять человек остались лежать между развалин. Остальные нашли себе каждый какое-нибудь укрытие неподалеку от склада, и никакая сила не могла заставить их подняться. Атака не удалась и, очевидно, в таких условиях не могла удастся.

Когда люди залегли, немцы стали засыпать их минами. Остаться здесь лежать, где попало, за ненадежными укрытиями, означало верную смерть. Огонь все усиливался. Разорвавшаяся рядом мина слегка контузила Сабурова: вся левая половина лица вдруг сделалась чужой, словно набитой ватой. Обломками кирпича его оцарапало, по лицу текла кровь, по оп ее не замечал. Когда огонь стал совершенно невыносимым, Сабуров, дав знак остальным, пополз обратно.

На обратном пути убило еще одного. Через час после начала этой затеи Сабуров стоял перед Бабченко за низким, обвалившимся выступом дома, где

тот, почти не прячась, с самой близкой дистанции, все время под огнем, наблюдал за атакой.

Сабуров козырнул и с хрустом опустил на землю автомат. Должно быть, его измазанное кровью и грязью лицо было так страшно, что Бабченко сначала ничего не сказал, а потом произнес:

— Отдохните.

— Что? — спросил Сабуров, не расслышав.

— Отдохните, — повторил Бабченко.

Сабуров опять не расслышал. Тогда Бабченко крикнул ему в самое ухо.

— Меня контузило, — сказал Сабуров.

— Отдохните, — сказал Бабченко в четвертый раз и пошел по направлению к блиндажу.

Сабуров двинулся вслед за ним. Они не спустились в блиндаж, а сели на корточки рядом, у выступа стены, где была дежурка. Оба молчали, обоим не хотелось смотреть друг другу в глаза.

— Кровь, — сказал Бабченко. — Ранен?

Сабуров вытащил из кармана грязный, земляного цвета, носовой платок, плонул на него несколько раз и вытер лицо. Потом опустил голову.

— Нет, поцарапан, — сказал он.

— Вызовите из рот всех, кого можно вызвать, — приказал Бабченко, — я сам поведу их в атаку.

— Сколько людей? — спросил Сабуров.

— Сколько есть.

— Больше сорока не будет, — сказал Сабуров.

— Сколько есть, я уже сказал, — повторил Бабченко.

Сабуров распорядился вызвать людей и перетащить поближе минометы: все-таки они хоть чем-то могли помочь. Он понимал состояние Бабченко. При всем упрямстве Бабченко сознавал, что эта атака была неудачной по его вине и что следующая атака едва ли предвещает что-нибудь хорошее. Но после того как на его глазах, по его приказанию, бессмысленно погибли люди, он считал необходимым для себя попробовать сделать самому то, что не сумели сделать его подчиненные, — доказать, что он хотел возможного.

Пока подтаскивали минометы и собирали людей, пока давались последние приказания перед атакой, Бабченко вернулся обратно за обломок стены, откуда он наблюдал первую атаку, и стал внимательно рассматривать лежавшее впереди пространство двора, прикидывая, откуда будет удобнее и безопаснее перебегать. Сабуров молча стоял рядом с ним. Шагах в сорока разорвалась тяжелая немецкая мина.

— Заметили, — сказал Сабуров. — Отойдемте, товарищ подполковник.

Бабченко молчал и не двигался. Вторая мина разорвалась с другой стороны, тоже не дальше, как в сорока шагах.

— Отойдемте, товарищ подполковник. Заметили, — повторил Сабуров.

Бабченко продолжал стоять. Это был вызов. Он хотел показать, что только что, послав людей в атаку, он требовал от себя такой же готовности к смерти, какой требовал от других.

— Пойдемте, — почти крикнул Сабуров в третий раз, когда очередная мина разорвалась совсем близко.

Бабченко молча повернулся к нему, посмотрел ему в глаза, плонул себе под голову и твердыми, недрогнувшими пальцами достав из кисета щепоть табаку, сгрнул папироску.

Следующая мина разорвалась прямо перед стенкой. Над их головами пронеслось несколько осколков, посыпалась пыль. Сабуров заметил, как Бабченко вздрогнул, и это естественное человеческое движение заставило Сабурова в свою очередь вдруг сказать простые человеческие слова:

— Филипп Филиппович, — сказал он Бабченко, — отойдемте, а?

Бабченко молчал. Потом, вспомнив, что папироска уже скручена, опустил ее из кармана зажигалку, несколько раз чиркнув, зажег ее, повернулся кротко, выра и низко наклонился, чтобы закурить.

Может быть, если бы он не повернулся, его бы не убило, но он повернулся, и мина разорвавшаяся в пяти шагах мины попал ему в голову. Он упал к ногам Сабурова, тело его только один раз вздрогнуло и замерло. Сабуров, устремившись рядом с ним на четвереньки, повернул его изуродованную, кровавеленную голову и с неожиданным для себя равнодушием подумал, что так оно и должно было случиться. Он приложил ухо к груди Бабченко, чтобы не было.

— Убят, — сказал он.

Потом повернулся к Пете, лежавшему в пяти шагах, за стенкой и приказал:

— Не я, иди помоги.

Петя подполз к нему. Они взяли Бабченко за плечи и за ноги и, согнувшись, быстро перенесли его к блиндажу.

— Минометы перетащили, — сказал подбежавший к Сабурову лейтенант. — Нужно открыть огонь?

— Не, — сказал Сабуров. — Сейчас же перетащите их обратно.

Он позвал Масленникова и приказал ему отменить все приготовления к атаке и прнуть людей на их места. Потом, спустившись в блиндаж, позвонил в пост. К телефону подошел комиссар. Сабуров доложил, что Бабченко убит, и лежит, при каких обстоятельствах и сказал, что доставит его тело в пост, когда стемнеет.

Он дал распоряжение об оказании помощи раненым и о подготовке к почтой атаке склада.

Немцы не предпринимали пока ничего нового. Привычным чутьем своим Сабуров угадывал, что на сегодня с их стороны, пожалуй, все кончено и можно не ждать повторения атак до следующего утра. Он поговорил по телефону с Петром Петровым, приказав разбудить его в пять, перед началом темноты.

XIII

Он приснулся не от шума, а от пристального взгляда. Перед ним стояла Аня. Она смотрела на него своими большими, спокойными детскими глазами. Он и дышал и молча сел, тоже глядя на нее.

— Я просила вашего ординарца вас разбудить, — сказала Аня, — а он не пришел. А я уже давно здесь. Мне уже надо было уходить. А видеть вас очень хотелось. — Она протянула Сабурову руку: — Здравствуйте.

— Садитесь, — сказал Сабуров, подвигаясь на койке. Аня села.

— Вижу, вы совсем поправились.

— Да, совсем, — сказала Аня. — Я ведь была легко ранена. Только мало крови потеряла. А так совсем легко. Вы знаете, — быстро добавила она, не дав ей ничего сказать, — я встретила маму. Мы теперь с ней вместе.

— Вместе?

— Ну, не совсем вместе. Она там же в деревне, в избе, живет, где наша медсанбат стоит. Я там почую с нею вместе. То есть не почую, я по утрам сплю, когда возвращаюсь с переправы. В общем, мы вместе с ней.

— Вы уже давно опять ездите сюда?

— К вам первый раз, а вообще четвертый день. Я маме про вас рассказывала...

— Что же вы рассказывали?

— Все, что знаю.

— А что же вы знаете про меня? — улыбнулся Сабуров.

— Очень много, — сказала Аня.

— Ну, а все-таки?

— Много, много, почти все, — в свою очередь улыбнулась она.

— Все?

— Я даже знаю, сколько вам лет. Вы тогда говорили правду. Вам двадцать девять лет. Мне ваш ординарец сказал.

— А вот я привлеку его к ответственности за разглашение военной тайны, — с шутливой строгостью сказал Сабуров. — Что же он вам еще рассказывал?

— Рассказывал, что вас сегодня чуть не убили.

— Еще?

— Еще? Больше ничего. Мне у него никогда было спрашивать. Мы раненых сейчас сносили в одно место. У вас много раненых.

— Да, много, — помрачнев, сказал Сабуров. — Много. Значит, никогда было? А если бы было время, еще бы спрашивали?

— Да, непременно.

— Ну, тогда спрашивайте у меня самого. — Он посмотрел на часы. — У меня есть время.

— Вы лучше спите. Я вас разбудила.

— Почему разбудили, я сам проснулся.

— Нет. Это я вас разбудила. Я на вас так долго смотрела, что вы проснулись. Нарочно. Я хотела, чтобы вы проснулись.

— Выходит, у вас магнитическая сила взгляда, — сказал Сабуров, чувствуя, что он говорит совсем не то, что хочет, и сразу добавил другим тоном:

— Я очень рад вас видеть.

— Я тоже, — сказала Аня и посмотрела ему в глаза.

Он понял, что тот неожиданный поцелуй почью, когда она лежала на постеликах, ею не забыт, и вообще ничего не забыто и что все то немногое, что было между ними, на самом деле очень важно. Он почувствовал это сейчас, когда взглянул на нее.

— Я тут совсем замотался, — сказал он вслух. — Я даже редко вспоминал о вас, так тут все было...

— Я знаю, — сказала Аня. — Я расспрашивала. У нас в медсанбате несколько раз были ваши бойцы. Я у них спрашивала, как у вас тут.

Сабуров поглядел на Ань. Она сидела неподвижно и теребила пальцами краешек гимнастерки. Он понял, что это не от смущения, а оттого, что она хотела сказать что-то важное и подбирала слова.

— Ну? — выжидающе спросил он.

Она молчала.

— Ну, что? — повторил он.

— Я много думала о вас, очень много, — сказала она с отличавшей ее серьезной прямотой.

— И что надумали?

— Я ничего не надумала. Я просто думала о вас. Мне очень хотелось еще раз с вами поговорить.

Она вопросительно посмотрела на него, ожидая, что он ей ответит, и он почувствовал, что она ждет, чтобы он сказал что-то хорошее, умное и успокаивающее, что все еще будет хорошо, и что они оба будут живы и еще что-нибудь такое же взрослое, отчего она почувствовала бы себя девочкой, находящейся под его защитой. Но ему ничего не хотелось говорить, ему просто хотелось придвигнуться к ней и обнять ее. Он положил руку ей на плечо, как тогда на пароходе, чуть придвигнул ее к себе и сказал:

— Я так и думал, что вы придетете.

И за этими словами она почувствовала, что он тоже хорошо помнит этот поцелуй на посылках и что именно поэтому говорит: «Я так и думал».

— Вы знаете, — сказала она, — наверное, у всех так бывает в жизни, как у меня сейчас. Вот приходит день, и чего-то в этот день очень ждешь как сегодня с утра я весь день ждала, что увижу вас, и ничего кругом не замечала. Днем очень стреляли, а я почти не замечала. Так я, если к вам ездить буду, пожалуй, и храброй стану, а?

— Вы и так храбрая.

— Нет, так не храбрая. а вот сегодня храбрая.

Он посмотрел на часы.

— ...На улице уже начинает темнеть?

— Да, — сказала она. — Наверное. Я не заметила. Наверное, наверное. — зас্তременулась она. — Надо уже вывозить раненых. Я пойду.

Он был рад этим ее словам «я пойду», потому что по часам следовало уже начинать готовиться к атаке и он был рад, что она уходит первой.

— Вы ведь в один раз не заберете всех? — спросил он.

— Нет, — сказала она. — Я еще раза два буду сегодня. До утра бы всех... знать, то хорошо...

Чувствуя, что разговор сейчас уже не может продолжаться, Сабуров, неная что добавить в эту последнюю минуту, встал и сказал:

— У нас командир полка убит сегодня. Вы знаете?

— Да, знаю. Рядом с вами, мне сказали. Вас контузило сегодня?

— Немножко.

Он посмотрел на нее и только теперь догадался, что она сегодня говорила ромче, чем обычно, наверно потому, что знала о его контузии.

— Тоже Петя рассказал?

— Да... Я вас еще увижу сегодня?

— Да, да, конечно,— заторопился Сабуров.— Конечно, увидите. А как же. Только...

— Что?

Он хотел сказать, чтобы она была осторожнее и остановился. Как она могла быть осторожнее? Всегда один и тот же, обычный путь, по которому надо нести раненых, в одно и то же время дня. Как она могла быть осторожнее? Просто глупо было бы говорить ей об этом.

— Нет, ничего,— сказал он.— Конечно, увидимся. Непременно.

Когда она вышла, Сабуров с минуту находил молча. Потом встал и быстро надел шинель. Ему захотелось поскорей покончить с атакой склада и на этот раз не только потому, что это было нужно вообще, но еще и потому, что только после этого он мог снова увидеть Аню. Он подумал об этом и сам испугался и удивился этой мысли, потому что он не мог скрывать от себя того, что это была мысль о любви.

Однако, мысль все-таки возникла и не исчезала. Она оставалась с ним и тогда, когда он давал последние распоряжения перед атакой, и тогда, когда они попали в эту атаку и спачала ползли среди развалин, а потом перебегали под огнем, и тогда, когда бросив две гранаты, он ворвался с остальными в сарай и там началась та ночная перебориха с выстрелами, криками и стонами, которая называется рукопашной.

На этот раз он взял склад обратно, имея только одного убитого и пятерых раненых. И хотя у него было, как у многих русских людей, не показное, а действительное душевное правило не думать и не говорить плохо о мертвых, но он еще раз с раздражением подумал о Бабченко.

Ванин, вернувшийся днем из второй роты, участвовал в атаке вместе с ним. Хотя это и было неблагородно, но он настоял на этом и Сабуров не нашел в себе силы отказать. Вообще он сейчас испытывал такое душевное состояние, при котором ему трудно было отказать человеку в чем-нибудь хорошем. Они все время были рядом и вернулись вместе. Сейчас комиссар, сидя против него на койке, возился с автоматом. Автомат был в грязи, надо было разобрать его и почистить. Сабуров, сидя против комиссара, видел, как тот, уперев приклад автомата себе в живот, с усилием пробовал отомкнуть защелку. При этом Сабуров заметил, что дуло комиссарского автомата направлено прямо на него.

— Когда оружие чистишь, целься в пол или в потолок... а не в соседа. Возьми себе за правило,— опять-таки в этот момент подумав о своем будущем свидании с Аней, неожиданно строго сказал он.

— Да он же не заряжен,— сказал Ванин.

— Все равно.

Ванин пожал плечами, щелкнул автоматом в доказательство того, что он не заряжен, и продолжал чистить его, теперь уже направив дуло в пол.

— Этот сарай, между прочим,— сказал он,— был для декораций. Вот тут зом, что впереди, это ведь театр строился, а при нем сарай был для декораций. И двор. Там рельсы были положены, чтобы на вагонетке декорации прямо со сцены увозить. Здорово, верно?

— Верно,— сказал Сабуров и невольно улыбнулся.

— Ты что?— спросил Ванин.

— Улыбаюсь? Я улыбаюсь потому, что подумал — кажется нет ни одного дома кругом, о котором бы ты не знал самых интимных подробностей.

— А как же? Я же все это строил. И не только дома, я почти всех людей тут знаю. Тут девушка-сестра была у тебя, да?

— Да, — сказал Сабуров пастороженно. Он подумал, что сейчас Ванин позволит себе какую-нибудь шутку на этот счет, и приготовился дать отпор.

— Ну, вот, — сказал Ванин. — Я ведь ее тоже знаю. Она на тракторном работала... в инструментальном цехе нормировщицей. Мы ее хотели комсоргом цеха назначить — я ее хорошо помню, — перед войной.

Оказалось, это было все, что он хотел сказать о девушке.

— Всех помню, — сказал он, уже забыв о ней. — Тракторный себе представляю не таким, как он есть, а каким он раньше был. А за станками люди. Представляю себе даже их лица... Ты чего угрюмый сегодня? Устал?

— Нет, — сказал Сабуров. — Я уже отдохнул, спал днем.

— А все-таки угрюмый.

— Нет, я не угрюмый. Просто думаю.

— О чем думаешь? О Бабченко?

— И о Бабченко.

— Да, — сказал Ванин, — убили. Интересно, кого теперь назначат. Может, тебя?

— Нет, — сказал Сабуров, — наверное, Власова из первого батальона назначат. Он майор.

— Да... Бабченко убили, — повторил Ванин. — Ты поругался с ним сегодня.

— Да.

— Мне говорили.

— Кто?

— Масленников.

— Он приказал делать дневную атаку, а я не хотел. И не надо было. Одиннадцать человек потеряли.

— А переубедить нельзя было?

— Нет. Если б можно было, я не пошел бы в атаку. Зазвонил телефон.

— Вас спрашивают, — сказал связист.

Сабуров подошел. У телефона был Проценко. Сабуров обрадовался его голосу.

— Как живешь? — спросил Проценко.

— Хорошо.

— Что же хозяина своего не уберег, а?

— Не мог, — сказал Сабуров. — Хотел и не мог.

— А легко отбили склад? — спросил Проценко.

— Легко, с малыми потерями.

— Вот так с самого начала и надо было, — отсечь подход подкрепленный и бить в почью. Так и на будущее себя заведи.

Это звучало упреком, и правда, мягким, по упреком. Сабуров хотел было сказать, что не он устранил эту дневную атаку, а Бабченко, но потом вспомнил, что Бабченко уже убит, и плох он был там хороши, но тоже погиб за Сталинград, и промолчал.

Аня действительно сдержала свое слово и поздно вечером забежала еще раз. Она очень торопилась, так торопилась, что забежала ровно на минуту. И все-таки, как ни кратко было это свидание, Сабуров попял, что отыне они

будут видеться столько, сколько можно, и, даже когда они встретятся на минуту, все равно это будет хорошо.

Когда она опять убежала, он почувствовал тревогу за нее и впервые в Сталинграде испытал ощущение, что все окружающие их опасности совсем разные,— один из них, сами собой подразумевающиеся — для него, и другие, очень страшные и неожиданные — для нее. И он ощущал с полной ясностью, что теперь, наверное, всегда будет бояться за Аню.

Все дневные и вечерние дела были закончены. Оставалось ожидать одиннадцати часов — того времени, когда Сабуров приказал Васильеву притти, чтобы двинуться на рекогносцировку. Возможность сегодня разведать, а завтра ночью попробовать окружить немецкую роту была заманчивой, и он подумал сейчас о предстоящем с радостью и верой в удачу. Желание говорить сейчас с кем бы то ни было, кроме Ани, охватило его. Он прилег опять на койку и долго молчал. Ему хотелось поскорей покончить с последним сегодняшним делом и остаться хотя бы на полчаса одному со своими мыслями. Он крикнул Петя, здесь ли Васильев.

— Нет еще, — ответил Петя.

— Позови его. И главное, чтобы поскорее.

Васильев явился через пять минут. Все у него было уже готово: на шее висел автомат, две гранаты в аккуратном холщевом мешочке были прикреплены к поясу и неизменный плоский штык, снятый с автоматической винтовки, висел на пояске рядом с гранатами. Он был без шинели, налегке, в одном наглухо застегнутом ватнике. Так он всегда ходил в разведку.

— Сейчас пойдем, — сказал Сабуров вставая. — Петя, скажи Петрову, что он со мной пойдет.

Петров был сабуровским автоматчиком, сопровождавшим его в тех случаях, когда Петя оставался в штабе. Сабуров достал со стены свой автомат, надел, так же как и Васильев, ватник, снянул его потому же ремнем и, поможив в карманы две гранаты-лимонки, которые он предпочитал остальным за их малый размер и сильное действие, наклонился над койкой, ища завалившуюся за нее фуражку.

Васильев смотрел ему в спину и прикидывал, как именно все это произойдет: как они дойдут до условленного места, как он ударит штыком Петрова и как немцы бросятся на Сабурова. Спина была очень широкая, он никогда раньше не замечал, что у Сабурова такая широкая, сильная спина и длинные руки. Кроме того, Сабуров шел несколько раньше назначенного времени, и это смущало Васильева. Правда, немцы аккуратны: они, наверное, сядут в засаду заранее, хотя бы с десяти. Но вдруг нет? Что тогда? Неужели завтра начинать все снова. Он колебался между желанием задержать Сабурова и боязнью, что тот его заподозрит. Когда Сабуров, наконец, найдя на полу свою фуражку, поднялся, Васильев сказал:

— Разрешите доложить?

— Ну?

— Разрешите доложить, — повторил Васильев. — У них как раз сейчас смена постов, разводящий ходит. Может, повременить малость, товарищ капитан? Как сказали вы, в одиннадцать пойдем.

— Там же у них, вы говорили, не стоит поста?

— Нет.

— Ну, там не стоит, а с других не услышат. Шли, — сказал Сабуров и так же, как Васильев, повесил автомат на шею.

Они вышли втроем: впереди Васильев, потом Сабуров, последним Петров. Стояла сырья, — хоть глаз выколи, — темная октябрьская ночь. Мягко моросил дождик. В первую секунду показалось, что они вышли не на улицу, а только в тамбур между двумя дверьми, так было темно. Контуры стен сливались с небом, и казалось, что в высь над развалинами поднимаются тоже дома, только выкрашенные в более светлую краску.

Выйдя из блиндажа, Сабуров подумал, что в сущности не было бы большого греха, если бы он отложил эту рекогносцировку до завтра. И так слишком много всего уже было в этот день. Но ночная свежесть, тихий дождик и черное низкое небо, которое сейчас из-за дождя казалось более теплым, чем земля, — все это заставило его встряхнуться.

— Хорошая ночь, — сказал Сабуров. — Верно?

— Так точно, товарищ капитан, — подтвердил Васильев.

Сабуров вспомнил, что та станция под Миллеровым, где жила его мать и сестры, была примерно на этой же параллели, и, должно быть, там сейчас такая же или почти такая же ночь, — длинная, темная и дождливая.

— У вас где семья, Васильев? — спросил он. — Далеко?

— Далеко, — сказал Васильев и, вспомнив лежавшую у него в левом кармане красноармейскую книжку, выписанную на И. Д. Васильева, жителя города Магнитогорска, женатого, 32 лет, добавил: — В Магнитогорске.

— В Магнитогорске? — переспросил Сабуров. — А где живут, на какой улице? Наверное, в Старом поселке?

— Да, в Старом, — поспешил подтвердить Васильев, никогда не бывавший в Магнитогорске. — В Старом, — и, чувствуя, что он должен добавить что-то еще, с той расчетливостью, которая у него появилась за год двойной жизни, добавил: — На улице Ленина, — справедливо подумав, что, наверное, там и на самом деле есть улица Ленина.

— А, — сказал Сабуров, не удивившись, и Васильев понял, что такая улица действительно была.

Женаты?

— Женат, — сказал Васильев.

Его сменило то, что его сейчас расспрашивает об обстоятельствах его жизни человек, которому через полчаса точно такие же вопросы будут задавать немцы.

— Жена, двое детей.

— Далеко, — задумчиво сказал Сабуров и подумал о Магнитогорске и о том, что там, наверное, нет затмения, на улицах горят фонари. И тут он на секунду представил себе, что было бы, если бы весь этот свет перенести сюда, в Сталинград. Вот сюда, где они идут. На всех углах стоят фонари и горят полным изнеможения. И окна освещены.

Он взглянула на светящийся циферблат часов: была половина одиннадцатого. Да, все было бы еще освещено. Он невольно усмехнулся своей дикой мысли.

Перев пять минут они добрались до второй роты, где их встретили у развалин дома Ногинов и Масленников.

О том, что Сабуров отправляется на рекогносцировку, Масленников знал, но не одобрил этого, считая, что рекогносцировку должен производить не Са-

буров, а именно он, Масленников. Но поскольку Сабуров так решил, и его трудно было отклонить от раз принятого решения, Масленников заранее под каким-то предлогом отправился во вторую роту к Потапову, для того чтобы на всякий случай быть под рукой именно там, откуда Сабуров пойдет. То, что Масленников встретил его, было для Сабурова неожиданным, однако, он не выразил удивления, а только улыбнулся в темноте.

— Ты уже здесь, Миша?

— Да, товарищ капитан, я...

Масленников начал объяснять, почему именно он оказался во второй роте, но Сабуров прервал его движением руки.

— Знаю, — сказал он все с той же певидимой в темноте улыбкой. — Все злаю.

Ему было приятно, что Масленников тревожился за него и вот прибежал сюда, чтобы на всякий случай быть к нему поближе. Это была та теплота, которой ему всегда нехватало в отношениях с Бабченко и которой он радовался в своих отношениях с Масленниковым.

Когда они уже двинулись, в последнюю секунду Масленников еще раз подтолкнул Сабурову, задержал его руку в своей и сказал тихо:

— Алексей Иванович.

— Ну?

— Алексей Иванович, — повторил Масленников.

— Ну, что?

Но вдруг Сабуров попял. Масленников потянулся к нему, чтобы обнять его. Почувствовав это, Сабуров обнял его сам, первый, потом быстро повернулся и пошел. Масленников смотрел ему вслед.

Не то что предчувствие, и даже, пожалуй, не опасение, а какая-то безотчетная тоска, так часто оправдывающаяся на фронте, немила сегодня сердце Масленникова уже с самого утра, когда он узнал о предстоящей рекогносцировке.

Сначала шли те прятясь — темнота ночи позволяла это. Потом Петров неосторожно брякнул дулом автомата о стену. Все трое замерли и притаились, ожидая посланной паузы, в направлении шума, пули. Но никто не стрелял. Тогда они пошли дальше.

Дождь все еще накралывал. Стало холоднее. Печь уже не казалась такой мягкой и спокойной, как вначале. Далеко за домами, лесом, вспыхивали вспышки ночной перестрелки.

Когда прошли шагов полтораста, пришлося прорываться ползком между развалин, по переулку, который был весь такой, словно здесь произошло землетрясение. Кроме обрушившихся вхорон стен, превративших переулок почти в овраг, на земле среди кирпичей валялись самые разнообразные, иногда странные на виду, вещи, — обломки мебели, осколки посуды, разбитая ванна, исковерканный самовар, о задрапные края которого Сабуров оцарапал руку. Так они ползли еще минут пять, может быть, восемь.

Васильев, двинувшийся впереди, не торопился. Но его расчетам им оставалась примерно сорок шагов до того места, где их ждали немцы.

Хотя расстояние между русской и немецкой линией было очень небольшое, — кое-где раздвигалось до 200 метров, а кое-где сближалось на 50, то лобираться приходилось извилистыми проходами, среди обломков, по существу проползая вдоль между обеими линиями и в каждую отдельную секунду

трудно было точно разобраться, от кого они сейчас ближе находятся,— от своих или от немцев.

Васильев весь подобрался. Ползти оставалось совсем мало, и теперь надо было только дотерпеть всего две или три минуты.

Что до Сабурова, то он шел и полз привычно и, пожалуй, даже немногого рассеянно,— с рассеянностью человека, которому все известно заранее и остается почти автоматически сделать то, что нужно, а именно доползти, засмотреться, принять решение на завтра и снова так же спокойно поползти обратно.

Так они шли и ползли до тех пор, пока с ними не произошла одна из тех неслепостей войны, которую не могли предвидеть ни немцы, ни русские, ни Васильев, ни Сабуров — никто, и которая тем не менее все-таки произошла. Когда, по расчетам Васильева, они подползли уже на полсотни шагов к цели, над головами их вдруг раздалось знакомое, похожее на шум мотоцикла стрекотание мотора истребителя «У-2». Несколько как из горшка высыпанных мелких бомб, со скрипом прорезав воздух, разорвались кругом них. В этом не было ничего удивительного: они находились на «лицьей» земле, и летчик недобро сил бомбом всего на пустяк.

В тот момент, когда рядом с ними разорвались бомбы, Васильев полз впереди, Петров рядом с ним, а Сабуров, готовясь вслед за ними опуститься на колени, чтобы ползти, стоял у полуобвалившейся стены. Ближайшая бомба упала рядом со стеной, в угол, под корень ее. Обломок стены качнулся и рухнул на землю, пакрыв кирпичами Сабурова. Кирпичи упали на Сабурова сбоку, как обвалившиеся детские кубики. Шаля, Сабуров закрыл глаза. От этого удара, от силы взрыва и рванувшегося на него воздуха ему показалось, что все кончено, что он убит. Но, когда он упал и сразу же открыл глаза, он почувствовал не смерть и не слабость, а только тяжесть навалившихся на него кирпичей, а в посух и во рту вкус кирпичной пыли.

— Васильев,— шепотом сказал он,— Васильев.

Васильев не откликнулся.

— Петров,— сказал Сабуров,— Петров!

Никто опять не откликнулся. Ему показалось, что впереди кто-то шелоднулся, но, притянутый кирпичами, он не мог двинуться. В теле было не-привычное чувство страшной связности, как будто его всего обкутили канатом, оставив свободными только левую руку и голову. Кусок кирпича попал ему в лицо и на глаза иатекала кровь. Он дотянулся рукой и стер кровь с глаз, размазав ее по лицу.

— Васильев,— сиц раз прошептал он.

— Я здесь,— так же тихо сказал Васильев за его спиной.

— Здесь? — переспросил Сабуров.— Где?

— Здесь,— повторил Васильев, и Сабуров услышал, как тот ползет сзади, труда, куда он не мог повернуть голову.

Когда ивышка первой разорвавшейся бомбы на одно мгновение озарила все кругом, Васильев успел заметить, что они находятся совсем близко от того условленного места, где их должны были ждать немцы. В следующую секунду его ивышкало на землю, и он почувствовал ужасную боль в боку и в бедре. Большим осколком ему разворотило все бедро. И хотя он каким-то нечестным чувством понимал, что эта рана не смертельная, но в тот миг, когда он

ощущил под рукой рваное мясо, он с нечеловеческим трудом сдержал подпрыгнувший в горле дикий, стонущий вопль ужаса.

Он ощупал себя, потом развел руками и всеми пятью пальцами наткнулся на окровавленную мертвую голову Петрова. От ужаса он тихо, сквозь зубы, вскрикнул и невольно поволочился по земле, чтобы хоть на шаг отползти от мертвца.

Услышав голос Сабурова, Васильев понял, что он не один остался жив, и, как он лишился Сабурова, все-таки чувство ужаса после всего происшедшего было сильнее, и он, не отдавая себе отчета, зачем это делает, чувствуя лишь непреодолимое желание быть ближе к другому человеку, пополз через камни на голос Сабурова.

— Да, — сказал он шепотом, — да, да.

Он подполз к Сабурову вплотную так, что они теперь лежали рядом.

— Ранен? — спросил Сабуров.

— Да, — сказал Васильев. — А вы?

— Не знаю, — тихо сказал Сабуров.

Васильев, приглядевшись в темноте, увидел, что из-под груды кирпичей у капитана высовывалось только одно плечо, голова и рука. Это было так страшно, что он невольно спросил:

— Раздавило?

— Не знаю, — снова тем же голосом повторил Сабуров. — У тебя индивидуальный пакет есть?

— Есть, — сказал Васильев. — А что? Перевязаться?

— Нет, мне не надо. Тебе. У меня есть пакет, но он там.

Сабуров слабо показал рукой, и Васильев понял, что индивидуальный пакет у него там, под кирпичами.

— Скорее перевязься, а то истечешь, — сказал Сабуров.

Васильев вспомнил, что и правда он может истечь кровью и умереть. Вновь появившаяся мысль о смерти на этот раз так испугала его, что он долго не мог расстегнуть трясящимися пальцами карман гимнастерки. Наконец он достал оттуда бинт, положил его рядом с собой, лежа расстегнув пояс на ватнике, задраил гимнастерку и, вытащив штык, распорол вдоль штанину. Крови было так много, что штанина уже прилипла к телу. Развернув бинт и придерживая его одной рукой, Васильев попытался себя перевязать.

— Подожди, — сказал Сабуров. — Пододвигься.

Васильев пододвинулся. Сабуров левой, свободной, рукой взялся за кончик бинта и прижал его к ране Васильева так, чтобы не соскакивало.

— Теперь бинтуй. Обеими бинтуй, — сказал он.

Васильев стал бинтовать. В эту минуту он не думал ни о чем, — ни о Сабурове, ни о немцах, ни о том, что будет. Он думал только о том, как бы скорее забинтовать себя и не истечь кровью. Когда он перебинтовал ногу и прижал бинт сверху мокрым краем ватника, он впервые подумал о том, что теперь делать. Кругом стояла тишина. Было неизвестно, то ли немцы пришли на условленное место, то ли еще придут, то ли их тоже убило бомбами. «Нет, наверное, они не придут», — подумал Васильев. Конечно, они сочтут эти вдруг упавшие тут бомбы за провокацию и не придут. А вдруг все-таки придут? Ему хотелось встряхнуть Сабурова за плечи и спросить: «Придут или нет?», хотя была очевидна нелепость этого вопроса. Что было делать, что делать?

Он чувствовал, что с этой раной он не в состоянии ползти ни в ту, ни в другую сторону. Жругом железо, камни, жесть,— ему не доползти. Если бы было поле, тогда другое дело, но здесь ему не переползти: он изорвет бинты и изойдет кровью. Крикнуть? Может быть, в самом деле крикнуть? Но кто первый услышит? Немцы? Он хорошо знал их: они не пойдут на крик. Они решат, что это ловушка, засыпят это место минами, а их убьют паверняка. Паша? (Он все еще по привычке думал: «паша»). Но если они даже и придут, то, значит, снова все сначала,— снова оставаться здесь. И немцы онеметь-таки могут услышать и начать стрелять. Нет, кричать нельзя было, ни в коем случае нельзя. Что же делать? Ждать? Может быть, немцы все-таки придут на условленное место. Не испугаются. Тогда все будет хорошо. О, как тогда будет хорошо. Он услышит, когда они подойдут совсем близко, услышит и скажет им. Это будет скоро, через каких-нибудь пятнадцать минут, а может быть, даже через десять... А если не будет? Что же, если не будет, он поползет к ним сам. Он будет ползти долго, очень осторожно, так, чтобы не умереть. Только так, чтобы не умереть. Тут он вспомнил про Сабурова. Поползти? Тихо, ничего не сказав ему, поползти и потом сказать немцам, где он лежит. Нет, нельзя. Вдруг Сабуров закричит, когда он будет ползти и по нем обоим начнут стрелять немцы? Или пет... Еще хуже, вдруг он, Васильев, поползет и от потери крови умрет по дороге, а за этим вог, который останется здесь, приползут русские, и спасут его. Он, Васильев, умрет, а этот останется жив. Нет, только не так. Надо ждать, терпеливо ждать, пока это можно. А потом, если он не дождется, он что-нибудь сделает. Он убьет Сабурова, чтобы тот не мог крикнуть, чтобы тот вообще ничего не мог. А потом отдохнет и тихо поползет к немцам. Да, только так.

— Ну как?— спросил Сабуров.— Лучше?

— Неможко лучше,— сказал Васильев.

— Полежи, отдохни.

Васильев увидел, что Сабуров берет свободной рукой маленькие обломки лаваливших его кирпичей и тихо, один за другим, откладывает их в сторону. Раз, два, три. Он сделал так раз пятнадцать, потом рука его бессильно опустилась, и он глубоко вздохнул.

— Устал,— сказал он.— Долго не могу. Ты отдохни, ты мне поможешь, а потом вместе поползем.

Васильев молчал. «Нет,— подумал он,— не закричит. Он тоже знает, что если закричит, то немцы будут стрелять. Он не закричит. Он будет лежать и вот так снимать с себя по одному камешку. Долго, долго... Так долго, что все равно не успеет».

— Лежи, лежи,— тихо сказал Сабуров.— Отдыхай.

Он снял с себя еще несколько обломков кирпича, один из них тихо стукнул.

— Тише,— сказал Васильев.

— Да, да,— шепотом подтвердил Сабуров.— Я буду тише.

Когда он упал, одна нога подвернулась под другую, и он сейчас чувствовал, как прямо на кости наваливалась страшная тяжесть.

— Петров убит?— спросил он Васильева.

— Убит.

Сабуров спал еще несколько кирпичей и опять вздохнул. Грудь сдавливало

тисками, казалось, что вот сейчас ее сдавит совсем и эти камни будут лежать не на груди, а где-то там внутри, продавив ее.

— Как глупо,— прощептал он,— как глупо!

Потом спросил:

— Как, хватит сил хоть одной рукой помочь?

Васильев молчал. Сабуров подумал, что ему, наверное, тоже очень плохо и придется разгребать камни самому. «Только бы успеть до рассвета,— подумал он,— и только бы потом хватило сил доползти».

— У тебя автомат есть?— спросил он Васильева.

— Да,— сказал Васильев.

Он тихонько подтигнул к себе за ремень лежавший неподалеку автомат.

— Если немцы,— сказал Сабуров,— надо будет... надо будет,— он вздохнул.— Сначала застрели меня. Понял?

— Нет,— сказал Васильев.

Сабурову показалось, что он сказал «нет» потому, что не может себе представить, как это будет, и боится смерти, своей и чужой.

— Ничего,— сказал он.— Это на крайний случай. А мы выберемся. Ты мне поможешь разгрести, и я вылезу.

— Нет,— повторил Васильев странным, удивившим Сабурова голосом.

Васильев лежал неподвижно, прижимаясь раненым бедром к земле,— ему казалось, что так меньше вытечет крови. Он старался сбрызгаться с силами: если немцы не придут, надо будет ползти. От потери крови это клонило ко сну, трудно было поднять голову. Ему казалось, что если он полежит так десять—пятнадцать минут, то ему станет легче,— головокружение прекратится и руки тоже не будут такими слабыми, как сейчас. И сейчас он ждал и считал, как в детстве считал минуты: раз, два, три—до сотни, раз, два, три—и спать до сотни. У него не было часов, и он пробовал отсчитывать минуты, оставшиеся до одиннадцати, когда или сюда придут немцы, или станет ясно, что они уже не придут, и тогда надо будет ползти. И он известно, что его сейчас больше ожесточало против Сабурова: то ли, что этот человек, которого он через десять минут все равно убьет, говорил о том, как он вылезет отсюда, то ли, что Сабуров своими словами сбивал его со счета и ему онять приходилось начинать с пятидесяти: 51, 52, 53...

— Нет,— сказал он,— не вылезешь,— и отодвинулся так, чтобы Сабуров не мог достать до него свободной рукой.— Не вылезешь.

От отчаяния, от злости на то, что все так вышло, от ужасной боли и, главное, от того, что он в глубине души не был уверен, что ему удастся доползти до немцев, он сейчас думал о Сабурове особенно ожесточенно. Ему хотелось скорее, сейчас же, сказать Сабурову, что никак он не вылезет, что он прекрасно падается и что он вообще дурак, потому что попался в эту ловушку и, главное, что вот сейчас сюда придут немцы и возьмут его в плен, то есть сделают с ним то, чего он больше всего боялся. Васильев не был уверен в том, что немцы придут, но ему хотелось сказать Сабурову, что они придут, непременно придут, чтобы чест боялся и ждал.

— Никуда ты не вылезешь,— повторил Васильев отодвигаясь.— Не вылезешь.

— Почему?

— Потому... потому что убью тебя. Убью.— понижая голос, шепотом спокойно сказал Васильев.— Убью, и все.

После пережитого страха сейчас он почувствовал в себе спокойствие от того, что этот человек рядом был еще беспомощней, чем он, и не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, и он, Васильев, пусть сам раненый, пусть, может быть, умирающий, все же еще мог убить его.

— Потому что ты дурак, — еще тише сказал он. — Я завел тебя к немцам, я. Они придут сюда. Ровно в одиннадцать. Посмотри на часы. Не можешь? Ну, все равно, они сейчас придут, и все кончится, товарищ капитан.

Сабуров молчал.

— Ну, что ты молчишь? Думаешь, они не придут? Придут!

Сабуров молчал. Это начинало раздражать Васильева. Ему хотелось, раньше чем убить, ударить Сабурова, хлестнуть по глазам, по щеке, сжать кулак и сунуть ему в зубы за все, что он, Васильев, пережил в жизни с самого начала и до самого конца, до этой ночи, когда он раненый, с разорванным боком, лежал вот здесь, в грязи, под дождем... за все, что было с ним из-за этого Сабурова, из-за всех таких, как он. Нет, лучше всего было бы наступить каблуком ему на лицо. Он боялся придвигнуться к Сабурову, его пугало молчание и то, что одна рука Сабурова была все-таки свободна. Он подвинул к себе автомат и положил его так, что дуло было направлено в лицо Сабурову.

— Вот убью, и все.

Сабуров молчал. Ему не хотелось ничего говорить. После первых же слов Васильева он с полной ясностью представил себе все, что произошло сегодня и что происходило раньше. Он вспомнил свои командные пункты, которые один за другим были разбиты немецкой артиллерией, вспомнил убитого Павлена и жест, с которым Васильев вытаскивал тогда из-за голенища свой штык. Он вспомнил все приходы Васильева, всегда с документами, с оружием. Вспомнил все, что делал этот человек, про которого говорили в батальоне, что он ходит к немцам, как к себе домой. Действительно, он ходил к ним, как к себе домой. С особенной ясностью он вдруг вспомнил свой разговор с Авдеевым после того, как тот расспрашивал Васильева о разведке и удивленное немного брезгливо лицо Авдеева, когда тот сказал: «Не знаю. Нет, пожалуй, но буду о нем писать». Он вспомнил, как на последнем командном пункте были убиты спарялом двое связистов, как они лежали на окровавленном полу. Когда он вошел туда. Они тоже были убиты Васильевым. И теперь он сам лежал рядом с Васильевым, лежал, чувствуя еще в себе, под наваленными на него камнями, неугасшую силу, и не мог ничего сделать.

Он молчал. Ему не хотелось говорить. И если он часто испытывал ненависть к немцам, то все-таки даже это не могло сравниться по силе с тем, что он чувствовал сейчас. Все, что он испытывал в течение своей жизни, лежало сейчас на расстоянии протянутой руки от него, и он не мог ничего сделать.

Сабуров легко пошевелил пальцами, сжал руку в кулак и тихо, — так, чтобы движение это было незаметным, — придинул руку к телу. Он перестал думать о чем бы то ни было, — о своей смерти, о глупости всего прошедшего, о войне, о будущем, — обо всем. Все ушло из его сознания и осталось только одно: Васильев был от него почти на расстоянии протянутой руки, и если бы хоть на секунду пересло это «почти», то тогда... Он попробовал пошевелиться под камнями. Нет, так он не выгадает ни одного сантиметра. А ему нужно пять сантиметров, даже десять. Нужно, чтобы Васильев подвинулся к нему, хоть немного, хоть чуть-чуть.

— Что молчишь? — говорил Васильев. — Что молчишь? Бойшься?

Ему хотелось, чтобы Сабуров боялся, потому что он сам боялся молчания Сабурова.

— Ты сволочь, — вдруг сказал Сабуров.

— Говори, говори, — повторил Васильев. — Говори.

Ему доставляло удовольствие то, что он вызвал Сабурова на ответ.

— Говори. Все равно в последний раз говоришь. Говори, пока не подохнешь. Слышишь? И все-вы подожнете тут. Понял?

Сабуров попробовал еще раз прошевелиться под камнями. Он подвинул плечо на один сантиметр, но больше ничего не мог сделать. Нужно, чтобы Васильев сам подвинулся к нему. Подвинулся, подвинулся, подвинулся. Он невольно шептал это слово. Все его желания сосредоточились на этом слове. Он стал длинно и скверно ругаться, так, как никогда не ругался в своей жизни, то ловышая, то понижая голос. Он говорил Васильеву всякие оскорблении, какие только мог придумать. Он говорил, захлебываясь и задыхаясь, думал только одно: подвинулся бы, подвинулся бы, хоть немножко подвинулся бы. Его глаза пригляделись к темноте, и в этой темноте он видел искаженное лицо Васильева. Теперь Васильева злило то, что Сабуров не давал ему вставить слова, что он ругался беспрерывно и, очевидно, будет так ругаться до самой смерти, не дав ему, Васильеву, сказать ничего из того, что он хотел сказать. Если раньше ему было приятно, что Сабуров заговорил, то сейчас он хотел заставить его замолчать. Паступить каблуком на рот или ударить кулаком по зубам, чтобы он замолчал.

— Говоришь, — шептал он. — Я тебе неговорю.

А Сабуров, продолжая думать: «подвинулся бы», с неестественной, подсознательной хитростью, переходил с почти громких слов на неслышимый шепот, и, когда он начинал шептать, то Васильев немногого, на сантиметр, может быть на два, подтягивался к нему ближе. Он не мог притыкнуть к тому, что Сабуров говорит то громче, то тише, и все ближе и ближе придвигался и снова отдвигался, но с каждым разом (Сабуров чувствовал это) расстояние сокращалось на какую-то крохоточную долю. Наконец, повернув к Васильеву лицо, набрав полный рог слюны, Сабуров плюнул. И по тому, как Васильев поднял руку и вытер лицо, Сабуров понял, что попал в него. Тогда он еще раз плюнул. Васильев приподвинулся, поднял руку и со всего размаха ткнул Сабурова кулаком в зубы. Он мог бы сделать это автоматом, но ему хотелось именно кулаком, — так, чтобы почувствовать, как хрустнут зубы, и это было его ошибкой. Сабуров вдруг вскинул руку, опустил ее Васильеву на грудь, схватил его за гипастерку, рванул к себе, отпустил, перехватил руку и вцепился ему в горло. Всё тело Сабурова, зажатое под камнями, напряглось в этом одном движении, которое все сосредоточилось в левой руке. Он сдавил горло Васильева так, что тот инстинктивно выпустил автомат и поднял обе руки к горлу, чтобы отцепить эти мертвой хваткой взявшие его пальцы. Но пальцы не разжимались. Рука все крепче и крепче сжимала горло Васильева. Васильев сначала отрывал руку, потом нарывал ее погтями, Сабуров слышал, как он хранил и, не чувствуя боли, все крепче и крепче сжимал пальцы.

Когда Васильев перестал хрипеть и по его горлу прошла судорога, Сабуров не сразу разжал пальцы. Он подождал, почти теряя сознание от страшной боли во всем теле, может быть, минуту, а может быть, пять, пока не понял, что эта тишина окончательная и то, что зажато в его пальцах, уже никогда

не дрогнет и не дернется. Тогда он разжал пальцы и открыл глаза, которые от напряжения все время были зажмурены. Небо над его головой было такое черное, словно он ослеп. Дождь (он только сейчас это заметил) все еще шел. Рука опемела, он придинул ее к телу и пальцами нащупал завалившие его кирпичи. Так он лежал, то теряя сознание, то снова приходя в себя, еще пять, а может быть, десять минут... Потом, стиснув зубы, он подтянул опечевшую руку до верхнего обломка кирпича и тихо оттащил его в сторону. Потом опять зажмурился от боли, опять подтащил руку к телу, взял ее другой обломок и снова оттащил его в сторону.

Капли дождя все падали и падали ему на лицо. Хотелось стереть их, но упорство, охватившее его, не позволило ему поднять для этого руку. Она нужна была для одного: подтаскивать ее к телу, брать пальцами жусок кирпича и тихо отодвигать его в сторону, и снова подтаскивать руку, снова брать, снова отодвигать. И так до конца — до смерти, до потери сознания, — он не знал, до чего, но чувствовал только, что пока в его теле сохраняется хоть проблеск жизни, он будет делать все одно и то же движение — подтаскивать руку к телу, брать кирпич и снова оттаскивать в сторону.

Это была холодная дождливая ночь 12 октября, ровно тридцатая ночь с той первой, когда он со своим батальоном, пересравившись через Волгу, вылез на этом берегу.

XIV

Стояла тишина. Это было первое, что он заметил. Ни шепот раненых, лежавших на соседних койках, ни прерывистое дыхание умирающих, ни стук сапог сиделок, ни звон аптечных пузырьков — ничего не могло нарушить ощущения тишины. Может быть, оттого, что это был госпиталь и в нем было много белых простынь и халатов, самая тишина казалась Сабурову белой. Тишина длилась уже восемь дней, казалось, ей не будет конца и ничего не может ее нарушить. За окнами падал мокрый, первый, осенний снег, и он тоже был, как тишина, белый.

Тело продолжало еще болеть. Но оно тоже болело тихо, — не скрежещущей, второй болью, как рваная рана, а тихой, щемящей. В госпитале в сущности было не так уже тихо: приносили и уносили раненых, иногда кто-то кричал, но после Сталинграда все это казалось Сабурову тишиной.

Хотя лечили, кормили, обмывали, но в сущности он был только один из многих, и никто тут им особенно не интересовался. Он был привезен сюда с того берега, придавленный, весь в синяках и кровоподтеках. Теперь он постепенно выздоравливал. Это было записано в истории болезни. Но как все произошло, как его спасли, и как он остался жив, как он очнулся на этом берегу, никто не знал. Одни санитары передали его с рук на руки другим, эти другие приносили в госпиталь, и когда он спросил врача, как он тут оказался, тот только развел руками.

— Вернетесь в часть, узнаете. Что же я вам могу сказать?

Напрасно Сабуров силился вспомнить, как все произошло. Он помнил только, как задушил Васильева и как начал разгребать кирпичи, а дальше уже ничего не помнил. Ощущения ужаса, бессилия, физической боли, которые он тогда испытал, сейчас, когда он выздоравливал, уже не волновали его. Ни мысль о том, что вся эта история вообще оказалась возможной, неизменной и мучила. Конечно, теоретически он знал, что на войне существуют шпио-

ны. Но до сих пор, веря вообще в возможность этого, он все же бессознательно не верил, что это может случиться рядом с ним, на его глазах. И где? Здесь, в Сталинграде, где, казалось, испытания были отмерены такой равной и тяжелой мерой для всех, что самая мысль о возможности предательства представлялась ему почти невероятной, была для него насилием над собой. И когда он вспоминал весь месяц, который он провоевал со своим батальоном, и всех людей, окружавших его, — иногда менее, иногда более храбрых, иногда ворчавших, иногда боявшихся, по так или иначе где-то в глубине души почти всегда благородных и готовых умереть за этот незнакомый раньше большинству из них город, — когда он вспоминал все, мысль о том, что Васильев был рядом с ними весь этот месяц, омрачала Сабурову его воспоминания. И если он сам, своей вот этой, спокойно лежавшей сейчас на кровати, рукой, убил Васильева и поставил точку на его существовании, то все-таки тяжелое, шемяющее недоумение, как мог дойти до этой жизни такой же в общем с виду, как он сам, тридцатилетний русский человек, не покидала его. Он мог это понять только умом, но не сердцем и продолжал думать о Васильеве даже после того, как, прядя в себя, на третий день, написал обо всем, что произошло, письмо в особый отдел и, казалось, с этим было покончено.

Тишина, стоявшая в госпитале, была, пожалуй, единственным и самым лучшим лекарством, которое требовалось сейчас Сабурову; но, хотя он чувствовал себя все лучше и лучше, ему все еще пичем не хотелось нарушать этой тишины, среди которой было так спокойно и хорошо. Последние недели в Сталинграде он столько приказывал, кричал, убеждал, спорил, что сейчас невольно прослыл самым молчаливым больным в палате. Он лежал и молчал. Ему не хотелось говорить.

И даже на восьмой день, утром, когда в их палату своей лежкой, веселой походкой вбежала Аня и, пройдя между рядами коек, села у его ног, ему тоже не захотелось говорить. Он смотрел на ее милое, ставшее таким усталым, лицо, на ее руки, тихо лежавшие на коленях, на ее глаза, так глядевшие на него, как будто она все время прямо, прямо идя к нему, прошла тысячу верст, и ему ничего не хотелось говорить. Она в первую минуту тоже ничего не сказала. Потом заговорила вдруг, сразу и обо всем. Прежде всего она рассказала о том, как, беспокоясь долгим его отсутствием, Масленников пошел вслед за ним и нашел его, лежавшим без сознания из кокороте между нашими позициями и тем местом, где остались мертвые Недров и Васильев.

И все же Сабуров не вспомнил, как он полз, даже сейчас, когда Аня рассказала ему это. Должно быть, он все-таки стянул с себя все эти кирпичи и пополз. Как странно, что он ничего не помнит.

Потом Аня рассказала, как его привезли в батальон и как она увидела его на носилках и подошла к нему.

Сейчас, рассказывая об этом, она посмотрела на него таким прямым взглядом, каким смотрят, когда уже ничего не выбирают и ничего не боятся.

— Я увидела, как вы лежите, — сказала она. — Мне стало страшно, что вы умерли. Я вас стала целовать, не знаю сколько. Потом вы открыли глаза и сразу же закрыли. И я вас еще целовала. Но вы уже не отрывали большие глаза.

Потом Аня рассказала, как она вместе с санитарами несла его к берегу и как они переплывали на барже и в них стреляли, потому что было уже почти совсем светло.

— Совсем, как тогда стреляли. Помните? — сказала она.

— Помню.

— И я очень боялась, — сказала она. — В первый раз за все последнее время. И потом, когда переправились, я вас оставила на берегу и санитарам сказала, чтобы они вас доставили непременно в этот госпиталь, потому что я здесь потом буду, и чтобы они о вас заботились. Но, это они, наверное, забыли, потому что они должны обе всех заботиться.

— Почему вас так долго не было? — спросил Сабуров.

— Знаете, я не могла, — сказала она виноватым тоном. — Я переправилась обратно и думала, что на следующую ночь буду здесь, но переправу разбили. А потом там набралось столько раненых, что пока их всех не переправили, меня оставили с ними там. Целых шесть дней. А вы лучше себя чувствуете?

— Да, — сказал Сабуров. — Я уже сегодня сидел и даже пробовал ходить, но сще плохо. Мне, наверное, ноги придавило сильнее всего.

— Наверное — согласилась она.

Они помолчали. Всём она сказала:

— Вы знаете, мама тоже здесь.

— Вы мне говорили тогда еще... — сказал Сабуров. — Здесь, в этой деревне?

— Да. И рассказала ей о вас. Она хотела тоже притти сюда, но я попала она

— А что же вы про меня ей рассказали?

— Все.

Она сказала это «все» так, что Сабуров почувствовал, что это и в самом деле очень много.

— А у меня, — сказала Аня, — выпало счастье. Вы знаете, у меня теперь тоже орден.

— Ну? — сказал Сабуров. — Где же он? Уже выдали?

— Да.

— Покажите.

Она приоткрыла халат, и он увидел у нее на гимнастерке орден Красного Знамени, только не залыпленный, но с потрескавшейся эмалью, как у него, а совсем новичок, блестящий.

Аня, скосив глаз, тоже посмотрела на орден. У нее был очень довольный вид. Сабуров улыбнулся. Она увидела его улыбку и тоже улыбнулась.

Он приподнялся на подушке, на локтях.

— Милый, — сказала Аня, ласково дотянувшись до его плеч обеими руками и в то же время отстранившись. — Милый, — повторила она.

Он снял одну из ее рук со своего плеча и поцеловал долгим поцелуем, от которого она покраснела, но руку не вырвала и даже не потянула к себе, а продолжала смотреть на него внимательным, счастливым взглядом.

— Аня, — сказал он, чувствуя, что в душе его пакопилось так много, что если он не скажет ей о своей любви сейчас же, сию минуту, то через пять минут, когда она уйдет, он не выдержит и расскажет об этом сестре, доктору, — первому, кто подойдет к нему. — Аня, если бы не война...

Он хотел сказать, что если бы не война, то он сейчас же увез бы ее далеко отсюда и никогда бы больше не отпустил.

— Если бы не война, мы не встретились бы, да? Ведь да? — застойчиво повторила она, словно боясь, что он будет спорить.

— Да, — сказал он. — Я это и хотел сказать, ты угадала мою мысль. Он первый раз сказал ей «ты».

— Я знаю, что я сделала, — сказала Аня, попрежнему не отрывая от него взгляда. — Мне сегодня дали отпуск на целые сутки. Я вас... — Она заснула. Она рассыпалась, как он вместо «вы» сказал ей «ты», и поняла значение этой перемены, и ей, в свою очередь, тоже хотелось сказать ему «ты», но его небритое, усталое, похудевшее в дни болезни лицо было такое взрослое, почти старое, что она не решилась сказать ему «ты».

— Я вас отсюда возьму, — сказала она.

— Возьмешь? Куда?

— К маме. Вы будете дальше лечиться у мамы... У нас, — поправилась она. — Вам уже, наверное, можно переехать. Мама будет за вами ухаживать. И я, когда буду дома. Я буду уезжать вечером и ночью возить раненых, как всегда, а с утра ухаживать за вами.

— Когда же ты будешь спать? — улыбнулся Сабуров.

— Потом, когда вы выздоровеете.

Ей хотелось сказать ему — неужели он не понимает, что она не может и не сможет спать, когда он будет тут, рядом, и вообще, неужели он не понимает, какое это счастье, что он рядом, и, кажется, тоже ее любит.

Но она ничего этого не сказала, только сорвалась с щеки, сделала шаг к двери, потом вернулась, быстро поцеловала его в губы, неумелым, детским крепким поцелуем и выбежала.

Когда она его поцеловала и выбежала, Сабуров, сжимая усыпшать какое-нибудь замечание или увидеть усмешку на лицах людей, лежавших с ним в одной палате, угрюмо и выжидающе огляделся по сторонам. Но никто не заговорил и не усмехнулся. Только немолодой лейтенант с ампутированной ногой, лежавший рядом с Сабуровым, повернулся к нему и встретил его хмурый взгляд такой доброй, лучезарной улыбкой, что Сабуров невольно улыбнулся ему в ответ. Тогда лейтенант совсем повернулся к Сабурову и сказал:

— Вы знаете, очень тяжело потерять все на свете. Больше всех потерять, столько, сколько никто не потерял. Очень тяжело.

— Да, — сказал Сабуров и подумал, что сейчас, наверное, сосед заговорит о том, что ему ампутировали ногу, и нужно будет ответить что-то хорошее. А что хорошее он мог ему сказать?

— Нет, я не об этом, — сказал лейтенант, дотронувшись рукой до одеяла там, где под складками торчал обрубок ампутированной ноги. — Я переводчик, так что при моей профессии с этим можно жить, и даже, может быть, еще воевать, где-нибудь в штабе. Я о другом... В Минске у меня погибли и жена, и дочь — все. Но это тоже у многих... слишком у многих. Я даже не об этом. У меня немцы отняли еще и то, над чем я возился всю жизнь. Вы знаете, чем я занимался последние пятьнадцать лет? Ну, как вы думаете? — сказал он с усмешкой.

Сабуров молча ждал, что он скажет дальше.

— Я всю сознательную жизнь занимался новой и новейшей историей Германии. Нет, я даже не хочу сейчас говорить, что я там писал в своих работах, что там было правильно, что неправильно, — чорт его знает. Я знаю только одно, что я больше этим никогда не буду заниматься, никогда. Я не

могу заниматься их историей, не могу, после всего, что я видел, и всего, что я потерял. Не могу, не хочу. Я скорее поступлю в артель инвалидов, будущее войны продавать пиво в ларьке, чем вспомню о том, что я когда-то занимался их историей. К черту! Может быть, этим будут заниматься другие, даже паверное, а я не буду. Понимаете вы меня?

— Понимаю, — сказал Сабуров.

— А у вас все еще будет очень хорошо, — вздохнув и успокоенно откинувшись на подушку, тихо сказал лейтенант. — Очень хорошо. Она сейчас придет обратно. И не сердитесь на меня за это вмешательство, за то, что я так внимательно смотрел на вас, когда она сидела здесь. Теперь мне это разрешено.

Он с раздражением сильно ударил рукой по одеялу, там, где лежала бы его нога, если бы она не была ампутирована, и неожиданно грубо выругался. Потом он закрыл глаза, отвернулся и так и продолжал лежать молча, с плотно стиснутыми веками.

Сабуров тоже закрыл глаза. Ему показалось, что вот так, с закрытыми глазами, ему легче будет дождаться возвращения Ани. Он лежал и думал об этом частичке, упрямо, бесконечно. И одновременно он думал о человеке, лежавшем рядом с ним. Может быть, впервые за всю войну он с такой острой почтупствовал сейчас сострадание счастливого человека к несчастному, и хотя чужое горе в эту минуту было так далеко от него, как еще никогда, то немицкая склонность переносила его душу.

Однако, что он мог сказать? Ничего. Если бы он и сказал сейчас что-нибудь сочувственное, то этот, лежавший рядом с ним человек, все равно не поверил бы ему, такое выражение счастья, он чувствовал это, было написано сейчас на его лице.

В то время как Сабуров лежал с закрытыми глазами и думал об Ане, она стояла в маленькой комнате нижнего этажа, перед главным врачом.

Главный врач принадлежал к распространенной среди хирургов категории пиников. Он был небольшой, плотный, почти толстый с румяным лицом и склонно нарисованными черными усами и бровями. Он был хорошим хирургом и смеял на своем веку немало людей, по тем не менее считал своим долгом заявлять, что относится к медицине скептически, делал операции с подчеркнутым хладнокровием, говорил об ампутированных руках и ногах с усмешкой и любил отпускать двусмысленные шутки, не стесняясь присутствием женщины. На самом же деле это был человек нежной души и очень застенчивый. Но Аня этого не знала, и главный врач, с которым она была знакома по госпиталю уже давно, и не раз так же, как и другие, слышала его шутки, представляя его человеком, менее всего способным выслушать и понять то, что она ему хотела сказать.

Поэтому, войдя к нему решительной походкой, она вся напряглась и сжалась в комок с твердой решимостью все равно сказать то, что она хотела, и не дать ему обидеть ни себя, ни Сабурова, ни, больше всего, то новое, что вошло и наполнило ее жизнь радостью.

— Николай Петрович, — сказала она, входя, еще с порога. — У меня к вам просьба.

— Надеюсь, вам ничего не нужно ампутировать, — сказал он с привычной

улыбкой.— К сожалению, этим обычно ограничиваются все обращающиеся ко мне просьбы. А?

— Нет,— сказала она.— Здесь лежит... один капитан, капитан Сабуров...

— Сабуров? Ага, помню. С ушибами. Ну?

— Он выздоравливает.

— Возможно. Очень приятно. Так что из этого?

— У меня здесь мама живет в деревне.

— Тоже очень приятно. Но какое это имеет отношение одно к другому?

— Я прошу...— сказала Аня, подняв на него глаза.— Я хочу, пока он выздоравливает, взять его к нам.

У них были такие ясные, обрекающие на молчание глаза, что главный врач, у которого с языка уже готова была сорваться обычная шутка, промолчал.

— Я его хочу взять к нам. Я вас очень прошу.

— Зачем?— уже серьезно спросил он.

— Ему там будет лучше.

— Почему?

— Ему там будет лучше,— упрямо повторила Аня.— Я знаю, ему там будет лучше. Я вас очень прошу.

— Он что, ваш родственник?

— Нет, по... мне это очень нужно. Я иначе не могу. Я хочу быть с ним вместе,— отчаянно сказала она, решившись с этой минуты на любые слова, к каким бы он ее ни вынудил, и на любые признания, даже ложные.

Главный врач считал в порядке вещей то, что у его сестер и санитарок подчас бывали романы с ранеными и выздоравливающими, и не преследовал этого, присвоив себе лишь право беззлобно, но подчас грубошатить над этими маленькими тайнами.

Но с такой прямой, откровенной, бесстрашной просьбой к нему обращались впервые.

Он вспомнил вдруг то, что было так далеко и давно оставлено в Иркутске,— свой дом, детей и со студенческих лет нежно любимую жену, все, с чем, связанный своей маской циника, он предпочитал никогда и ни с кем не говорить.

Он растерялся от тона разговора, от неожиданности и, главное, от глаз Ани, которая глядела на него с такой свирепой надеждой, что он почувствовал себя почти как за операционным столом во время трудной операции.

Он должен был решать судьбу чужой жизни— это было ясно. Здесь нельзя было говорить: «Посмотрим, как он себя чувствует», или: «Это не положено по правилам», или: «Надо подумать», и, к чести его, ему не пришло в голову сказать ни одну из этих фраз. Здесь можно было только сказать «да» или «нет». И он сказал:

— Да, хорошо.

Разговор оказался неожиданно коротким. Ни он, ни Аня в сущности не знали, что дальше говорить, особенно Аня, приготовившаяся к отпору. Она растерянно, в полном молчании, постояла полминуты против него и, даже не поблагодарив, тихо вышла.

Через час Сабурова в маленьком докторском «газике» перевезли на другой конец деревни— на выселки, в один из стоявших у самой воды домиков. Ниже дома протекала вода, спокойная, медленная и зеленая. Это был один

из бесчисленных рукавов волжской Ахтубы. От воды к дому маленькой аллейкой поднималось несколько низкорослых ив. И вода, и оголенные деревья, и вросший в землю маленький домик показались Сабурову почти такими же тихими, как госпиталь.

В комнате, разгороженной на две половины — чистую и черную, тоже было тихо. Тихо жужжали последние мухи, тихо посторонился у дверей встретивший их мальчик, тихо сидели за столом две покрытые черными платками немолодые женщины, хозяйка избы и мать Ани. Это начавшееся в госпитале ощущение тишины неизменно оставалось у Сабурова все десять дней, которые он здесь прожил.

Когда он вслед за Аней вошел в избу, хозяйка, степенно поклонившись ему, сказала «милости просим», а мать Ани сначала всхлипнула руками, потом сказала «гостю», потом сказала: «ой, до чего же вы переменились» и только после этого сказала «здравствуйте».

Санитары посадили Сабурова на широкую крестьянскую лавку у стола и остановились в сомнении.

— Ничего, — сказал Сабуров, — я до кровати сам дойду. Идите.

Они начали. За ними на свою половину ушла хозяйка, и тут Сабурову неприметно за много лет показалось, что он попал в семью, которую давно знает и в которой ему очень хорошо. Он сидел на лавке у открытого окна, за окном была свежесть воды и запах прелых осенних листьев.

Вы не простудитесь? — спросила Аня. — Может, закрыть?

Нет, не простужусь, что ты! — сказал он, упрямно цепляясь за это ротное слово «ты».

Аня подошла к большой кровати, стоявшей у огромной русской печи, разделявшей избу на две половины, открыла одеяло и стала взбивать подушки, то есть сделала то, что сестры каждый день делали в госпитале, но Сабурову показалось, что все это у нее выходит как-то особенно хорошо. Он любовался ею, и ему было почти жаль, когда она сказала:

— Ну, вот и готово.

— Сеняка я перейду, подожди, — сказал он.

Мать сидела тут же, за столом, пакостясь, и по тому, как она на него смотрела, он понимал, что у нее с дочерью был уже разговор о нем. Мать Ани выглядела сейчас совсем не так, как тогда в Эльтоне. Она сидела молчаливо, нависла, болотное горе глядит ее, но в то же время в ее глазах была спокойная уверенность. Она все видела, все измерила в своей душе и теперь только ждала, когда все это кончится.

— Да, здесь лучше, чем в Эльтоне, — сказал Сабуров после молчания.

— Лучше, — подтвердила она. — Мы тогда без памяти шли и все забыли. И родню и то забыли. Так до самого Эльтона и промахнула. А ведь тут у меня золотня. Конечно, хорошо. Разве сравнишь? Кабы под эту крышу да всю семью.

— Похудели как, — добавила она, поглядев в лицо Сабурову. (Он почувствовал, что она хотела сказать «постарели».) — Похудели, — повторила она. И сразу перенесся взгляд на Ани, молча сидевшую против него за столом.

Сабуров понял, что мать этим взглядом прикладывает, как они будут вместе: он такой старый и Ани такая молодая, и ему второй раз за этот день захотелось сказать, что он не такой уж старый, но он промолчал.

— Все ездит она,— сказала мать и кивнула в сторону Ани.— Все ездит, все ездит по пять раз на дню. И когда это только кончится?

При этих словах она встала, завязала концы платка и пошла к дверям.

— Мама, мама, подожди!— кинулась к ней Аня.— Подожди. Помоги мне Алексея Ивановича уложить.

— Да я сам,— попробовал возразить Сабуров храбрясь.

Он хотел встать, но Аня уже подошла к нему с одной стороны, мать с другой, и они, опираясь на их плечи, доковыляя до кровати. Ноги еще страшно ныли, на одну он уже мог ступить, но другая подламывалась от боли. Когда он лежал и вытянулся на кровати, пришлось несколько раз подряд вытереть со лба испарину.

Мать вышла. Аня пододвинула скамейку и села рядом с ним.

— Ну? — сказал он.

— Хорошо? — ответила Аня вопросом на вопрос.

— Очень.

Они помолчали.

Сабуров протянул Ане руки, она взяла их обеими руками и долго сидела, глядя на него, чуть-чуть раскачиваясь на скамейке, то ближе к нему, то дальше от него. Вдруг она испуганно остановилась.

— А руку совсем не больно?

— Нет, совсем не больно.

Она снова начала раскачиваться, все время нытливо глядя ему в лицо, разглядывая на нем каждую морщинку. Это был ее человек, совсем ее. Вот он лежал здесь, в ее доме, и пусть дом был на самом деле не ее, и завтра опять нужно будет ехать в Сталинград ей, а через несколько дней, наверное, и ему, но сейчас она держала его за руки и смотрела ему в глаза, и это было так неожиданно и в то же время так долгожданно, так нестерпимо радостно, что на глазах ее выступили слезы.

— Что ты? — спросил он.

— Ничего.— Не отпуская его рук, она вытерла глаза о его плечо.— Ничего. Просто я ужасно рада.

Она отодвинула скамейку, пересела к нему на кровать, уткнулась лицом ему в грудь и заплакала. Она плакала долго, ноцимала заплаканное лицо, улыбалась и снова утыкалась ему в грудь. Она плакала, вспоминая переправы через Волгу и то, как ее ранили, и как ей было больно, и как он поцеловал ее тогда, и как она волновалась, и как долго она его не видела, и какой он страшный был, когда его нашли, и как потом восемь дней она снова не могла попасть к нему.

Она плакала. Он смотрел на ее волосы и медленно проводил по ним пальцами.

Потом крепко и безмолвно прижал ее к груди обеими руками. Услышав шаги, он чуть повернул голову и, увидев, что вошла мать, невольно сделал движение, чтобы немножко отстраниться, но Аня, поброт, только крепче прижалась к нему, потом щодняла голову, посмотрела на мать, улыбнулась и снова еще крепче прижалась к нему. И тогда его охватило чувство, которое потом уже не исчезало у него, что это павелки.

Весь день прошел, как во сне. Мать Ани входила и выходила, приготовляя все к обеду. Она хлюпотала, всем видом своим стараясь показать, что дети могут не стесняться ее присутствия. Сабуров так и видел на ее губах

это слово «дети», и ему было странно, что оно может быть отнесено к нему какой-то другой женщиной, кроме его матери.

Аня, несмотря на то, что он ее всячески удерживал, убежала в госпиталь за коткой. Она непременно хотела, чтобы он хоть немножко, чуточку вышел за обедом. Ей хотелось, чтобы все было по-настоящему. Она принесла аптечный низырек со спиртом, и, щурясь, осторожно переливала из него в бутылку и разбавляла водой. Все эти мелочи — как она вбегала и выбегала, как разбавляла спирт, как щурялась — были бесконечно милы Сабурову. Потом, когда в его кровати придвигнули стол, Аня побежала за хозяйствкой избы и притащила ее. Та, не садясь, церемонно чокнулась с Сабуровым, и, стоя, чинно выпила, не поморщившись, так, как обычно пьют все пожилые деревенские женщины. Потом она ушла.

Аня за обедом, сидя рядом с матерью, быстро рассказывала Сабурову различные подробности о том, как они раньше жили, о себе, об отце, о братьях, о детстве, словом все то, что раз в жизни лихорадочно говорится вдруг, разом, и только очень любимому человеку. Он полулежал, опираясь на здоровую руку, и наслаждался ее болтовней.

Он думал о том, что придет время, и она уже не будет ходить в скрипучих синогах, и не будет таскать лосилок и возить через Волгу раненых. И они вместе уедут. Куда? Откуда он мог знать, куда они тогда уедут. Он знал только одно, что, наверное, это будет очень хорошо.

О том же, что будет через несколько дней, когда он вернется в Сталинград, Сабуров думал вскользь, ему казалось, что все это как-то устроится. Может быть, даже удастся сделать так, чтобы Аня была с ним вместе в его батальоне, надо только сказать Проценко.

Он вспомнил хитрое, добродушное лицо Проценко и подумал, что, будь другое время, Проценко, наверно, приехал бы на свадьбу. «Свадьба». Сабуров улыбнулся.

— Что ты улыбаешься? — спросила Аня, чуть запнувшись на слове «тебя».

— Чему?

— Так, одной мысли, — сказал он.

— Какой?

— Потом скажу. Ты не сердись. Хорошо?

— Хорошо.

Он подумал «свадьба» и вспомнил свой блиндаж и на минуту почти ясно увидел, как он, вернувшись, сидит там за столом с Аней и рядом те, кого бы он мог позвать в этот день. Масленников, Ванин, может быть Потапов... Он представил себе их лица и невольно снова подумал: цел ли блиндаж и как они там все без него.

Ты не видела Масленникова? — спросил он у Ани.

— Видела, но только пять дней назад. А что?

— Нет, ничего, так просто подумал о нем.

Когда кончили обедать и мать начала убирать со стола, Аня снова села рядом с Сабуровым на кровать. Хозяйка принесла им большое антоновское яблоко, и они поступили так, как десятки тысяч раз до них поступали другие — сели есть яблоко вдвоем, поочередно откусывая и стараясь откусить меньше, чтобы оставить больше другому.

Потом Аня вдруг вскочила и закричала:

— Мама, ногадай.

Мать отвлекалась.

— Нет, все равно, погадай.

Стол, который был уже отодвинут от кровати, опять придвигнули, и мать, сказав, как водится в таких случаях, что она уже давно не гадала, да и что же гадать, раз они все равно неверищие, наконец разложила карты.

Сабуров никогда не понимал, почему черная шестерка означает длинную дорогу, а трефовый туз — казенный дом, и почему, если пиковая дама ложится к черной десятке, то это не к добру, а если выходят четыре валета, то это к счастью, но ему всегда прививалась уверенность и серьезность, с которыми гадалки объясняют значение расклада карт.

Аня тоже внимательно следила за руками матери, раскладывавшей карты. И так как в этот день ей и Сабурову их будущее казалось ясным, то всему, о чем говорила мать, они находили объяснение. Дальшую дорогу они объясняли, как нереправу через Волгу, казенный дом, как сабуровский блиндаж, когда же мать вытащила на видное место крестовую даму, которая в сочетании с бубновым королем обозначала, что у Сабурова есть крестовый интерес, то хотя по всем правилам Аня была не крестовая, а червонная дама, они все равно решили, что крестовая дама это безусловно Аня, потому что она же медичка, следовательно с крестом. Это объяснение показалось им забавным, и они долго смеялись, пока мать не обиделась, а может быть, ей просто надоело гадать, и она стала собираять карты.

За окнами совсем стемнело. Мать, как это уже стало в обычай во время войны в деревнях, завесила окна мешками и выпала.

Сабуров, утомленный и долгим сидением и разговором, откинулся на подушку и лежал неподвижно. Аня вытащила из-под тюфяка полушубок, взяла подушку и стала стелить себе на лавке, у стены. Сабуров молча наблюдал за нею. Мать вошла еще два или три раза по хозяйственным надобностям и потом совсем ушла. Тогда Аня подошла к Сабурову, встала на колени около кровати, приникла к нему, послушала сердце и шепотом сказала: «Стучит», как будто в этом было что-то особенное. Но особенное было в тишине, стоявшей вокруг, в том, что мать ушла, и они остались, и главное в том, что им предстояло долго быть вместе, и сегодня, и завтра, — всегда.

Аня стояла на коленях и целовала его. Она совсем его не стыдилась, тянулась к нему, и он чувствовал, что она полюбила в первый раз и вся ее любовь сейчас в нем, и любовь эта такая больная, что в ней тонет все остальное — чувство страха, и чувство стыда, и смятение. Она подвинулась и села рядом с ним, потом обняла его и прижалась к нему. Он тоже крепко обнял ее и почувствовал, как у него болят руки и грудь оттого, что он крепко обнял ее, по нему было радостно; от этой боли он чувствовал ее еще ближе к себе.

— А знаешь, — сказала Аня, — у меня тоже так сильно стучит сердце. — Вот послушай.

И она потянулась к нему, так чтобы он мог послушать, как стучит ее сердце. Только такая чистая и сильная в своей прямоте и наивности девочка, не думая ни о чем остальном, могла так сказать эти слова: «Послушай, как стучит у меня сердце». Она и правда просто хотела сейчас, чтобы он послушал, как у нее стучит сердце. А когда пришло остальное, она прошептала ему на ухо такие же прямые, единственные слова, и он опять почувствовал, как он ее любит, и что он скорее дал бы отрубить себе руку, чем обидел бы

се. Но сейчас он не обижал ее — он это знал — ни тем, что целовал, ни тем, что обнимал все крепче и крепче.

XV

Он проснулся утром от шума самовара. И было странно, что это та же ленина и так же мать суетится у стола, как будто все не должно было перемениться.

Аня вбежала из сени, откуда до этого слышался плеск воды.

— Ты проснулся? — сказала она. — Я сейчас, — и она выжимала свои длинные мокрые волосы, накручивая на кулаки, совсем как тогда на пароходе, когда он увидел ее в первый раз.

Потом она снова ушла в сени. Сабуров закрыл глаза и отдался воспоминаниям. Он вспомнил все подряд, минута за минутой, со вчерашнего утра — и утро, и день, и ночь — и чувствовал, что кроме слов о любви, которые были сказанны, кроме поступков, которые свидетельствовали об этой любви, было еще что-то, из-за чего он сейчас безгранично верил в ее любовь к нему. Это было то непознательное чувство, с которым она касалась его избитого, больного тела. Никто не мог ей сказать, ни один врач, по она каким-то чутким органом, где у него болит и где нет, как его можно обнять и как пельзя, где ему можно прикоснуться и где невозможно. В ее ласковых руках было заключено столько любви и нежности, что он, вспоминая об этом, никак не мог притти в себя.

В четыре часа для Ани должна была уходить. Она патинула сапоги, патинула шинель, аккуратно заштопанную в трех местах, где ее пробило осколками мин, надвинула на голову шапотку и быстрым шагом, подойдя к постели сонной, сурово поджав губы, крепко поцеловала Сабурова и так же решительно вышла.

Теперь до завтрашнего дня он ничего не будет знать о ней. За войну он привык, казалось бы, к самому страшному, — к тому, что люди здоровые, разнопарнившие, лгущие с ним только что, через десять минут переставали существовать. Но то, что творилось с ним сейчас, не имело ничего общего с этим привычным. Впервые в жизни он испытывал на себе в этот день и в эту ночь трепет ожидания, тревогу, суетверпий страх, что вот именно сейчас, когда кажется все так хорошо, с нею что-нибудь случится. Он вспоминал тысячи опасных вещей, которых он обычно не замечал. Он вспоминал переправу и берег, на котором рвутся мыши, и ходы сообщения такие мелкие, что если в них не погибнуть, то всегда видна голова, а Аня, паверное, не погибнет. Он рассчитывал по часам, когда примерно она будет на берегу, когда пойдет баржа, сколько она пройдет, сколько времени займет выгрузка, сколько времени понадобится, чтобы добраться до батальона, сколько минут нужно для того, чтобы положить на носилки раненых, сколько займет дорога обратно. Но эти практические вычисления (праздные, либо он лучше, чем кто бы то ни был знал, как нельзя на войне угадать, что и сколько займет времени) не успокаивали его.

До Ставрополя отсюда было пятьдесят километров восемнадцать. Всю ночь он слышал то удалывающиеся, то приближающиеся канонаду. Она была, как неумолчный стук часов, ею отмеривалось время. И хотя он знал, что канонада то слышнее, то глушне из-за ветра, это не помогало ему освободиться от тревоги.

Когда канонада становилась громче, ему было тревожнее, как будто грохот ее мог быть действительным мерилом опасности для Ани.

Мать Ани вечером долго строчила на швейной машине на другой половине избы. Потом она вошла с югарком, поставила его на стол и взглянула на Сабурова:

— Не спите? — спросила она.

— Нет, не сплю.

— Я тоже первое время, как она уходила, не спала, а теперь сплю. Ведь у меня трое на фронте — и если за всех не спать, то умрешь в плену. А у вас есть родные-то?

— Есть. Мать.

— Где?

— Там.

Сабуров сделал тот жест рукой, который делали многие и по которому все сразу понимали, что «там» — значит у немцев.

— А здесь кто?

— Никого. Одна она. Что вы шили?

— Я-то? Да тут золовка ситчику дала, я и шью Аньке. Девчонка ведь все-таки. Платище хочет одеть хоть раз в месяц, вот и шью. Но босой придется, — у нее ничего нет. Или вот эти ей дать?

Она села на стул, положила ногу на ногу и задумчиво посмотрела на свои старые стоптанные, на пызких каблуках туфли. Потом подняла глаза на Сабурова и, должно быть, вспомнив их встречу, сказала:

— Тоже не свои. Добрые люди дали. Раньше у меня нога меньшая была, чем у нее, а после, как сожгла, у меня ноги опухшие стали, наверное туфли ей впору будут. Как думаете?

Она спросила это так, как будто Сабуров знает об ее дочери больше, чем она, мать, и в этом маленьком, смешном может быть, вопросе было признание всего, о чем он теперь думал.

Не отвечая прямо, Сабуров сказал:

— Я встану, и мы свадьбу сделаем, — и сам улыбнулся этому слову. — Вы не рассердитесь на то, что мы там сделаем свадьбу?

— На той стороне? — спросила она просто.

— Да.

— Где вам жить, там и делайте, — сказала она примирительно. Слова «на той стороне» не удивили ее, потому что для нее «та сторона» это был Сталинград, город, в котором она жила, и полной истины о котором, какие бы слухи сейчас ни доходили оттуда, она все-таки, в силу привычки, не могла себе представить.

— Главное, чтобы переправы этой не было, каждый день, по три раза на дню, — сказала она. — Пусть уже лучше там, с вами.

Она долго сидела рядом с Сабуровым и разговаривала о том, о чем любят говорить матери с мужьями своих дочерей, — как Аня росла, как болела скарлатиной и корью, как она отрезала себе косы и потом опять отпустила, как мать за нее ходила всю жизнь, потому что дочь-то ведь одна, и о многих иных мелочах, о которых ей было приятно рассказывать.

Сабуров слушал ее, и ему было и сладостно и грустно, — сладостно оттого, что он узнал эти милые подробности, и грустно потому, что он всего этого не видел сам, а ему, как и всем сильно любящим людям, бесконечно хотелось

быть вечным свидетелем всех ее поступков, всего, что у нее было в жизни до него.

Мать разговаривала с ним, и он чувствовал, что в ожидании он был не сильнее, а слабее этой старой женщины, сидевшей против него. Она умела лучше ждать и быть спокойнее, чем он. И даже, пожалуй, она парочно утешала его этим разговором.

Наконец она ушла. Сабуров не спал всю ночь, и лишь часов в одиннадцать утра, когда солнце заглянуло в окно и желтой полосой легло на кровать, он неожиданно для себя заснул. Он проснулся так же, как когда-то в блицадже, от пристального взгляда. Аня сидела на кровати у его ног и смотрела на него. Он открыл глаза, увидел ее, сел на кровати и протянул к ней руки. Она обняла его и силой уложила обратно.

— Лежи, милый, лежи. Как ты спал?

Ему было стыдно за эти пятиадцать минут, которые он проремал, не дождавшись ее, но говорить, что он не спал всю ночь, он не хотел, это наверное, огорчило бы ее больше, чем обрадовало.

— Ничего, спал, — сказал он. — Ну, как там?

— Хорошо, — сказала Аня, — очень хорошо.

Она говорила весело, но на ее оживленном лице он все-таки заметил слезы страшной усталости. Веки у нее были чуть опущены, как у человека, который долго не спал и хотя совсем не думает о сне, но может заснуть в любую секунду. Он посмотрел на часы: было около двенадцати, а в четыре ей надо было уходить опять.

— Сейчас же ложись спать, — сказал он. — Сейчас же.

— А поговорить? — улыбнулась она. — Мне так хочется поговорить. Я схала на пароме и все вспоминала, что я тебе еще не сказала. Я столько еще тебе не сказала.

Она наскоро выпила чашку чая, прыгнула рядом с ним, свернувшись калачиком, и через минуту заснула сразу, на середине недосказанного слова. Он лежал на спине, подложив согнутый локоть под ее голову, и думал. Скосив глаза, от времени до времени он поглядывал на нее, и ему казалось, что случилось невозможное — время остановилось.

Это же ощущение остановившегося времени продолжалось у него все десять дней, что он прожил здесь до своего возвращения в Сталинград. Все эти дни он не обманывал себя ни в ту, ни в другую сторону: он не старался называть себя более больным или слабым, чем был на самом деле, для того чтобы подобие осталось среди этого счастья, и в то же время не пытался раньше времени встать.

Как человек, привыкший смирять природную порывистость, он пытался заставить себя не думать о том, что сейчас происходило там, в его батальоне. Он ломил, но не хотел мучиться этим, — все равно он не мог там быть сейчас и что пользы было ежеминутно думать об этом. Оставалось только то, с чем он ничего не мог поделать, — все возраставшее подсознательное одушевление огромности происходящей там битвы. И чем больше он отсутствовал, тем больше нарастало и становилось тревожнее это ощущение. Он вдруг понял, какой тревогой в человеческих сердцах звучало издали слово «Сталинград».

Всегда невольно доходили до него через Анию, через хозяйку, через захо-

дивших иногда из госпиталя раненых, и вести эти были нерадостны. Почти каждый день он узнавал о новых взятых немцами улицах. Каждый день расстояние до Волги измерялось все меньшим количеством сотен метров. Все чаще он удерживал себя от того, чтобы расспросить Анию подробней. Он не хотел отклада, издали, узнавать эти подробности, а откладывал все сразу, до того дня, когда он поедет туда сам. Но когда Ания появлялась, по ее глазам, по походке, по усталости он мог бы делать свои собственные и, как он был уверен, правильные заключения о том, что там проходило в этот день.

Однажды, — это было на шестые или седьмые сутки, часа через три после того, как Ания ушла, — он услышал, как на крыльце кто-то называет его фамилию, потом быстрые шаги, и в комнату вошел Маслениников.

— Алексей Иванович, дорогой! — торопливо закричал Маслениников с порога и скорее подбежал, чем подошел к нему, остановился на минуту, решительно обнял его, расцеловал, снял шинель, подвинул скамейку и сел против него, волнившись, вытащил папиросу, предложил ему, чиркнул спичкой, закурил, все это быстро, в полминуты, — и наконец уставился на него своими любопытствующими ласковыми черными глазами.

— Ты что же батальон бросил, а? — улыбнулся Сабуров.

— Проценко приказал, — сказал Маслениников. — Пришел в полк, потом в батальон и приказал мне на почту к вам съездить. Как вы, Алексей Иванович?

— Ничего, — сказал Сабуров и, встретив внимательный взгляд Масленикова, спросил: — Что, я сильно похудел?

— Похудели.

Маслениников вскочил, полез в карманы шинели, вытащил ляжку печенья, кулич с сахаром, три банки американских консервов, быстро положил все это на стол и опять сел на свое место.

— Подкармливает начальство?

— У нас много всего сейчас. Снабжают хорошо.

— А по дороге топят?

— Иногда топят. Все, как при вас, Алексей Иванович.

— Ну, какие же ты геройские подвиги там без меня совершил?

— Какие же? Все так же, как при вас, — сказал Маслениников. Ему хотелось рассказать, что и он и вообще все, ждут Сабурова, но сейчас, поглядев на похудевшее, усталое лицо капитана, он удержался.

— Как, жлете меня? — спросил сам Сабуров.

— Ждем.

— Ая через три приду.

— А не рано?

— Нет, как раз, — спокойно сказал Сабуров. — Через три дня, может быть через четыре, но думаю, что через три. Где вы сейчас? Все там же?

— Все там же, — сказал Маслениников. — Только левее нас они совсем к берегу подошли, так что проход до полка теперь узкий, только почью ходим, днем редко.

— Ну, что же, придется до вас почью добираться. Ночью приду с ревизией. Как Ванин воюет?

— Хорошо. Мы с ним Копюкова командиром взвода пазначили.

— Справляется?

— Ничего.

— Кто жив, кто нет?

— Почти все живы. Раненых только много. Гордиенко ранили.

— Сюда привезли?

— Нет, остался там. Его легко, но зато в четырех местах сразу ткнули. А меня все не ранят и не рапят,—оживленно закончил Масленников.— И иногда даже думаю, наверное, меня или так никогда и не ранят или уж сразу убьют.

— А ты не думай,—сказал Сабуров.— Ты раз навсегда подумай, что это вполне возможно, и потом уж каждый день не думай.

— Я так и стараюсь.

Они целый час проговорили о батальоне, о том, где кто расположен. Что переместилось и что осталось попрежнему.

— Как блиндаж?—спросил Сабуров.— Все на том же месте?

— На том же,—сказал Масленников.

Сабурову было приятно, что его блиндаж все там же, на старом месте. В этом была какая-то незыблемость, и, кроме того, он подумал об Ане и о своих словах про свадьбу в блиндаже.

— Слушай, Миша,—неожиданно обратился он к Масленникову.— Ты не увиделся, что я не в госпитале, а здесь?..

— Нет. Мне сказали.

— Что тебе сказали?

— Все.

— Да. Я очень счастлив,—помолчав, сказал Сабуров.— Очень, очень.

— А помнишь, как она сидела на барже и волосы выжимала, и я сказал тебе, чтобы ее пинцетом закрыли. Помнишь?

— Помню.

— А потом мы пошли, а ее уже не было.

— Нет, этого не помню.

Ну, а я помню. Я все помню... Я тут думал просить,—добавил он после паузы,— чтобы ее сестрой в наш батальон взяли, а потом как-то сердце занемело.

Почему?

— Не знаю. Боясь испытывать судьбу. Вот так она ездит каждый день и дома, и там... не знаю. Страшно самому что-то мечтать.

Сабурову очень хотелось продолжать до бесконечности говорить об Ане, но, удержавшись, он сразу оборвал разговор и спросил:— А Проценко, как он пытается?

— Ничего,—сказал Масленников.— Смеется, как всегда, даже чаще.

— Это плохо,—сказал Сабуров.— Значит, нервничает.

— Почему нервничает?

— Когда ему тяжело, он смеется чаще, чем обычно. Да, главного-то и не спросил. Кто командир полка?

— Совсем новый, майор Попов.

— Ну, как?

— Ничего, пожалуй, даже хороши. Лучше Бабченко.

— Тоже храбрый?

— Тоже храбрый. Да, к тому же и спокойный. И не угрюмый, веселый, то есть генералу. Кстати, они кажутся, где-то вместе раньше служили.

— Даже наверное. Генерал никогда не забывает своих старых сослуживцев. Это вообще-то хорошо. Этого у нас иногда не хватает.

— Чего?

— Памяти.

Так они поговорили еще минут десять, после чего Масленников вдруг заторопился, и Сабуров прочел на его лице новое выражение взрослой ответственности. Масленникову было не по себе, что его долго нет в батальоне. Он заторопился и с этой минуты уж отсутствовал: он был уже там, на той стороне...

— К вечеру, — сказал Сабуров, — через три дня. Чайю вскипят. Я тут самовар сватал, — кивнул он на стоявший в углу самовар. — Хотел вам в блиндаж подарок привезти. Не отдают. Ну, или, или. Передай всем привет! Она сегодня в дивизию поехала. Может, и у вас там будет.

— Ну? Что же передать?

— Что передать? Чаем напои, а то она сама не догадается. Иди. Не прощаюсь.

Через день после прихода Масленникова Сабуров в первый раз встал и попробовал ходить. Иоги шатали, подламывались. Чувствуя слабость и головокружение, он вышел на улицу и немного постоял у калитки, прислушиваясь к далекому артиллерийскому гулу.

Аня с каждым днем приезжала все позднее и уезжала все раньше. По ее усталому лицу он видел, как было трудно, но они не говорили об этом. К чему?

Доктор, по просьбе Ани забежавший к Сабурову на минуту из госпиталя, не стал осматривать его, только профессиональным движением щупнул ноги у колен и лодыжек, глядя ему в лицо и спрашивая, больно ли. Хотя на самом деле было больно, но Сабуров к этому приготовился и сказал, что не больно. Потом он спросил, когда завтра уходят грузовики к переправе. Доктор сказал, что, как обычно, в пять вечера.

— Что уже удирать от нас собираетесь?

— Да, — сказал Сабуров.

Доктор не удивился, не стал спорить и возражать. Он привык: здесь, под Сталинградом, это было в порядке вещей.

— Советую еще делек переждать, если терпение есть, а там как хотите, — сказал он. — Все равно же уйдете.

— Уйду, — сказал Сабуров.

Доктор пожал плечами.

— Как хотите. Только лучше все-таки день подождать, если нетвердо себя чувствуете на ногах. У меня один третьего дня выписался и вернулся, не рассчитал своих сил. Как бы и с вами не было так.

— Я рассчитал, — сказал Сабуров.

— Грузовики уходят в пять часов. Но вы все-таки помните, что не совсем здоровы.

— Я помню.

— Ну, ладно, пока, — сказал доктор, вставая и пожимая ему руку.

Сабурову вдруг захотелось созерничать: задержав на секунду в своей руке доктора, он пожал ее, не изо всей силы, но все-таки достаточно крепко.

— Ну вас к чорту! — сказал доктор. — Я же говорю, поезжайте. Что вы мне доказываете? — и, потирая пальцы, он повернулся и пошел к двери.

Когда Аня приехала, Сабуров сказал, что завтра он возвращается в

Сталинград. Аня промолчала. Она даже не сказала, не раню ли, и не просила его оставаться еще на день. Все эти слова были бы лишними между ними.

— Только вместе, — сказала она. — Хорошо?

— Я так и думал.

Весь день она была тиха и задумчива и хотя очень устала, но на этот раз ее не клонило ко сну. Она молча сидела рядом с ним, гладила его по волосам и внимательно рассматривала его лицо, словно стараясь лучше запомнить.

Она так и не заснула, а он задремал на полчаса, и она его разбудила тогда, когда ей нужно было уходить, еще раз грустно погладила его по волосам и сказала: «Пора мне». Он встал, проводил ее до ворот и долго вслед смотрел, как она торопливо шла по улице.

Утром Сабуров сложил в вещевой мешок свои немногочисленные вещи.

Ани не было особенно долго. Он несколько раз выходил на дорогу, а она все не шла. Было уже два часа, ее не было; потом три, потом четыре.

В половине пятого он уже должен был двигаться, чтобы не опоздать на попутный санитарный грузовик. Он вышел еще раз на дорогу, долго там стоял, потом вернулся в избу и, присев к столу, написал короткую записку о том, что едет не дождавшись ее.

Сначала он хотел подписьаться «Сабуров», но это было как-то официально, потом «Алеша», но это было непривычно, тогда он написал только букву «А» и поставил точку.

Потом он простился с матерью Ани. Она не всплескивала руками, не сetonила, а приняла его отъезд спокойно. Наверно, это спокойствие было их семейным качеством.

— Не дождется?

— Нет, уже ехать надо.

— Ну, поезжайте.

Она из секунды к нему прижалась и поцеловала его в щеку. Только в этом и выражалась вся ее тревога и волнение за него и за дочь.

Бес десяти пять, вглядываясь в каждого встречного, он пошел по направлению к госпиталю. Накалуне мальчишки срезали ему толстую вишеневую шапку, и он шел, прихрамывая и тяжело опираясь на палку.

Грузовик двинулся в начале шестого. Его хотели посадить с шофером в машину, но он сел в кузов, надеясь, что оттуда скорее увидит Ани, если она пройдет по дороге. Он ехал, лежа в кузове и выглядывая с левого борта, рассматривая все встречные машины. Но Ани на них не было.

К вечеру стало совсем свежо, он надвинул глубже фуражку и поднял кирзовую шапку.

Через три километра они свернули на главную магистраль, шедшую из Рыльска к Нерчинску. Дорога была много раз разбита и столько же раз сноса нечищена. Она изобиловала ухабами, и грузовик сильно тряслось. Ноги больно ударялись о днище кузова. В воздухе на большой высоте шли последние, вечерние, воздушные бои. Немецких самолетов было много. Наши появлялись только изредка двойками и в одиночку.

В воздухе, видимо, было так же тяжело, как и на земле. Пока Сабуров ходил, немцы два раза бомбили колонту. К переправе шли грузовики, доверху набитые ящиками со снарядами и минами, коровьими тушами, мешками с чем-то белым, очевидно, с сахаром.

По обочинам дороги почти через каждый километр на столбах были влемежку прибиты фанерные листы то со строгими указаниями о соблюдении правил движения, то с патриотическими четверостишиями.

Войск на дороге почти не было, только два или три раза грузовик обогнал тягачи с дальпобойными пушками.

Сабуров продолжал вглядываться во все встречные машины, но Ани не было.

В прибрежной слободе, у переправы, он увидел прямо на улице еще дымившиеся обломки «Мессершмитта». Обогнув их, грузовик выехал к самой переправе. Пемцы вели по слободе методический, хотя и довольно редкий огонь из тяжелых минометов. Все, пожалуй, вспышне было так же, как и раньше, когда Сабуров переправлялся здесь в первый раз, только стало холоднее. Волга так же стремила свои воды, но они были уже скованные, тяжелые, и чувствовалось, что не сегодня — завтра пойдет сало.

Когда, оставив грузовики, все спустились непинком к самой переправе, к которой в это время подходил маленький пароходик с баржей, Сабурову стало ясно, что на этом берегу встречи с Аней уже не будет. Он сел на песок и, перестав оглядываться по сторонам, с удовольствием закурил. Ему всегда казалось, что делается теплее, когда закуришь.

Пароход привалил к пристани. Метрах в ста, сзади на берегу, разорвалось несколько мин. Несколько мин плюхнулись в воду. С парохода и баржи вереницей тащили носилки с ранеными. Сабуров безучастно сидел и ждал. С разгрузкой и погрузкой торопились, но кругом стояло куда меньше шума, чем тогда, когда он перешывал в первый раз. «Привыкли», — подумал он. Все кругом делалось быстро и привычно. И город на той стороне, когда он посмотрел на него, показался ему тоже привычным, и он удивился, что так долго там не был, — целых восемнадцать дней.

Предъявив документ коменданту по погрузке, он уже двинулся по сходням, ведущим на полуразбитую баржу, служившую пристанью.

В эту минуту его окликнула Аня.

— Я знала, что увижу тебя здесь, — сказала она. — Я знала, что ты будешь меня ждать, что ты все равно уедешь в италь. Верно ведь?

— Верно.

— Я приехала еще с той баржей и размещала раненых, а потом стала ждать тебя. Мы вместе сейчас поедем туда.

— Хорошо. Смотри, — сказал Сабуров, взяв ее под локоть и указывая на тот берег, — меньше ведь стало дымиться, верно?

— Верно, меньше.

— А грохот больше.

— Да, больше, — согласилась она. — Ты отвык от него.

— Ничего, привыкну, — и он улыбнулся.

— Пойдем.

Они пошли по шатким сходням, спачала на баржу, а с нее перелезли на пароход. Аня первая перескочила на борт парохода и подала Сабурову руку, чтобы помочь влезть. Он принял ее руку и тоже перескочил, с неожиданной для себя ловкостью. Нет, он был прав, что поехал: он был здоров, почти здоров.

Пароходик отчалил. Они сидели на борту, спустив ноги за борт и при-

держиваясь за поручни. Внизу колыхалась, кое-где поблескивая первыми льдинками, по-осеннему сердитая Волга.

— Холоднее стало, — сказала Аня.

— Да.

Им обоим не хотелось говорить. Они сидели, прижавшись друг к другу, и молчали.

Нарохед приближался к берегу. Все висящее было как прежде, и город отсюда был почти тот же. Казалось, ничто не переменилось в пейзаже и вообще ничто не переменилось, если не считать, что в их жизнь вошло то, чего не было тогда ни у него, ни у нее: они оба знали это про себя и молчали.

— Хорошо, — вполголоса сказал он.

И она также вполголоса ответила:

— Хорошо.

Берег вдруг приближался.

— Готовь чайку! — крикнул пропитой, хриплый волжский бас, точно такой же, как и тогда, полтора месяца назад.

Нарохед приблизил к пристани, еще более разбитой, чем там, на другом берегу. Сабуров и Аня сошли одни из последних, и, хотя им до полка предстояло еще добираться вместе, но Сабурову показалось, что ему долго не придется теперь сделать того, что ему так хотелось сейчас: он притянул Ань, сначала погладил ее по волосам, потом поцеловал и отпустил. Они пошли ряком. Иршилось взбираться вверх, по темному, изрытому воронками откосу. Он иногда оступался, но шел быстро, почти не отставая от нее. Под ногами ~~было~~ опять была земля Сталинграда — та же самая холодная, твердая, не изменившаяся за этот месяц, все еще не отданная немцам земля.

(Окончание следует)

ПАВЛО ТЫЧИНА

РЕКВИЕМ

(Похороны друга)

Угрюмый вечер в тишине окрестной
багряный тон на сизый тон менял.
Я синий снег лопатой поднимал,
бросал — и вдруг... далекий плач
оркестра
послыпался. Все приближаясь, он
захлебывался на морозе. К елям
(вершины их слегка еще алеи)
волною лынул. И чылыл зеленый звон.
Глухое эхо ударяло в сад,
и сад громовым отзвуком шатало.
Не в лад, не в тон, как будто наугад
Там сто оркестров в этот миг играли
мотивы путая друг с другом...

*Все обновляется, меняется и
рвется, исходит кровью в ранах, в грудь,
стеная, бьет, песком заносится и пылью
обдается, земле сырой всего себя передает.*

Над кем те трубы плакали?
Зачем тарелки звякали
И барабан был в грудь свою?
Кто славно пал в бою?

... Потухал
багряный диск. С ним вместе
постепенно
сгорала туча. Смутный мир стоял,
как бы насквозь просвещенный
рентгеном...

И я сорвался, побежал. Такой,
такой же вечер был назад два года:
прощался с другом я. И вороной
промчался конь, исчез... И непогода
пришла: ворон ударил. И друг
пришел вдруг весть: он жив! он жив!
Повсюду
гордятся им: он, словно в землю плуг,
вонзился во врага. Он мстит, он
судит —
и вражья кровь, чернея, потекла...
Да, имя Ярослава — на скрижалих
нерукотворной памяти... Была
борьба за Харьков. Наши окружали
его кольцом тутым, — со всех сторон.
Неравны были силы. Ярославу
пришлось пройти огнь терпенья. Он
один против восьми стоял! О славе
не помышлял, она его нашла.
Он спас людей, которым казнь грозила.
С войсками выбил немцев из села —
и сам погиб...

Нечади злая сила
взяла меня!.. Вдруг из воздушных волн
но радио приплыло имя друга.
Перед глазами — гроба черный чели
закосыхался... Сердце сжалось тую,
и захотелось в этой тишине
тебя увидеть...

*Все обновляется, меняется и
рвется...*
...Катафалк качался
на медленных волнах, — как в страшном
сне.

Процессию догнал я и пробрался
ноближе к гробу. Друг! Хотя я знал,
что Ираслав не здесь: его хоронят
там... без меня... на фронте. Зарыдал
снова оркестр.

*Но обновляется, меняется и
рвется,
На свет в новые все формы
переходит.*

Фанфары стонет, стонет!
Происсия идет, за нею — я.
Глижу, как сквознячная струя
(радостность меня не покидает!)
тучет за горизонт... Никто не знает —

*Под ком же трубы плакали?
Начи тарелки зиякали,
И барабан бил в грудь свою?
Кто сапец наал в бою?*

Но кто же? Вони. Друг наш близкий,
вони!
Одно из тех, кто рядом с нами жил,
и криками дразня из последних сил...
Но он живет, бессмертия достопи.
Он молод был. Какой широкий путь
был для него открыт. Он рос на воле
в семье народов. С каждым днем все
боле

*своею солнице нам. Но посягнуть
нашу живи, святое наше дело
заплати Германия посмела.
И рука уж засущия налач,
и ушиналинуаси... Горестно играют
и оркестро — мне же кажется: то плач
о Украине... Трубы! Трубы пусть
рыдают!*

Нусть влюные горы выпаччат, пускай
волок о тех, кто сидел за гробом,
излачавши руки к небу... Зной,
прокостый фриц! твой бесстыдна злоба
на наш народ! Сиренестаешь? Дрожи:
найто не победят народ. Быть может,
ты благородней нас? Нет большей
ложи!

Собаке благородство не поможет,
тем больше волку.

...Как на лапах волк —
На западе, оскалясь, ветала туча.
Упали сумерки. Оркестр замолк,
и стало тихо... Рота всевобуча
навстречу нам прошла. Вот повезли
белье для госпиталя. Мимо дети
с собакой прошмыгнули. А вдали
 завод гудел и стих. И вместе с этим
 темнело все вокруг. И снег лежал.
 И реквием душа моя запела.

Все обновляется, меняется и рвется,
исходит кровью в ранах, в горе сердце
рвет,
песком заносится и пылью обдастся,
земле сырой всего себя передает.

Все в новые на свет в новые формы переходит.
все движется, течет, не хочет ждать.
И человек по землям бродит, бродит,
чтоб снова вечность под землей лежать.

И каждый день и каждую минуту
то разверзается, то закрывается земля.
И человек судьбою схвачен, будто
его опутывает кольцами змея.

Но нет, есть в жизни распорядок
строгий,
и, что казалось хаосом, есть умный
строй.
Все чередуется: и счастье и тревоги —
Историю, как книгу, приоткрой.

Есть право победить в сраженьи за
свободу:
К оружью оно зовет раба.
И если хочешь ты пройти к свободе
бродом, —
Пойми, что этот брод всегда — борьба.

Земля, как мать, как солница дар
бесценный,
она тебя и носит и живит.

Законы материинства и борьбы —
священны,
ни смерть, ни горе их не победит.
Все движется рывками, трудно, тугу.
Наш путь вперед! Нет счастья без
беды.

Германия, ты кровь пила — ворюга!
дождешься: не допросишься воды.

Зарвалась ты — да отвечать
придется,
Ой, громыхнешь с горы на веях парах.
Все изменяется и ленится и мнется,
как глина мягкая у скульптора в руках.

А скульптор — сам народ, и он стоит,
не гнется.
Он хочет жить. На воле хочет жить.
Все поднимается, встает, растет,
смеется,
И мертвому тебе — живых нас не
убить.

...Оркестр играл. В соседний переулок
Процессия печально повернула.
Свернули заволские окна. Высь
приподнялась, стремительные сабли
прожекторов скрестились, обнялись
и в облаках тревожно шарить стали...
С еловых веток лапчатых свисали
брюшки снежной пены...

Все обновляется, меняется и
рвется,
исходит кровью в ранах, в грудь,
стеная, бьет,
песком заносится и пылью
обдается,
и зелеными из земли опять
встает.

Вот и ров
и кладбище. Копей установили.
И приподняли гроб. Тогда с дерев
носыпалась струг ледяная крушка,
извиваясь. И от льышек хрупких
стонала тишина. И я под гроб
плечо подставил. Медленно, неловко

скользили мы с сугроба на сугроб.
Нас обгоняли люди — кто с веревкой,
кто с заступом (спешила жизнь
сама!), —
их настигала хлопьями зима.
А люди шли, подолгу застrevая
в снегу, — точь-в-точь как мы. За
темнотой —
кресты. Мы с нашей пошою святой
принесли на пустошь. Стали мы у края
глубокой ямы. Гроб спустили с плеч
и осторожно на сырую глину
поставили его.

— Возмездья меч, —
так начал речь оратор: — Украину
и всех нас снае. (И загудела даль.
Упала мать у края темной ямы:
— Откройте гроб. Сыночек, ручку
дай!

Зачем заколотили гроб гвоздями?
За ней жена не плакем начала,
а хохотом рыдания: — Мой сокол,
Степан, проснись!)

— Врага карать жестоко! —
сказал оратор: — пусть за морю зла
ответит враг. В бой! Нет, никто не
в силах
нас поборть. Ненобдим народ!
И пам повстанец руку подает
из Югославии. И громко зазовили
повстанцы в Польше — острые ножи
уж наготове. Всюдо Закарпатье.
Кипит и Чехия. Бой не на жизнь, —
на смерть. И многократное проклятье
над головой врага запесено.
Тот будет жить, кто был отважным
сыном

страны своей. —

Мгновение одно
молчал оратор. — Он за Украину
Замучен был... И вот лежит — немой
(Жена и мать рыдали. Крики,
стоны —

смешалось все. Окутанные тьмой,
стояли мы, как тени. И калечей
сухой иглой мороз нам душу жег.)
Герой не умирает. Подвиг — дело
всех новых дел и подвигов — залог!
И после смерти он зовет нас: смело!

Раздался залп. Он воздух так качнула,
как будто буря в землю нас вдавила.
Вдруг плач и крик и сто... И тяжкий
гул
громовой прокатился... Проглотила
земля Степана. Стали засыпать
мокрый гроб. И глухо отвечал он.
И стоны родных вновь начали повторять
ридание оркестра. Линь сияла
звезды вверху...

А трубы, трубы плакали.
Тарелки звонко звякали.
И барабан бил в грудь свою —
Кто славно пал в бою?

Уж выплакался я!
Не знаю: с кем и как я возвращался.
Фосфоресцировала вся земля...
И рокнем в душе моей раздался...

Но обновляется, меняется и
рвется,
недолит кровью в ранах, в грудь,
стеная, бьет,
поклон заносится, и пылью
забывает, и жгентами из земли
опять встает.

Люди пришли же ко двору
и снегу еще торчит мой леница.
И я страшной висите, —
как на горе! —
такая тишина!
зеленоватый
далекий звездный свет
Сирий, свети! Мы горе переборем;
священной мести мы верны законам
и lastупом в могилу вместе с героями
вратов заложим.

Но поднимается, встает, раз-
стает, смеется.

Мы живы. День победы недалек!
Слова: «войны окончен срок» —
нет, не произнесут уста,
пока не захрустит последний позвонок
фашистского хребта.

Хотя и тяжко нам!
У каждого — жена иль мать.
Но не дадим себя врагам
сожрать.

Дома
на жесткую постель я бросился я —
замер,
закрыл глаза. Вокруг — все тихо...
тише...
...И катафалк прошмыг перед глазами.
И я услышал —

Все поднимается, встает, раз-
стает, смеется.

И я услышал —

Все в новые на свете формы ко-
реходит,
и мертвому тебе — живых нас
не убить.

И — будто бы — Степан поднялся,
ходит
бок о бок с Ярославом. Жить нам!
Жить!

И в тюле тракторы гудят. И вьется
над полем жаворонок. И летит
на конях молодое поколенье —
сюда, сюда... Ведущий говорит:
— В руках у вас великое умение:
бороться побеждая. И не раз
потомки в песнях будут славить вас.
Вы — победители. Страданье, горем
болел народ. Мы горе переборем.
Мать Ярослава и Степана мать
им вынесла воды. И людьми или.
И вдруг ряды сомкнули: побеждать! —
и полетели в бой. Никто не в силе
нас побороть. У неба в глубине
гуляли эскадрилии...

В испуге
проснулся я. Темно. И в тишине
по окнам зачастали когти вьюги.
Она скреблась по стеклам. Со всех ног
бежала по сугробам. Стойте! Где я?
И вдруг припомнил все. И я не мог
заснуть: непобедимая идея
свободы, человечности, тепла —
меня, словно митя, приподняла.
И стало видно все, как на ладони:
Еще мы будем жить — и ты и я!
Взовьемся мы плющем вверх по
колонне!
Мы города отстроим! И сады
посадим! Жизнь и счастье будут внове.
А Гитлера кровавые следы
бурьяном порастут. И наша совесть
заявит: суд идет! палач — с пути!

Мы живы! Наше бытие — нетленно!
Среди живых ты — мертв! Ты мертв!

И вдруг буран как засвистит, —
буран — неугомонная сирена...

Я вслушивался. Захотелось мне —
на берега Днепра — все дальше, выше...
И снег по стеклам скребся в тишине...
И я услышал —

как трубы где-то плакали,
тарелки тихо звякали
и барабан бил в грудь своего:
— Ты славно
пал —
в бою...

*Перевод с украинского
ЛЕВ ОЗЕРОВ*

Я. КИСЕЛЕВ

ТРИ РАССКАЗА

РАВНЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ

Рудольф Брунер был несомненно способный историк. Он так хорошо знал людские дела, что ему никогда не бывало скучно заниматься ими. Ценить же их Брунер умел по-своему. Он написал книгу о неудачниках; не будь у Брунера отвращения к крикливости, он назвал бы ее книгой о Великих Неудачниках.

Когда Брунер писал ее, он только восстанавливал справедливость. Разве не нужно было исторгнуть из забвения ученого, который оставил в черновиках своей работы гениальную догадку? Пойди он вслед за догадкой, и самолет родился бы на сто лет раньше. Но ученый, истинный ученый, он больше всего ценил точность и осторожность, и он не позволил догадке сойти с полей черновиков. Пусть дует ветер неоткрытых земель, ученый найдет в себе силы защищать перед ним двери.

Ученый не был одинок. Книга Брунера была перекличкой достойнейших, но обделенных славой.

Славу у них отобрали их собственные, действительно великолепные достоинства: сдержанность, точность, нелюбовь к неизведанному. Они были не-ученниками, но, поистине, как много нужно иметь достоинств, чтобы стать учитчиком!

Нусть читят Колумба, невзначай открывшего Америку, Брунер вдвое больше чтил бы Колумба, который отказался бы от плавания, где рулевым был только случай.

Есть ли мужество выше этого?

Брунер был, очевидно, отменно вежливый человек, он умел приятнейшим образом объяснять поступки — и чужие и свои.

Книга Брунера вышла в свет. Слава прошла мимо.

Снисходительный Рудольф Брунер без труда простил людям, что их не убила его книга, но и себя ни в чем не обвинил.

Искоре от Брунера потребовалась вся его снисходительность.

Когда нацисты пришли к власти, Рудольф Брунер не был в числе обманутых. Брунер стал реже выходить из дома. Когда шел по улице, то замечал, что ненависть жмется к стенам.

Брунер, если встречал нацистские отряды, не заводил ненужных споров и изоизнан приветственно руку, но в глазах, конечно, только в глазах, таилась усмешка; Брунер ею вознаграждал себя за вынужденный жест.

Иногда Брунер решался и на борьбу. Он на уроках рассказывал ученикам:

— У слабого и несчастного короля был министр, Гизо. Министр был все-силен и все время боялся потерять власть. Гизо был страшен потому, что он боялся.

Когда Брунер говорил о Гизо, он был втайне горд собой, он сводил счеты за то, что улицы ему больше не принадлежали, может быть, Брунер вновь говорил себе: «Я расплатился!»

В июле сорок первого года Брунер был призван в армию и направлен на восточный фронт. В своей части он был одинок, спокойный, замкнутый, и в меру услужливый человек. Брунер был старше многих в полку и, если он не усердствовал в непосильных для человеческой совести делах немецких солдат, то до поры до времени отпускалось ему: годы не те!

К самому захвату села Знаменского Брунер опоздал.

Ранним утром на село, еще с вечера оставленное советскими войсками, первыми падетели немецкие мотоциклисты. Они нарочно не глушили своих машин, строчили из пулеметов и автоматов и, блюда приказ, пугали обездевшее село.

У себя во дворе Наталья Косенко торопливо закладывала лошадь в телегу. Чуть она не смогла уехать из-за болезни дочери. Услышав стрельбу и многоголосый вой, Наталья бросилась в хату. На пороге ее догнала пражская пулья.

Хата досталась Брунеру и двум младшим офицерам части, Пильграу и Грейштееру. Но их обоих сразу же послали вперед для связи, и Брунер, на деле, оказался здесь единственным жильцом. Он отодвинул тело мертвой женщины, подивился красоте ее лица и вошел в хату. Он прислушивался: ли шороха! Не выпуская из рук автомата, Брунер остановился: его встревожила высокая печь. Брунер не мог разглядеть, есть ли кто на лежанке. А сам он был весь на виду, это было хуже всего! Печь глядела на него своим широким разинутым отверстием, и Брунер понял: нужно решиться! Он рывком достиг лежанки, вскочил на лежанку, напряженный, уже наперед злой и увидел: на лежанке никого не было, хата была пуста.

Вечером Брунеру, одному в тихой хате, казалось, что фронт отодвинулся дальше, что о нем можно забыть, как, впрочем, и о страхе. Мысли Брунера были мирные и приятные. Он вел счет. Брунер был его никогда и никому не открыл. На бумажке, которую он потом разорвал, Брунер выписывал длинным столбиком буковки. То был счет радостям, которые сами давались Брунеру в руки и от которых он отказался.

Буковки означали: и теоретические находки, и разгаданные интриги ученических коллег, и встречи с влиятельными людьми. Буковки означали: он мог, теперь он ясно видел, он мог получить место в столичном университете!

В длинном столбике некоторые буковки были пинцетами женщин, которые ему привились и прошли мимо. Теперь-то до него доходил сокровенный смысл как бы случайно оброненных слов, жестов и совпадений; женщины сами или ему навстречу, а он-то?

Счет иссыпавшихся радостей рос и рос и наполнял Брунера гордостью. Рудольф Брунер не испытывал сожаления; возможности, хотя бы и упущеные, — они неопровергнуто удостоверяли ценность Брунера. Мысль о том, что могло бы быть, радовала его больше, чем память о том, что было.

Он снова уснивал в себе мыслителя. Брунер рано лег в постель, он лежал на свидание со своими мыслями. Заснул он поздно.

Сьюзан он услышал, — кто-то в хате стонет. Брунер проснулся. В щели ставенья сочился серый осенний рассвет. Стон повторился. Тот, кто стонал, был, очевидно, совсем слаб и не мог быть опасен. Но где же он? Брунер приоткрыл ставни, стал обходить хату, стон вновь послышался, оншел из-под ног Брунера. Испоумевая, он пригнулся к самому полу и разглядел то, чего раньше не заметил: хорошо приложенную дверцу в подполье. Он дернул дверцу и подполье раскрылось. Оно было широким и неглубоким. Заготовленная на зиму картошка была разбросана по самому дну.

В углу лежала с закрытыми глазами девочка лет шести и стонала. Свет упал на нее. Прогнули веки. Темные, большие, как с чужого лица, они трепетали на свету — девочка было худо, она была в забытьи. Застонав, она вздрогнула; она и теперь боялась и боролась за себя. Очевидно, когда выстрелили раздались совсем близко, девочка кинулась в подполье, упала и расшибла в кровь ногу, но все же захлопнула за собою дверьку и забилась в угол.

Девочка спыняла, как шумели и кричали и тут, и тут, и тут. Потом все кута-что побежали. А мама не пришла! Потом кто-то разбил стекло. Оно слыпалось, скрипело. В самую хату выстрелили. Потом стало тихо. Нога очень заболела, а дрожащейся — еще больнее.

Где же мама?.. К нам в хату вошли!.. Над головой ходят! Стоят на самой сверши!.. Сейчас откроют, увидят! Девочка закрыла лицо руками. Все равно, страшно! Она открыла рот: если носом дышать, куда слышнее! Опять заходили по комнате!..

Весь день и ночь так сидела девочка и не заплакала. Она знала: тогда упакуют те, кто в хату стрелял; они и маму к ней не пускают. И только, когда вспала в забытье, застонала. Молчание ребенка было таким удивительным проявлением жизненой силы, что Брунер почувствовал зависть.

Брунер спустился в подполье. Намочив свой платок, он положил повязку на ногу девочки, вставил ей в рот глоток вина и оставил возле ребенка кусок куриного мяса.

Девочка не открывала глаз, только прижалась лицом к руке Брунера, не смыкаясь, что это рука друга.

Брунер вылез из подполья и сразу же прокрыл его. Он подошел к окну. Сюда еще спало; в окно никто не мог подсматривать за ним. Но, все равно, утром бы это испорчено.

Брунер спал и вышел из дома. Но перед уходом переставил скамейку перед стомой так, чтобы она закрывала щель от дверцы.

Брунер старался не думать о девочке.

Когда после обеда Брунер возвращался домой, он увидел, как толстый, но ловкий и уверенный в движениях человек выходил из его хаты. То был Шегерт. Шегерт ничего бы не делал с самим собой, проплос не трогало его, в будущем он не умел заглядывать, и он все время был на людях, — авось удастся позабавиться. А эти забавы многое гонялись: и подсматривая тайна, и с горла боли, и смех обгораживший страхом. Наисмешливые и спокойные глаза Шегерта быстро сматывали, но ничего не возвращали: выражение глаз было неизменно приветливое. Шегерт дружески — почему дружески? — помахал Брунеру.

«Увидел, — подумал Брунер, — бесспорно увидел». — Ему стало не по себе. Шегерт разжалонит, да еще как, что я — и тут прензительное словцо Шегерта само пришло на память, оно густое и липкое, как плевок ворблюда, потом не

сможешь — Шогерт раззвонит, что я размолк! «А мне все равно», — попробовал расхрабриться Брунер. И тут же впервые четко подумал то, о чем ему весь день не хотелось думать: «Нечего было сентиментальничать».

Брунер подошел к дому. Шогерт ждал его. Они вместе вошли. скамейка на дверце была сдвинута с места. Зачем Шогерт ее двигал?

Шогерт вел незначительный, явно ему неподобный разговор. Иногда, не оканчивая даже фразы, Шогерт умолкал. И так внезапно, что Брупера брало оторопь: сейчас, в тишине, они оба услышат! Тогда Брунер начинал что-то говорить, сам удивляясь, что получается не так уж невинопад. Но Шогерт не слушал! Он сидел и чего-то ждал. Весь его вид словно говорил Брунеру: «Напрасно стараешься». Брунер терялся и сник. Теперь уже оба молчали. В молчании секунды ползли длинными омерзительными гусеницами. Брунер знал: сейчас опа застопорит! Пусть, пусть! Только бы не это молчание. И тут заговоривал Шогерт. Но так запросто, по-приятельски, без всякого подвоха. Брунеру становилось легко, он верил, что Шогерт ничего не знает. Брунер чувствовал удовольствие. Да, это было так, он чувствовал удовольствие от того, что Шогерт, повидимому, считает его бравым парнем, таким же романтиком истинно немецких достоинств, как и себя самого.

Уже уходя, Шогерт неизвестно чему усмехнулся и сказал: «Так вот как», и чуть сожурил глаза. Такая глянула на Брунера веселая и неумолимая жестокость, что он застыл. Что это?.. Намек?.. Угроза?.. Разве у Шогерта узнаешь!

Через час Брунеру стало уже нестерпеж оставаться дома, пойти бы туда, в комендатуру, где всегда толпился народ, там он узнает, рассказал ли Шогерт.

Не доходя до комендатуры, Брунер остановился; ему только что открылась правда. Дело обстояло хуже, чем он думал: Шогерт не станет в части рассказывать. Зачем же? Он сообщит, куда следует, сообщит по форме, — там уже разберутся. Брунер поздно, слишком поздно увидел, куда он сам себя завел! И как глупо. Даже отпереться нельзя. Он все сделал, чтобы уличить себя. Недумать только: собственным платком! Еще с меткой!

Но... но, ведь его платком мог и не он сам перевязать. Платок могла у него и снять, он просто не заметил пронахи. Нет, он придает платку преувеличенное значение. Девочка ничего не скажет, она не знает, кто ее перевязал.

Почти успокоившись, Брунер вошел в комендатуру. Народу было много, гул стоял в большой комнате. Брунер прислушивался к разговорам, сам вспоминался в них. Пожалуй, ничего не произошло, приход его был встречен так же безразлично, как и всегда.

Шмуклин, и Крейз, и Вебер, и многие другие говорили только о том, что их сердце или смешило.

Брунер глядел на них так, как будто видел их впервые. Вот они сидят, спокойные, уверенные, ничего им сейчас не грозит, никто их не может разоблачить, да и не в чем. Они не сматриваются тревожно в лица однополчан, их не мучает неизвестность, они могут, не задумываясь, сказать «до завтра», зная, что завтра будет таким, как и сегодня. Еще вчера он был также спокоен за себя. Опасность павильон над ним, только над ним один? В этом было что-то пестернно унизительное.

Брунер еще вчера не хотел бы быть на них похожим, а сегодня уже не

мог: возможность, которую давали ему в руки они; по собственной вине, упустил!

Крейз рассказывал о том, как нужно «резать порослят, чтобы не было визгу» и, чорт его знает, каждое слово было похоже на подмигивание, звучало, как грубая двусмысливность. Все отлично понимали Крейза и смеялись. Рассказ о том, как нужно резать порослят, превратился в боевую песню истых солдат, они не размокнут!

И уже ни Шогерт, ни гестапо, ни следствие по делу о нарушении правил обращения с гражданским населением не пугали Брунера: его больше всего страшило, как обойдутся с ним истые солдаты, когда узнают, что он падеж. Сколько презрения, злобы, гадливости обрушится на него! Только бы жить просто, не нахдясь, не страшась, не вздрагивая, не думая, можно ли ему быть вместе с ними через час, через день, только бы быть наравне с ними — ничего больше Брунера и не нужно.

Брундер вернулся к себе. Все было попрежнему. В подполье никто не стоял. Там сидела она, обмолька сухого и точного ума, за которую, кто знает, как дорого придется ему заплатить. Злоба душила Брунера, его вынудила из себя эта девочка. Если бы мог он все пачать сначала!

Брундер стоял на самой дверце. Он не может больше, не может жить в страхе, что он завтра станет посмешищем, что завтра его предадут суду. Не должен он так жить!

Брундер вывернул фитиль в лампе, высунулся язычок, закачался, потянулся кверху. Первый свет обежал горницу и осветил ее. Брундер проверил: и ставни и двери плотно закрыты. Тогда он открыл люк.

Девочка пришла в себя. Она сидела в углу, но больная нога была вытащена, повязка на месте, и Брундер направил парабеллум на девочку. Вот тогда-то ему и пришлось увидеть ее глаза.

Глаза глядели на Брунера, не мигая, губы шевельнулись и ничего не сказали, но было голоса, знала девочка, что сейчас будет, и только чуть напугалась вдруг.

И самое удивительное — эти глаза не остановили Брунера. Он смотрел на девочку и выстрелил. Девочка негромко вскрикнула. Торосясь, Брундер выстрелил еще раз и еще, девочка лежала мертвой.

Брундер прикрыл люк.

На окнами было тихо. Плотно закрытые двери и ставни гасили звук. Никто не услышал.

Брундер испомнил: он не обедал, и ему сразу же и нестерпимо захотелось есть. Он отыскал кусок сала. Но поесть не довелось. Раздался стук в дверь. То опять был Шогерт.

Шогерт был избалован и спросил Брунера еще с порога:

— Ну, что, уже готов?

— Но понимаю тебя, — из всякий случай сказал Брундер, — честное слово, не понимаю.

— Шутишь!

— Нет, — оторопело сказал Брундер.

— Через час уходим отсюда, дальше двигаем!

Огорчение Шогерта было так велико, что в его искренности даже Брундер не усомнился.

— Торопись! — Это все, что сказал Шогерт, и ушел.

— Боже, до чего же удрученный вид был у Шогерта, — Брунер рассмеялся и осекся. Шогерт ничего не знал о девочке! А то бы он принял меры, чтобы до ухода из Знаменского изобличить Брунера.

Шогерт ничего не знал о девочке! Значит... Значит, страхи его были напрасны. Можно было не торопиться, девочка осталась бы...

Нет, так нельзя, что сделано, то сделано. Да, он поторопился. Очень поторопился. Но разве у него был выбор? Нет, об этом незачем думать!

Через час батальон Брунера выступил, и Брунер шел рядом с Крейзом, он вспомнил лекцию о том, как резать порослят, и всех, кто смеялись. Он чувствовал, зависти в нем больше не было! Он шел среди истых солдат, и у них не было никаких преимуществ перед ним.

Ничто, как тайное клеймо, не выделяло его, сейчас они не могли выбросить Брунера из своих рядов, он шел среди них, как равный среди равных.

ЕГО ДОЛГ

Эриха Шлауфельд еще никогда не слушали так внимательно. К нему были обращены глаза и сердца обеих женщин. Старая и молодая, они по торопили его, не перебивали — у них для этого нехватало сил.

Горестные вести всегда слушают куда более жадно, чем радостные. Радость — ей веришь, ёдва услышишь и уже поймешь: иначе и не могло быть. А узнаешь о горе, — и уже замолчал злой вестник, а ты все еще слушаешь, слушаешь, по вздрогивающему сердцу крадется надежда, все сице тешишь сея: а, вдруг, ошибка!

Старая фрау Мюнг и ее дочь, горбунья, фрейлайн Фредерика, с испуганным и ласковым лицом, — такие часто бывают у калек, — слушали, как Эрих Шлауфельд рассказывал об их Гейнце.

Кто лучше, чем Эрих, знал их Гейнца! Вместе они ушли на фронт. Эрих сейчас в отпуску, он только что прибыл и заехал прямо к фрау Мюнг. Он будет у них жить, большей радости он не мог им доставить. Эрих рассказывал:

— Они с Гейнцом возвращались к себе в часть. В далеком тылу, если ехать двум, быть связанным не так уже опасно. Они выехали поздним утром. Вскоре их стало припекать горячее украинское солнце. А дорога, как назло, сама сворачивала к речке, вилась вдоль нее, пот крупными каплями стекал со лба, ед, проклятый, глаза, а тут песчаная небольшая отмель к самой дороге подошла, и они остановили мотоцикл: буй, что будет!

После купанья они лежали на песчаной отмели. Небо было громадным и пустым. Кругом все было неподвижно и безопасно. Хорошо они сделали, что выкупались.

Только что все было хорошо, а сейчас небо стало маленьким и узким, оно стало, как крышка сундука над головой, крышка сейчас над тобой за-

хлопнулся: шесть штурмовиков, поблескивая звездами, шли над Эрихом и Гейнцем. Оба они здавились в землю, стараясь не дышать, как будто можно было там, наверху, их услышать, а штурмовики со звездами висели над ними, висели и всматривались.

Дурацкая это штука лежать голышом и знать, что тебя сейчас начнут поливать свинцом. Но очень сухно спасает, а все же таки, голышом куда страшнее. И заметнее!

Эрих рассмеялся.

До чего же это было похоже на смех Гейнца! Да, они смеялись совершенно одинаково, громко и долго. И при этом, нисколько не добрали.

Это всегда напоминало Фрейлена Фредерику удивлением и уважением. Такие юнцы, а как они умеют управлять собой! Никакое чувство исподтишка к ним не подстерегается.

Горбунья даже завидовала, правда, очень осторожно и беззлобно, но завидовала и брату, и его другу. —Когда же они сталкивались с чем-нибудь, чего не знали или что было им непонятно,—это не тревожило их, Гейнц и Эрих и не стремились посмеять, они смеялись громко и беззаботно.

Горбунья очень хотела бы отбросить все непонятное, что надвигалось на нее со всех сторон, отбросить ~~и~~ дальше дальше своей дорогой.

Как легко было с ними, с братом и его другом! И Гейнц и Эрих учились в одной школе, вместе были в ПИМФе, фрейлен Фредерики твердо знала: то — их рассмешил! — это — рассердит! никакой путаницы. И Гейнц и его друг все, что делали, делали, как следует мужчинам, до конца ясно, от всего сердца.

Горбунью тревожило, когда люди улыбались. Улыбка бывает скользкая и испытная, кто знает, что она значит. Благодарение богу, Гейнц и его друг, они никогда не улыбались. Они смеялись! Настоящие мужчины! И злились!

Но как? Они не пропизировали, не отворачивались, педовольные, нет, они накинули в ход кулаки и при этом ругались! Гейнц и Эрих, они были начинены действием! Раса неплохо сделала свое дело, она отобрала лучших, превратила их в солдат вселенной.

В солдат и владык!

Эрих смеялся совсем как Гейнц. Они так много были вместе, что стали подобны друг на друга. Для ревнивой материинской любви фрау Мюнг не было никакого, равного ее Гейнцу, по даже старая фрау находила, что Гейнц и Эрих подобны.

Сейчас обе женщины смотрели на смеющегося Эриха, нежность лучилась у них из глаз, сколько любви было во взгляде матери и сестры, что Эриху стало щекотно и приятно, словно кто-то легкими пальцами гладил его за ухом.

Фрау Мюнг и фрейлен Фредерики не смели торопить Эриха. Фрау Мюнг, из-за старческой деликатности, даже опустила глаза, чтобы они не выдали ее нетерпения, пусть дорогой юность во всем подчищается только своим желаниям. Но Эриху самому хотелось рассказывать.

— Штурмовики со звездами их не заметили, а, может быть, не захотели охотиться за ними. И ушли на занав. Небо сразу стало большим и веселым. За все время, пока кружились над ними самолеты, да и сейчас Эрих и Гейнц слова не сказали друг другу. Да и зачем же? Они одновременно пригибли

голову, одновременно тихонько ругались, им обоим в одно и то же время чудилось одно и то же: они слышали какие-то шорохи, оба настороживались, и оба тихонько распускали напряженные мышцы: с runда, показалось.

Фрау Мюнг и ее дочь с умилением смотрели на Эриха. Как велика и нерасторжима дружба его с Гейнцом! И сам Эрих понимал, что ему принадлежит добрая доля той заботы и той любви, что давалась его другу.

— Эрих и Гейнц торопливо одевались. Странно, что они раньше не обнаружили, как неудачно выбрали место для купания: негустой лесок подszedł почти вплотную к противоположному берегу речки. Эрих был готов раньше Гейнца. Он вышел мотоцикл на дорогу. Гейнц стоя возился с рубашкой, безуспешно вдавая руку в вывернутый рукав.

И тут к ним подкраилась опасность. Самая страшная. Их обнаружили партизаны. Из лесу раздался выстрел. Гейнц вскакнул — бравый парень, он приподнял ракеную ногу и поскакал на одной, на здоровой, но споткнулся и упал. Из лесу не стреляли! Партизаны, очевидно, не хотели тратить патроны впустую. Всей спиной Эрих чувствовал: где-то в лесу его пашут кресты прицелов... Тут секунды решали дело, и Эрих вскочил на мотоцикл, мотор затарахтел. Гейнц, лежа на земле, застонал, он успел сбросить рубашку, он теперь все видел, и он крикнул:

— Эрих, а я?!

Но мотоцикл шел уже вперед. Эрих перепел скорость.

Он оглянулся и увидел: Гейнц, который уже подполз к листьям, приподнялся и выстрелил в него, в Эриха. Он промахнулся.

Эрих посмотрел на фрау Мюнг и на фрейлена Фредерика. Они были так потрясены рассказом, что, очевидно, не попяли всего того, что сделала Гейнц.

— И как будто выстрел Гейнца был сигналом, из лесу стали стрелять изчиками. Эрих мчался вперед, не оглядываясь.

Фрау Мюнг и она, фрейлен Фредерика, могут быть спокойны. Эрих не рассердился, он простил Гейнцу. Он не только не сообщил начальству о выстреле Гейнца, — тогда фрау Мюнг лишили бы пенсии, и это лучше, что могло бы быть с ней, — но он, Эрих, остался Эрихом, и Гейнц для него оставался Гейнцом! Рапорт он подал совсем о другом, о том, как храбро дрался Гейнц, обеспечивая отступление своего друга. Фрау Мюнг и фрейлена Фредерика могут быть довольны: Гейнца наградили Железным крестом.

Женщины слушали его оцепенелые. Гейнц пошел в лавы, к ним, к страшным партизанам. Но Эрих так доволен! Гейнц получил Железный крест. Правда, после смерти. Но такая награда! Робкие женщины, они не знали, не будет ли это непочтительно, если они проявит горе, не оскорбит ли это. Судя по лицу Эриха, нужно было радоваться. Но ни фрау Мюнг, ни ее дочь не могли этого сделать.

Старая фрау Мюнг, которая хуже понимала молодежь, сама испугавшись того, что сделала, спросила: — Как же вы могли его оставить?

Фрейлена Фредерика замерла.

Но все сбоялось: Эрих был добродушен, он посмотрел с искренним удивлением на старушку: разве он не все сказал?

Эрих был в счастье друга, он улыбался старой женщине, которая не понимала самых очевидных вещей, и, желая быть понятым, сказал:

— Задержишь я — и меня бы убили. Понимаете, и меня бы убили!

Горбунья прымкательно закивала головой.

— Конечно, конечно. Благодарение богу, вы спаслись!

Эрих оставался еще несколько дней в семье своего друга. Обе женщины ухаживали за ним. Иногда он брал какую-либо полюбившуюся ему вещицу, из тех, что раньше принадлежали Гейшу, он говорил — «на память», обе женщины поспешили и согласно кивали головой: дружба имеет свои права!

Приятно было Эриху в семье старой фрау Мюнг. Он знал, что он выполнял свой долг, он все сделал, чтобы фрау Мюнг получила пенсию.

Через неделю Эрих Шлауфельд возвращался в часть.

Прощав его, обе женщины вернулись домой и заплакали. Впервые за эту неделю.

Раньше они не плакали.

В ГОСПИТАЛЕ НОЧЬЮ

«Только воинам дана дружба»

Вы старая калоша! — крикнул Вюрце.

Было похоже на то, что доктор не слышал.

— Да, да! Вы старая, заплатанная калоша!

Тогда доктор сказал голосом человека, которому очень скучно:

— Лежите спокойно!

Но Вюрце уже дал себе волю.

— Вы трус, баба!

Капитан Крейслер рассмеялся, он напоминал и доктору и Вюрце, что они имеют слушателя, — это подогревает страсти. Но доктор не отвечал, и хотя он стоял, повернувшись к Вюрце, казалось, думал он о чем-то своем.

Вюрце кричал:

Вы что же, думаете, я боюсь? Скрываете от меня правду? Сказать не смел! Да я сам ее знаю. Слушайте, вот она: я умираю. Эй, вы, доктор, скажите хоть сейчас, как мужчина мужчине, сколько мне осталось? Сколько?

— Хорошо, — сказал доктор прежним голосом, — хорошо, я вам верю, вы не боитесь смерти. Лежите спокойно.

Доктор вышел из палаты. Последнее слово и на этот раз осталось за ним.

Вюрце перестал ругаться. Силы его покинули. Он лежал и знал: сейчас уединит он тело свое, мерзкую, настойчивую работу разрушения.

Под капитаном Крейслером скрипела кровать. Он ворочался, его денимала боя. Болели пальцы отрезанной ноги. Отрезали, выбросили, сгноили ногу, — чего еще нужно? — а Крейслеру приходится корчиться от судорог в пальцах, которых нет. А тут еще этот Вюрце! Хорошо бы он выглядел, скажи ему доктор правду. Ну, что ж, он так хотел ее, пусть получит. Крейслер сказал:

— Ницциш! Куражиншись! На кой чорт? Все равно не поможет.

Крейслер откинул одеяло, он смотрел на разбухшую от повязки культианку. Она была вся на виду... а пальцы болели.

Ночной обход кончился. Их маленькая, на двоих, палата была крайней.

Из коридора не доносилось ни звука. Прошло некоторое время. Вюрце равнодушным голосом, не глядя на Крейслера, спросил:

— И ты думаешь, что я умираю?

Крейслер молчал. Тишина густела, она стала такой плотной, что ее хотелось, как паутину с лица, снять. И нельзя было. Наконец Крейслер сказал:

— Зато вечно будет жить великая Германия!

— Что? — даже растерялся в первую минуту Вюрце.

— Германия будет жить, понимаешь, жить! — издевался Крейслер. — Разве тебя это не утешает?

— Перестань! — попросил Вюрце.

— Думай, Вюрце, о великой Германии! Думай! Ты и не заметишь, как с тобой все будет кончено.

— Я не умру! Ты врешь! Врешь!

— Конечно, вру! — торопливо признал Крейслер.

Крейслер не ошибся. Его готовность уступить, именно она-то и убедила Вюрце, что он беспадежен. Попрежнему было тихо. Но Вюрце больше не слышал тишины. У него было много дела с самим собой. В неподвижно лежащем Вюрце все прыгало, вертелось и писалось; сумасшедше колотилось сердце, тесня друг друга, выплывали и сейчас же тонули обрубки мыслей, вспыхивали, тут же гасли и вновь возникали и боль, и страх, и ярость, — они неслись в смятении, ни на чем нельзя было задержаться, ни на чем нельзя было остановиться, неудержимый поток стремительно волочил его неизвестно куда, — и Вюрце, всегда медлительного и спокойного, больше всего пугал этот яростный разгул скоростей в нем самом. Но вот в потоке стало обозначаться нечто, за что можно было ухватиться. Ведьмовский пляс скоростей затих, сердце билось ровней, мысли стали ясней, чувства более привычными и более обжитыми. Он думал о Лотте, высокой, светловолосой Лотте. О ней можно было думать без горечи и без тревоги, — пожалуй, только о ней одной и можно было так думать. Лотта была привычнейшей мыслью Вюрце.

Думая сейчас о Лотте, он испытывал тайную и лукавую радость; он и сейчас всех перехитрил. Пусть считают, что ему непереносимо страшно, а он заслонил себя от мыслей о смерти. Лотта была ему надежным щитом. Он свернулся на знакомую дорожку, он стал думать о ней, как делал это и вчера, и третьего дня. Вюрце беспокоился, получила ли Лотта последний перевод. Он попросил сиделку перевести деньги, но та захворала и не передала ему почтовой квитанции. Нет, это не склонность, по ведь обычно в самом конце жизни допустить ошибку.

Вюрце от себя и раньше не скрывал: ему не очень везло. За все, что он получал, его заставляли платить полной ценой. Так платят одни только неудачники. Но одно он может уверенно сказать: если бы ему встретился на дороге случай, он бы его не упустил! Если бы! Вюрце всю жизнь прожил в ожидании, он был пружиной, которая ли разу не развернулась, совершенным гимнастом, который вынужден сидеть в зрительном зале и отмечать чужие ошибки на першее. И только в мелких и случайных делах проявлял он свое великолепное умение. И каждая марка дохода была не только пищей и теплом, она была великим обещанием.

Голубоглазая, светловолосая Лотта была чудесной девочкой. У Лотты был вкус, она знала толк в делах, она умела разобрать и оценить и трудности

случая, и блеск их преодоления, и она никогда не уставала удивляться Вюрце. Славная девочка его Лотта! Право, он был не глуп, когда не скучился. Триста марок в месяц были для него не по средствам, но она стоила их!

Обидно, если он так и не узнает, получила ли она последний перевод. Вюрце подивился на себя, — не так уж это важно, чтобы теперь думать о расписке, и тут Крейслер испугал его своей проницательностью: Вюрце показалось, что он, больной Вюрце, уже не в силах даже мысли хранить в себе. Крейслер сказал:

- Поди, всякая дребедень в голову лезет!
- Нет, о жене думаю, — назло ответил Вюрце.
- О жене? — удивился Крейслер: они ведь оба были из Дармштадта.
- Она мне вроде жена, девочка что надо!

Крейслер рассмеялся. Но Вюрце в его смехе услышал какую-то ноту оторчения.

«Завидует», — понял Вюрце. Одногодий Крейслер останется в живых, тут уж ничего не поделаешь, останется!

Нотка оторчения указывала путь. Он, Вюрце, должен: небось это он сумеет сделать. Он расскажет одногодому о Лотте так, что тот прокиснет от зависти.

— Зря, — сказал Вюрце, — зря ты не обзавелся своей девочкой. В свое время.

Он приоткрыл это певзничай, даже не кинув взгляда на культианку. Он знал, так калека будет глубже задет.

Крейслер удара не почувствовал. Он спрашивал заинтересованно:

Ты что ж, женатым себя считаешь?

Крейслер, может быть, ее и знает, ее зовут Шарлотта Вегенер.

Что то неопределенное промычал Крейслер.

Но Вюрце его уже не слушал. Он даже не хвастал, в эти минуты жизни он видел такой, какой хотел видеть. Красивая, с крутыми бедрами, белокурая Шарлотта была вершиной его пути, его единственным, его необманным путьем. Чего же тут скрывать!

Спора нет, зел он себя с ней, как мужчина, он был резок, повелителен, она никогда не забывала своего места, он не позволял себе расписывать, но это никому не мешало, Лотта за все платила покорностью и верностью, да, да, чистой верностью, что, прикажи ей: «измени!», это единственное, чего она не может. И даже ради него сделать. А до чего она была умна и ловка во всех этих новых делах!

— Вот, Крейслер, что ни говори, а жалеть ты можешь, что у тебя нет никакой Лотты и не было ее! А будет ли?.. — И он впервые показал глазам на культианку.

Крейслер умолял так, точно ему приятно было вспомнить отрезанную ногу.

— Как скажешь! А ведь и такого...

Вюрце не хотел, чтобы ошибка подстерегала Крейслера, и он сердечно сжал:

— Попытайся, конечно. Но смотри, конфуз выйдет!

Теперь Крейслер решил, что можно слегка приоткрыть карты:

— Я бы на своем месте не за что не лазвал ее имени. Ты меня разочаровал. Я найду Шарлотту Вегенер, — я не ошибся?

— Нет,— храбро ответил Вюрце,— нет, ты не ошибся. Шарлотта Вегенер! Вот именно, так и зовут.

— Она будет чувствовать себя одинокой после твоей смерти?

На это не стоило отвечать, и Вюрце молчал.

Крейслер раскрывал карты.

— Женщины плохо переносят одиночество. Лотте нужен кто-нибудь, кто заменит тебя.

Вюрце пробурчал:

— Не пустит она тебя на порог дома.

— Твое имя откроет мне двери. Я единственный человек, который видел, как ты умирал. Лотте будет приятно, что она достанется твоему другу. Так сказать, по наследству.

Вюрце было не по себе: он, пожалуй, не должен был называть ее имени. С такого подлеца, как Крейслер, становится! Но только сейчас нельзя выказывать тревоги! Никакой тревоги! Вюрце не мальчик. Вюрце искал и нашел его, нужный, хороший ход.

— Ты бы, вправду пошел, Крейслер. Она ведь тебя знает.

Крейслер помедлил:

— Ты думаешь?

Вюрце снова уже говорил уверенно:

— Сейчас припоминаю. Случайно запел как-то раз разговор о тебе, и Лотта сказала: «Я его знаю, это такой вечно потный, должно быть, каждое утро его хозяйке приходится выжимать простыни, бrr... противно!»

Крейслер вздрогнул, это было похоже на Лотту, у нее была отвратительная манера постоянно преувеличивать. Так вот как, сй, оказывается, не нравится, что здоровый человек потеет, и Крейслер сказал:

— Свистни я, твоя Лотта бросится ко мне па шею, если...

— Если что?— Вюрце не скрывал удовольствия, удар был нанесен верно.

— Если этого уже не было! Всех ведь не упомнешь.

Вюрце даже отвернулся. Крейслер не был стоящим противником: ясно было, почему он врет. Вюрце лежал и улыбался.

Крейслер силился вспомнить, что говорила Лотта у него па постели, какое-нибудь словечко или жест, которые бы докопали Вюрце. Но ничего у Крейслера не осталось в памяти. Вюрце вновь лег на спину и даже не улыбался. Калека Крейслер больше для него ничего не значил. Было от чего прийти Крейслеру в ярость. И вдруг его осенило: вот оно, доказательство, от чего закачается Вюрце!

— А ты был щедр!— сказал Крейслер.

Ответа не было.

— Не каждый бы давал Лотте по триста марок в месяц, не правда ли?

Черная беда дохнула прямо па Вюрце, у него остановилось сердце. Крейслер полвернулся под себя олеяло, тщательно расправил его вокруг остатка погибшего и только затем уже сказал:

— Лотта ни в чем не нуждалась! Несмотря па то, что отдавала мне половину своих денег.

Вюрце повернулся к Крейслеру. Вюрце должен видеть его лицо.

— Кроме тех, месяцев, когда ты давал прибавку. Ее я не трогал.

Глаза Вюрце вспыхивали плаву. Что ж. Вюрце хочет доказательства! Пожалуйста!

— Например, в октябре прошлого года из ста марок прибавки я ничего не взял.

Этому нельзя было не поверить. Крайслер знал, когда и чем ударить. Вюрце задыхался. Вот куда шли его деньги! — Что с ним, с его сердцем? Оно делается все меньше, меньше, оно делается твердым. Совсем, как орех. Стоит в груди, мешает дышать. Лотта, подлая! Только бы выдохнуть из себя! Вытолкнуть! Стоит вот здесь сейчас, он задохнется. Взреветь бы! Но Крайслер здесь! Рядом! Спокойно, — заклинал себя Вюрце, — спокойно! Только эту радость Крайслеру не доставить.

И, даже сам не заметив, как он это сделал, Вюрце сел на кровати. Это было так неожиданно, что поднялся и Крайслер и, землисто-серый, отодвинулся в самый угол между стеной и кроватью.

Вюрце чуть шагнул вперед, он смотрел, не отрываясь, на Крайслера, храни вырывались у него из груди. Крайслер в своем углу ждал его, полный такой же печалисти. Вюрце, — все, что он делал, было удивительно и пугало. — легко подвинулся на кровати, подался вперед, глухо застонал, протянул к Крайслеру руки и тут же упал, свесившись головой вниз. Голова стукнулась о пол, руки, готовые кромсать, не поддерживали головы, они продолжали тянуться к Крайслеру.

Когда руки перестали шевелиться, Крайслер понял — опасность миновала.

Не то обманывая, не то издеваясь, он сказал:

— Чего ты? Ведь я все это сказал, чтобы тебе легче было умирать. Теперь у тебя нет ничего, что было бы жалко оставить на земле.

Вюрце не отвечал. Он не знал, что умеют умирать только те, которым есть ради чего жить. Он был мертв.

АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

ПОД ОСЕННИМ НЕБОМ

Замешкались мы,
А уж как их застать мы хотели!
Но птицы на юг от жестокой зимы
Улетели.

Под ними мелькают кусты
И озера,
И ели,
Но им с высоты
Не узнать наших звезд и шинелей.

Когда б увидал наши звезды
Вожак журавлиный,
Их принял бы просто
За ягоды горькой калины.

А гуси?
Летят и поточет

Их вольная стая,
Шинелей от кочек
Сквозь облако не отличая.

А если бы ниже прошли!
Сквозь туман маскировки
Когда б они видеть могли
Цаши звезды, шинели, винтовки —

Отрекся б журавль от высот.
И от жаркого края.
На льду могилевских болот
Он остался б, тепла не жаждал.

Когда б нас узнали
Высоко летящие гуси.
Они б зимовали
На белых снегах Беларуси.

МОГИЛЕВСКАЯ ТУЧКА

В Орловскую область летела она
Над лесом родным могилевским.
Крылатая тучка вчера дотемна
Была лишь туманом днепровским.

Сбиралась заботливо в первый отлет
И тронулась в путь ранним-рано,
Легко унося от озер и болот
Томящиеся туманы.

И люди узнали помощницу в ней —
Пожданной, желанной, крылатой.
Под Кричевом тучка измученных
Жней
Укрыла летучей прохладой.

В Орловскую область летела она
И, пробуя первые силы,
Она ветряковые крылья от сна
Дыханием свежим будила.

И только что, только что
Видел я сам
Над крышей вот этой,
Над домом
Промчалась, пророча грозу небесам
Еще неуверенным громом.

Ей вслед улыбаюсь, летучей — литой
Из громов, и молний, и ливней:
Расти, могилевская тучка,
С землей
Сживаясь еще неразрывней!

МОЯ БЕСЕДЬ

Есть в Беларуси преданье старинное,
Что птицами вырыты реки ее.
В клювах мешочки с песком и глиною
В лес отнесут и опять за свое.

А чайка глумилась, дивясь их
терпению,
И птицы проклятьем ответили ей.
С тех пор над водой даже в бурю
осеннюю

Пить-пить умоляет.
Лоныспных дней.

И медленный труд мой окончу, как
начал,

Я камни дроблю, разрываю пески,
Под смех сжидающих легкой удачи,
Копаю русло моей реки.

И встретив струю ключевую упрямую,
Хочу, чтоб она запнула волной —
Не Волгой могучей,
Ни даже Камою,
Хоть Беседью, что в Беларуси родной.

Заветным трулом вдохновляюсь все
чаще я
И жажду мою разжигает строка.
Я жить не могу, как чайка молящая
Малой дожинкой с лесного листка.

*Переведено с белорусского
М. НЕГРОВЫХ*

СТЕФАН ГЕЙМ

ЗАЛОЖНИКИ

Роман

Перевод с английского Н. Волжиной и Н. Дарузес

Глава 8¹

Было около полуночи, когда Милада проснулась, после беспокойного, полного тревожных видений сна. Голова у нее болела, все тело было, словно избитое бурей.

Она вдруг села на кровати, сообразив, что после ухода Рейнгардта прошло уже несколько часов, а она не сделала самого важного: не сообщила Бреде о посещении рейхскомиссара, о допросе, который он устроил ей, и о том, что гестапо, как видно, известны ее отношения с Глаузапом.

Она видела запутанный и тяжелый сон, полный страха и тоски. Ей надо было бежать от чего-то ужасного, чему не было имени, по ее логи вязли в болоте. Потом юшмар принял форму. Фигуры преследователей, иногда с лицом Рейнгардта, иногда совсем безликие, выставили наружу сверкающие штыки, надвигались все ближе и ближе. С бьющимся сердцем она высвобождалась и бросалась бежать только для того, чтобы опять увязнуть в болоте, только для того, чтобы опять услышать за собою потоки. Снова и снова повторялось это кошмарное бегство.

Она быстро оделась, все еще слыша за собой горячее дыхание потоки. Она поняла, что не только чувство долга заставляет ее идти к Бреде, но и потребность в спокойствии и силе, в защите и доброте этого человека. Одну только минуту она колебалась, но подождать ли до утра, когда она увидит Бреду на заводе, но тут же отбросила эту мысль, зная, что не в состоянии будет выдержать так долго, и убедив себя, что Бреду нужно уведомить немедленно.

Выходя из дома, она направилась по Малой Стефановской улице. Сначала она не заметила тени, которая вынырнула из-под темной стены против ее дома и неслышимыми шагами двинулась за неей. Но в переулке, где эхо отражало каждый звук, она услышала шорох шагов.

Пан Кратохвил в темноте крался за Миладой. На голове у него была новая с иголочки серая шляпа, которую он приобрел в кладовой штаба гестапо. «Бери, — сказал ему сторож, — хозяин в лагере. Шляпа ему большую не понадобится». Кратохвилу очень понравилась шляпа. Во все времена долгого поскустства перед домом Милады он забавлялся этой шляпой, то ухарски надевая ее набекрень, то сдвигая на затылок, то держа ее перед собою в согнутой калачиком руке, словно из преувеличенного уважения к даме, за которой его приставали сидеть.

Кратохвил несколько не тяготился сложкой. Ему надо было очень мало времени, для того чтобы выплыть, и он не знал, что такое скуча-

¹ Окончание. На это см. «Знамя», № 9—10 за 1943 г.

Время тянулось для него только тогда, когда некого было выслеживать. Он был таким и в молодости, когда начинал свою карьеру. В те времена он служил контролером трамвайной компании. Его обязанностью было вылавливать безбилетных пассажиров, прятавшихся от кондуктора за развернутой газетой.

После того как он прослужил компании несколько лет верой и правдой, Кратохвила наскутило получать какие-то жалкие гроши, и он перенес свою деятельность в сферу взаимоотношений капитала и труда. Новое ремесло он изучил основательно, начал с агента-провокатора, а кончил вице-председателем рабочего союза. После того как ему удалось обмануть доверие членов союза и продать интересы рабочих во время долгой и упорной стачки, он больше уже не мог быть полезен на этом поприще, но чешская полиция поспешила заручиться услугами такого солидного человека и приняла его на службу. Когда в Прагу вступили нацисты, пан Кратохвила скоро приспособился к изменившимся обстановке. Теперь люди его склада были нужны больше, чем когда бы то ни было. Платили гораздо лучше, и приятно было видеть, что доставленная им информация не заляживается под сукном. Никакого сравнения с прежними временами, когда полиции, по крайней мере в некоторых случаях, приходилось опасаться запросов парламента или протеста общественных организаций, всегда сущих свой нос.

На Карловой площади Милада остановилась в тусклом свете фонаря, раскрыла сумочку, достала маленькое зеркальце и сделала вид, что вынимает из глаза соринку.

«Стара штука», — подумал Кратохвила, отступая в тень подъезда. Работа, как ему объяснили, имела двойную цель: следить за Миладой, чтобы она не скрылась, и за людьми, с которыми она видится. Если даже она и обшаружит, что за ней следят, то это не так важно. Ему правилось играть в кошку и мышку, а, кроме того, он думал, что с этой мышкой не очень трудно будет справиться.

Милада никого не увидела в зеркальце. Но она была почти уверена, что за ней установлена слежка — именно так и должен был поступить Рейнгардт.

Но вернуться ли домой? Но она знала, что теперь сыщик будет следить за ней всегда, когда бы она ни вышла из дома. А завтра Бреда может подойти к ней во время работы, не зная, что за ней следят... Нет, надо повидать его сейчас, надо отдалиться от этой опасной, назойливой темы.

На Кафловой площади был разбит маленький сквер. Милада решила покинуть немного на скамье, словно вышла из дома только для того, чтобы насытить свежим воздухом.

Кратохвила, изображая бродягу, плелся по дорожке впереди скамьи, с газетой под мышкой. Он, казалось, не заметил девушку на скамье. Сняв первую шапку, он подложил газету под голову, зевнул и улегся на скамье против Милады, парандушно повернувшись к ней спиной.

Старинные башмаки и измятые брюки придавали ему вполне мирный и беззречный вид, и только новая серая шляпа, лежавшая в ногах, не-то не вязалась с его ролью смиренного бродяги.

Некоторое время Милада сидела наподобие. Если этот отдахиющий бродяга и суть ее тень, то можно попробовать скрыться от него, минаяв уединенную грязную дорожку. Но траве шагов не будет слышно, стоит только перелезть через скамейку.

Кратохвила не покрепчался. Безошибочным шестым чувством он чувствовал, что творится у него за спиной. Надо дать ей фору. Пусть стойдет шагов на четыреста, если уж собралась куда-то ити, пусть думают, что сблизя его со следа.

Но вот, слышимо, как она зашевелилась. Иль, какая хитрая, ступает по траве, обходя дорожку. Но то тут, то там сухой октябрьский лист шуршит под ее ногой.

Милада отглянулась. Бродяга все еще лежал на скамье, он не переменил позы — теперь надо спешить, скорее, чтобы он ее не догнал.

Все обошлось гораздо лучше, чем она ожидала. Улица совершенно пуста. Она прибавила шагу.

Темная ночь Праги обняла ее. Милада всегда любила свой родной город, а теперь эта любовь стала еще сильнее, к ней примешалась горячая жалость, какую испытывают к тяжело больным. Город болен, хотя до сих пор ему удалось избежать ужасов бомбёжки, на улицах не зияют воронки, сгоревшие дома не смотрят друг на друга пустыми глазницами окон, еще цело все, что придает Праге своеобразный отпечаток — горделивый собор на Градчанах, сады в стиле рококо перед аристократическими особняками, висячие арки Карлова моста через серебристую Влтаву, тесно сгрудившиеся узкие фасады средневековых домов.

Город болен, но на мертвеннном, изнуренном болезнью лице еще видны следы былой красоты, когда-то пленявшей вас. Это покоренный город. Сапоги завоевателей враждебно и глухо стучат по булыжникам старых улиц, эхо издевательски повторяет отрывистые слова команды и окрики. Душа города отдана на поруганье, и народ ищет и находит все новые формы для выражения своей скорби. То памятники народных героев оказываются увенчанными цветами, и угрюмые полицейские под командой нацистов в черных мундирах, убирают венки и букеты, принесенные ночью. То, неизвестно почему, начинают гудеть заводские гудки, все в одно и то же время, — скорбно и угрожающе. Или на стенах домов и заводов появляются вдруг загадочные надписи со словами призыва и предостережения.

Прежде чем подойти к дому, где жил Бреда, Милада осторожно оглянулась, но не увидела своего преследователя.

Она позвонила. Ей пришлось довольно долго ждать, потом послышались шаги на лестнице и показался свет. Бреда со звоном повернулся в замке большой тяжелый ключ.

— Да это Милада! — сказал он. — Не стойте же здесь, как испуганное дитя, входите скорее!

Он был совсем одет. Взяв Миладу за руку, он провел ее, поддерживая шатавшуюся от усталости девушку.

— Я не ждал гостей, — поспешил он. — У меня ничего нет, кроме кусочка хлеба, но можно вскипятить того снадобья, которое теперь называется кофе — все-таки что-то горячее. Вы вся дрожите!

Комната Бреды выходила в длинный, пахнущий затхлым коридор. В одном углу за ширмой стоял умывальник и маленькая печка, в другом — стол, над которым висела наскоро сколоченная книжная полка. Кровать, два стула перед занавешенным окном, зеркало, шкаф и портрет старика с бородой, как у императора Франца-Иосифа, дополняли обстановку.

Он пригласил Миладу сесть, указав на кровать. — Единственное место, где можно сидеть, — извинился он. — Раньше я жил лучше.

Милада сидела молча, не зная, с чего начать. Комната была полна им, его привычными движениями, его морными шагами. Павел был совсем другой, гораздо ближе к ней и по возрасту, и по всему складу. А этот Бреда был такой, каким она хотела бы видеть своего отца, — мудрый, внимательный, и это сковывало. При нем она чувствовала себя такой незначительной, ее заботы и тревоги казались ей мелкими. Но все в ней тянулось к нему, она чувствовала, что сердце ее раскрылось и с каждым биением горячей волной рвется к нему навстречу.

Вода в чайнике начала закипать. Бреда сел на стул против Милады и положил одну руку на колено, другой поглаживал подбородок. Он смотрел на нее, и в его больших зеленовато-серых глазах отражался свет электрической лампочки.

Потом он заговорил: — Я рад, что вы пришли. Я чувствовал себя очень одиноким.

— А я боялась, что вы будете недовольны, — ответила она с облег-

чением.— Вы сказали, что без важных причин мне не следует приходить к вам.

«Если бы ты пришла и без важных причин, я был бы тебе рад»,— подумал он. А вслух сказал:— Вы застали меня одетым, потому что часа через два мне предстоит одно дело. Я тут как раз настраивал себя на это. Приходится, знаете ли. Я часто думаю, что мне не хватает храбрости— первично перед делом. И вот я кое-как коротал время, стараясь овладеть собой, стараясь читать. Спать я не могу.— Сам того не зная, он помог Миладе подойти к нему. Рассказав ей о своих колебаниях и страхах, он дал ей понять, что они равны, и пробудил в ней горячее желание защитить его и утешить. Она скрала руки: мать, ты посылаешь сына на битву, ты благословляешь его старинным финифтальным образом его святого, и вот он идет, сильный, крепкий, закаленный, навстречу бурам и незвездам.

Бреда всыпал в кипящую воду тонко размолотый коричневый эрзац-кофе.— Скоро будет готово,— сказал он, доставая две синие чашки с золотыми ободками.— А что случилось с вами? Я вижу, вы совсем измучены.

— Я всю дорогу бежала. За мной слежка. Но я, кажется, отделалась от сыщика.

Бреда погасил свет. Потом подошел к окну и раздвинул шторы, как раз настолько, чтобы видеть улицу, оставаясь незамеченным.

Огонь в печке бросал теплые, живые отблески на пол, на стены, на кудущую обстановку. Бреда налил кофе и подал чашку Миладе.— Коротенький человечек в серой шляпе?— спросил он.— Успокойтесь! Держите чашку крепче! Не пролейте кофе, обожжетесь.

Она отпила немного, и дрожь прекратилась.

— Я и вас втянула,— сказала она.— Как глупо с моей стороны! Надо было догадаться и неходить к вам после визита Рейнгардта.

— Ого! сам рейхскомиссар?

Он сел рядом с ней на кровать и, взяв ее незанятую руку, погладил ее.— Ничего, если мы пока посидим в темноте?— спросил он.— В доме в этот час редко где горит свет, а я бы не хотел показывать этому субъекту внизу, где вы находитесь.

— Что теперь будет с вами?

— Ничего, Милада, в этом доме живет человек пятьдесят, у одних окна выходят на улицу, у других на двор. Серая Шляпа не знает, в какую квартиру вы звонили, и был еще далеко, когда я открывал вам дверь, иначе мы бы его увидели. Серая Шляпа, должно быть, проверил, нет ли в доме другого выхода,— а его нет, и теперь он просто ждет на улице, когда вы выйдете. Если б он или его начальство собирались арестовать вас или того, к кому вы пришли, сейчас у дверей уже звонила бы полиция.

Они будут следить за вами!

— Возможно. Но я умею уходить от шпионов. Прага удивительный город: подумайте, сколько в нем кривых улиц, проходных дворов, темных лестниц и ниш в толстых, старых стенах. Я знаю этот город, я в нем вырос.

— А если они станут следить за домом?

— Я и без этого не рассчитывал сюда возвращаться. Вы же оставайтесь в квартире до утра. А когда я буду уходить, часа через два, я как следует рассмотрю Серую Шляпу. Может быть, удастся как-нибудь с ним разделаться.

Он отхлебнул кофе.— Какая гадость!— воскликнул он с гримасой.— Жалуди, ячмень и древесный уголь. Всего намешано. А что собственно нападалось Рейнгардту?

Его манера спрашивать о важном деле так, как будто оно не имеет никакого значения, облегчила Миладе ответ. Ему удалось успокоить ее. Рейнгардт со всеми его угрозами, со всей властью, представителем которой он был, казался теперь не таким страшным.

Она старалась найти причину этого, зная, что будущее готовит ей немало таких испытаний, какие она пережила в этот день. Ей нужна была путеводная звезда, спасительный огонек, который помог бы ей не сбиться с пути при новой встрече с врагом.

Темнота сблизила их. Он, казалось, читал ее мысли.

— Встречая врага лицом к лицу, разумеется, испытываешь страх. Из всех моих товарищей только один не знает страха — его зовут Яношек, и сейчас он в тюрьме — это один из заложников.

— Если придет опять этот Рейнгардт или кто-нибудь из них, помните о тех, кто идет с вами. Вы их не знаете, я тоже их не знаю, я знаю только, что они есть. Меня волнует это чувство, оно захлестывает меня. Однако я что-то разошелся. Впрочем, иногда нужно охватить взглядом всю картину, чтобы не упустить из вида того маленького уголка, где работаешь. Так что же понадобилось Рейнгардту?

Теперь она успокоилась. Говорить было легко. Она чувствовала себя под защитой. Дрова потрескивали в печке, время от времени с шумом выпадал уголок.

Бреда внимательно слушал. Во все время рассказа он боролся с желанием обнять Миладу, защитить ее своим сильным телом. Однако ему приходилось заглушать в себе чувство жалости к Миладе и чувство гордости ю, чтобы вникнуть хорошенько в эту историю и во все последствия, какие могут быть с нею связаны.

— Почему? — спрашивала Милада. — Почему он так пристал ко мне с обвинением в убийстве? Ведь следствие уже закончено, заложники сидят под замком и ждут расстрела...

Бреда поставил чашку на пол. — Рейнгардт не верит, что вы убили Глазенапа или были сообщницей убийцы, — с расстановкой произнес он. — Ему нужно добиться от вас признания, что вы знали о самоубийстве Глазенапа.

Бреда задумался. Он сознавал, что может заподозрить сидящую рядом с ним девушку, только вооружив ее ум, показав ей всю сложность и глубину задачи, как он ее понимает.

— Видите ли, — объяснил он, — в этом деле все подстроено — ведь Глазенапа никто не убивал. Поэтому Рейнгардт, построив все дело на обмане, вынужден делать вид, будто верит в убийство. Он должен устроить всех, кому известно о самоубийстве Глазенапа. Он опасается, что вам это известно.

— Понимаю, — кивнула Милада, — но это не объясняет, почему он же арестовал меня.

— Да, не объясняет. Но причины довольно просты. Он пускает вас гулять на веревочке, вместо того чтобы посадить за решетку, так как у него нет уверенности, что вы знаете о самоубийстве Глазенапа. Он только подозревает вас. Оставаясь на свободе, вы быть может невольно выдастите ему других — например меня. А другая причина... — он залинулся в смущении. — Он не прочь сойтись с вами.

Милада была больше не в силах сидеть спокойно. Бреда следил, как она шагает по комнате, как мечется по стенам в тусклом свете горящей печки ее длинная, неровная тень.

— Простите, — поспешил он прибавить, — простите, что я это говорю, Милада. Но иначе трудно объяснить такое явное упущение со стороны Рейнгардта.

— Я сужу о Рейнгардте по вашему рассказу. Вы красивы, Рейнгардт полагает, что вы были возлюбленной Глазенапа. Ему хочется стать заместителем Глазенапа, и потому он предпочитает думать, что вы не опасны для его планов.

— Это западня! Мы в полной их власти и нет надежды на выход, — сказала она в отчаянии.

Бреда закрыл лицо руками.

— Перестаньте, Милада! — замолчался он. — Я попыталось помочь вам. Я люблю ее, думал он, и не могу защитить ее. Каждый мужчина хо-

быть защитником своей возлюбленной, окружить ее утом и теплом, строить дом для нее. А они бомбят наши дома и жгут, они взламывают наши двери прикладами винтовок, насилуют наших женщин.

— Вы много значите для меня, Милада. Вот почему я должен был оказаться откровенно.

О, разодрать собственными ногтями горло поработителей, разбить им голову о бульжники наших улиц! Но мы молчим, мы скованы и безжизнены, мы только страдаем и ждем.

— Надо рассказать вам о той работе, на которую я иду сегодня чью, — продолжал Бреда, — потому что она касается вас, подвергает вас большей опасности... Сядьте рядом со мной, прошу вас.

Она послушалась. Голос Бреды притягивал ее.

— Помните тот вечер, когда мы познакомились с вами? — спросил он.

— Помню. Это придало мне силы.

— Когда мы переходили Карлов мост, прожектора прорезали небо, помните?

— Да, в ту минуту вы забыли обо мне, — ответила Милада. — И я почувствовала себя такой одинокой.

— Я думал о Яношке, пострадавшем за тех, которые уже умерли, за тех, которые умрут, думал, что кому-то надо поднять обвиняющий чех, — не тогда, когда все кончится, но теперь, теперь!

— Вы сказали тогда: если бы можно было написать это на небе!

— Да, — ответил Бреда, — если бы мы могли написать это на небе, они пишут свои кровавые сообщения. Со мной вместе работает мой барыш Франтишек, монтер пражской радиостанции. С его помощью у меня будет возможность сделать передачу по радио.

— Мы разоблачим гнусную интригу гестапо. Нам незачем говорить о фуре — всем известно, что такое террор. Но, как только люди узнают, что террор будет разить их без разбора, как бы они себя ни вели, террор потеряет всякое действие, потеряет свое жало. Никто с ним не будет считаться.

— Так мы отомстим за Яношку. И за вас. И за всех остальных.

Его решимость, его замысел увлекали и страшили ее. Он покорил ее своим мужеством.

Но она боялась за него. Она уже потеряла Павла и не хотела потерять и Бреду. — Но что же будет с вами? — спросила она. — Вы не думаете о себе, а я думаю.

Он почувствовал смиренение перед ней. Она забыла об опасности, которой подвергалась, и думала о нем! Что он может дать ей? У него

ничего нет, даже его жизнь не принадлежит ему. О чем говорить? будущем, в котором нет ничего верного? О своих чувствах, которые не к чему привести не могут?

— Я люблю вас, — сказал он.

Милада молчала. Она ждала и искала этих слов, как плющ ищет дева, вокруг которого может обвиться и подняться к солнцу. Она ждала их слов, чтобы они укрепили ее, помогли ей стать лицом к лицу с тем Рейнгардтом, но теперь, когда они были сказаны, она не чувствовала ничего, кроме страха, страха за Бреду, страха перед расставанием с ним.

Ее горячая рука скользила по его руке.

Бреда тоже испугался своего признания. — Я люблю вас, — повторил он.

— Я не должен был этого говорить. Ведь это нам не поможет, правда? — Он встал и подошел к окну. Серая Шляпа все еще стоял на крыше.

Он обернулся и почти крикнул на нее:

— Не тревожьтесь обо мне, хорошо? Ведь не сам же я, разумеется, собираюсь говорить по радио!

— Я не боюсь, — прошептала она. — Я верю в вас.

— Сегодня, — продолжал он более спокойно, — мы делаем запись на линию. А завтра мы задержим одного нацистского диктора, у которого

есть, некоторое сходство со мной. Я просто займусь его местом, войду в студию, поставлю запись, пущу аппарат, и уйду. Вот и все.

Он засмеялся.— Представьте себе их физиономии, когда они обнаружат, что мы их провели!

С чувством облегчения и с детским восторгом она вторила его смеху. Потом тревога вернулась к ней:— А что, если вам не удастся задержать никтора? Или, если охрана, служащие, мало ли кто, обнаружат маскарад? Ведь стацио строго охраняют, я думаю. Боже мой, сколько опасностей! И каждая опасность может стоить вам жизни.

— Опасность есть всегда,— успокаивал он ее.— Но до сих пор мне везло. Неужели нам бросать работу из-за того, что нас могут убить, из-за того, что возможна неудача? Что мы теряем? Разве это жизнь? Я люблю вас больше, чем можно выразить словами. А я не в силах помочь вам, когда за вами охотится этот Рейнгардт. Разве это жизнь? Нельзя работать, нельзя говорить, нельзя дышать — разве это жизнь?

— Там, на востоке, каждый день на фронте умирают тысячи. В нашей стране люди обречены на медленную смерть в концентрационных лагерях, либо их вешают солтами. Жизнь больше не стоит дорожить, она потеряла цену.

— Я не герой. Но я дошел до отчаяния и потому должен бороться.

— Простите,— сказала она.— Я женщина. Позвольте же мне тревожиться за вашу жизнь, ведь она у вас одна, и она дорога мне.

— О, черт возьми,— засмеялся он,— еще минута, и вы заставите меня плакать у вас на плече, плакать о себе и о нас, о том, что у нас нет и никогда не будет. Не заставляйте меня размякнуть, это не годится, в особенности теперь. Подумайте о себе, подумайте, как вы рискуете из-за меня!

— Как только наша запись будет пущена в эфир, откроется тайна, которую так старательно охранял Рейнгардт. Миллионы узнают о самоубийстве Глазенапа.

— Я рисую гораздо меньше вас, моя бедная Милада.

— Но я не боюсь,— заметила она с удивлением.— За этот день я прошла все стадии страха, так что больше ничего не боюсь.

— Разве это жизнь? — повторила она, шутя, слова Бреды.— Серая Шляпа стережет меня, рейхскомиссар добивается моих показаний или моего тела,— а я не боюсь.

Она стала серьезной.— В такое время каждый час много значит, Бреда. Поймите, я хочу жить. Я, ничтожная клетка в истекающем кровью, растерзанном, голодном теле человечества, хочу жить. Я вовсе не циник, вы должны это помнить, друг мой. Вы знаете эту песню?

Заря поутру, заря поутру.
Ты мне говоришь, что я скоро умру,
А девушки юны, трава зелона,
Я не жил еще, для чего ж умирать?

— Старая песня...— Ее голос прерывался.

Сострадание горячей волной прихлынуло к сердцу Бреды, сметая препяды. Он обнял ее.

Завтра отодвинулось куда-то вдаль. В этой комнате они были, словно на острове, пляшущий огонь в печи стал для них солнцем, эти краткие мгновения перед расставанием — целой жизнью. Каждый час приносит свою жертву, спешит собрать ее, прежде чем он канет в вечность.

Трескетное тело Милады прижалось к Бреде, словно кроме него ничего не оставалось на свете. Да, кроме него ничего не оставалось. Вокруг них сплошная тьма, только и света, что в его глазах, только и силы, что в его объятиях, только и нежности, что в его руках, только и утешения, что его губы.

Их союз был естественен, как союз стихий, они соединились, как

соединяются звезды, стремясь друг к другу через беспредельное пространство, чтобы образовать новое солнце, как сталкиваются молекулы, чтобы вспыхнуть пламенем.

О, боже мой, думала она, вот чего я жажду. Обвиться вокруг него, вокруг его силы, вокруг его теплоты и так оставаться, оставаться навсегда на ласкала его плечи, его волосы. Как весенние ручейки, вся кровь ее сердца заливала его, он был в ее сердце. Отдать всю себя, забыть о себе, ситься с ним нерасторжимо, навеки,— этого она достигла, этого никто не может отнять, ее любви, ее торжества над смертью и страхом!

Я вся горю, охваченная ласкающим огнем. Тысячи тончайших волокон связывают меня с ним, и они тянутся к нему, впитывают его в себя. Пусть ни один иерв не останется обойденным, пусть воспримет его чудесную, сияющую жизнь, пусть каждый получит свою долю блаженства.

Я огненный шар, я легка, о, так легка. Во мне этот человек, это возлюбленное дитя. Я возвоню его на головокружительную высоту, в беспредельную лазурь. Я госпожа, я мать, бессмертная подательница жизни. Я достигла предельной высоты. Никто никогда не поднимался на такую высоту. Какая пустота, какое безграничное пространство!

Какая радость раскрыться, ситься со всей вселенной, отдать всю себя!

Она откинулась на подушки. Этот человек в ее объятиях, как он беспомощен. Он улыбнулся и поцеловал ее, с робостью, как целуют край голубой мантии богоматери.

Она нежно коснулась губами его щеки, его глаз, его лба, шепча слова утешения и любви, и ее любовь, как колыбельная песня, убаюкала его.

Потом наступило молчание. Огонь в печи погас. Бреда встал и взял одеяло, чтобы укрыть себя и Миладу.

Они тесно прижались друг к другу, ровно дыша, и ее голова лежала на плече Бреды.

— Милый,— прошептала она,— когда ты уйдешь, жизнь остановится.

Он взял ее локоть в свою большую руку и крепко сжал.— Ты мне близка, как никто никогда не был. Но это невозможно, мы не можем се-бю этого позволить. Наше время — время одиночества. Пожелай удачи нам обоим.

Она подумала, что женская любовь, верно, сильнее мужской. Неужели он ни на минуту не мог забыть о действительности, даже в ее объятиях. Потом она поняла, что ему пора уходить; так надо.

— Я люблю тебя,— сказала она.

— Ты смелая, прямая.

— Что же тут удивительного? Я знаю только одно: я не могу потерять тебя.

Он вздохнул.— Я не мог бы любить тебя так сильно, если бы это не было концом.

— Тебе пора итти?

— Я хочу, чтобы ты знала: мы неразлучны. Как день с солнцем, ночь с луной, как заря с ее красками.

— Да.

— Это я унесу с собой.

— Я тоже.

Он поцеловал ее. Потом встал. Заботливо укрыл Миладу. Сонными глазами смотрела она, как он одевается. Все, что она пережила за этот день, до дна исчерпало ее силы. Она была так утомлена, что только краем сознания воспринимала действительность. Это было хорошо, ей не так мучительно было расставанье.

Бреда понял это чутко, рожденным любовью, и опустился рядом с ней на колени.— Спи крепко,— сказал он,— и не забывай, что на заводе мы с тобой незнакомы.

— Не оставляй меня, милый!— она обняла его теплыми руками.

— Мы еще увидимся,— утешал он.— Береги себя. Как ты красива.

Милада, у тебя волосы похожи на черные вьющиеся ручейки. Дай мне наглядеться на тебя, запечатлеть тебя в памяти такой, какая ты сейчас.

Потом, решительно высвободившись из ее рук, он встал и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

Милада не сразу поняла, что осталась одна. Звуки его шагов давно затихли.— Милый!— позвала она.— О, мой милый!— В первый раз за весь этот потрясающий день она заплакала и, плакая, уснула.

Пан Кратохвил ждал перед домом с терпением охотника, который знает, что рано или поздно олень должен выйти из чащи и направиться к водопою. Он держал порох сухим, предаваясь приятным размышлениям на тему о том, куда он истратит деньги, которые получит за сверхурочную работу. Надо отдать справедливость этому Рейнгардту, на деньги он не скучится. Хотя, с грустью размышлял Кратохвил, не так-то много на них купишь — во-первых, товаров нет и, во-вторых, деньги ни черта не стоят. В своей сфере Кратохвил тоже столкнулся с железным законом экономии. Сколько он ни бился, он не мог разрешить противоречия между фактом отсутствия товаров, изъятых нацистами, и изобилием хрустящих блестящих банкнот, еще пахнувших типографской краской. Поэтому, как ни жаль ему расставаться с деньгами, он решил истратить их на угощение сторожам кладовой при штабе гестапо. А они за это дадут ему выбрать любую вещь из пожитков, отобранных у арестованных.

Подбирать крохи со стола новых правителей, рассуждал Кратохвил, все же лучше, чем оставаться совсем без крох.

Неизвестно, как далеко завели бы Кратохвила эти рассуждения, если бы его не прервал человек, вежливо, но настойчиво попросивший у него спичку. Этот человек, сейчас же отметил Кратохвил, вышел из дома, в котором скрылась его добыча.

Кратохвил чиркнул спичкой, и секунду-другую оба они смотрели друг на друга испытующими глазами. Потом спичка погасла.

— Благодарю, — сказал Бреда

— Мое почтение! — ответил Кратохвил, приподнявши серую шляпу.

— Очень рад вас встретить, — сказал Бреда.

— Вы кажется спешите? — продолжал Кратохвил.

— Да, я занят.

— Отлично! Отлично! — сияя улыбкой, запел Кратохвил. — Куда же вы идете так поздно ночью? Чем вы занимаетесь?

— Такой приятный человек, — сказал Бреда, — а зачасто столько вопросов постороннему! Можно подумать, что вы служите в полиции. Да нет, конечно, иначе вы бы не вышли один на улицу в такой поздний час!

— Почему же не вышел бы?

— Потому что это опасно.

— Вот как?

— Видите ли, если бы вы служили в полиции, а я бы этого окандал, не одобрял, и встретил бы вас один на один. — все это, мой друг, только предположения, — я бы ~~взял~~ вас — вот так, за горло и сжал бы — вот так!

— Пустите! Мне больно! — Кратохвил задыхался.

— Прошу прощения.

— Не беспокойтесь! — пробурчал Кратохвил.

— Ну, спасибо за спичку. — И не успел еще Кратохвил притти в себя от испуга, как Бреда уже скрылся во тьме. Теперь до конца вахты Серая Шляпа будет чувствовать себя не особенно приятно, посмеиваясь, думал он. Как легко было бы удавить его. Чуть сильнее сдавить пальцами горло, — но в расчеты Бреды ~~всегда~~ не входило убивать списки сейчас; поднялась бы тревога, полиция стала бы обыскивать весь район и, возможно, арестовала бы Миладу. Подойдя к Серой Шляпе и напугав его, Бреда уверился, что тот дежурит один и не может отрядить кого-нибудь из своей братии для слежки за Бредой.

Теперь он знал хорьковую мордочку шпиона и обещал себе, что расправится с ним в самом скором времени.

Как я изменился! думал Бреда. Я хладнокровно и даже с удовольствием помышляю об убийстве человека, которого никогда до сих пор не видел. Ведь прежде я был мирным обывателем, послушным закону. А теперь я и обвинитель, и судья, и присяжный, и исполнитель приговора — по собственной воле.

Они отняли у нас не только нашу землю, наши книги, наши машины, — они отняли у нас надежду, достоинство, человечность. Но они рубят рук, на котором сидят, их погубят собственная жестокость. Законы истории против них. И я, Бреда, любитель вечерних зорь, тихих речных заводей и мирных размышлений, готов стать убийцей этих палачей, и потом сложить голову на плахе. Я не теряю из виду великих перспектив этой драмы, а иначе мне казалось бы, что я в западне. Но я вижу результаты, вижу будущее, я вижу как мои усилия, в соединении с усилиями многих, образуют мощный поток, который раздвинет все преграды.

Он постучался условленным стуком, и его впустили. Радиомонтер, Франтишек, коренастый, крепкого сложения человек с маленькими, живыми глазами и обветренным лицом карпатского крестьянина, был один из членов ячейки, которой руководил Бреда. Второй был провизор Подебрадский. Втроем они могли выполнить любое задание, для которого требовалось знания по химии или механике — это была юркое спаянная группа людей, абсолютно доверяющих друг другу.

Они поздоровались. Бреда осмотрел стоявший на столе прибор для звукозаписи, соединенный с микрофоном. Рядом с микрофоном добросовестный Франтишек поставил стакан воды: — Как в настоящей студии, — пояснил он. — У дикторов всегда пересыхает в горле.

Подебрадский, который принес диск для записи, рассмеялся. — Ты у нас за примадонну, старик. Ну что ж, прополощи горло мятою и пробуй голос: ми-ми-ми!

— Пробуй сам! — добродушно отпарировал Бреда. Обратившись к Франтишку, он похвалил механика. — Сколько же у тебя месяцев ушло на то, чтобы украсть все нужные части. Жаль, что мы так редко можем пользоваться этим аппаратом.

— А стоило бы, — сказал Франтишек.

— Ну как? Ты готов?

— Одну минуту. Дай только еще раз посмотрю свою рукопись.

Бреда, усевшись перед микрофоном, перечитывал листки, исписанные его аккуратным почерком. На бумаге слова казались такими холодными и мертвыми. Надо снова зажечься тем пламенем ненависти и борьбы, каким он горел, когда писал эти строки. Он думал о Янушке, о Миладе, думал о мертвых, лежащих в безыменных могилах. В этом подвале, вместе с двумя людьми, как и он безгранично преданными делу борьбы, он должен был подать призывающей клич, который проникнет за эти стены, за все стены.

— Готов, Бреда?

— Готов, Франтишек.

Диск начал вращаться.

— Граждане Праги! Завтра будут расстреляны двадцать заложников за убийство одного нациста, некоего Глазенапа. Этого человека никто не убивал. Он сам покончил с собой.

У гестапо нет даже мотива мести за убитого: вали сопротивление подло обмануты, они жертвы чудовищного произвола злобствателей.

Нет больше иллюзии закона, хотя бы даже нацистского закона... Нет больше безопасности, как бы вы ни гнули головы. Ваша жизнь и жизнь ваших близких находится во власти беспричинных, озверевших убийц. Они убивают ради того, чтобы убивать, мучают, чтобы мучить. Их злоба топчет вас, без разбора, как град колосья.

Мы должны восстать против них. Мы должны портить работу, которой от нас требуют, пускать под откос поезда, поджигать и взрывать

их склады, их транспортные средства, их жилища. Давите их, как они давят нас! Уничтожайте их, как они уничтожают нас! Душите их, как они душат нас! Убивайте их, как они убивают нас!

Они или мы! Граждане! У каждого из нас бывает свой шанс, у каждого из нас бывает свой день! Пользуйтесь им и вступайте в борьбу! По одиночке или группами, вступайте в борьбу! Боритесь до тех пор, пока последний из убийц не будет изгнан за пределы нашей земли навсегда!

Глава 9

Драматическое показание Прокоша своей неожиданностью поразило Рейнгардта.

— Так это вы убили Глазенаппа? — недовольно отклинулся он. В его голосе не было сомнения — где же слыхано, чтобы человек добровольно напранился на ту меру наказания, какая будет назначена за убийство немецкого офицера.

— Да! — ответил Прокош твердо, почти с гордостью.

— Что же заставило вас сознаться? — спросил Рейнгардт.

Да — что заставило Прокоша сознаться?

Он не отличался храбростью и всегда избегал столкновений, в которых надо было проявить силу характера.

В центре вселенной стоял актер Прокош, жизнь была для него спечной, а зрителями — весь мир. Едва ли существовала в действительности отдельная личность, носявшая имя Карела Прокоша; вчера он был героям, сегодня грешником, завтра будет святым. Он переливался всеми цветами радуги, и выражение его лица, характер, ум менялись с каждым днем, с каждым часом.

Человек, возвеличивший себя до небывалых размеров, умер под валом гестапо. Его убила правда.

Действительность, к которой он питал презрение, отомстила ему. Его жена, его возлюбленная изменила ему, соединив свою жизнь с каким-то ничтожным писакой: ребенок, рожденный ею, был не от него.

Ему не удалось самая важная из ролей — это жизнь. Он просто чут: изъеденный молью костюм, гримировка, набор заученных фраз — и ничего больше.

Других приводит в отчаяние близкая смерть, а ему не все ли равно? Он умер, он мертвее мертвых, потому что никогда не жил.

Посреди этих размышлений Прокоша принесли надзиратель и вызвал Яношку на допрос к Рейнгардту.

Прокош не присоединился к добрым пожеланиям, напутствовавшим Яношку, не простился с ним, как другом. До сознания Прокоша не сразу дошло, что дверь камеры давно уже захлопнулась за Яношком.

Так, значит, Яношку вызвали на допрос к шефу гестапо, думал Прокош. Да и пора уже. Скоро придет и моя очередь. Что ж, пускай. Мне все равно. Пусть допрашивают, пусть убивают — я даже рад этому. Все лучше, чем умереть живому, умереть за живо. Убейте меня, потребую я от них, убейте меня! Положите этому конец!

Он представлял себе место действия — у холодной серой стены. Красноватые лучи восходящего солнца. Все остальные, маленькие актеры на выхолные роли, стоят в немом отчаянии. А он, актер Прокош, поднимает руки кверху, поворгая зрителей в трепет: — Убейте меня! Положите этому конец!

Или еще лучше — он сыграет эту сцену один. Он избавится от статистов. Зачем им умирать? Они только испортят ему роль! В чем были быты их роли, он, герой, возьмет ее на себя, пожертвует собой ради малых сих. Какая сцена под занавес!

Он, Карел Прокош, принеся себя в жертву, освободит человека, который украд у него жену и был отцом ее ребенка. Какая развязка!

До конца своих дней этот негодяй не посмеет поднять голову... Какая месть!

И когда раздастся залп, когда опустится занавес, никто не выйдет на авансцену навстречу аплодисментам. Карел Прокош будет лежать весь в крови, с мудрой улыбкой на устах, оправданный перед потомством.

Застыгнутый врасплох, Рейнгардт не усумнился в искренности признания Прокоша, хотя оно и нарушало его планы. Но если Прокош убил Глазенапа, какие у него были на то причины и как он это сделал? Далее, он мог бы остаться неизвестным, не выделяясь из среды других заложников. Быть может, он считал, что его признание освободит других? Рейнгардту за долгие годы практики приходилось встречаться с геройством такого рода. Он считал его смешным, давно отжившим. Но, рассуждая о такой возможности, рейхскомиссар сделал еще один шаг по пути логики: «Что, если вся исповедь была выдумана? Выдумана Прокошом, чтобы освободить заложников, пожертвовав собой.

— Подойдите ближе! — скомандовал он Прокошу.

Теперь румяный цвет лампы сосредоточился на лице актера, но тот не смигнул: он привык к блеску огней рампы.

Рейнгардт разглядывал Прокоша. В ярком свете он выглядел бледным и истощенным, щеки обвисли мешками, глаза покраснели, лоб казался немощенным. Губы актера побелели, отросшая щетина бороды углубила тени на его лице. Он болен, подумал Рейнгардт. Может быть, просто от духоты в камере, а может быть, и в самом деле болен. Кроме того, он неуравновешен, это неустойчивый интеллигент, легко уступающий давлению. Нетрудно будет добиться от него фактов.

Ну, дорогой мой Прокош, — вернулся Рейнгардт к допросу, — не расскажете ли вы нам несколько подробнее о том, как и почему вы убили лейтенанта Глазенапа? Не можете же вы просто сказать нам: я его убил! — и думать, что этим все исчерпано. Наша задача установить правду, всю правду. Если вы расскажете нам правду, то вам нечего опасаться.

Прокош, который лежа на койке, имел достаточно времени для того, чтобы придумать подробности, начал свой рассказ.

— Я ненавидел его. Это была такая скотина. Безобразный, хвастливый, отвратительный, пьяный. Я тонко чувствую. И потому я убил его.

— Это у вас что же, привычка? Я хочу сказать — убивать людей, которые пришли к вам не по вкусу?

— Нет, — сказал Прокош, — но он был налицо, и, следовательно, с ним ничего было считаться, как считаются даже с самыми ненавистными людьми.

— Однако вы не стесняетесь в выражениях!

— А чего ради я стану стесняться? Я знаю, меня ждет смерть, что бы я ни говорил. В сущности, я даже рад, что вы услышите от меня правду.

Рейнгардт кивнул. — Правду! Продолжайте!

Прокош задекламировал: — Вы принадлежите к правящим. Вы не знаете, что значит находиться под вашей властью.

— Можете быть уверены, что знаю, — улыбнулся Рейнгардт. — Я не лишен воображения.

— Доходишь до того, что начинаешь думать: следующего, с кем я повстречаюсь из этой башни, я убью. Это такое изумительное облегчение убить, чувствовать, как жизнь покидает тело негодяя, которое вы держите в руках...

И вдруг, сделав шаг к Рейнгардту: — Ужасно, не правда ли?

Рейнгардта нисколько не увлекло исступление актера. — Звучит очень убедительно, — сказал он. — Жаль, что мне не пришлось видеть вас на сцене. А ваше признание просто бесподобно. В моей работе мне

часто доводится слышать, как признаются люди, но вы первый признаетесь с таким увлечением. Не правда ли, Менкеберг?

Менкеберг проворчал: — Не можете ли вы заставить его говорить медленнее? Дьявольски трудно записывать все это.

— Вы слышали, чего хочет Менкеберг? — спросил Рейнгардт. — Обычно его работа гораздо легче — я задаю вопросы и с трудом добиваюсь ответа от заключенных, так что Менкеберг успевает записывать. Но вы говорите с таким воодушевлением, а потому не взыщите, если мы в чем-нибудь ошибемся.

Прокош был несколько задет ответом рейхскомиссара. Он чувствовал двусмысленность вежливых похвал Рейнгардта, но не мог решить, верит ему рейхскомиссар или нет.

А Рейнгардт, слушая Прокоша, все меньше и меньше был склонен ему верить. Рейхскомиссар, которому мало приходилось иметь дело с актерами, думал, что, может быть, они действительно таковы. Но не исключена возможность, что Прокош врет, торжественно и с великолепным апломбом, но все-таки врет.

Однако Рейнгардт был не такой человек, чтобы вскочить с места и крикнуть: «Лжешь, негодяй!» О нет, он сидел спокойно и наслаждался спектаклем, дожидаясь, пока лжец не залупастся в собственной выдумке, слегка направляемый к финалу рукой Рейнгардта Мудрого.

— И других мотивов у вас не было? — спросил он. — Не Глазенап, так другой немец, вам было бы все равно?

— Да, — сказал Прокош, — ненависть не разбирается.

— Я вижу, вы опасный человек!

— Да, меня можно считать опасным.

— Я уже спрашивал, что заставило вас сознаться — вы не ответили мне. Может быть, ответите сейчас?

Прокош подготовился к этому вопросу. Красноречивым жестом он поднял правую руку. — Ваши подвалы, господин фейхскомиссар, не вызывают особенного желания жить. Скорее наоборот. И когда я узнал от доктора Валлерштейна, что всех нас расстреляют как заложников, если не будет найден убийца лейтенанта Глазенапа, то мне пришла в голову простая мысль: так как я убийца и так как я во всяком случае должен поплатиться жизнью, то не сознаться ли мне? Пусть, и умру более мучительной смертью, все равно умереть можно только один раз. И я получу моральное удовлетворение — я буду знать, что остался им, или в чем не-повинным, возвратят свободу.

Рейнгардт улыбнулся. Он посмотрел на свою ногти и слегка провел ими по черному отвороту мундира. — Так вы надеетесь, на наше порядочность? — спросил он. — На порядочность и справедливость тех самых людей, которых вы так ненавидите, которых, по вашим словам, готовы убить при первой возможности. Почему же мы должны действовать так, как вам хочется? Почему нам не стать на нашу же точку зрения, то есть убить вас, если есть возможность? Вас — и заложников.

Полузакрыв глаза, он следил за Прокошем. Он был доволен — актер растерялся, и не было супфлера, который подсказал бы ему следующую строчку.

— Этого вы не можете сделать! — занякаясь, произнес Прокош. — Я сознался! Покарайте меня! Прикажите меня расстрелять!

— Расстреляем, расстреляем! А спачала расскажите нам, как вы убили Глазенапа. И я бы желал слышать правду без театральных прикрас — Менкебергу, знаете ли, придется все это записывать.

Прокошу стало до ужаса ясно, что не он играет Рейнгардтом, а тот ведет с ним дьявольскую игру. Прокошу трудно было сопоставлять с ним в области логики и криминологии. И как бы он мог, лежа на неудобной скамье и сокрушаясь о своей бесплодно потраченной жизни, сократить паутину фактов настолько прочную, чтобы она устояла перед критическим взглядом Рейнгардта? Как мог он знать, что было известно Рейнгардту? Как мог он заранее придумать ответы на вопросы, которых не ждал?

Он надеялся, что будет довольно одного признания, быть может объяснения мотивов убийства. А от него требовали деталей, обстоятельств, фактов, от него, который никогда не обращал внимания на мелочи.

— Как я его убил! — возмутился он. — Я убил его — неужели этого мало? Неужели вам нужны отвратительные подробности?

— Вы удивляете меня, Прокон! Вы становитесь мягкоксердечны, а? Да, — любезным тоном наставлял Рейнгардт, — мне нужны отвратительные подробности.

— Не помню. Все это произошло словно в каком-то тихре. — Он пытался убедить непреклонного человека, сидевшего перед ним. — Неужели вы не понимаете — кровь бросается в голову, все представляется вам в какожженном виде, звуки обостряются...

— Поверьте мне, — сказал Рейнгардт, — я смыслию в убийстве гораздо больше вашего. Это происходит совсем не так, как вы описываете. Чаще всего убивают очень хладнокровно, очень обдуманно. Вы хотите, чтобы я принял ваше признание на веру, не правда ли? Так вот, как человек, которому вверена охрана жизни и собственности в этом городе, я должен знать точно, что именно произошло. Если вы не можете рассказать мне, значит, вы говорили неправду.

Прокон был пойман. Он знал это. Какую бы историю он ни придумал, только по счастливой случайности она могла сойти ему с рук.

— Глазенап спустился вниз в уборную. Его стояли на пол бара, — он ослаивал. Это было видно. Вот почему я пошел за ним. — Прокон говорил с запиской, останавливаясь после каждой фразы.

— Когда?

Когда? Через некоторое время после того, как пришел сторож выпирать пол. Я сообразил, что, кроме Глазенапа, в уборной сейчас никого нет.

Видите, насколько я прав? — заметил Рейнгардт. — Убивают хладнокровно. Вы совершенно резонно приняли в соображение почти все обстоятельства. Продолжайте!

— Я сшел вниз по лестнице.

Никто этого не видел?

Насколько мне известно, никто.

Вы пришли в кафе один?

Нет, со мной был Лобковиц.

Понимаю, — сказал Рейнгардт. — Продолжайте!

Внизу, в уборной, я увидел Глазенапа, наклонившегося над раковиной. Мне стало противно, и моя решимость покончить с ним только усилилась. Не думаю, чтобы он слышал, как я подошел к нему сзади. **Мне** было нз до того.

— Я обхватил руками его шею, крепко сжал ее пальцами. — Воображение Прокона завладело им. Он думал уже не о Глазенапе, которого **я** заметил, в кафе «Манес», а о Лобковице, о шее Лобковица... — Сжимал и сжимал ее изо всех сил. И вдруг он весь обмяк. Умер.

— Без борьбы?

— Он был пьян, и я застал его врасплох, он не боролся.

— Вы дулили его вот так? — Рейнгардт обхватил руками толстую шею Менкеберга, иллюстрируя рассказ.

— Да, так, — подтвердил Прокон.

— А куда вы девали труп?

— Бросил в реку.

— То есть вы донесли мертвого лейтенанта до набережной и столкнули в реку Влтаву?

— Да.

— Вы не боялись, что вас кто-нибудь увидит?

— Было темно. Не думаю, чтобы меня видели.

— Так, значит, свидетелей нет... — Рейнгардт откинулся на спинку стула. Потом начал перелистывать бумаги в папке с надписью: «Лей-

тевант Эрих Глазенап». Он посмотрел рапорт полицейского врача — на теле не было никаких следов. Пальцы оставили бы отпечаток на шее.

Рейнгардт улыбнулся коварной улыбкой. Довушка захлопнулась.

— Возможно, придется отдать приказ, дорогой Прокоп, — невозумительно объяснил Рейнгардт, — который мне очень не хочется отдавать. Но поймите меня! Надо вас изолировать от ваших товарищ по камере, чтобы вы не могли рассказать им о нашей весьма поучительной и интересной беседе. А, к сожалению, условия одиночного заключения у нас оставляют желать лучшего — помещение будет довольно тесное, ни лежать, ни даже сидеть вы не сможете. Там темно, и вентиляция далеко не образцовая. Как я уже сказал, мне очень не хочется поступать с вами так, я отдаю этот приказ единственно в интересах правды. На тот случай, если вы пожелаете добавить какие-нибудь подробности или изменить ваше показание, я прикажу одному из надзирателей справляться о вашем самочувствии через каждые три часа. Согласны вы на это?

Колени Прокопа подогнулись. Он закрыл глаза — в первый раз в жизни актера ему было больно от яркого света. Он вспомнил рассказы Яношек о стоячих гробах. Вот на что он теперь осужден. Его последнюю спену — монолог под занавес — не так-то легко закончить.

— Не приходите в отчаяние, — утешил его Рейнгардт, — я знаю многих, которые прошли через это без всякого вреда для себя. — Он позвонил, и Прокопа увидели.

Актер услышал еще смех Рейнгардта: — Менкеберг, это дело Глазенапа с каждым часом становится все увлекательнее. Как вам кажется?

Потом дверь затвердилась, и Прокопа охватила полутора коридора.

В камере оставалось только трое заложников: Прейснгер, Лобковиц и доктор Валлерштейн. И никто из них не мог уснуть, хотя камера теперь казалась более просторной и у каждого была отдельная койка.

Тьма была непротглядная, что действовало удручающе на Валлерштейна. Он не мог писать, не мог уйти в свои драгоценные заметки.

Лобковиц был мысленно с теми двумя, которые были вызваны на допрос и до сих пор не вернулись. Все, что он слышал о жестоких пытках и бесконечных допросах, оживало перед его глазами. Он уже чувствовал ненависть к Прокопу, он жалел его. Как выдержит актер пытка нацистов, пережив такое потрясение? Счастье еще, что у Прокопа нет никакой тайны, которую надо бы хранить.

Другое дело Яношек. Они никогда не говорили на эту тему, но у Лобковица было чувство, что Яношек знает больше, чем говорит. Лобковиц молился о дарованной силы ему и Яношеку, молился богу, в которого до сих пор не верил и которого не могло быть, как подсказывал ему разум. И все же он молился в безумной надежде, что бог, суровый, но милосердный, восседает где-то на недосягаемой высоте и что мольба отчаявшегося человека должна дойти до его слуха.

И другая безумная надежда вторглась в душу Лобковица. А, может быть, допрос означает, что еще не все для них кончено. Что, если исход дела не предрешен заранее? Что, если гестапо напало на след убийцы, что, если убийца найден?

— Как вы думаете, выпустят они нас, если убийца Глазенапа арестовали?

Ответа не было.

— Вы слышите меня, доктор Валлерштейн?

— Да, я слышу вас, Лобковиц.

— Так почему же вы не отвечаете?

— Потому что надежды очень мало. Нацисты так или иначе расстреляют нас для поддержания своей системы террора. Это круг, из него не выйти.

— Предположим, — не сдавался упрямый Лобковиц, — что убийца —

один из заложников! В сущности, этот вывод налгивается сам собой. Чуть мы все были в кафе, когда Глазенапа убили.

— Может быть, вы и ожидали бы такого величия души, но люди, к сожалению, не всегда оправдывают наши ожидания, мой юный друг. Такой человек как Прейсингер, например, вряд ли он сознается. Он трус в душе. А скажите, вы бы его выдали?

— Мне не нравятся ваши вопросы, доктор Валлерштейн. Он в одном положении с нами..

— В одном положении могут быть очень разные люди,— мягко возразил Валлерштейн.— Прейсингер, уверяю вас, выдаст кого угодно, лишь бы спасти свою драгоценную жизнь.

Прейсингер, чувствовавший себя очень угнетенным и раздражавший все сильнее в течение этого разговора, закричал:

— Вы садист! Я знаю, что вы меня ненавидите! Вы заставляете Лобковица предать меня, чтобы спасти вашу собственную шкуру! Так позвольте сказать вам, что я еще выплыну. Меня освободят, я знаю! Я знаю! У меня есть влияние, у меня есть связи. Это вам, может быть, придется умереть, и уже поверите, я плакать о вас не стану.

— Если вы так влиятельны,— сказал Валлерштейн,— почему же вы здесь сидите?

Прейсингер засмеялся безумным смехом.— Я здесь именно потому, что имею влияние. Вы оба этого не понимаете, вы думаете, что я рехнулся. Нет, я не рехнулся — я знаю, что говорю. Вы оба — ничтожные пешки, вы существуете только для того, чтобы вас передвигали с места на место. А я не просто человек, за мной горы и рудники. Я — уголь, я, значит, я — железные дороги, электричество, пар, я — колеса, которые движут, стакки, которые штампуют, шорши, которые толкают.

— Очень убедительно, но посмотрите на себя теперь.

— Это пустяки! — торжествовал Прейсингер.— Я сам попал сюда, сам и выберусь отсюда!.. Им пришлось сделать меня министром — помните?

— Да, помню,— согласился Лобковиц, работавший в газетах.— Вот был скандал!

— Скандал — это пустяки! Вы не можете себе представить, как неприятно, когда эти политики тормозят хорошо обдуманные ваши мероприятия. Я решил сам этим заняться. Я присутствовал на том заседании кабинета в Мюнхене, когда нам приказали передать Гитлеру Судеты. Я знал, и все мы знали, что это значило отдать Чехословакию. Но дело шло не только о нашей маленькой стране.

— Вы не привыкли мыслить политически. Я должен вам объяснить: Советы предлагали нам помочь, если мы будем сопротивляться. Таким образом, у нас в руках была судьба всей Европы.

— Я встал и сказал: «Господа, кого вы предпочитаете видеть в нашей стране — нацистов или Красную Армию? В обоих случаях мы проигрываем. С приходом нацистов мы потеряем, невесомые блага: демократию, национальную независимость, свободу печати, свободу слова и так далее. А помочь Советов значит, что весь этот мелкий народ, которым мы здесь правим, поднимет голову и ладить с ним будет очень трудно. А с нацистами мы столкнемся. Из двух зол надо выбрать меньшее. Что касается меня, я предпочитаю нацистов и подам голос за них».

Лобковиц был в бешенстве, голос его прозвучал хрипло:— Вы заслуживаете того, чтобы вас расстреляли — и расстреляли ваши приятели нацисты.

— Не говорите глупостей! — засмеялся Прейсингер.

— Они меня помнят. У меня с лицами были самые лучшие отношения. До их прихода угольный синдикат был в руках евреев Петчеков. После прихода нацистов их вышвырнули вон. Во главе синдиката стал я. Так что, вы понимаете, на этом заседании кабинета решались гораздо более важные вопросы, чем судьба нашей маленькой страны.

— Понимаю, — согласился Валлерштейн. — Вы меня интересуете как феномен, Прейсингер. Акции, угольный синдикат, — этого не едят и в постель с этим не ложатся. Вы продали свой народ — что же вы из этого извлекли? Какое удовольствие?

— Сознание могущества, — ответил Прейсингер. — Сознание, что ты двигаешь, а не тебя двигают, что ты толкаешь, а не тебя толкают.

— Вы сумасшедший! — крикнул Лобковиц.

Яношек сидел на заднем сиденьи открытой панорамной машины между двумя людьми эсесовцами в стальных шлемах, очень мало заботившихся о том, чтобы Яношку было удобно, и толкавших его с двух сторон. Вместе с шефером сидел «Младенец» Грубер, глава экспедиции в кафе «Манес». Эсесовцы были не слишком довольны поездкой: их оторвали от игры в скат, вытащили из уютной, прокуренной караулы для сопровождения этой косоглазой чешской обезьяны в какой-то бар неизвестно зачем. А всего обиднее, что бар уже закрыт и пить во время дежурства ни в коем случае не разрешается.

Машина мчалась по затменным улицам, отлавливая их воем сирены. Потапавшиеся навстречу прохожие жались к стенам, думая: «Несчастный, бог его знает, что он сделал, бог знает, что сделают с ним».

Но Яношек чувствовал себя счастливым. Свежий ночной воздух был ему в лицо, забирался под куртку, и дышать им было отрадно. После затхлой атмосферы в камере он освежал голову и укреплял нервы. Вырвавшись хоть на минуту из тюрьмы, уже чувствующий себя свободным!

Он напевал песенку, которую слышал когда-то во время жатвы, ее пели молодые голоса полногрудых моравских девушки. Яношек не отличался музыкальностью, он пел фальшиво, но с большим чувством. Малоизвестно он подбирал новые слова к старому мотиву:

Да, негодяи, сегодня, сегодня, над вами одержим победу!

Да, негодяи, я долг свою исполню и адрес друзей передам!

Да, негодяи, вы сильны, но мы хитры и упорны!

Да, негодяи, — мы скоро взорвем вас, подложив динамики вам
зад!

Это были плохие стихи, но как боевой клич Яношек они звучали торжествующе.

— Перестань выть! — приказал Энцингер, сидевший справа от Яношке. — И какого черта ты радуешься?

— А город-то, наша Прага? — объяснил Яношек. — Я, видите ли, прощаюсь с ней, потому что завтра меня расстреляют. Если бы вы родились тут, неужели бы вы были не рады перед смертью еще раз покинуть родной город?

Энцингер повернулся к Вальтересу, сидевшему по другую сторону Яношке. — Ну вот и пойми этот народ! Мы их расстреливаем, а он поют.

Вальтерес проворчал: — Они и сами ничего не понимают. Сказано ниша раса. Ни культуры, ничего. А мы развозим их по улицам сред ночи.

Машина срезала угол. Они доехали до реки и мчались по набережной Влтавы. Позади них луна освещала холодным светом Градчанский холм на противоположном берегу; редкие облака с серебряными краями неподвижно застыли в беззвездном небе.

Яношек увидел реку, спокойную и широкую реку, дробившую лучи света на мириады огней, и у него захвачило дыхание. Исчезла вспомогательная, вся ирония, вся суровость, приобретенная за долгие годы борьбы

Осталась только великая умиротворенность и мысль: как я нецелоговорчен, как мало значу! Город и река будут существовать непрежнему, величественные, не дряхлеющие. А я солюсь с ними, как устои Карлова моста, как статуи на кровле собора.

Три длинные, тяжелые баржи с грузом показались на реке, беззвучно скользя, и вернули Яношека к действительности. А вдруг это сальные баржи, которые он поможет взорвать. Он перестал тревожиться. Он так силен, так уверен в себе и в своем жизненном назначении, что ни сомнениям, ни страху нет больше места в его сердце.

Они подъехали к кафе «Манес» и остановились. Там было темно и пусто: на веранде опрокинутые стулья громоздились на столах.

Поставив ногу на подножку машины и опершись локтем на колено, а подбородком на ладонь, Грубер казался себе по меньшей мере фельдмаршалом, погруженным в раздумье. Это раздумье ни к чему не привело. Он повернулся к Яношку и спросил:

— У кого ключи?

— У хозяина.

— А где хозяин?

Яношек, все еще зажатый между двумя эсэсовцами, отважился попытать голос: — Думаю, что дома, в кровати со своей хозяюшкой.

— Разве нет сторожа или кого-нибудь вроде?

— Как же. А я то?

— Чего же вы с самого начала так не сказали? Где ваши ключи?

— Он у вас, сударь.

Но Груберу и в голову не пришло взять с собой ключ, отобранный у Яношека при аресте. И он не имел ни малейшего желания ехать обратно в штаб, искать по всей кладовой и, найдя этот несчастный ключ, снять возвращаться.

— Придется взломать дверь, — объявил он, принимая новую позу, бодяющуюся на поле битвы. — Вперед!

— Вот и отлично, — заметил Яношек, ковыляя за Энцингером и Вальтерсом. — Пускай все видят, что у нас важное дело. Несколько устранив обыск, если потом никто даже не заметит, что мы тут были, прятаться не будем.

Энцингер и Вальтерс начали действовать прикладами винтовок. И так как Яношек был к ним прикован, его руки в кандалах невольно пропадали те же движения — беспомощная марионетка, нелепая карикатура. Дверь затрещала и поддалась. Яношек, следуя за Грубером и своими двумя конвоирами, вошел в темное, мрачное помещение, где он работал в такой скромной и незаметной роли. Была какая-то высшая справедливость в том, что он, стоявший ниже всех, теперь будет распоряжаться в этом доме.

— Свет! Где свет? — кричал Грубер.

Яношек не видел причины торопиться; чем больше времени он проводил в кафе, тем меньше ему придется мучиться в застенке у Райнхардта. Несколько Грубер обдирает себе бока, если ему так к спеху!

Гранатный выключатель в подвале, — услужливо сообщил он. Она осторожно поднялась вперед по темным коридорам, следуя за узким сплошном света от фонаря Грубера. Яношек, знаяший память каждый скопок, динулся лицом и так же неловко, как и другие.

И идут смет белоснил их, резкий свет пызатенных абажурами лампочек в пыльных цатронах. Перед ними была подальшая кладовая, что давала по вищдению Яношека. Здесь были старые ящики и коробки, которые не успели выбрасывать хозяин, поломанная мебель, пустые бутины, груды старых меню, тряпки, ведра, пакеты — нестягая коллекция посторонних отбросов. Искать что-нибудь в этом хаосе, а особенно письмо, можно прилечься полицейскому разве в колпаке.

Но Грубер не так давно стал полицейским и потому не терял надежды. Что ж, начинайте! — сказал он, взглянув на свои часы.

Яношек, непрежнему прикованный к Энцингеру и Вальтерсу, мед-

ленно принялся за работу. Ведя своих стражей на букирё, он начал рваться в ящиках. Густая пыль поднялась столбом. Он передвигал ящики, спотыкался о бутылки, отталкивал в сторону ветхую мебель с небрежностью человека, не питающего уважения к хозяйской собственности.

Грубер отбежал к двери и высунул нос наружу. Но Энцингеру и Вальтерсу не было и такого облегчения. Легкие у них переполнились пылью, глаза слезились, лица были покрыты грязью. Яношек свирепствовал, делая вид, что энергично ищет.

— Надо найти,— бормотал он,— надо найти. Что скажет бедный рейхскомиссар, если мы вернемся без такого важного документа? А пуга, в этом углу, может, оно здесь.— И груды старых меню полетели в стороны, так что ноги тонули в бумажном море. Яношек стал на колени.— Надо же найти.— И раскидывая листки направо и налево, он рылся все глубже и глубже.

Наконец Энцингер заметил: — Нет смысла так искать: — А Вальтерс простонал: — Чорт бы побрал этого полуумного, мало ли что ему в голову взбредет!— не объясняя, кого собственно он имеет в виду: Яношека, Грубера или самого Рейнгардта.

Грубер не только прохлаждался, он думал. Теперь он поторопился сделать вывод из своих размышлений.

— Постойте!— сказал он.— Так мы отсюда не уйдем до завтрашнего вечера. Нам нужна система. Система!— повторил он, припоминая крохи премудрости, оставшиеся у него в памяти от разносов Рейнгардта.

Все четверо подошли к дверям, где пыль была не так густа. Грубер открыл военный совет, еще раз попробовав внести в дело «систему». Но Яношек прервал его, скромно заявил, что самая лучшая система та, где работают все. И Грубер, которому как главе экспедиции приходилось только наблюдать, не возражал против этого.— Мы разделим помещение на три части,— сказал он.— Энцингер будет искать с правой стороны, заключенный посредине, а Вальтер слова. Так мы пройдем по всей длине комнаты и обыщем ее шаг за шагом.

И, вынув револьвер из кобуры, он продолжал:— Можете отпустить заключенного, я буду его держать под прицелом.

Энцингер и Вальтерс были в совершенном отчаянии и ярости от того, что им предстояло помочь Яношеку копаться в этой грязи и они дали ему это почувствовать, злобно срывая с него наручники.

Но Яношек оставался невозмутимым: он улыбался им самой располагающей, дружеской улыбкой, скрывая под ней свое мстительное торжество. Как-никак он заставил работать двух представителей «высшей расы»!

После долгих и энергичных поисков им сильно захотелось пить Яношеку все чаще доставалось от его стражей, особенно после того, как они заметили, что он отстает в работе. Они толкали его и давали ему затрещины, когда он подвергался под руку, а Грубер смотрел на них, зажав папиросу во рту.

В конце концов Яношек, которому очки, не нравилась такая усиленная деятельность с их стороны, заявил, что без стакана пива он больше двигаться не в состоянии, при всем своем усердии. Бар наверху не зашерп, и ему, Яношеку, так часто приходилось видеть, как действует кельнер, что он сумеет нацедить им пива. Энцингер и Вальтерс поддержали его.

Груберу это показалось подозрительным:— Хотите напоить нас, а?— насмешливо заметил он.

Яношек ничуть не смущился.

— Ну, что вы,— сказал он Груберу,— у меня и в мыслях этого не было. Разве я не знаю, что служащие гостя — закаленные бойцы, и стакан другой пива им в голову не ударит?

Не столько доводы Яношека, сколько недовольные взгляды Энцингера и Вальтерса убедили Грубера.

— Хорошо,— сказал он,— пива так пива.

В баре Яношек занял место за стойкой и начал подавать пиво — сначала Груберу, потом Энцингеру, потом Вальтерсу. Он делал это не без грации, предвкушая ту минуту, когда и ему можно будет промочить горло стаканом холодного пива. Грубер дал ему налить стакан, и как только Яношек поднес его к губам, ударил его хлыстом по руке, так что Яношек выронил стакан, и пиво разлилось по отполированной стойке.

Энцингер и Вальтерс захохотали. Яношек закусил губу. Он встретился взглядом с Грубером, и тот заметил выражение ненависти в его глазах.

— Не знаю, для чего рейхскомиссар приказал везти вас в эту сумасбродную экспедицию, — сказал Грубер, — но постараюсь, чтобы вам это не доставило удовольствия! Еще по стакану, живее!

— Еще по стакану, — эхом отозвались Энцингер и Вальтерс.

Яношек повиновался. Этому мальчишке, раздумывал он, немногим больше двадцати. Ноги дите только на его детское лицо, розовые щеки, круглые глаза. И как только они ухитряются растить их такими подленими? Хитрая, должно быть, наука вложить столько жестокости в мальчишку за такой короткий срок. Стараясь забыть о собственной жажде, он поставил полные стаканы перед своими мучителями. Перевоспитать их едва ли возможно, думал он: таких, которые развращены вконец, как от этого надо изребить без остатка. Он вытер со стойки лужу пива. Сколько еще прольется крови, прежде чем в этом мире можно будет жить? — спрашивал он себя.

— Но хотите ли выпить? — осведомился Грубер. — Пиво хорошее.

Да, не хотите ли? — издевались Энцингер и Вальтерс. Яношек заморщил лоб. — Мне не до пива. Я думаю.

— Думаете?! — передразнил Грубер. — Вот как?

— Очень вам благодарен за то, что вы удержали меня от злоупотреблением алкоголем. Я чуть не забыл, что я здесь для того, чтобы найти письмо лейтенанта Глазенапа.

— Еще пива! — потребовал Грубер.

— Я теперь знаю, что оно не в кладовой.

— Как! — воскликнули в один голос все три нациста.

— Один из моих друзей, некий Владислав Петерка, тоже отличался беспечностью. Как-то жена велела ему купить элексир для зубов — у нее видите ли, была целая искусственная челюсть из прекрасных зубов...

— Так что же, — прервал его Вальтерс, — вы хотите сказать, что мы раскапывали всю эту грязь?

— И вот Владислав Петерка пошел по своим делам, а, возвращаясь домой, вспомнил, что надо было что-то такое купить для жены, а что именно он забыл.

— Так вы полагаете, что провели нас? — закричал Энцингер.

— Он думал и думал, что бы это могло быть? Шпильки? Картофельная мука? Норонок от клопов? Просто в отчаяние пришел.

— Отвешайте, черт бы вас побрал!

— И вот он вернулся домой с пустыми руками. Но как только жена открыла свой большой рот и он увидел фальшивые зубы, он мигом понял, что ему надо было купить элексир для зубов! — И Яношек засмеялся.

— Не волнуйтесь, — изложил Грубер своим подчиненным, — он не уйдет. Какая же, собственно, связь между фальшивыми зубами и лейтенантом Глазенапом? — обратился он к Яношеку.

— Да самая простая, — объяснил Яношек. — Когда вы не позволили мне выпить пива и ударили меня по руке, я был точно-в-точку Петерка. У него фальшивые зубы своей жены. Я сейчас же вспомнил тот вечер, когда вы меня арестовали. У вас было то же самое выражение лица. И я вспомнил, что не входил в кладовую, после того как лейтенант дал мне письмо, и значит письмо должно быть в уборной.

Груберу и его двум подручным хотелось только одного — избить до

потери сознания этого чеха, который лежали их ночных сна, да еще заставил работать, и работать усиленно. Особенно был взбешен Грубер, который ровно ничего не делал. Кроме того, он усматривал скрытый сарказм в истории Петерки — хотя не мог бы сказать, в чем, он заключался.

Но он сдержался сам и остановил своих подчиненных. Он получил от Рейнгардта определенный приказ: позаботиться, чтобы Яношек написал письмо Глазенапа. — У нас еще будет возможность расквитаться с вами! — намекнул он зловеще. И, зажавчивая перерыв, приказал:

— Вперед! Сейчас мы обыщем уборную.

Они опять сошли вниз. Яношек, пашупал в кармане ключек бумаги, шелестевший тихо и успокоительно. Наступила критическая минута.

Острый запах уборной ударили им в ноздри.

Яношек входил по очереди в каждую из четырех кабинок и проделывал все, что полагается сделать во время обыска; заглядывал на верх водяного бака, за деревянные ящики с бумагой, за сиденья. Видно было, что он честно прилагает все усилия.

В последней кабинке он засунул руку в карман и схватил адрес Вадлица, зажав его в полуоткрытой ладони.

Потом он подошел к шкафчику с лекарствами и обыскал его сверху донизу и в уголок на самой нижней полке он сбросил адрес, который должен был теперь найти лысый грузчик. Он так возмущался, что сам слышал, как сильно бьется его сердце о грудную клетку. Трое пациентов следили за ним; он чувствовал их взгляды из своей спиче и спрашивал себя снова и снова: заметят они или нет? Они не изменились, за спиной была пугающая тишина. Он даже хотел, чтобы что-нибудь случилось, лишь бы положить конец нервному напряжению.

Он знал, что погубит себя, если хоть чем-нибудь покажет, что в нем бушует буря: нечеловеческим усилием воли он подавил ярость в руках и закрыл шкафчик так спокойно, как будто передача похищенного адреса на глазах у гестаповцев была самым обыкновенным делом.

Обернувшись, он понял, что ни один из троих стражей не заметили, как он прячет адрес: их лица выражали преображение и изобу, но не подозрение. С облегчением вздохнув, он начал обыскивать ящики для чистки обуви, потом чулан, где он держал мыло, полотенца и щетки — больше обыскивать было нечего. Теперь его ждала расплаты. Дело было сделано.

Остановившись перед презрительно смотревшими на него черными мундирями, он беспомощно и растерянноложил пачками.

Грубер, не говоря ни слова, толкнул его в область Энцингера и Вальтерса, которые схватили его. Честолюбивый Младенец, в котором пробудились инстинкты сыщика-любителя, не поверил стараниям Яношека и пожелал лично проверить его.

Ни в чулане, ни в ящике для чистки обуви, который он яростно тщут ногой так, что содержимое рассыпалось по полу, не оказалось ничего интересного.

Яношек готов был линчиться сознания. Его ум ожесточению работал. Судьба тысяч людей зависела от того, насколько зорки глаза Грубера.

Младенец подошел к шкафчику с лекарствами.

Если бы он взял побольше! Яношек ухватился за Энцингера, чтобы не упасть.

Хоть бы мне на этот раз повезло.

Тут Грубер, оглядывая склянки и сверху марли и ваты, заметил маленький ключек бумаги.

Он взял его, бескомечно долго, как показалось Яношеку, держал двумя пальцами, потом прочел: Вадлиц, Смиховская, 64.

Грубер изменился лицом. — Это еще что за дьявольщина? — сказал он. Я в голосе его слышалось скорее любопытство, чем подозрительность. Его слова поразили Яношека, как гром.

— Вы! — окликнул Грубер Яношека. — Подойдите поближе.

Яношек не чувал под собой ног. Потом, под пыткой, он удивлялся, как он все-таки нашел в себе силы подойти к Груберу, ибо он подошел, который он вертел в руках. Но ему нравилось разыгрывать инквизитора.

— Что это значит, скажите пожалуйста? — спросил он торжественно.

— Это? — хрипло спросил Яношек — Ах, это! Ничего, то есть, ничего важного.

Грубер ударил Яношека по щеке. В ушах у Яношека зазвенело. — Если я спрашивала, значит, это важно, — объявил Младенец, — плюяли?

— Да, сударь.

— Ну?

— Это адрес.

— Я и сам знал, что адрес. Чей?

Яношек колебался. — Адрес врача, врача по венерическим болезням. Мы держим его в шкафу, на всякий случай. Вам он нужен?

Кулак Грубера опять опустился. Удар пришелся в то же ухо, боль в ушах усилилась.

— Чешская синяя! — крикнул Грубер и, скомкав адрес, бросил его на пол.

— Прекратить эту комедию, — бросился Грубер. — Отвезите его обратно в штаб! Мы ему покажем, как шутить с нами!

Яношек закрыл глаза и глубоко вздохнул.

Скомканный клочок бумаги был забыт. Он остался лежать на полу в уборной кафе «Манес», такой невинный с вида, и никто не знал, сколько боли и страданий, сколько надежд и замыслов, сколько человеческих судеб таилось в нем.

Энцингер и Вальтерс поволокли Яношека к машине.

На одно короткое мгновение Яношек успел заметить тень, отделившуюся от стены дома на противоположной стороне улицы. Тень показалась ему знакомой. Она была высокая и неуклюжая, и напоминала мышь грузчика.

Глаза 10

Уход Яношека из камеры заставил доктора Валлерштейна усиленно думать о нем.

Валлерштейн всегда подходил к людям как к пациентам, возможным или действительным. Но в лице Яношека он встретил человека, не подходившего ни под одну из установленных психиатрией категорий. Он не мог обнаружить в Яношке ни малейших следов страха.

С таким явлением он столкнулся впервые и объяснить его было нечего. Сначала в результате поверхностных наблюдений, он отнес Яношека к разряду социально недоразвитых, примитивных натур. Либо другого человека можно назвать примитивным, либо ее неожидалось безумие двадцатого века в такой степени, как у других заложников, не исключая и самого Валлерштейна.

Взтумавшись глубже, Валлерштейн отверг эту теорию. Зная, что чем примитивнее человек, тем сильнее и разнообразнее страхи, которым он подвержен, Валлерштейн мог прийти только к одному выводу: Яношек не только не примитивен, остальных заложников, но стоит на более высокой ступени культуры, ибо он не знает внутреннего разлада и страха душевного равновесия, который совершил недоступно Валлерштейну.

Доктора несколько не радовало такое открытие. Оно спровоцировало все его представления. Страх, страх смерти, барьеры, предыдущие страхи, бегство от страха, — все это давало ему ключ к его анализам и диагнозам. Все было основано на страхе.

Общество создает свои законы из страха, из страха липнущего собственности, денег, власти. Нацисты убивают из страха быть убитыми.

Самая жестокость политического террора, жертвами которого стали он сам и его товарищи по камере, объяснялась тем, что страх у нацистов переходил границы нормального.

Валтерштейну было известно, что война началась из-за того, что некоторые влиятельные группы были заинтересованы в усилении своего могущества. Но для чего им это могущество? Неужели им мало тех огромных владений, которые у них уже есть? Всему виной страх, мучительный страх, что народ восстанет и отнимет у них это могущество. И вот власть имущие нашли себе опекунов в лице худших элементов страны и, потребовали от них только одного обещания: не отнимать ничего у власти имущих и готовиться к войне, чтобы захватить больше земель, большие фабрик, большие людей в рабство. Все это называется фашизмом и отнюдь не ограничивается пределами Германии. Наглядный пример тому — Прейсишингер. Он, чех, страха ради призывал немецкие подразделения, чтобы они охраняли его; он ошибся в расчетах, но это не меняет смысла его побуждений.

Этот мир, в котором сейчас люди истребляют друг друга миллионами, винится на страхе. Маленький человек боится потерять свою работу, свои сбережения, свой хлеб; и в борьбе за все это познает еще больший страх. Жизнь лишь для того, чтобы поддержать себя и свою семью, ее попадает в порочный круг и никогда не живет по-настоящему. Это терзает его и приводит к истерии. Мужчины и женщины боятся уйти из жизни, не оставив потомства. Жизнь под страхом смерти, они торопятся любить и любят без разбора. И вот они бросаются в объятия друг друга, сеют гнилую семя в гнилую почву, сходятся с кем попало, кутят, пьют и развратничают. Люди уравновешенные теряют равновесие, во большинству даже и теряют нечего. В итоге — та же истерия.

Многие ищут прибежища в религии. Если жизнь таюга, то остается только утешаться мыслью, что другой, лучший мир, лежит за пределами этой юдоли скорби. Бог и небо — это только средство уйти от демонов страха. Но Богу неудобно вмешиваться в мелкие дрянцы людей, в критические минуты им остается надеяться только на себя, и в конце концов они все же достаются дьяволу. Опять истерия.

И люди придумывают новые панацеи. Одни верят в астрологию, другие в то, что они избранный народ, избранный для того, чтобы мучить других или самим подвергаться мучениям — две стороны одной медали. Одни верят в своих фюреров, другие не верят ни во что. Конец — безумие, бряцание дешевыми эмблемами, убийство и самоубийство.

Когда эра динозавров близилась к концу, когда неизвестный зной и пепельные вихри иссушали сочные луга и болота, где кормились эти гиганты, они тоже начали слепо искать выхода. Бессмыслично блуждали они по выходшим материкам, устилая сюими костями дорогу, на диво и страх грядущим поколениям.

Неужели подобная пора пришла и для человечества и появилось что-то сродни той катастрофе? Неужели возник массовый психоз и охватил все человечество? Неужели мы мечемся веленую, тратя все наши силы, весь ум, всю технику, самолеты, радио, машины только для взаимного истребления? Как далеко ушли мы по этому пути, устилая его своими костями? Все мы жалуемся на Гитлера, а ведь он — это только самое страшное из того, что породило наше паническое безумие?

Я сам достоин только смеха. Я вижу бессмыслицу и не знаю, как ее вылечить. Меня самого одолевает страх. Это страх смерти. Я записываю мои наблюдения в надежде, что кто-нибудь когда-нибудь их прочтет и помоласт потомству, и я хоть частично обрету бессмертие. Как скромны мои желания, однако эта скромная слава, это миниатюрное бессмертие, вероятно, только иллюзия, порожденная страхом смерти, небытия.

Вот почему мне непонятен такой человек, как Яношек. Я знаю, что он верит в себя. Он верит в самого себя, как в частицу того мира, в существование которого, даже в будущем, я не могу не сомневаться. Мой опыт научил меня не доверять людям, а следовательно и их способности создать что-нибудь новое и лучшее на развалинах мира, который они разрушают теперь так сумасбродно.

Но Яношек все же существует, как существовало первое млекопитающее среди вымирающих динозавров. Запекшись от зноя микроскопический мозг, полуслепшим от песчаных вихрей глазам этих гигантов живое, здоровое существо, процветающее там, где они гибли, казалось, вероятно, нереальным. Они его не понимали, как я не понимаю Яношека. Я могу только смиренно склонить голову перед авантюром нового мира, не знающего страха.

Его существованием зачеркивается мое; мы взаимно исключаем друг друга. Я умру вместе с моими палачами, он, быть может, переживет нас и обретет бессмертие.

Додумавшись до этого, доктор Валлерштейн сделал сердитое движение рукой, словно отгоняя от себя все эти мысли. Начать с обвинительного приговора всему миру и кончить приговором самому себе — странный ход мыслей!

Он почти обрадовался, когда его размышления были прерваны шумом открывавшейся двери. Вернулись опять те же гластилы, грубые эсэсовцы, которые приходили уже за Яношком и Прокошем.

Трое заложников стали павильонку. На лицах Прейсингера и Лобковика отражалось волнение: кто из них первым ступит на тот шут. конец которого трудно предсказать?

— Кто из вас Лев Прейсингер? — отрывисто пролаял эсэсовец, с перебранными звездами на воротнике.

Теперь, когда пришла минута, которой давно ждал Прейсингер, минута, когда он должен был очутиться лицом к лицу с ответственным чиновником гостини, его заносчивость и самоуверенность сразу исчезли. Он побледел, и глаза у него беспокойно забегали, словно ища поддержки.

Но эсэсовец не был расположен мешкать. — Прейсингер! — крикнул он. И генеральному директору Чешско-моравского угольного синдиката не оставалось ничего другого, как шагнуть вперед, зааранее примирившись со своей судьбой.

Прием, оказанный Рейнгардтом Прейсингеру, сразу рассеял его уныние и страх. Обнаружив, что признание Прокоша не что иное, как самая безрассудная, ребяческая ложь, рейхскомиссар пришел в отличное расположение духа. Прейсингер попал к нему в удачную минуту. Увидев, что рейхскомиссар поднимается ему навстречу с любезными словами: — Как поживаете, герр Прейсингер? — он тут же replied, что дни его страданий миновали и что этот приветливый чиновник, вероятно, будет сначала исполнению извиняться перед ним от имени немецкого правительства, а потом освободит его.

Рейнгардт сделал Менкебергу знак, чтобы он подал Прейсингеру стул. Прейсингер олицетворенное достоинство, усевшись, широко расставив ноги, со свисающим на колени животом.

Неожиданно Рейнгардт направил резкий свет лампы на генерального директора. Этот ослепительный свет заставил Прейсингера почувствовать себя арестантом, которого вызвали на перекличку, но он постарался оторваться от этого впечатления. Он никак не обиделся на рейхскомиссара. В полиции у них всегда так, уверял он себя, жуярия воспаленные глаза.

— Моя фамилия Рейнгардт, — начал рейхскомиссар, наклоняясь над столом, чтобы лучше разглядеть Прейсингера. Он впервые видел этого человека, который был стержнем всей его интриги, осью, вокруг которой вращалось все. Это ради его богатств Рейнгардт приходилось фабричные убийства Глазенапа, хватать и расстреливать заложников, преследовать очаровательных студенток, проводить бессонные ночи на убойственных допросах...

Пялясь на апотекическое лицо Прейсингера с седьмью мелкими склеромицкими сосудами, на его седые щетинистые волосы, на мясистые уши и чешуйчатый подбородок, рейхскомиссар вышел перед собой шахматную фигуру, на которой он разыгрывал и должен был выиграть очень сложную партию, и это доставляло ему наслаждение; так увлекательно было душить человеческие пепки и самому придумывать правила игры.

Прейсингер осторожно кашлянул: — Арест, грубое обращение ваших

людей и невольное пребывание в подвале вашего штаба были не особенно приятны, герр Рейнгардт. Надеюсь...

— Знаю, — прервал его Рейнгардт, — мы еще очень далеки от совершенства. Вы должны помнить, у гестапо слишком много дела, особенно потому, что ваши соотечественники серьезно мешают нам, так что трудно оказывать каждому то внимание, которого он заслуживает.

— Я понимаю, — любезно улыбаясь, уверил его Прейсингер. — Прекрасно понимаю. — Потом он замолчал, выжидая. Но рейхскомиссар не начинал разговора, и Прейсингер продолжал: — Тем не менее, для человека моего круга, много влияния и положения в обществе все это было очень унизительно.

— Без комиссии, — улыбнулся Рейнгардт. — Я надеюсь, что вы не без пользы провели время. Даже фюрер, как вы знаете, сидел однажды в тюрьме. Там он написал свою книгу, которую мы, конечно, читали.

Прейсингер ее не читал. Но он пишет более дипломатическим языком, — чтобы сказать, что она не раз находила его на серьезные размышления и возвышала его душу.

К сожалению, рейхскомиссар не обратил никакого внимания на комментарии, адресованные литературным трущим фюрера. Он разглядывал книжку с буквами «СС» на стальном лезвии, которое, был всецело увлеченный этим. Он держал лезвие так, что свет отражался от книжки. Вдруг он задал Прейсингеру самый проклятый вопрос: — Когда вы в последний раз видели лейтенанта Глязенапа?

Удивленный Прейсингер ответил заминавшись: — То есть: как в последний раз?

— Будьте любезны ответить покорно и честно, — сказал.

— Но думаете же вы, что я причастен к этому преступлению, — возразил Прейсингер.

— Когда вы его видели в последний раз?

— Я его совсем не видел — то есть, может быть, и видел, что как я могу это знать? Я даже в лицо его не знал; в баре было много других офицеров, — сколько имению, не помню, — я не смотрел на них. Я не видел, что они делали и куда уходили. У меня и своих друзей довольно, уверяю вас. Меня очень удивило и раздосадовало, когда я впервые звонил арестовать меня в связи с этим делом. И я попытался выразить вас...

— Уважаемый герр Прейсингер! — Рейнгардт обхватил его, подняв руку. — Вы, мне кажется, находитесь в заблуждении! Я жив. В этом сомните, в этом здании я, естественно, находиться, в этой квартире и спокойно читаю газету, а не вы!

Взволнованный Прейсингер вскочил с места. Но вскакивая, он уронил свои измятые, грязные брюки, покрывавшие макинету, когда-то безуспешно сброшенную с фронтовыми рубашками, забрызганные грязью башмаки, почувствовал, что сам он давно немыт и небрит. — О, боже мой! — простонал он вслух, а что себя подумал: что я думал? Я то видел этого человека, я такой же заключенный; как все остальные. Нека я здесь, надо держать себя в руках.

Он снова сел, чувствуя благодарность уже за то, что ему позволили сидеть.

— Простите, — смириенно извинился он. — Я не привык к такому...

— Образделило? — докопчил за него Рейнгардт.

— Нет, нет! Это пустяки! — Он замешкался, улыбнулся, как могла бы улыбнуться собака, получив первый лакомок от своего хозяина.

— Погодите мне все же спросить, — не сдаваясь ли обо мне мой коллега из Чешско-моравского угольного синдиката? Я генеральный директор синдиката и в конце концов не мог же я пропасть без всяческого слога, так, чтобы меня не разыскивали!

Рейнгардт опять взялся за книжку. — В этом отношении вы можете быть спокойны: ваши коллеги и ваши подчиненные трогательную лояльность. Мы получили массу залогов, и личных, и в письменной форме. Даже сам президент, ваш близкий друг, как я слышал

спросил аудиенцию у протектора Гейдриха и хлопотал о своем освобождении.

— Ах, я очень рад! — вздохнул Прейсингер. Так значит его не забыли! Механизмпущен в ход, и этот незначительный чиновник гестапо просто один из тех скучных людей, которые тратят попусту много времени, прежде чем доберутся до сути. — Разумеется, — поспешил уверить Прейсингер, — я буду только рад помочь вам в разгадке этого ужасного преступления, убийства лейтенанта Глазенапа.

— Ничего другого я от вас и не ожидал, — ответил Рейнгардт, ложка кланяясь.

— А теперь... вы, быть может, дадите мне пожирные бумаги?

Рейнгардт бросил папку на стол. В полной тишине этой легкой пух показалася особливо зловещим. Он в ярком изумлении поднял брови: — Какие бумаги?

— Для выхода на свободу!

Рейхскомиссар паморщил лоб, словно не понимая.

— Разве не вы должны дать мне пропуск, чтобы часовые меня пропустили? — голос Прейсингера упал до шепота; подконец ему совсем скрутило голоса.

Рейнгардт рассмеялся долгим, протяжным смехом. Он наслаждался ситуацией. Хлопнув себя по ляжке, он хлопнул затем и Монкеберга. Тот, получив пинок, тоже захочотал.

Рейнгардт редко смеялся так, он вообще не умел смеяться. Но он рассчитывал добить этим смехом Прейсингера. Он с самого начала понял, что Прейсингер надеется на освобождение. Уверившись, что его коротко известно ровно ничего о смерти Глазенапа, Рейнгардт просто играл с ней. Ему забавно было видеть, как корчится этот человек, как это никоем опускается его бычьи головы, как судорожно дергаются узловатые пальцы.

Паконец Рейнгардт решил, что смеялся достаточно. Тонким платком, извлеченным из внутреннего кармана, он вытер испотевший лоб.

— Вы в самом деле думаете, — начал он, представляясь удивленным, — что мы вас выпустим? Только потому, что вы Лев Прейсингер, генеральный директор Чешско-моравского угольного синдиката?

— Уважаемый, плохо же вы понимаете наис, национал-социалистов! Ведь мы утверждаем, что мы народное движение и называем себя социалистами. Какой же это социализм, если мы будем расстреливать одних только бедняков? Какое же это правосудие, если человек ускользает от наказания только потому, что он миллионер? Что скажут ваши соотечественники, которых мы стараемся воспитывать для сотрудничества с нами, если мы будем брать заложниками Карлса, Иоганнов и Петров, делая исключение для Льва Прейсингера?

Прейсингер дал этой буре упреков прощестись над своей головой. Он сидел на стуле, словно пораженный промом, чувствуя себя опустошенным, опустошенным до дна. До сих пор он то воспарял высоко, окрыленный надеждой, то погружался в отчаяние, теряясь от одной крайности к другой. Теперь он сорвался и падал все ниже и ниже.

— Если мы выпустим вас, — продолжал Рейнгардт, — рушится вся наша система. Мы берем заложников, так как это является распространенной в отношении тех ваших соотечественников, которые отказываются признать протекторат.

— Но я же сотрудничал с вами! — отравлялся Прейсингер. — Я привнес добычу угля для того, чтобы выплатиться военные заказы вашего правительства. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы помочь вам!

— Знаю, знаю! — в улыбке Рейнгардта сквозило сожаление. — Вы подрощиваете то затруднительное положение, в котором мы находимся. Если мы вас выпустим, эта пиздякая раса будет говорить: заложники, ха-ха! Нацисты только пугают нас. Посмотрите на Прейсингера — они выпустили его живым и неприметным! Это дело принципа, и в этом смысле мы так же лишены свободы, как и вы, уважаемый герр Прейсингер.

Слова Рейнгардта о принципах возвратили Прейсингера из глубин отчаяния в мир действительности и трезвого рассужда. Эти «принципы» были ему хорошо известны. Всякий, кто хотел сорвать с него подороже, первым долгом заговаривал о принципах. Так, патриотические принципы требовали десятипроцентной прибавки. На деловую принципиальность приходилось набавлять процентов пятнадцать-двадцать, а моральная принципиальность обходилась процентов в двадцать пять. Во что ценят рейхскомиссар свои принципы, ему было известно, но он узнал руку, протянутую ладонью вверху в ожидании взятки.

— Мы рабы своих принципов,— начал он.— Как это верно, как верно! Но я бы чувствовал себя гораздо свободнее, если бы вы на время отпустили нашего секретаря, герр Рейнгардт.

— Менкеберг? Менкеберг — надежный человек, это могила.

Прейсингер поморщился. Рейнгардт может обидеться, если ему предложить взятку при подчинении. Или Рейнгардт так наивен, что дает этому Менкебергу возможность интимизировать его впоследствии?

— Это личный вопрос, он касается только вас и меня — вы понимаете?

— Да,— улыбнулся Рейнгардт,— я вас понимаю. Менкеберг, может быть. Я позову вас, когда понадобится.— Менкеберг вышел, и Прейсингер, убедившись, что дверь плотно закрыта, прислонился ближе к облокотился на стол рейхскомиссара.

— Вы сразу меня поняли, герр рейхскомиссар,— начал он, понизив голос.— Я это очень ценю. Конечно, это ложная для вас реклама, если вы меня выпустите. Ваша карьера, ваши принципы значит для вас очень много, я понимаю. Думаю, однако, что это можно устроить. Я человек деловой, занимался и политикой, так что меня убить не надо. Если вы меня выпустите, я скроюсь на некоторое время — тогда ничего легче. Я много работал, и последние дни отнюдь не укрепили моего здоровья. Мне нужен отдых. Я мог бы поехать в Баден-Баден или в Швейцарию, куда хотите, и под другим именем, чтобы выждать время. Что вам от этого скажете, герр рейхскомиссар, и что я могу для вас сделать в отплату за эту маленьющую любезность?

Рейнгардт не ответил. Ему интересно было узнать, во что Прейсингер погитает свою жизнь. Он знал, что взятки стали обычным явлением и в Германии, и в оккупированных областях. Он знал, что существуют списки, в которых против фамилий гауляйтеров, губернаторов высших военных чинов проставлены соответствующие цифры. Кончи таких списков хранились и у него в канцелярии. Это был очень удобный способ держать взяточников в руках, а некоторый процент с их доходов, разумеется, поступал на текущие счета генеральных главарей в банках Швеции и Швейцарии в виде твердых ценностей.. Галюта, драгоценные камни, коллекция марок...

Прейсингера ободрило выкладательство мостчика Рейнгардта.— Один миллион крон? — предложил он на пробу.

Рейнгардт только улыбнулся.

— Пять миллионов? Десять?

— У меня не найдется столько пластинок, придется продать некоторые бумаги, если вы хотите больше, но на это потребуется время...

Рейнгардт опять взял кипиант и начал заумнитво играть им.

— Вижу,— нащупывал почву Прейсингер,— что при неустойчивости денежного рынка наилучшее место интересуют вас. Вы умный человек, герр рейхскомиссар. Но не ждите слишком много. Мои состояния не так велико, как можно было бы думать. Я контролирую угольный синдикат, потому что мне принадлежат основные акции в руководящих предприятиях. Но все же есть одна утолщая копь, надо сказать, жемчужина, близ Моравской Остравы.— я мог бы передать ее вам.

Прейсингер помотчал.

— Почему же вы не отвечаете, герр рейхскомиссар? — спросил он привычно.

Тот перестал играть кинжалом.— Как же я буду управлять угольной копью, сидя в штабе гестапо?

— Совершенно верно,— согласился Прейсингер.— Я об этом не подумал. Хотя со временем, после войны, вы, может быть, захотите заняться этим делом... что ж, хорошо, шучай это будут акции. Простые акции дадут вам больше дохода, зато с привилегированными удобнее оперировать и больше возможностей нажить капитал. Я с удовольствием буду вам советовать...

Тут Рейнгардт вышел из себя.— Вы, как видно, мало цените вашу жизнь! Из ваших слов я заключаю, что вы рассчитываете освободиться, покинув только частью своего состояния. Это просто смешно! После смерти вы уже ничем владеть не будете!

— Вы хотите меня ограбить! — крикнул Прейсингер.— Меня, который помог вам без труда завоевать эту страну, который сделал для вашего нового порядка больше, чем сотня господ из гестапо взятых вместе. Неужели на свете нет больше благодарности? Или признания заслуг?

— Нет. И я попросил бы вас говорить по-человечески — подкупать немецкого офицера.

— Сколько же вам нужно? — приступал генеральный директор, потрясенный таким бесстыдством.

— Все.

— Все?... — Прейсингер тихо ахнул. Вены на его шее надулись от возбуждения. Он с усилием поднялся на ноги и остановился перед Рейнгардтом, сутулясь больше, чем всегда. Страх бедности уже теперь делал его похожим на птицето и говорил он плачущим, разбитым голосом, точно слепец на углу Вацлавской площади.— Как? А на какие средства вы будете жить? Неужели у вас нет жалости, нет сердца? Человек вы или камень? У меня столько расходов, жена, дети, хозяйство...

Рейнгардт тоже поднялся с места. Он чувствовал свою значительность и величие, он воплощал Правосудие и Рок. В данную минуту, готовясь раздавить эту вонь, Прейсингера, он верил в величие идеи, в национал-социализм!

— А ваша жизнь? — спросил он сухо.

Прейсингер попятился и закрыл глаза.— Берите все, — прохрипел он.— Берите! Берите! Я хочу жить!

— Тык! — сказал Рейнгардт.— Наконец-то вы опомнились и говорите чисто. Я очень рад, что вы к этому пришли. Подумайте, сколько мы могли бы сэкономить времени. Но неужели вы не в состоянии подумать до конца, сделать логический вывод из вашего положения? Я большой поклонник логики. Потому я и работаю в полиции.

— Неужели этого мало? — Прейсингер начал смеяться безумным смехом.— Вы хотите получить золотые зубы, фунт моего мяса?

— Я хочу, чтобы вы думали, уважаемый герр Прейсингер. Подумайте. Вы предложите нам все ваше состояние в обмен на вашу жизнь. Чего стоит это предложение? Разве в вашем положении можно предлагать что-либо? Неужели вы не понимаете, что мы получим все, как только вы умрете?

Лью Прейсингеру казалось, что холодная рука сжала его мозг. Он понял, что мучительная пульсирующая боль убьет его тут же на месте. Но нет, он жил напряженнее, видел зорче, слышал малейший звук, и особенно отчетливо выступило перед ним это дьявольское лицо на фоне темной стены, серебряные пуговицы на черном мундире, металлическая пряжка пояса в непрятно блестевшей резьбой.

Жить! Только бы жить! думал он. Рейнгардт — это смерть, терная смерть с серебряными пуговицами. Лев Прейсингер мучительно пеплялся на жизнь.

И с той ясностью, которая приходит только перед смертью, Лев Прейсингер увидел путь к спасению. Он вспомнил Вандерштейна и его насмешливые слова: Прейсингер, уверяю вас, выдаст кого угодно, лишь бы спасти свою драгоценную жизнь.

...Да, выдам! Клянусь богом! Если я не буду заложником, они меня не расстреляют.

Ему стало легче. Он даже посмеялся над собой. Как глупо приходить в отчаяние! Он, Лес Прейсингер, у которого тысячи идей, тысячи планов, который создал царство угля, машинную цитадель, приходит в отчаяние, теряется перед ничтожным полицейским! Если он чему-нибудь научился за те годы, когда боролся с делами,—а дела были его страстью,—то именно этому: всегда есть выход, всегда есть последнее средство, козырь, который держишь при запасе. Пойти с него в решительную минуту — и выигрыш за тобой.

Рейнгардт с удивлением заметил, что Прейсингер воспринял духом. Он опять расселся, положив ногу на ногу, в позе человека, довольного собой и всем светом. Рейхскомиссар по-своему почувствовал уважение к Прейсингеру и понял, почему финансист сумел наложить такое богатство и заложить такое влиятельное положение.

Прейсингер быстро перебрал в уме возможных кандидатов. Надо было учесть и репутацию человека и ряд других обстоятельств. Только один из заложников отвечал всем условиям и, кроме того, Прейсингер его недолюбливал.

— Яношек! — сказал Прейсингер.— Яношек убил лейтенанта Глазенапа. Он сознался нам в камере. Откровенно говоря, я бы предпочел выйти на свободу, не доводя это до вашего сведения, гэрр Рейнгардт. Но так как другого пути нет, приходится сказать вам правду. Вот убийца. С этой минуты я перестаю быть заложником, и, надеюсь, вы выполните ваш долг.

Уважение, которое питал Рейнгардт к Прейсингеру, теперь дошло почти до восхищения. Сам незаурядный мерзавец, Рейнгардт любовался законченным негодяем, который оставался верен себе до конца.

— Не падаете духом, а, гэрр Прейсингер?

Рейнгардт не поверил доносу Прейсингера, но отпустил его на размышление. Почему Прейсингер выбрал именно Яношека? Рейхскомиссару Яношек показался слабоумным простаком, не похожим на убийцу. Однако Прейсингер, в течение нескольких дней наблюдавший Яношека и, вероятно, позаботившийся о правдоподобии своего доноса, остановился на безобидном стороже при уборной. Рейнгардт нарядил бесконечность о Яношке, который все еще не вернулся из кафе «Мансес».

Сняв телефонную трубку, он отдал несколько коротких распоряжений, непонятных Прейсингеру. Потом повернулся к генеральному директору.— Чем вы это докажете? Если я начну допрашивать Яношека, он, вероятно, отрапортует.

— Конечно! — согласился Прейсингер.— И заложнику из моей камеры, вероятно, поддержат его. Но позвольте мне предостеречь вас. Этот Яношек вовсе не так глуп, как кажется. Он очень хитер. Он прикидывается идиотом, чтобы замаскировать свои назидательные мысли и действия. Среди чехов этот тип встречается довольно часто. Не попадитесь на удочку.

— Не попадусь, — твердо ответил Рейхскомиссар, хотя был вовсе не уверен в этом. Возможно ли, что Рейнгардт с его опытом и умом одурачил какой-то Яношек? И с какой целью?

Нет, решил он. Прейсингер все это выдумал. Он старается представить Яношека опасной фигурой только для того, чтобы оправдать свой донос.

— Тыльно, как Яношек! — продолжал Прейсингер, — неправильная власть, вину и мою. Они против уставопечатанного порядка и стоимятся низвергнуть его. Если память мое не изменяет, Яношек пришел в бирюзитовую ползу после того, как Глазенап спустился в уборную. У него было достаточно времени, чтобы убить лейтенанта. Как вы думаете? — Прейсингер чувствовал, что ему удалось по крайней мере затруднить сомнение в душе рейхскомиссара.— А кроме того...

Прейсингер остановился, услышав за своей спиной волочащиеся шаги

и. Увлекшись своей речью, он не заметил, как открылась дверь. Он обернулся.

Менкеберг ввел человека, каждый шаг которого, повидимому, принесли тому нестерпимую боль. Что-то в нем показалось знакомым Прокопу. И вдруг он с ужасом узнал в незнакомце Прокопа.

Но на него смотрела темь Прокопа, а не живой актер.

— Что с вами случилось? — не сразу выговорил Прейсингер.

Прокоп едва мог стоять: Менкеберг поддерживал его. Прейсингер хотел встать и предложить актеру стул, но не в состоянии был попечьнуться.

Рейнгардт совершенно спокойно смотрел на эти остатки человека. Он дал двум заложникам время поглядеться друг на друга. Потом спросил Прокопа: — Вы изменили ваше показание?

Прокоп едва мог говорить. Сначала беззвучно зашевелились его губы. И только сделав несколько попыток, он, наконец, заговорил совершенно неузнаваемым, разбитым голосом: — Я убил Глазенала.

Вырвавшись из рук Менкеберга, он неверными шагами подошел к столу и повторил: — Я убил Глазенала.

— Хорошо, хорошо! — отозвался Рейнгардт. — Я слышал. — Он обернулся к Прейсингеру с совершенно безразличным выражением лица. — А теперь вы, быть может, повторите ваше заявление?

— Что же, терр рейхскомиссар, — натянуто улыбнулся тот, — теперь вы видите — я невинен.

— Ничего подобного я не вижу, — презрительно ответил Рейнгардт. — Извольте повторить ваше заявление.

— Но вы же не хордите, чтобы я...

— Лучше повторите добровольно, — предостерег его Рейнгардт.

Прейсингер, не смея взглянуть на Прокопа, пробормотал что-то.

— Громче! — потребовал Рейнгардт.

— Яношек убил Глазенала! — Прейсингер наклонился вперед, сидя на стуле. Он смотрел на свою забрызганную грязью башмаки и чувствовал себя несчастной, беспомощной жертвой жестокой игры гестапо.

— Лжете! — безжизненным голосом произнес Прокоп. — Лжете!

Жалость к себе перепала у Прейсингера в холодную злобу. Он был не столько на Рейнгардта, который устроил им очную ставку, сколько на Прокопа, который все испортил.

— Сами лжете! — скрипнул он. — Убийца этот мерзкий Яношек, и вы это знаете! Вы сковорились с ним. По злобе на меня сковорились лгать! Снова, герр рейхскомиссар, этот Яношек...

Рейнгардт встал. Торжествующе выпрямившись, он казался выше своего поста. Он улыбнулся.

— Типе, господа, типе. По-моему, вы оба лжете. У вас на это имеются, бесконечно, свои причины. Они меня мало интересуют. С меня довольно фактов. Да будет вам известно, что мы, работники государственной тайной полиции, не терпим такого неуважения к правде. Я должен буду строго наказать вас обоих, надеюсь, вы это понимаете?

Дверь распахнулась настежь. Рейнгардт замолчал. Энцингер и Вальтер втолкнули в комнату всклокоченного Яношека.

Грубер подошел к столу, вытянулся и отрапортовал:

— Имею честь доложить, герр рейхскомиссар, вернувшись с обыска.

— Дайте мне письмо.

— Имею честь доложить, герр рейхскомиссар, письма не обнаружено. Полного позволяю, мне кажется, все это выдумка. Никакого письма и не было.

— Так! — сухо сказал Рейнгардт. Он подбоченился, и сухое мундира чго натянулось на его груди. Покачиваясь на часах то вверх, то вниз, и заревел: — Еще один лжец! Что, вы думаете, здесь такое? Детский ли? Вы еще такого рюло не видели! Менкеберг! Грубер! Взять их в карцер. И не перемониться с ними! Я сказал — не перемониться!

Он смотрел, как повели всех троих — Прокопа, повисшего на руке Менкеберга, Яношека, которого подталкивали Энцингер и Вальтер, и

Прейсингера, которого подгонял Грубер краткой, но выразительной немецкой бранью.

Потом рейхскомиссар сел. Он вдруг почувствовал, что очень устал. Почти двадцать четыре часа он работал без передышки.

Он взглянул в окно. Серый, мягкий свет крался по улице. Настало утро, пасмурное и тихое.

Заложникам оставалось жить только один день. Рейнгардт был этому рад.

Глава 11

Милада вышла из дома Бреды с новыми, свежими силами, подкрепленная сном. Она уносила с собой тайну сердца, воспоминание о том трепетном вспышении, которое заставил ее поклонить он, ее возлюбленный. Горячая волна прошла по ее телу, и закрыв глаза, Милада вздрогнула от радости. Любовь Бреды, подобная оставляющей буре, исчезла с ее горизонта темные, угрожающие тони; на всем лежал блеск, все было светло и ясно. Что бы ее ни ждало, она не утратит равновесия — теперь она не одна.

Пан Кратохвил, видя, что она вышла из дома и идет к остановке трамвая легкой, молодой походкой, тоже был очень доволен. Истинный охотник — а таков и был пан Кратохвил — почувствует ненависти к своей добыче. Скорее он любит ее, привязан к ней, словно сам создал быструю тварь, которую собирается убить. Убивать не так интересно. Увлекательна самая охота — подстеречь, обойти добычу, заманить ее.

По улицам спешил народ. Но шаги звучали тяжело. Люди шли на работу, которую ненавидели, потому что работать надо было на угнетателей, изнуряя себя долгие часы без отдыха. Они пришли в лавки стоять в очереди за фальсифицированными продуктами, которые выдавались в ничтожном количестве. Они шли в учреждения, чтобы спасть без конца в приемных, надеясь, что их допустят к шагающему начальнику, одни выслушивающему их просьбы — просьбы за ютцов и братьев. Одни уносились в рабство на пемецкие фабрики, другие арестовывались и брачены в концентрационные лагеря и тюрьмы, третийм силой заставили рыть окопы для немецкой армии и возводить укрепления на восточном фронте и на Балканах. «Новый порядок» разрывал связи между людьми, перебрасывал их по всем направлениям, на восток и на запад, на юг и на север.

Кратохвил без труда спрятался в толпе. Он искал на странице того вагона, в который села Милада.

Так он доехал до завода. В воротах, куда он собирается пройти за Миладой, его остановил часовой.

— Ваш пропуск?

Кратохвил, порывшись в карманах, извлек документ в целофановой обложке, со множеством печатей, и сунул его часовому.

— Проведите меня к вашему начальнику! — потребовал Кратохвил.

Часовой, увидев печать гестапо, проигнорировал усталость и подобострастие. — Сию минуту, сударь! Излишне, сударь! — Он провел Кратохвила в маленький одноэтажный домик, перед которым расхаживал взад и вперед скучающий солдат с прыжками к винтовке штыком.

Кратохвил принял немолодой лейтенант, который валялся на скамье, задрав на подушку ноги в носках. Лейтенант Шинклейн читал «Прагер Цайтунг». Он взглянул на Кратохвила и, увидев, что его посетитель простой патлатский, продолжал читать газету.

— С добрым утром, — сказал Кратохвил. — Это вы начальник охраны?

Шинклейн пошевелил пальцами ног, но потом запустил руку за воротник и с видимым удовольствием начал почесывать шею.

— Что вам нужно? — проворчал он.

— Здесь работает некая Милада Марекова? — осторожно начал Кратохвил.

— А вам какое до этого дело? — сказал лейтенант, снова берясь за газету. Он перевернул страницу. — Здесь работают тысячи людей, и все с

такими фамилиями, что не выговоришь. Одно беспокойство с ними. Кто все ко мне пропустил?

— Мне не нравится твой тон, — заметил Кратохвил.

Лейтенант подскочил. — Что такое? — спросил он садясь. — Вам не нравится — это замечательно! Вот еще новости! — Он подошел к Кратохвилу неловкой походкой человека в лосках. Он был похож на торговца в маскарадном костюме. — Я тебе покажу, чешская вошь, что такое немецкий офицер!

Кратохвил мгновенно предъявил ему свой документ.

Лейтенант Шинкелейн, взглянув на бумажку, ахнул от удивления. Выронив газету, он поспешно застегнул мундир на все пуговицы и стал скакать башмаки, шо не нашел их. Он полез за линии под койку, скончужился бормоча что-то.

Наконец он трярвал себя в порядок и мог показать агенту достойный прием.

Они приступили к деловой беседе. Кратохвил, благодаря своей работе считающий себя во всех отношениях равным представителю господствующей расы, объяснил ему, что послан рейхскомиссаром для слежки за девушкой, о которой он уже говорил — Мишкой Марековой. Не пополните ли личтегант своими соображениями, как это всего удобнее выполнить?

Польский тяжко доверяя, лейтенант долго сеображенял и, наконец, придумал план. Комбинезон и отвертка превратят Кратохвила в рабочего, но к комбинезону будет приклюк звячок шадзтрателя. С этим звячком он может проходить куда сочтет нужным, наблюдать за Мишкой издали или вблизи, как ему удобнее, и брать на заметку людей, с которыми она разговаривает. Устраивает его это?

Вполне. Крепкое рукопожатие подтвердило взаимное удовольствие, тоставлевное знакомством. По изведенным спрашкам оказалось, что Мишака работает в капсюльном цехе. Кратохвил узнал, как туда ближе пройти, и отправился облачаться в костюм пролетария. Вежливо приподняв серую шляпу, он распрошался с лейтенантом, который рассыпался в поклонах и улыбках, очень доволынныи результатами утренней работы.

Для Кратохвила завод был новым и удивительным миром. Ведя чисто паразитическое существование, он привык видеть людей вне их общественной среды. Здесь он встретил их за работой: одни торопливо бежали куда-то, другие, словно прикованные к станкам, без конца повторяли одно и те же движения. Он почувствовал одновременно и гордость и смиренение. Гигантская организация и ее мощь, подчинявшая себе всех этих маленьких людей, трудолюбивых, как бобры, внушали ему уважение: с другой стороны, он гордился тем, что он, Кратохвил, неотъемлемая часть этой организации, необходимая для того, чтобы держать бобров в подчинении.

Он разгуливал по просторным цехам завода, и серая шляпа, с которой он не пожелал расстаться, являла разительный контраст с заплатным комбинезоном, прикрывавшим тщедушное тело.

В капсюльном цехе он увидел бесконечную ленту конвейера, несущую во всей длине цеха ряды за рядами неготовых еще снарядов. Чтобы не прекращать работы во время воздушных налетов, стеклянная крыша была покрашена в черный цвет, и тусклое искусственно освещение бросало на бледные лица работниц резкие тени, еще более подчеркивавшие их бледность. За конвейером, довольно близко одна от другой, стояли женщины молодые, позиные и старухи, но все с одним и тем же выражением сошедшегося усталости. Около женщин суетились надзиратели, иногда осматривая тот или другой снаряд, а чаще подгоняя женщин квартами и резкими окриками.

Здесь была и Мишака, повязанная голубой косынкой, совершенно закрывавшей волосы. Кратохвил прислонился к столбу, сдвинул шляпу и затылок и уставился на девушку. Она сразу узнала вчерашнего бригадира и выронила каскюль, который был у нее в руках. Конвейер не молчало двигался дальше, пока она стояла растерянная.

— Эй, вы! — крикнул один из надзирателей. — О чём это вы думаете? Брак! Опять брак! Проклятые бабы — всю ночь распутницают, а днем спят.

Милада машинально взялась за работу. Её руки так и летали, стараясь наверстать упущенное время. Но ее снаряды ушли слишком далеко. Попытки других работниц помочь ей еще больше запутали дело. Пришлось остановить конвейер.

— Сабетас! — крикнул один из надзирателей. — Каждый час приходится останавливать конвейер.

Какая-то женщина пробормотала мрачно: — Почему же вы не пустите это медлительнее? Никто не успевает.

— Это кто сказал?

Ответа не было.

— Я позову охрану и всех вас арестуют!

— Вот как? Что ж, позовите! — отозвался тот же мрачный голос. — Может, сами к станкам станете?

Но в эту минуту конвейер треснул, и порядок восстановился: слышалось только звяканье металлических частей и скрип конвейера.

Через цех прошел инструментальщик Бреда. Поровнявшись с Миладой, он остановился, загнулся и подвигнул гайку; вытянувшись, он взглянул на нее и легким движком поздоровался с ней.

Он заметил, что она расстроена, и вопросительно поднял брови. Она незаметно кинула в сторону Кратохвилы. Бреда ничем не показал, что видит этот движок. Он прошел дальше, заговорил с одним из надзирателей, и только после этого, как бы случайно, взглянул на тот столб, к которому прислонился Кратохвил, наблюдал за всем, что происходит в цеху.

Бреда поднял руку, по-приятельски приветствуя его. Кратохвил удивленно дотронулся до полей шляпы. — Я не знал, что вы здесь работаете! — крикнул Бреда, заглушая грохот в цеху.

Кратохвил указал на свой значок. — Надзирателем! — крикнул он в ответ.

— Желаю удачи! — отозвался Бреда.

— Что?

— Желаю удачи!

Бреда ушел. Кратохвил упал духом: обмен приветствиями испортил ему настроение. Он встревожился и, чувствуя себя не совсем прияально, решил, что лучше переменить обстановку. Милады по могла отойти от конвейера до ободенного перерыва. Можно было по торопливым шагам гостя.

Но он запутался в западском лабиринте. Отчасти это была его ошибка: встреча с человеком, который чуть не задумил его ночью, тащила его, что он вышел в ближайшую дверь, вместо той, через которую вошел в цех; он шагал, не думая о том, куда идет. И вдруг, очнувшись, понял, что сбился с дороги.

Он спросил у одного из работников, как пройти в помещение охраны. Тот ему ответил вежливо, но довольно непразумительно. Кратохвил пошел по указанному пути, пересек двор и опять заблудился. Человек которого он спросил теперь, показал ему другую дорогу: прямо налево обогнуть здание и опять прямую. Кратохвил даже всхлипал.

Стены цехов смотрели ходячими и вращающимися окнами, казалось, говорили: мы тебя не видим, ты нам не нужен, ты не наш. Он заторопился. Переходя пологие узкоколейки, он испуганно шарахнулся в сторону от паровика, с испорченной быстротой промчавшегося мимо. Потом другой паровик — а, может быть, тот же самый, — сердито свистя, настинул на Кратохвила уже по другим рельсам и опять ~~ем~~ пришлось отбежать.

Он побежал, спотыкаясь, словно за ним гнались. Ему казалось, что он слышит за собой чьи-то шаги, но, обернувшись, никого не увидел. Тревожный, глухой гул работающих станов — штамповальных, проек-

ных, точильных — захлестнула его. — Попался! — простонал он. — Попался! Попался!

Вор открыта дверь! Он бросился к ней и очутился в литьейной. Это было огромное помещение со стальным креплением стен и перекрытий. Под крышей скользили краны, беззвучно, как призраки, перенося стальные полосы, костеса, стволы тяжелых орудий.

Рабочих здесь было немного. Они были похожи на карликов в стране гигантов и казались беспомощными и ненужными в этом царстве гигантских железных рук, с крюками вместо пальцев, подшипниками вместо суставов и стальными тросами вместо мускулов.

Кратохвил чувствовал себя совсем маленьким. Он нерешительно сплюнулся к другому концу литьейной, где большие пневматические молоты, опускаясь и поднимаясь, разбрасывали то, что находилось под ними.

Опять ему показалось, что кто-то его преследует. Опять он обернулся, но никого не было. Вдруг что-то заставило его поднять голову, и он увидел прямо над собою скользящий кран. В этом не было ничего особенного, но он испугался. Остался и кран. Он двинулася дальше, и кран двинулся за ним. Он попытался направо, где виден был просвет между машинами — кран тоже повернулся направо. Что это, игра? Кто управляет краном? Никого не было видно — машины, казалось, действовали сами собой, холодные, ледяные, лепеторогливые и жестокие. Кратохвил покинул. Кран двигался быстрее — все быстрее и быстрее. Если он дотронется Кратохвила, — конец, он это знал. Его преследуют машины! Он спотыкался, колени под ним подгибались, на тубах выступила пена, глаза горели — он в смертельном страхе направлял все мысли.

Вдруг он услышал чей-то оклик: — Эй, берегись!

Он взглянул вверх...

Странный крик, который он готов был испустить, так и не успел сорваться с его губ. Его раздавила груда стальных полюб. Над ним зависел кран, разжав свои челюсти, спокойный и безобидный.

Серая фетровая шляпа, гордость Кратохвила, лежала рядом с его галькой гробницей, как пыль нациста лежит на его могиле.

Работа в литьейной остановилась. К месту происшествия бежали рабочие, санитары с носилками, заводской врач, мастер.

Один из рабочих осмотрел шляпу. — Кто же это такой? — спросил он. — У нас никто не ходит в такой шляпе на работу!

— Чтобы установить кто это, надо сначала поднять стальные полюб, — сказал один из санитаров. — Думаю, что от него немного осталось.

— Как это случилось? — спросил врач.

— Не знаю. Может быть, короткое замыкание.

— Но свет горит! — заметил врач.

— Оно может быть и местным. Нехватает людей для текущего ремонта. Еще чудо, что это не каждый день случается.

— Хорошо, хорошо! Рассходитесь по местам.

Все вернулись к работе, снова двинулись краны, заработали молоты. И снова по всей литьейной пошел тул и грохот. Сверху спустились железные крюки крана и подхватили стальные полосы так легко, как будто это были спички.

Врач, следивший за подъемом, заметил, что кран был я полном погибшего. Его это удивило, ибо он решил молчать: Лучше не выпутываться в эти дела, время сейчас опасное. Да это его и не касается. Что он смыслит в электричестве?

Отведя глаза в сторону, он распорядился, чтобы санитары убрали рассыпанные остатки тела Кратохвила. Потом он заскользил обиропившую руку шляпу, немого свидетеля трагедии.

Эта шляпа помогла лейтенанту Шинклейну установить личность погибшего. Как только шляпу положили перед ним на стол, он сейчас же вспомнил Кратохвила и немедленно организовал обыск. Результаты обыска не оставляли никаких сомнений в том, что тут действуют какие-то таинственные силы, нарушая порядок во владениях Шинклейна.

Лейтенант был больше всего озабочен тем, чтобы свалить ответствен-

ность на кого-нибудь другого и потому позвонил в гостиницу. Ему пришлось ждать, пока его соединили то с одним, то с другим отделом; он три раза докладывал одно и то же, пока ему не ответили, что это дело касается самого рейхскомиссара Рейнгардта и попросили его не отходить от телефона, может быть, удастся сейчас же соединить его с рейхскомиссаром.

Рейнгардт простоял несколько часов, но сон не освежил его. Задолжники и во сне его преследовали. Он проснулся, почувствовав, что Грубер трясет его за плечо. Рейнгардт лежал на диване в той комнате рядом с кабинетом, где он отдыхал, когда время не позволяло уехать домой.

— Вас просят к телефону, герр рейхскомиссар,— сказал Грубер.— По очень важному делу.

Рубашка Рейнгардта измаялась во сне, он выглядел утомленным, дыхание было несвежее. Набросив на плечи муслин, он, поптавшись, подошел к телефону.

— Да? — сказал он хриплым со сна голосом.

— Говорит лейтенант Шинклейн с Колбенского завода. Я начальник охраны.

— Да, да — раздраженно прервал его рейхскомиссар. — Ближе к делу, пожалуйста!

Лейтенант, которому наисло повторять одно и то же, обиделся и сказал недовольным тоном:

— Ну, если вам все равно, что вашего птицы убили, то мне и погавно наплевать. Но только куда прикажете ложить тело?

— Лейтенант, с вами говорит рейхскомиссар Рейнгардт. Я в чине полковника, если вам это неизвестно. Извольте рапортовать по форме, с должным уважением, понимаете?

— Слушаю, герр рейхскомиссар! Прощу прощения, герр рейхскомиссар! — Шинклейн мысленно щелкнул каблуками и подумал: так я и знал, что с этим проклятым делом будут одни неприятности. — Сегодня утром, — доложил он, — на завод явился чех и называл себя лейтенантом Кратохвилом. Его зовут Кратохвил.

— Кратохвил? — переспросил пораженный Рейнгардт. — Что же с ним?

— Убит. Несчастный случай.

— Не верю! — сказал Рейнгардт.

— Уверяю вас, герр рейхскомиссар, что это лож в житых. Изуродован до неузнаваемости. Раздавило в лепешку. Проверьте мое, герр рейхскомиссар, — убеждал его лейтенант.

— Не верю в то, что это несчастный случай, лож что я хотел сказать. — сердито объяснял Рейнгардт. — А что лейтенант Кратохвил на заводе? И почему вы оставили его без охраны?

Шинклейн оправдывался: — Мне показалось, что он и сам за себя постоит. А кроме того, я не уполномочен заниматься в дела государства тайной полиции.

— Хорошо, хорошо! Что же он делал на заводе?

— Он ест слежку за Миладой Марековой, которая работает в кулинарном цехе.

Рейхскомиссар тихо, но выразительно спросил. Потом продолжал: — Какие меры вы приняли?

— Опознали труп. Установили причины несчастного случая. Повидимому, короткое замыкание. Кратохвил был раздавлен стальными полосами.

— Кратохвил меня больше не интересует, — оборвал его Рейнгардт. — Что за болваны эти армейские офицеры! — Даже вы, Шинклейн, могли бы догадаться, что мертвый птиц мало чем может быть полезен. А что вы сделали с этой Марековой?

— Ничего!

— Я так и думал. Будьте любезны немедленно арестовать ее и направить в тюрьму. Можно на вас положиться или я должен послать специальную команду?

— Да, герр рейхскомиссар! То есть нет, мы сами ее арестуем, можете на нас положиться! — Шинкльайн собираясь было рассыпаться в извинениях, но услышал, что трубку положили на рычаг. Шинкльайн был очень недоволен сам собой, заводом, Кратохвилем и судьбой, которая обрекла его, бывшего кассира «Торгового кредита» в Оsnабрюке, отвечать за события, к которым он не имеет отношения. Он был бы недоволен и Рейнгардтом, но на это никак не мог отважиться.

Рейнгардт в своем кабинете одевался с помошью Грубера, который помогал ему мундир и ботинки. Бреясь, комиссар недовольно хмурился. Смерть Кратохвила нельзя было рассматривать обособленно, это ясно она была частью целого, частью заговора, в котором он пока еще не мог разобраться, но мог найти ни конца, ни начала. Распутать дело Глазенапа было все равно, что растирать мокрое глохло, и ссы теснить летали розы и жалки.

Надо будет прояснить, нет ли связи между всеми событиями. Самоизкоректирование Иронина, беспомощное с первого взгляда путешествие Яношека в кафе «Мине», упорное молчание Младады, донос Прейсингера на Яношека, а теперь смерть человека, погнавшегося за осью. Но к чему это это сводится? Кто и что скрывает? В чем состоит их заговор, что они затевают? Кто еще участвует в нем?

Переострить их всех. Но это не решит задачи — может быть, части сти еще уцелела и ткутся новые мысли, словом, положение останется без перемен. Надо допытаться до дна, найти юношу, найти людей, которые стоят во главе заговора. Но они ускользают.

Это все равно, что бороться с туманом. Можно войти в него, разошнать его то здесь, то там, но он смыкается снова, окружает вас, душит вас, смылит, угрожает вам.

Туман, думал он. Но ведь туман это стихия. Может быть, тут же до него докапывается, нет никаких корней и никто не стоит во главе? Может быть, это народ?

Но тогда с этим невозможно бороться. Тогда это перестает быть делом полиции, с этим не справляется все Рейнгардты на земле, взятые вместе.

В нем проснулся страх: Страх, что он столкнется с чем-то, чего не силах юнитет. А ему нельзя бояться. Нельзя терять голову. Надо вернуться к действительности, к старым испытанным методам полицейской работы — к допросам, обыскам, арестам, пыткам: Надо добиться определенных результатов!

Он сегодня же как следует допросит Млададу и на этот раз, обещал он себе, сломит ее сопротивление. А Яношека он просто разнесет в клочки: И если нужно будет вырвать у этого человека сердце, чтобы добраться до его тайны, он вырвет! Его замысел остается без изменений. Глазенап убит неизвестными лицами. И Прейсингер должен быть расстрелян вместе с другими заложниками!

Все приготовления к допросу Яношека были закончены, прежде чем Рейнгардт спустился в котельную в подвале гестапо, чтобы добавить последние пугающие.

Яношека вытащили из стоячего гроба: Млададец отбил ему все почки, и он еще добром до котлы был. Там его встретил Менкеберг: Зашатав рукава, он приводил Яношеку раздеться и осмотреть его. Эсэсовцы, переди которых он узил Эппингера и Вальтерса, ухмылялись и отпускали остроты насчет его волосатости, насчет его половых органов.

Менкеберг опустил его, исследовал мускулы спины, упругость кожи, твердость плеч. У Менкеберга были опытные руки, и они говорили ему, что здоровяк. Он уже не молод, но у него крепкое тело, он выдержит очень многое. Он оценивал Яношека, словно скотопромышленник, покупавший быка на убой.

Исследовав Яношека, Менкеберг выбрал хлыст, который нашел наилучшее для него пригодным — гибкий и длинный стальной прут, который

при умелом употреблении глубоко врезался в тело. Он почти ласкающим жестом пропустил этот хлыст сквозь кулак. Потом закурил папиросу и стал ждать. Длинный столбик пепла он осторожно стрихнул на хлыст.

Яношек наблюдал все это словно со стороны. Ему это казалось немыслимым, нереальным: Он должен был напоминать себе, что это именно он, Яношек, стоит голый перед этими людьми, у которых такой деловой вид и которые смотрят на него так же равнодушно, как рабочий в трагичной смотрит на простыню, прежде чем пропустить ее через каток. Испнее всего он опустил перешавость цементного пола под ногами, он пытался ему подошвы, когда он переступал с ноги на ногу, чтобы немножко размяться:

— Какого черта мы дожидаемся? — спросил Грубер, которому не терпелось начать. В Яношке он видел личного врага, ибо этот чех не вызывал к нему уважения.

Менкеберг рассеянно обернулся к Младолицо, — Рейнгардта, — ответил он: — Рейхскомиссар будет сам присутствовать при допросе.

— Не приготовить ли заключенному? — предложил Грубер.

Менкеберг не возражал. — Ну что ж. Скажите его погрепте: Не люблю, когда они шевелятся.

Это он обо мне, сообразил Яношек: Чтобы меня приготовили. Чтобы меня связали покрепче. Не хочет, чтобы я покричал. А зачем мне шевелиться? Я буду лежать спокойно, не покричать. Чем меньше я буду напрягаться, тем меньше почувствую.

Энцингер и Вальтерс подошли к нему:

— Идем-ка, — сказал Энцингер далеко не враждебным тоном. Для них все это было не ново. Для них Яношек перестал быть человеком с умом и сердцем, душою и зорвами. Для этих мастеров жизненного дела он стал объектом работы. Если б Яношек сопротивлялся, они бы живо с ним расправились. Но он казался податливым.

Они повели Яношека к столу. Не успел он опомниться, как его уже подхватили и растянули на столе, животом вниз. Его тело синхронизировалось. Мускулы напрягались, сопротивляясь запирающимся в члене ремням, но грубая сила надзирателей, одолела непокорную плоть: упорно затаившись, расслабил мускулы, и ремни сошли с, притянув Яношека к продолжавшему столу, отполированному его бесчисленными приспособлениями.

Его голова была прижата боком к столу. Он ясно видел полоску дерева, а за нею кусок пола, угол одного из коптов и часть серой стены, во всем этом не было ничего утешительного, но оно изнегативно врезалось в память Яношека.

Он услышал торопливые шаги, слова приветствия, и догадался, что вошел Рейнгардт.

Скоро заступила машина, и сухой голос рейхскомиссара начал диктовать. — Дело Глазенапа, допрос Яношека, пол — мужской, национальность — чех, продолжение. — Голос умолк, потом спросил: — Который час, точно? — Кто-то ответил: — Десять минут двенадцатого, герр рейхскомиссар. — Голос продолжал. — Одиннадцать двенадцать, вторник, 14 октября 1941 года.

Машинка перестала стучать: Наступило молчание, которое показалось Яношеку вечностью. По легкому скрипу башмаков он догадался, что к нему кто-то подходит. Потом в поле зрения появились брюки и сапоги. За ними кто-то поставил стул. Человек сел. Перед Яношеком было бледное лицо Рейнгардта.

— Я пришел, чтобы сдержать свое слово, — сказал Рейнгардт. — Помните?

Яношек понял, что отвечать не надо.

— Мы отнеслись к вам слишком либерально, Яношек. Это была ошибка. Мы всегда готовы сознаться, совершив ошибку. Вы злоупотребили нашей гуманностью, нашим великодушием, и не сказали нам эти слова правды о смерти лейтенанта Глазенапа.

Машинка в углу тромко стучала: Резкое дребезжание каретки при

моментом переходе на новую строку аккомпанировало проповеди Рейнгардта:

— Не думайте, что это пройдет для вас безнаказано: Я известен с человеком своего слова: Но вы можете избавить себя от лишних мучений, — «казав мне, что заставило вас предпринять этот, повидимому ненужный обыск кафе «Манес».

Оба упорно смотрели друг на друга, не спуская глаз, но видели друг друга под углом в девяносто градусов. Яношеку тонкий нос Рейхскомиссара казался горизонтальным, а бескровные тубы непристойным обрамлением черной вертикальной щели его рта.

Рейхскомиссар, у которого поле зрения было шире, видел два глаза своего врага один над другим, но в обоих была одна и также печальность, что и то же превращение: Прежде эти глаза были полуоткрыты тяжелыми веками, они глядела на мир сонно и лениво: Рейнгардту казалось, что первый раз в жизни видит Яношку без маски.

И опять он ощутил то же замирание под ложечкой, то же недобродушие, какое у него было, когда он услышал о несчастном случае Пратохвилем.

Губы Яношека заневелись: Рейнгардт не мог понять, что он говорил. Он наклонился ниже, к самому его лицу.

Яношек произнес: — Что же вы по начальству, Рейнгардт?

Рейхскомиссар исподволь отшатнулся. Человек был крепко привязан столу, и это не могло быть сомнения. И все же Рейнгардту на миг показалось, будто на него нападают. Потом он взял себя в руки.

Яношек угадал, что губы Рейнгардта сомкнулись еще плотнее.

Это было его последнее впечатление от Рейнгардта: губы, скатые плотно, такие створки раковины.

Рейнгардт пересел подальше от Яношека на другой, более удобный стул рядом с машинкой. Сухой голос проползжал:

— Так как заключенный отказался отвечать, допрос передан германцу Менкебергу.

Верный Менкеберг, который до сих пор не прыгался с места и курил папиросу за другой, снял галстук и расстегнул воротник рубашки, ам взглянул на своего начальника:

— Начинайте, — сказал Рейнгардт.

Грубер облизал губы. Его нетерпеливые мальчишеские глаза смотрели за тем, как Менкеберг носко-кошачьи осторожно подходит к своей цели. Он видел живое тело Яношека, перетянутое в нескольких местах ремнями. Он видел, как Менкеберг носил руку и быстро сжималася.

Хлыст засвистал и хлестнул по телу. Эсэсовцы, казалось, вздохнули облегчением. Рейнгардт вытянул поудобнее ноги и стал смотреть на его начиненные носки ботинок. Рука Менкеберга поднялась для второго удара.

Яношек тоже почувствовал облегчение: К его удивлению, эта боль нападала на несколько ощущений, и все они уложились в какую-то одну секунду. Тут было и дрожание кожи, и чувство инъекции охвата удара. Тут была и боль, расходившаяся волной от того места, по которому ударил хлыст, и хлынувшая к затылку. Тут была и неоднократная реакция мускулов, они сокращались, стремясь подбросить тело вверху, но ремни удерживали его на месте. Тут было и складывание тела: Откуда-то из глубины что-то подкатывало к горлу и извивалось вокруг. Потом начал работать разум, начальилась борьба между его разумом и первыми. Ему нужно было на чем-нибудь сокрепиться. И вот вокруг чего он собрал все оставшиеся силы: я не закричу!

Он чувствовал, что кожа лопнула там, где хлыст оставил всхухий рубец. Кровь просочилась из опухоли и потекла по коже, теплая и пахучая. Яношек покрылся холодным потом и, облизав губы, почувствовал его солоноватый вкус.

Яношека удивило, что его мозг способен работать даже под напряже-

вом боли. Он работал, как сейсмограф, отмечая сотрясение нервов. Может быть, я это и вынесу, подумал Яношек.

Второй удар хлыста. Опять лавина боли, опять покой и потрясение всей нервной системы. Третий удар. И четвертый, пятый, шестой.

Менкеберг избивал его методично, неторопливо и решитель но. Вот почему Рейнгардт не боялся доверять ему эту ответственную работу. И сны у Менкеберга были колоссальные. Прежде всего точность прицела. Удары ложились параллельно, на ладонь один от другого. Он не ударял по открытым ранам, чтобы заключенный не потерял сознания раньше времени. Он знал, что потерявший сознание человек уже не в его власти.

Нет, Яношек не потерял сознания. Он не кричал, но не мог удержать глухих стоек, рвавшихся сквозь крепко стиснутые зубы. Услышав их, Эацингер заметил: — Силен, как был, чорт его дери.

Вальтере ответил: — Нокулитурный, в этом все дело. Эти низшие расы знать не знают, что такое нервы.

Грубер побледнев. Его руки тряслись, когда он зажимал паниросу. Он выбросил паниросу изо рта и должен был поднять ее: Она запачкалась, и, выругавшись, Грубер придавил ее ногой.

Седьмой удар. Восьмой.

И все же разум Яношека боролся с нервами. Боль теперь бушевала в нем. Где-то в глубинах начинали глухо дрожать струны, звук усиливался, достигал яростного напряжения и утиася.

Яношек услышал сухой голос Рейнгардта:

— Ну, как он, в порядке?

И Менкеберг прозвучал в ответ: — Да, герр рейхскомиссар, да!

Все это слышалось точно издалека. Они были в этом мире, а он ушел в иное измерение, куда они не могли следовать за ним.

Девятый удар. Десятый.

Он ощущал боль, но это уже не имело значения. Глаза его были полны слез, он ничего не видел, сколько ни старался держать их открытыми. Но его разум все еще боролся:

Все его мысли были теперь сосредоточены на юмчюку бумаги, вавившемся на полу уборной в кафе «Манес». На адресе Вацника. Он думал о тени лысого грузчика, и эта тень принимала гигантские размеры, заставляя собой ключок белой бумаги. Потом появились руки Бреды, сильные, надежные руки. Потом руки исчезли, и он увидел ярчайший желтого, красного и белого света, поднимавшийся до невероятной высоты.

Одиннадцатый удар.

Он засмеялся. Он в самом деле засмеялся. Это был слабый, мучительный смех. Он прозвучал так странно, что Грубер вопросительно отглянулся — кто здесь может смеяться? Младенец не сразу понял, что смеется Яношек.

В эту минуту открылась дверь. На вонючнем покрове черного мундира был белый халат. Голова у него была наголо выбрита и один, стеклящий, глаз оставался неподвижным, в то время как другой, живой, глядел на Рейнгардта.

— Здравствуйте, доктор! — приветствовал его рейхскомиссар. — Пришли взглянуть?

Доктор кивнул. Он подошел к столу, на котором лежал окровавленный Яношек с судорожно подергивающимися ногами.

Здоровый глаз доктора сосчитал рубцы. Он стал следить за хлыстом Менкеберга, поднятым для двенадцатого удара. Он видел, как тело Яношека измывается под ударами и отчески ползнул Менкеберга:

— Остановитесь, дорогой Менкеберг. Вы его убьете.

— Он еще в сознании, — ответил Менкеберг, отирая тряпкой хлыст.

Доктор обернулся к Рейнгардту: — Что вы намерены с ним делать?

— Он виновник. Завтра мы его расстреляем.

Глаз доктора был устремлен на тонкие губы Рейнгардта. — Если вы будете продолжать в этом духе, то пущи вам не понадобится.

— Сейчас я не собираюсь его убивать.— Рейхскомиссар, казалось, правды не было.— Мне нужно добиться от него некоторых сведений.

— Облейте водой. Отпустите ремни. Пусть отдохнет полчаса, — посоветовал доктор. Потом нагнулся к рейхскомиссару и шепнул: — Ваши мотивы, конечно, очень важны, но есть известный предел физической выносливости.— А вслух прибавил: — Интересная медицинская проблема, очень интересная...

Секретаря отправили за водкой. Доктор уселся в кресло рядом с Рейнгардтом и продолжал, заминув ногу на ногу: — Упорный народ, и физически и во всех других отношениях. У вас что-то не ладится?

— Нет, все в порядке.

Доктор опустил живой глаз, в то время как стеклянный венерал на Рейхскомиссара.— У вас усталый вид. Может быть, хотите в отпуск? Я с довольствием вас от会让 в любое время.

Рейнгардт не верил, чтобы заботливость доктора касалась вальгусизма.— Будет уж! — сказал он.— Что вам нужно?

Принесли водку, и разговор прервался. Рейнгардт налил ее в рюмку.— Ну, за фюрера! — Попыталось выпить рюмку одним глотком.

Вторую рюмку собеседники осудили за здоровье друг друга.

— Упорный народ, — философически повторил доктор.— Я занимаюсь исследованием в этой области. Мной составлены сравнительные диаграммы выносливости, но, представьте, как мне не везет, не могу подвести рога. Все время приходится исправлять диаграммы, заметьте, все время сторону повышения. Чем шире мы применяем наши методы, тем больше всплывают паникеты. Очень непонятно, очень!

— Prosit! — Третья рюмка. Глоток.

— Ну, так что вам от меня нужно?

— Это касается одного моего коллеги, который находится у вас, милый герр рейхскомиссар.

— Вальтертейн?

Доктор кивнул.

— Боюсь, что этого не могу для вас сделать. Он будет расстрелян патра вместе с другими захваченными.— Голос Рейнгардта звучал очень решительно.

Доктор припал своему здоровому глазу изумленное выражение — Да! За кого вы меня принимаете? Я не собираюсь его спасать. Я хотел просить вас — он вел очень интересную работу. Где его бумаги? Мне хотелось бы взглянуть на них.

— Да, еще бы! — Рейнгардт улыбнулся.— Он даже сделал мне удивительное предложение, на которое я согласился. Он записывает свои наблюдения над заключенными и над самим собой в камере смертников — представляете? — Рейнгардт с гордостью смотрел на доктора. Он только не чужд научным интересам, но и некоторым образом мещенат.

Глаз доктора завистливо блеснул.— А что вы будете делать с записками Вальтертейна?

Рейнгардт стел нужным уклониться от ответа.— Не знаю. Прочту и выброшу.

— Послушайте, рейхскомиссар, мы с вами всегда были в хороших отношениях, не правда ли?

— У меня нет врагов, — улыбнулся Рейнгардт.

— Отдайте мне эти бумаги, — клянчил доктор.

— Для напечатания? Под вашей фамилией?

Глаз доктора смотрел на Рейнгардта без стыда, а в здоровом глазе что-то вроде смущения.

— Что ж, я не прочь. Я бы написал вступительную статью. Это является сплошь и рядом.

— Отпуск мне едва ли нужен, — сказал Рейнгардт.

Доктор ухмыльнулся.— Вот как? — Потом наклонился к нему: — Вы сделаете это одолжение?

— Если я одобрю содержание записок, то почему бы и нет.— Рейнгардт опять наполнил рюмки.

— Что касается вот этого,—доктор показал большим пальцем на Яношека,— то не спешите. Перемените лекарство и дозы закатывайте немножко. Советую как ученый ученому!

И закрыв оба глаза, живой и стеклянный, доктор расхохотаясь и смеясь вышел из комнаты.

Этот смех привел Яношека в сознание. Теперь это не были и в нем остались только боль. Эта боль, казалось, жила своей отдельной жизнью. Она стояла над ним, как жестокий хозяин, подгоняя каждое биение его сердца; она обволакивала его тяжким жаром, от которого не было спасения.

Он лежал в том-то мокром и липком. Он не сразу понял, что это его собственная кровь.

Ремни были отпущены, и он попробовал почесаться. Но боль была так остра, что он бросил всякие попытки и лежал неподвижно. Он чувствовал себя очень слабым и измученным и спрашивал себя: неужели это конец? Тогда прекратится боль, против которой он безоружен. Прекратится все.

Но он знал, что ему не отследиться так легко. Рейнгардт ясно знал, что ему нужно. То, что испытал сейчас Яношек, было только началом, в этом он не сомневался.

Его удивляло, что он может думать о себе так разумно. Какая-то часть его мозга остается до сих пор работоспособной, а другая только воспринимает боль. Надо думать, заглушать этим боль, потребовал он от себя. Надо думать о таких важных делах, о таких значительных, чтобы мысли о них пересилили боль.

Важно, пашет ли грузчик адрес Вацлака.

Он слышал голоса своих мучителей. Они приближались к нему.

Важно, успеют ли во-время взорвать баржи со снарядами.

Сухой голос Рейнгардта сказал что-то такое, чтобы руки сплыть стянули.

Важно хранить упорное молчание, от этого зависит жизни тысяч русских солдат на восточном фронте, против которых посыпались баржи со снарядами.

Он услышал голос Рейнгардта.— Ну, как вы себя чувствуете? — Он догадался, что вопрос задан ему.

Важно, чтобы русские продолжали драчиться и помогли освободить его маленькую страну, его родную Ирагу, шахтеров Кладно, батраков Моравии.

— Вы молчите, значит, чувствуете себя не совсем хорошо. Не так ли? Скажите мне — давал вам Глазенап пытку? Да или нет?

Важно, чтобы он вынес пытку. Другим это удивлялось, удается и ему. Да, он выдержит.

— О чём вы говорили с Прокопом?

Важно... Но при чём тут Прокоп? Почему он о нем спрашивает?

— Что вам известно о смерти Глазенапа?

Важно... Какие глупости спрашивает этот человек? Я давно молчал, это, все это где-то далеко, внизу, вокруг меня стены боли, непроницаемая, неокрушимая.

— Менкеберг! — позвал Рейнгардт, посыпая плечами и отходя от Яношека.— Менкеберг, передаю его вам.

Отдохнувший Менкеберг критически взглянул распластертое тело.— На нем живого места нет,— пробурчал он.

Он начал хлестать Яношека по лицам и пытательно дошел до колен и шир.

Он добрался до некой впадины под kostеном, когда явился вестовой и доложил, что привезли Миладу Маргичеву.

Комиссар поспешил встать.— Грубер! — крикнул он, заглушая стоны Яношека.— Вот список вопросов. Допрашивайте его, и дайте мне знать, когда он сдастся.

— Менкеберг!

Менкеберг без рубашки, с грудью, блестевшей от пота, вытянул уки по плечам.

— Слушаю, герр рейхскомиссар!

— Когда он потеряет сознание, оставляйтесь. Приведите его в сознание, чтобы он дожил до завтра!

— Слушаю.

Рейхскомиссар удалился, уверенный, что оставляет Яношека в живых руках.

Глава 12

— Милада! — мечтательно сказал Рейнгардт и провел языком по убам.

Он сидел в кабинете один; сидел уже минут десять молча, не двигаясь, и думал. После допроса конвойные повели ее в одиночку. — У вас будет время обдумать наши разговоры. Может быть, вы сами вызоветесь ответить на мои вопросы, — сказал Рейнгардт. Он был так терпелив, так чисток вней, что восхищался сам собой. Он только что присутствовал при избиении Яношека, а сейчас вдруг такая перемена, такая джентльменская выдержка!

Темпер, вспомнивая свою беседу с Миладой, Рейнгардт чувствовал, что может быть доволен собой. Вечером он вызовет ее снова и на сей раз покажет плоды своих трудов. Как приятно будет вырвать признание у этой девушки!

А пока что надо допросить Лобковица и остальных пятнадцать человек. Тогда можно быть спокойным: все будет сделано шито-крыто. И правда о Глазенапе не просочится наружу. А потом еще Валлерштейн — Валлерштейн и его записи.

Рейнгардт придавал большое значение этим записям. Рейхскомиссар считал себя знатоком человеческой души. Правда, его методы и цели несколько отличались от методов и целей профессиональных эскулапов, но все же некоторая связь между тем и другим была. И чем больше уложнялось дело Глазенапа, тем больше надеялся Рейнгардт отыскать хоть какую-нибудь путеводную нить в наблюдениях психиатра. Его вдруг особенно окрепли, когда к этим записям протянул свою лапу одноглазый врач. Одноглазый был не дурак и знал цену работе Валлерштейна.

Вот почему, несмотря на целый ряд неблагоприятных обстоятельств, Рейнгардт был так хорошо настроен, когда к нему ввели Валлерштейна. Уверенный, что все обернется как нельзя лучше, он встретил свою первую сияющей улыбкой. — Ну-с, доктор, надеюсь, вы находите время для научных занятий в гестаповском застенке?

Рейнгардт не мог не заметить, что со временем их первой встречи Валлерштейн сильно изменился. Блуждающий взгляд, покрасневшие щеки, щеки запали, губы дергаются. Он даже постарел.

— Благодарю вас, — сказал Валлерштейн. — Я старался как мог. — Он удороожно глотнул. — Когда... когда это кончится?

— Завтра на рассвете, — сказал Рейнгардт. — Около шести часов.

— Убийца Глазенапа не найден?

Рейнгардт улыбнулся. — Как это ни странно, но у нас есть уже несколько кандидатов на такую роль. К счастью, нам удалось разоблачить этих мистификаторов.

— К счастью? — взгляд Валлерштейна остановился на рейхскомиссаре. Рейнгардт отвел глаза в сторону. Он побаивался прощительности этого человека.

— Да, к счастью! — грубо повторил Рейнгардт. — Мы вовсе не хотим при проливать кровь. Нам нужен настоящий убийца.

— Такие соображения делают вам честь, — сказал Валлерштейн.

Рейнгардт почувствовал приятно в этих словах. — Еще не поздно.

отпарировал он удар Валлерштейна.— Вы были в кафе «Манес» в тот вечер, когда произошло убийство. Если вам есть что сообщить, почему вы могли все это время? Почему молчите сейчас? Что вам известно по делу Глазенапа? Ваша жизнь все еще в ваших руках.

Валлерштейн чувствовал страшное утомление и слабость. Стоять перед Рейнгардтом было трудно — болели ноги. Ему хотелось только одного: поскорее отdesаться от этой нестяжной процедуры.

— Что вы от меня хотите? — через силу спросил он. — Чтобы я признался в убийстве Глазенапа? Или донес на кого-нибудь? Или сказал, что Глазенап не был убит, а покончил с собой?

— Что? — выкрикнул Рейнгардт.

Но Валлерштейн не заметил того впечатления, какое произвели на рейхскомиссара его слова, не помня, сколько они были близки к истине. Он продолжал: — Плещи вам грязные небылицы только для того, чтобы вы уличили меня во лжи? Чем мне это поможет?

Рейнгардт быстро овладел собой, но не удержался и спросил: — Почему вы заговорили о самоубийстве? Вы даруете такую возможность? Что вам об этом известно?

— Кое-что известно, — сказал Валлерштейн. — Самоубийство есть одна из фаз психического заболевания, точно определенная фаза.

— То есть, рассуждая теоретически?

— Разумеется. Как же я могу еще рассуждать? Что я знаю о Глазенапе? Личная жизнь немецких сценаристов никогда меня не интересовала и вряд ли будет интересовать. — Он замолчал. Потом вдруг спросил с удивлением: — Почему вы вдруг заговорили о самоубийстве, в частности о самоубийстве Глазенапа? Вы подозреваете... Валлерштейн побледнел, и в глазах у него загорелася лук изложни. За не уверены, что...

Рейхскомиссар встал. Теперь ему было ясно, что Валлерштейн ничего не знает. — Мне жаль вас разочаровывать, — сказал он, — но Глазенап был убит, это вне всякого сомнения. Самоубийство, поставленное доктором Валлерштейн, типично для вырождающихся рас. Нам, нациям, руководителям мира, нет нужды кончать жизнь самоубийством. А теперь разрешите мне взглянуть на ваши записи.

Валлерштейн нерешительно протянул ему свою рукопись.

— Пожалуйста, сохраните ее, — умоляюще сказал он. — Удивительный экземпляр. Единственное, что после меня останется. Я написал письмо редактору «Ежемесячника по Вопросам Нейрологии», оно тут же, вместе с рукописью.

Он не скоро прекратил бы свои мольбы, но Рейнгардт быстро просмотрел первую страницу, испытавшую трепет, и своим личиком, и сказал: — Садитесь. И не мешайте мне читать.

Валлерштейн настороженно следил за глазами рейхскомиссара, бегавшими по строчкам, склонил за его рукой, заглавшей страницу ^{за} страницей.

Вальтер Валлерштейн, доктор медицинских наук.

Заметки о смерти и распаде психических норм.

Самым грандиозным и самым трагичным событием человеческой жизни является то, что подводит ее к концу: смерть.

Со смертью прекращает свою деятельность не только организм человека, но и его психика. Медицинская наука и общественные институты установили для процесса, именуемого смертью, точный симптом. Мы различаем симптом смерти с любой минутой, как сердечная мышца перестает действовать. Однако среди них известно, что процессы жизни и смерти взаимодействуют, что некоторые части нашей жилой ткани отмирают одновременно.

Наблюдая за самим собой и за другими, каждый индивидуум приходит к выводу, что он должен умереть. Этот факт неотъемлем как от на-

лего сознания, так и от сферы подсознательного. Светофоры на перекрестках обращаются к сознанию человека, предостерегая его от опасности; сист снаряда над головой заставляет солдата присесть в замке, то есть вызывает у него реакцию подсознательную.

В данном случае нас больше всего интересует то действие, которое трах смерти оказывает на человеческую психику, и та борьба между ознатательным и подсознательным, которая разгорается в ней перед лицом смерти, предрешенной с точностью до часов и минут.

В обычной обстановке врач никогда не бывает настолько жесток, чтобы сказать своему пациенту, что смерть его наступит, предположим, полночь. Наоборот, мы всячески стараемся до последней минуты поддержать в нем надежду. Мы хотим уберечь своего пациента от психической пытки, которая неминуема при оглашении диагноза.

В некоторых случаях, как например перед казнью, «пациент» проходит свои последние часы в камере смертников и знает, когда наступит его конец. Как известно, многие преступники пытаются приступитьности или же полной депрессии; фанатичный аппетитом съедают свой последний обед, другие выплескивают тарелку в лицо надзирателю; иногда смертник знает утешения у священника, иногда преклоняет его. Так или иначе реакция обусловлена всей прежней жизнью «пациента», его развитием и многими другими обстоятельствами.

К сожалению, нам попадаются случаи, когда такой «пациент» проводит свои последние дни и часы под наблюдением опытного психоанализика. Следовательно, мы почти ничего не знаем об изменениях, которые имеют место в психике индивидуума, заранее знающего время своей смерти.

Благодаря благосклонному содействию трагического отделения гебрае, лице высокочтимого рейхскомиссара Гельмута Рейнгардта мне удалось вести наблюдение над группой людей, оказавшихся именно в таком положении. В эту группу входит сам автор, который заранее просит друзей извинить его, если ему не удастся убрать из своей работы «личное».

Ракты вкратце таковы. Нас арестовали в четверг 9 октября 1941 года, следующий день мы узнали, что через пять дней нас расстреляют, и застолбников. В моей камере и под моим наблюдением находятся четырех молодых журналистов Л., актер И., яркий промышленник Ир. и его Я-к, не имеющий определенной профессии. Все они узнали о предстоящей им казни от меня. Я имел полную возможность беседовать с ними, заставлять им интересующие меня вопросы и наблюдать за их реакциями.

Смерть является самым грозным табу, установленным человечеством. Если бы это было не так, общество, его законы, его этические нормы подверглись бы коренным изменениям. Человек, ожидающий смерти, не имеет никаких запретов, ибо его уже никто не властен покарать — ни общество, ни собственная совесть. Он недосягаем для возмездия.

Весь конгломерат запрещенных воспитанием запретов и самоограничений поглощает совесть, перестает функционировать. Перед лицом предсказуемой смерти человек абсолютно одинок, и это делает его сумрачным.

Такое превращение с наибольшей ясностью можно было наблюдать в И и Л. Оба они любили одну женщину. Муж И., не знал об отношениях, существовавших между его женой и Л., и, возможно, подозревал их. Но сомненных обстоятельствах Л., несомненно, не выдал бы своей тайны. Но и, однако, что ему грозит смерть, и, и нестерпимо пристанных разрывов, испытанный И. о жене, он заявил, что был любовником госпожи И. и называл себя отцом ее ребенка. Это привело к бурной вспышке его ярости И., прекратить которую было весьма нелегко.

Поэтому же И. спровоцировал Л. на также признание в том самом факте, что подобному обстоятельству отчуждению предшествовало мысль о неминуемой смерти?

И старался найти оправдание для своей жизни, важнейшим факто-

ром которой были его отношения с женой, отношения не совсем удачестворительные. Он старался приукрасить их и перед самим собой перед нами.

Читатель, не знающий, что такое близость смерти, спросит: почему пятеро вполне нормальных мужчин так быстро перестали бороться за жизнь? На этот вопрос можно дать два ответа.

Первый будет чрезвычайно лестен для гестапо. Мы знали, что организация умеет держать свое слово, но вспомним случае тогда, когда речь идет о смертию приговоре.

Второй ответ несколько сложнее. Борьба за жизнь продолжалась ведь стараясь представить себе неизбежность конца, преступая границы запретного, человек испытывает такой ужас, что не может примириться с мыслью о полном исчезновении из жизни.

Этим объясняется частая смена настроений у всех заложников, исключением одного. Я займусь этим человеком позднее. Мы металли мозгами полной депрессии и лихорадочной активностью. Читатель мой предположить, что у нескольких человек, брошенных в тесную камеру ожидающих одинакового рокового конца, должно появиться чувство солидарности и товарищеской близости. Однако в действительности имеется явления обратного порядка. Среди нас парила враждебность, раздражительность и неприязнь друг к другу.

Наиболее честный и самоуверенный из нас, крупный промышленник Пр., оказался в этой обстановке и наиболее неуравновешенным. Положение, которое всегда занимал Пр., выработало в нем уверенность, что труд страдания и смерть есть удел всех людей, кроме него. Поэтому он до последней минуты не сможет примириться с мыслью о неизбежности собственных страданий и собственной смерти.

Пр. явил собой наименее яркий пример полного маргинализма и отхода моральных, психических и общечеловеческих норм, вызванного близостью конца. Выход отсюда направляется сам собой: такая реакция характерна не только для Пр., но и для всех тех, кто, пользуясь прегативами власти, привык отстаивать только свои личные интересы.

Остальные тоже продолжали бороться за жизнь, но в ином плане. Мы знали, что здесь, в этой камере, нет свидетелей, которые сказали бы грядущему поколению: они умерли как герои. И звено же мы делали с быве попытки утвердить свое бессмертие.

Пр., будучи субъектом крайне элементарным и лишенным всяких воображения, думал только о том, как бы продлить свое физическое существование.

Л., верный инстинктивной тяге каждого человека продолжить свою жизнь в потомстве, заявил о своих правах на ребенка, отном котором до сих пор считался П.

Актер II, пользующийся известностью в театральном мире и рассказывающий, что его смерть вызовет чоколадные у публики, велических и уважающий перед товарищами по каморе свои успехи как в жизни, и на сцене.

И мне, в свою очередь, не следует таинить, что я вел эти записи, желая примириться с мыслью о смерти и полном исчезновении. Я хотел оставить после себя нечто, имеющее преходящую ценность. Разве у меня, не такой же человек, как и все? Единственное, что у меня есть — это мои записи, хотя лауки в них нет и следа. Это волна. Я дыхаюсь и пишу только о том, что чувствую.

И еще ничего не сказала о Я-ке.

Если предположить, что все наши страхи являются патологическое, Я-к прошел сквозь них целиком и непротивимым. Он отнюдь не крет, который подстукивает человеческие чувства. Я обнаружил в нем ум, неподозрительность и доброту. Он способен и ненавидеть и презирать, извращением этого служит его отношение к Пр. Но он точно так отнесся бы к Пр., если бы они встретились не в тюремной каморе, а улице или в лесной обстановке.

На мой взгляд, Я-ку наведом страх смерти. Он не поддается правилам затяжной мою игры.

Но временем мне стоило большого труда подавить в себе чувство зависти к этому человеку, вызванное лишь тем, что он оказался сильнее болезни, которой поддался я — врач. С другой стороны, работая в области такой молодой науки, как психиатрия, я не могу стать на чисто академическую точку зрения и заявить: то, что нет в книгах, нет и в жизни.

В жизни это есть!

Чем же объяснить поведение Я-ка? Может быть, ему так часто приходится сталкиваться со смертью, что он уже не боится ее?

Может быть, он проникает взором в будущее, наведомое нам?

Может быть, он принадлежит к той редкой породе людей, которых зовут героями, и я должен благодарить судьбу, дославшую мне последок встречу с ним?

Или тут действуют все эти три причины разом?

Я стараюсь быть объективным. Может статья, что этот человек подаст мне хоть немного своей силы — той силы, отсутствие которой всегда сказывалось в моей жизни и продолжает сказываться и сейчас. Но скромный Я-к смеется не только над смертью, что и было теми, кто убил ее нам...

Дальше рейхекомиссар читать не стал. Этого не может быть, думал Валдор! Ведь Вальтерштейн сам признается, что его мозг поражен раком. Эти записки — бред перепуганного интеллигента, и больше него!

Но характеристика Прокопа дала рейхекомиссару ключ к загадочному поведению актера. Теперь ему стало ясно, почему тот признался в иниции Глазенапа. Прокоп захотел овеять свою смерть! Но эта догадка Валлерштейна правильна, значит, в его наблюдениях над онкологом тоже есть доля истины. А тогда становится понятным, почему онколог оклеветал Яношека.

Все они видят этого мужлана нас kvозь, только он Рейнгардт, ничего не понял и остался в дураjax.

Как ему ни хотелось отмахнуться от этих записей, в глубине души знал им цену. Он знал, что корень всех его неудач Яношек, этот безнадежный иллюстрированный, который несет бог весть какую чепуху и смотрит на эти талыми новинками бессыстенными глазами.

Теперь Рейнгардт был уверен, что какие-то силы действуют против него и что в центре этого заговора стоит Яношек. Но что они, эти силы? Остальные соучастники? Ответа на такой вопрос не было. Его снова мучил туман. Нередко им мелькают какие-то смутные очертания, но что они зыбки, неуловимы, как схватить их, как задержать?

И он решил сорвать свою злобу на недочитанной рукописи, которая говорила о постигшей его неудаче.

— Вы, вероятно, гордитесь своей работой? — спросил Рейнгардт. — Вот, разрешите вам сказать: это чистейший вздор, и мною искони не интересовало этого время. Я знал с самого начала, что вся твоя братия не помнит от страха. Жалкие трусы!

— Когда человеку вскрывают брюшину, это зрелище тоже не из сиюх, — ответил Вальтерштейн, становясь на защиту своего труда.

Яношек — герой! Смеялся Рейнгардт.

Вальтерштейн встал. — Мы с вами не толпимся тут друг друга.

Нет, я вас прекрасно помню! — крикнул Рейнгардт, тоже встав.

Вы не дурак, доктор Вальтерштейн! — Он обогнул стол, подошел к Вальтерштейну вплотную и с испытываяшим сущим лицом:

— Или отомстить мне? Хитро придумали! Но погоди тут пяятого ученого и воображаешь, что я в нем не разберусь, не пойму, что вы меня сделали дураком?

— Нет, нет! — в отчаянии запротестовал Валлерштейн, трепеща за свою рукопись. — Вы меня не так поняли...

— Яношек герой! Хотите полюбоваться на своего героя? Может быть, я доставлю вам это удовольствие сегодня вечером. Из вашего героя получился хороший бифштекс. И мне очень хочется вкатить вам дозу такого же лекарства за всю ту наглую ложь, которой вы меня угостили!

— Подумать только! — продолжал Рейнгардт. — Чтобы я, серьезный человек, работник гестапо, способствовал опубликованию этой дробедии! Нет, доктор, на сей раз вы просчитались!

Рейнгардт разорвал рукопись на клочки и, изнынув их на пол, стал топтать ногами. — Вот, что я с ней сделаю! Видите? Вот!

Валлерштейн не сразу осознал, что это наследие погибло навсегда.

— Ваше поведение мне совершило попроще, — сказал он, как профессионал заинтересовавшийся этим зрелищем: — Нацист, уничтожающий мысль и слово. Вы стараетесь растоптать то, что вас страшит, господин рейхскомиссар. Растоптать истину.

У Рейнгардта потемнело в глазах от беспокойства. Валлерштейн рухнул на пол, и рейхскомиссар только тогда понял, насколько силен был его удар.

Он вызвал звонком конвоира. — Отнести его в камеру! — и вышел из кабинета с твердым намерением вырвать у Яношека его тайну.

Глава 13

Вечер в гестаповском подземелье наступает скорее, чем за его стенами. Сумерки прежде всего приходят сюда, словно живая заключенных.

Валлерштейн и Лобковиц сидели в камере один. Валлерштейн осторожно растирал левую щеку и висок, все еще пыльные после удара Рейнгардта. Стараясь не думать о завтрашнем дне, он искался за каждую мимолетную мысль, искал в ней забвенья.

Мое тело, говорил он себе, которое продолжает функционировать все с тем же беззаботным упрямством, выказывает большие разумка, чем весь этот сложный механизм сознательного и подсознательного, преследующий мне столько страданий. Если бы я мог увидеть себя в переполнене истории ничтожной пылникой, лишней веса и значения! Но тщера подсознательного отказывается выслушать урок, преводимый ей разумом. В результате компромисс — хитрая вылазка врасчото на крохи бессмертия. Но эта обезьяна, этот Рейнгардт, помешал и тут.

И теперь мы стоим такие же голые, якими циники в мир. Нас лишили средств самозапиты. Наша философия, наши сианы — разве они помогут в последний час? Чем я отличаюсь от такого субъекта, как Прейсингер, который не в состоянии попытать, что он тоже стоит голый перед лицом судьбы, голый — без богатств, без власти? Смерть, господин Прейсингер, институт демократический. Это чуют даже нацисты, торгуяшие смертью оптом и в розницу. Вот почему они стараются подсунуть ее гекатомбами трупов и возводить свою памятники из костей и пепла. Тщетно, все тщетно — ничего не поможет!

Вот Лобковиц, — думал Валлерштейн. Бедняга силит на койке, не поднимает головы — Что вы грустите? Ведь когда-нибудь все равно придется умирать.

— Мне бы хотелось быть таким же циником, как вы, доктор. Но я, вероятно, недостаточно пожил на свете, чтобы отказаться от последней надежды. Мне бы да ваши головы! Чего бы я только не успел сделать!

— Опираетесь, друг мой. Человек всегда ждет от завтрашнего дня чего-то особенного, нового. Гете писал. Мне полного удовлетворения жизнью, к которому приходит его Фауст, никогда не наступает. Хотите верьте, хотите нет, но я, Вальтер Валлерштейн, тоже не могу оторваться со смертью. Поэтому если вы вдруг услышите ночью, что я плачу, царапаю ногтями стены или рву на себе одежду, знайте: меня сводят с ума те же мысли, что и вас.

— Ну, вот,— сказал Лобковиц,— я не доставлю нацистам такого удовольствия. Правда, мне повезло, Рейнгардт потратил на меня всего пять минут. Но я не дал бы этому ничтожеству восторжествовать надо мной. Ни за что!

— Вот видите, насколько вы сильнее меня,— сказал Валлерштейн.— Вы счастливый человек, Лобковиц, у вас есть ребенок. Может быть, вашему ребенку когда-нибудь скажут: твой отец не опустил головы перед целым винтовки. А какой смысл цепляться за установленные нормы по-днения мне? Кому это нужно?

— Я оставил письмо своему ребенку! — Лобковиц вдруг ожидался вспомнил с нар.— Дайте мне бумаги и зашепте вечное перо.

— Можете не утруждать себя! Я хотел написать письмо всему миру, это разорвали на клочки. Меня только пощекотали соломинкой, за которую хватается утопающий.

— Он уничтожил вашу рукопись?
Валлерштейн кивнул.

— И поделом. Ведь мы были для вас подопытными кроликами, вы подстрикали нас, наусыкивали друг на друга, и ради чего? — ради вашегорагоценного письма к миру. Вы хотели продать нацистам ваши души, ваши страдания за чечевичную похлебку славы. Вам, очевидно, не пришло в голову, что нацисты интересуются только своей собственной славой. Несчастный Прокоп! Несчастная Мара!

— Стоит ли их жалеть? Завтра все мы будем по ту сторону добра и зла — это единственное благо, которое несет нам предстоящая казнь.

— Болтовня! Болтовня!

— Совершенно верно. Что ж, презирайте меня!

Валлерштейн потер болевшую щеку и вдруг замер. Звон ключей засторью предвещал какие-то события. Они вспомнили с мест, подчиняясь зеленой тюремной привычке.

В камеру вошли Прейсингер и Прокоп. Прейсингер чуть не падал от слабости после бесконечного стояния в карцере, он еле добрел до нар и упалась на них ничком.

Не в лучшем состоянии был и Прокоп. Он уцепился за металлическую раму верхних нар и пробормотал: — Где Яношек?

Догадываясь, какие муки пришлось перенести этим людям, Валлерштейн и Лобковиц кинулись к ним, чтобы хоть чем-нибудь облегчить их страдания. Но Прокоп продолжал твердить свое: — Где Яношек?

— Мы не знаем... — нерешительно проговорил Валлерштейн.— Когда мы увидели вчера вечером, его сейчас же вызвали к Рейнгардту. С тех пор он не возвращался.

— Да, его нет, — подтвердил Лобковиц и, потом, словно спохватившись: — А вы знаете, что с ним?

— Я жду самого худшего, — пробормотал Прокоп, — самого худшего. — Его руки разжались, он упалась на нижние нары и крикнул, обращаясь к Прейсингеру, который лежал напротив. — Эх!.. Такой скотине и называть не подбери! Я стоял в темном карцере, обливаясь потом, зачесываясь, себя не помнил от боли и усталости, а мозг все время кипелита мысль: как это назвать, какое ему имя придумать!

— Что случилось? — спросил Лобковиц. — Что он сделал?

— Так ничего и не придумал! Нет такого слова в нашем языке! — продолжал актер, поворачиваясь к Лобковицу. — Вы отняли у меня жену, и я родила от вас ребенка, вы погубили меня — значит, нам известны причины зла. Так вот скажите, как назвать человека, который идет к наиму мучителю с домоносом на такого же несчастного, как все мы?

— Иуда! — сказал Лобковиц.

Прейсингер простонал, не обращая на них внимания: — Воды... воды!

— Воды! — передразнил его Прокоп. — А вы думали о воде, когда перегорались с Рейнгардтом? Да, он торговался, он хотел продать Яношку по дешевке — за свою собственную шкуру. Заявил, что Глаазенапа убил Яношек...

— Это явное безумие,—сказал Валлерштейн,— Рейнгардт, доктор не поверил?

— Конечно, нет! — задыхаясь от кашля, ответил Прокоп.— Он устроил вам очную ставку, и мы изобличали друг друга во франье.

— Ничего не понимаю! Какое вранье? — спросил Лобковиц, волнуясь.

Янотека и с трулом сдерживая свое возмущение.

Сыны изменили Прокопу, но он все же поднялся и стал рассказывать, упиваясь присутствием Льва Прейсингера и своим собственным бескорыстием. Прокоп рассказал, как он принял на себя вину за убийство Глашаны, потому что жизнь потеряла для него всякую цену. Как он хотел, чтобы их освободили всех, в том числе и Лобковица, отца рабыни Мары. Как он старался победить сомнения Рейнгардта и твердо стоял на своем.— В конце концов Рейнгардт поверил бы мне! — Как Прейсингер подвел их своей чистой ложью тем самым дал рейнхольцару возможность опровергнуть предыдущее показание и обречь на гибель всех заключенных.

Бончук, Прокоп бес усилием повалился на пары.— Теперь нас ждет смерть, бесмысленная, глупая смерть,— сказал он и заплакал от жалости к самому себе, от злобы и слабости.

Лобковиц понимал, что с точки зрения истории преступление Прейсингера неизмеримо страшнее, чем донос на Янотека. Но это последнее его деяние зачехлило собой все оставшееся.

Завтра они умрут. Преступление Прейсингера нельзя окупить никакими адским муками. Для расчета с ним осталась одна эта ночь. Мне будет легче, если я хоть как-нибудь пакажу его, думал Лобковиц. Пусть ответят за Янотека, за наше отступление от линии обороны. За все. Сама судьба посыпает мне этого человека, который изуродовал и испачкал мою жизнь.

Прейсингер даже сквозь полу забытье чувствовал виновательность своих соседей по камере. Когда Лобковиц подошел к нему, он отрыгнулся, как разъяренный пес:— Оставьте меня в покое!

— Я не намерен морить о вас руки. Но бог или кто другой, кому надлежит этим ведать, поручил мне произвести с вами юстичные расчеты. Вы человек деловой, вам должно быть известно, что старые дни падо платить.

Прейсингер почти ничего не понял из слов Лобковица, привяя его прощанию за шутку.

— Какие расчеты? — с трулом пробормотал он.— У меня ничего несталось. Все отняли. Я нищий.

Лобковиц был не такой человек, чтобы вспылить и через минуту успокоиться. Его ярость разгоралась медленно, но верно.

— Итак, вы оклеветали несчастного, беззащитного Янотека только потому, что ваша собственная жизнь кажется вам гораздо значительнее и полноценнее.

— Я раскаиваюсь в этом,— промямлил Прейсингер.

— Выгодная сделка — бросить Янотека на съедение волкам и спасти свою шкуру.

— Я хотел подкупить его.

— Кого?

— Рейнгардта.

— Что за глупота! — воскликнул Лобковиц.— Вы потеряли все, а вините с подкупом! — Он махнул рукой.— Ишо придумашо. Более всяких ловолов у вас нет?

Прейсингер вдруг понял, что его сущит, и возмутился.— Кто вам дал право...

— Никто — сам взял. Меня тоже завтра расстреляют. Я тоже ничего не боюсь... Ну?

Прейсингер мечтал, чувствуя, что в этом мире все перевернулось сверх души. Наследы, которые до сих пор покрывали его, оказались проклятыми. Люди, которых он привык повелевать, вдруг стали его судьями. Это хаос, по он, Прейсингер, к тому не пристщен. Ему хотелось закрыть глаза, отдохнуть от всех мук и пусть кто-нибудь скажет

дат ему — пусть это будет его мать! — Не бойся, Лев, никакой тюрьмы не будет, выпей чайку, тебе принесется страшный сон, будь его.

Неумолимый Лобковиц продолжал допытываться: — Чем вы можете выстать в свою защиту?

— Я не хочу умирать... — простонал Прейтенгер.

Этот долгий под действием яда Лобковица, как краевая триника на ладони. Он глоток был ринутся изо рта Прейтенгера и дать вспышкой ярости. Это остановил звон ключей в коридоре. Задрожавши застыли на месте, словно марионетки, брошенные кукловодом.

Яношека швырнули в камеру, как груду старого трилья.

Все забыли о Прейтенгерсе, глядя на эту бесформенную кровавленную массу. Прейтенгер в ужасе поднялся с пар. Он понял, что ответственность за состояние Яношека в какой-то степени должна лежать на нем он, Прейтенгер, и взвыл, как старая баба, захлебываясь истеричными слезами.

— Вот она — нечистая совесть! — сказал Валлерстейн и со всего маху ударил Прейтенгера по физиономии. Вонгиг так же визжало и кривились.

Под потолком вспыхнула лампочка, зажасившая из коридора. Ее слабый свет падал на бледные лица, на изуродованное тело Яношека в камере, стоящая мертвая тишина.

Казалось, четверо захожников чего-то ждут.

Сколько изощренной жестокости в этом Рейнгарте, думал Прокоп. хочет, чтобы мы проиграли лицу последнюю ночь все с этим существом, которое когда-то было человеком, а теперь потеряло человеческими.

Доктор Валлерстейн первый услыхал слабое бормотание. Он опустился на колени и приложил ухо к тому, что было когда-то ртом Яношека. Потом с лихорадочной быстротой сорвал с себя рубашку и старался вытирать кровь, запекшуюся у него на лице. — Воды! — крикнул он. — Станьте вать!

Лобковиц с отчаянием застучал кулаками в дверь. Через несколько минут в камеру вошел тех с пакетом воды. — Переверните кричать! Я приду воду, хоть это и не полагается, — сказал он и вышел, так и не взглянув на Яношека.

— Дайте кто-нибудь рубашку! — скомандовал Валлерстейн, вынырнув изо рта в угол.

Прокоп опередил остальных. — Только очень грязная, — извиняясь, — не тоюм пробормотал он.

Ловко руки Валлерстейна быстро делали свое дело.

— Теперь давайте положим его, — сказал он. Рядом они осторожно сняли Яношека с пола и опустивши его на нары. Вместо подушки под голову ему подсунули два свернутых поджака. — Осторожнее! Осторожнее! — говорит Валлерстейн. — Спина сломленная рака. Нужно бояться матраса в водой...

— Резиновый матрас! — иронически скрипя зубы, сказал Лобковиц.

— Вы так говорите, потому что у вас есть время лечить его.

Валлерстейн вытер ладони о брюки. — Он еще дрогнет немножко, потом второй, третий... сильнее падет. Желательно погладить голову, затронутую. Надо есть сокращают ему жизнь, если пристанет к жизни, будет изматывать и умрет вместе с чаеми.

А он сейчас? — спросил Прокоп.

Валлерстейн покачал головой. — Хорошо, если бы я очутился. Будь это морфин, я бы не взял его в забытие, но сейчас нет.

Он сел рядом с Яношеком, погнувшись. — Тени рогута высохли. Очищаем предположит бородавки... — И вдруг тихо, это покрикнуло: — Сыре, что у него с рукой! Все дышат сномина!

Ладонь Яношека перекрещена пальцами. Он синеватым краем притягивает к себе пальцы пальцем правой и снова скимывает.

Синева, — сказал Лобковиц.

Валлерштейн кивнул: — Ничего, Яношек, — сказал он. — Скоро вам будет лучше.

Подняв здоровую руку, Яношек поманил Валлерштейна к себе. Тот нагнулся над ним. Яношек с усилием сказал что-то.

— Что? — спросил врач. Он не верил собственным ушам. Яношек повторил, с трудом выговаривая каждое слово. — В жизни... лучше... себя не чувствовал...

Лобковиц захотел, трясясь всем телом, но глазах у него вспыхнули слезы. — Мерзавцы! Сукины дети! — проговорил он сквозь взрывы истерического смеха и, повернувшись к Прейсингеру, схватил его за плечо и с яростью оттолкнул от себя. Прейсингер даже не пискнул. Он встал с пола и, дрожа от страха, забился в угол.

— Лобковиц! — шепнул Яношек.

Тот в два шага очутился рядом с ним.

— Я молчал, — прохрипел Яношек. — Ни слога... от меня... не добирайся... Он перевел дух. — Стены... падут... Вот увидите!..

Что это было — бред? Может быть, он начинал заговариваться? — Да, — сказал Лобковиц. — Конечно. Так оно и будет.

На самом же деле мозг Яношека работал с обостренной точностью. В часы пыток в нем жили две мысли: «Молчи!» и «Баржи с вооружением должны взлететь на воздух!» Он цеплялся за них, как цепляются за единственную точку опоры, и ему казалось, что успех дела зависит только от него, от его мужества и стойкости.

Для Лобковица и остальных слова Яношека прозвучали пророчески. Боль и страдание вызывают к себе благоговейное чувство. Ты пострадал за свое дело, значит, оно стоит того. В противном случае разве ты поднял бы такую тяжкую ношу?

И вот на ослабевшие от пыток плечи Яношека легла мантия предводителя. Боль, обжигающая все его тело, и мысль о изрыте барж не позволили ему заметить это сразу. Но вскоре он почувствовал в них взглядах не только сострадание и понял, как нужно сказать этим людям что-то важное, значительное.

Медленно собираясь с мыслями, Яношек пожалел, что ему нельзя открыть своей тайны. Какой жестокой должна казаться смерть Лобковицу. Прокошу и Валлерштейну — людям, которые, несмотря на свое внешнее превосходство, не могут увидеть будущее таким, таким видимым им, Яношек, — светлым, стоящим того, чтобы за него умереть; людям, которые не могут даже расквитаться с нацистами.

Надо передать им свои силы, приобщить их к своей надежде. Разве он не обязан приподнять уголок занавесы, скрывающей от этих людей тысячи и тысячи их близких, которые, несмотря ни на что, все же олюют мрак и смерть?

Бунтарь Лобковиц, честолюбивый Прокош, не видящий ничего, кроме своей науки Валлерштейн тоже за что-то борются. Почему же они должны умереть одинаковыми?

Беда моя в том, думал Яношек, что мысли у меня неплохие, а выражать их словами я не могу.

— Слыхали когда-нибудь про Владислава Ванчуру? — спросил он, с трудом пытаясь распухшими губами.

— Нет, — ответил Лобковиц.

— Вам нельзя говорить, — Валлерштейн положил ему на лоб компрес, сделанный из рукава рубашки Прокоша. — Нельзя напрягаться.

— Ванчуру с Вышградской улицы, — настойчиво протяжал Яношек, — сапожника?

— Ну есть говорит, — сказал Прокош, — он любит рассказывать.

— Этот Ванчур возвышаясь обширство хорового пения, был знаменитым местной сокольской организацией, барабанщиком добровольческой пожарной дружины — словом, без него нигде не обходилось. А жале это было не по вине...

Яношек передохнул. Лобковиц, Прокош и Валлерштейн с болью смотрели на него, зная, что недолго ему осталось рассказывать свою басни.

— Дома он почти никогда не бывал...

— Да, — сказал Лобковиц, — женщины этого не любят.

— Где форма и оркестр, там и Ванчура... — Яношек одолевала сонливость. Но он заставлял себя продолжать. Владислав Ванчура, о котором Яношек ни разу не вспомнил за эти годы, Ванчура, который, впрочем, давно умер, снова должен был выполнить свой долг.

— В тысячу девятьсот восемнадцатом году отправился он как-то в закачку. Идет по улице медленно, поглядывает по сторонам, раскланивается со знакомыми: здравствуйте, да как поживаете, да, какая сегодня хорошая погода...

— Замечательный был человек этот ваш Ванчура, — сказал Прохор. Яношек замолчал. Он заметно слабел и с трудом боролся с болью. — Замечательный? И да и нет. Самый обыкновенный, вроде меня. Простой сапожник.

Снова наступило молчание. Прейснгер вылез из своего угла и пошел к нему. — Убрайтесь отсюда! — сказал Лобковиц. Тот съежился и покорно отступил.

Яношек замолчал. Он заметно слабел и с трудом боролся с болью. — Уткнувшись в землю и стараясь шагать в ногу. И ничего у них не выходит.

Он перешел на шепот: — Ванчура увидел это и закричал: «Эй, вы, увалыни! Разве так маршируют?» А из рядов ему отвечают — кто-то из знакомых попадся: «Ванчура, пойдем с нами! Поучишь нас маршировать — флаг понесешь».

Яношек перебил свой рассказ кратким смехом, но смеяться ему было больно. Он видел, как стырил Ванчура, высокий, поджарый, примыкает к рядам, берет в руки древко флага, выпячивает грудь...

— Отправился, конечно, с ними. Пожалел только, что сокольской формы не надел или хотя бы пожарной каски...

Валлерштейн смочил ему губы водой.

— И затянул песню. Сначала «Родину», потом «Рождество бывает раз в году», «Блошилки и брюнетки» — одну за другой, все, какие знал. И скоро наладил дело. Демонстрация растет с минуты на минуту. Он сплясался наизнанку, видит, ей конца краю нет.

Яношек открыл один глаз и посмотрел на Лобковица. — Шагает гордый, а куда столько народа идет, это ему неведомо, и спрашивать уже поздно. Ведь он вел их за собой.

Лобковиц кивнул: — И флаг нес.

— Пришли в центр Праги, а там полно жандармов и солдат с пулеметами. Ванчура удивился: что им тут надо? Только мешают маршировать его колонне. Жандармы и солдаты думали, что он увидит пулеметы и остановится. Да не тут-то было!

Яношек замолчал, пытаясь одолеть барьер боли. И ему удалось это не хуже, чем Ванчуру.

— Он знал только одно: за этим идут люди, и если сейчас остановятся, все ринутся вперед и получится затвор — ни вперед не лягнешься... Тогда он взял и крикнул: «Прочь с дороги! Вы разве не видите, что народ идет? Я сапожник Ванчура. И запел «Татры», под нее погибшие идут.

Валлерштейн дотронулся до юности Яношека. Пульс был учащенный.

— И потом доскажете, — подгребовал он оставшись его.

— Офицеры начали стрелять, а солдаты поняли, что раз Ванчура несет флаг и ведет за собой столько народа, значит, останавливаться ему нельзя. Поэтому стрелять они не стали, кое-кто из них даже применул демонстрацию. В тот день правительство пало.

— А что случилось с Ванчурой? — спросил Валлерштейн.

Яношек ответил не сразу. Ох уж этот доктор Валлерштейн! Ему все ныздило!

— Что случилось с Ванчурой? Он увидел, что люди маршировать начали и передал флаг другому. Встретил своего приятеля, у которого сапожные гвозди покупал, и пошел с ним в кабачок выпить пива.

съесть пяточ косисок... Ведь от маршировки аппетит здорово разыгрывается.

Лампочка под потолком потухла.

Лобковиц спросил в темноте: — А какой смысл этой истории?

Яношек не ответил.

Лобковиц продолжал: — Вы хотите сказать, что кто бы мы ни были — саножники, врачи, актеры, уборщики — и что бы мы ни делали, никто из нас не может представить, какие огромные последствия будут иметь наши поступки. Значит, важно только одно: итти вперед, не останавливаясь? Привычно я вас понял?

Прокоп Фортило сказал: — Каждый волен толковать по-своему.

Но через минуту Яношек снова зашептал: — Завтра, когда нас расстреляют, может быть, какой-нибудь Ванчура услышит звуки выстрелов. Такие выстрелы рождают громкое эхо.

Первое напряжение рейхскомиссара Рейнгардта достигло такой силы, что опасность и трудности чудились ему даже там, где их не было. Он не мог дождаться той минуты, когда взорванный крикнет: «Огонь!», и пули прократят дело Глазенанца. Его мучили дурные предчувствия.

Подводя итоги следствию, Рейнгардт торжественно признавал что и сейчас, накануне казни, он знает столько же, сколько в самом начале, когда было решено выдать Глазенанца по злому умыслу, а в жертву гнусного преступления. Из Милады и Яношока ничего не удалось выжать. Куда там доверчивым, расходуя глухих сюни, на которых словно на вальтасаровом пяту, горят сюни. «Мене теке».

Теперь он винил в себе неспособность жалобы своих жертв не туне отбывать, ярость, которые наводили на них в этой борьбе в чюмни. Да, раньше он смеялся над чюмни, уверял, что все это вздор, что ему, Рейнгардту, ничего не стоило бы разобраться в любом таком деле и разыграть врагов в пух и прах.

А что получилось теперь?

Он вызывал Миладу не потому, что собирался сюни уничтожить ее. Материала для дальнейшего допроса у него не было. Ни рукои Вальтерштейна, ни разговор с Лобковицем и с другими пятнадцатью заложниками, ни истязания, которым подвергли Яношока, не дали ничего нового. Но Рейнгардт чувствовал потребность испробовать на ком-нибудь свою силу и власть. Поэтому, когда Милада вошла к нему в кабинет, он встретил ее настороженно, почти грубо. Он уставился на дочуринку, словно желая уничтожить ее холодным, безжалостным взором.

— Вот посмотрите, — начал Рейнгардт, бросив на стол какую-то фотографию. Милада с недоумением изъяла ее и сунула. — Это все, что осталось от Кратохвилы! — прочувствованным голосом сказал рейхскомиссар.

Теперь Милада разглядела фотографию. Какая мерзость! Она заслонила ее обратно на стол, как можно дальше от себя.

— Вы вздрогнули! — сказал Рейнгардт. Его расплющенное грудой чепчила. И вы ответите за это. Вы же чюмни, которых я еще извяжу на свет божий.

— Вы считаете нас жестокими. Это неверно. Жестока и бесстыдна война. Но почему она ведется? Немцы — честственный народ, обладающий широкой концепцией переустройства мира. Его экономическое, политическое и духовное единство будет осуществляться посредством пропаганды, пропаганды и психических совершенных гуманитарных явищ, которых выражает и ведет за собой герой нашего фюрера.

— Эта война началась только потому, что и вы и ваш подобные отказались принять разумные основы своего порядка, который мы хотим установить.

— Ваше либо проиграно, поэтому вы с таким ютчанием сопротивляетесь нам. Было бы лучше смиренны, методы, которыми вы пользовались,

стрически недопустимы. Мы принимаем брошенный нам вызов. Не бойтесь!

Рейнгардт замолчал, уносящий собственным красноречием. Милада сглотнула его с совершенным безучастным лицом. Подыскивая, чем бы открепить свои доказы, он сказал: — Превосходство инородческой расы.

Милада перебила его: — Вы ошибаетесь. Я вовсе не вздрогнула. Меня уже ничем не удивишь. В той самой минуты, как вы вошли в мою комнату, я поняла, что это котец. Вам ничего не сюжет заставить меня замолчать, ведь револьвер при вас.

— Продолжайте, продолжайте, — сказал он, криво усмехнувшись. — Покольку вы отдаете себе отчет в вашем положении, я с удовольствием слушаю этот мышиный писк.

— На вашей стороне оружие и тактие сторожа, как Кратохвил. Да вы знаете такой же Кратохвил, только большого масштаба.

— Но вам не следует забывать, кому вы наизысканте свой новый юбдок. Мы люди! Правда, сил у нас мало, и вам не трудно было присоединиться к нам, ведь мы предпочитали жить мирно, любить, петь, работать и не замышляли войны. Но вот эту мирную жизнь чин народ не будет защищать.

— Чем? — спросил он.

— Ваши замыслы простоюко фантастичны, что они по сию пору входят в сознание людей. Нам они тоже показались сначала невероятными. А теперь мы раскусили их, теперь борьба промышленности разгорается во всем мире. Скоро вы сами в этом убедитесь. Вы говорите, что юбдому нации — отчасти это верно. Когда крестьяне, проснувшись среди ночи, видят, что воры уводят его землю и поджигают амбар, он спрятает в них. Вы создите нам мир, такой мир, при котором этого крестьянина на следующее же утро заставят отдать ворам землю да и самому пойти к ним в рабыню ради голодающих ребят. Такой мир для нас не приемлем.

Милада смущалась и замолчала. Откуда такая смелость? Почему она не друг разговаривает перед этим солдатом? Чью тявлажло ее? Откуда взялись все эти слова?

Такие мысли рождались у нее в голове и раньше. Но она никак не приводила их в систему, никогда не пыталась придать им форму, чтобы прорголосовать вместе с лозунгами захватчиков.

Теперь слова написаны сами собой, потому что она была обращена на гибель, потому что каждая ее фраза могла быть последней. И в тоже время Милада чувствовала, как испеплено изливать свою душу перед этим человеком, неспособным понять ее. Рейнгардт вынесет из всего этого только одно: она признает себя его врагом, и поступит с ней соответственно.

Изложив Миладе план будущего мира, управляемого из имперской канцелярии на Вильгельмстрассе, рейхсюкмюнисар несколько уяснялся.

Ему не удалось, покорить эту девушку, зато она произвела на него сильное впечатление. Ему захотело иметь дело с бессловесными жертвами и применить к ним «быстрые меры воздействия».

Рейнгардт встал и направился к Миладе. Она невольно поднялась из-за стола, испугавшись, что взглянет.

— Хорошо, что мы понимаем друг друга, — сказал Рейнгардт. — Я, конечно, обязан по пропаганде службы расправиться с вами, потому что вы принадлежите к самому опасному корту сюдей — к инсептистам. Но как я это скажу, зависит исключительно от меня. И здесь слово за мной, Милада. Мы могли бы выработать нечто вроде прейскуранта, при котором я готов начать с мыслящим: скажем, цепной приветивой улыбки. Вы можете кунить себе час жизни. Всякая искрения попытка одарить меня благосклонностью зачтется вам за день, а то и полное удовлетворение за один день за три дня.

Он достал из кармана блокнот и карандаш, и протянул ей: — Вы сами будете вести расчеты. Я доверяю вам.

Она мотнула головой.

— Не хотите? А, понимаю, такие мелочи не достойны вашего внимания?

Милада отступила все дальше и дальше, но это не смущало его. Он старался сохранить прежнее расстояние между ней и собой.

— Я распоряжусь, чтобы *сейчас* хорошо формили. Всю поставить вам удобную кровать, — мне не хочется, чтобы ваше прекрасное тело покрылось синяками, ведь тюремные койки жестки. Надеюсь, вы оцените мое заботливость.

Глаза Милады расширились от ужаса.

— Стойте на месте! — вдруг крикнула Рейнгардт.

Этот крик помог Миладе избавиться от почти гипнотического зачарования.

Она вышла его со страшной яростью, как видят наука мука, запутавшаяся в паутине.

Дальше была стена — отступать некуда. Милада толкнула его, но он не сдвинулся с места. А потом длинные руки Рейнгардта протянулись к ней и схватили ее словно железным кольцом. Она пыталась вырваться из этих объятий и ничего не могла сделать.

У нее закружилась голова, колени подогнулись. Если б Рейнгардт не подхватил ее, она рухнула бы на пол.

Она потеряла сознание.

Рейхскомиссар поднялся с дивана, взял папиросу и, закурив, сделал глубокую затяжку.

Милада медленно приходила в себя. Рейнгардт вошел в кабинет за бутылкой и стаканами, стоявшими на письменном столе. Когда он вернулся, Милада лежала, открыв глаза, ее обнаженное тело было прикрыто рубашкой.

Он взял один стакан и протянул ей его.

Она покачала головой.

— Пейте.

Тогда Милада взяла стакан и с жадностью осурила его. Всю сорвало ее, прыгнуло ей сил. — Я хочу отстаться, — сказала она. — Пожалуйста, уйдите отсюда.

Рейнгардт засмеялся, покал плечами, и, откинув ей поклон, ушел в кабинет. Милада услышала, как он включил радио. Через несколько минут раздались звуки торжественного вальса. Рейнгардт негромко подпевал мелодию.

Милада ни о чем не думала и не хотела думать. Что ей осталось в жизни, кроме чувства гадливости и унижения? Нарек, Бреда, свет предыдущих дней, прежние надежды — все это ушло куда-то далеко, далеко.

Она осталась одна — одна, как перст. Но сорвать с собой... пронеслось у нее в мозгу.

— Скоро! — спросил Рейнгардт из кабинета. Она мотнула.

— Хотите папиросу? — он остановился в дверях и смерил ее взглядом с головы до ног. — Надо достать вам новое платье. Какой цвет вы предпочитаете?

Вечерний вальс кончился. Заговорил диктор. Потом послышались звуки Гогенфридбергского марша. За ним должна была последовать песня из известий.

— Хочите послушать? — галантно сподоминялся Рейнгардт.

— Нет, спрашивать? — с горечью сказала Милада. — Ведь все равно вы делаете так, как вам хочется.

— Нравильно! — захохотал Рейнгардт. — Но почему не быть любезным. Мне не трудно...

И тут произошло чудо. Всю комнату заполнил голос Бреды — он словно сам был здесь. Сильный, теплый, полный страсти голос. Он говорил четко, ясно:

«Граждане Праги! Завтра будут расстреляны двадцать заложников за убийство одного нациста, некоего Глазенапа. Этого человека никто не убивал. Он покончил с собой».

Рейнгардт побелел, сразу потеряв самообладание. Он кинулся в ту, схватил телефонную трубку, назвал не тот номер, заорал, упался.

«У гестапо нет даже мотива мести за убитого. Ваша сограждане жертвы подлого обмана и чудовищного произвола завоевателя».

Милада пошла за ним. Она остановилась в дверях кабинета и торчащие засмеялась. Рейхскомиссар продолжал яростно кричать в трубку.

«Нет больше иллюзии закона, хотя бы даже нацистского. Нет больше безопасности, как бы вы ни гнули головы. Ваша жизнь и жизнь ваших близких находится во власти беспричинных, озверевших убийц».

Милада ликовала. Пусть ее тело порутано, сердце ее поет, смеясь над растерянностью Рейнгардта, который волей-неволей слушал, не зная, как заглушить этот голос.

«Они убивают ради того, чтобы убивать, мучают, чтобы мучить, их злоба топчет вас, без разбора, как град колосья».

Эти слова были обращены ко всем, но голос Бреды звучал только для нее. В час горчайшего унижения она была отомщена.—Любимый!—нельзя ее сердце.— я здесь. Я с тобой!

«Мы должны восстать против них. Мы должны портить работу, которой от нас требуют, пускать под откос поезда, поджигать и взрывать их склады, их транспортные средства, их жилища».

— Прекратить это! — рычал Рейнгардт в телефон.— Немедленно прекратить!

— Не удастся! — крикнула Милада.— Нас много. Мы здесь, и там, мы пройдем!

«Давите их, как они давят нас! Уничтожайте их, как они уничтожают нас! Душите их, как они душат нас! Убивайте их, как они убивают нас!»

Рейнгардт стучал кулаком по столу. Глаза лезли у него на лоб, он панкался, путался в словах.

Потом в бенродукторе что-то щелкнуло. Чей-то прерывистый, дрожащий голос приносил извинения. Досадный случай. Русские... Не та война...

Рейнгардт с яростью выключил радио.

Он отдавал себе отчет в том, что произошло. Противник изменил удар. Что тайна, так тщательно охранявшаяся, обнародована. Теперь ее знают миллионы. Знают все.

Брохатые планы, его работы — все плюшю прахом! Он станет посмешищем всей Праги, всей Европы.

Рейхскомиссар положил руки на стол и уткнулся в них лицом. Гейзих — пронеслось у него в голове, и он похолодел от страха. Ему много рассказывали о протекторе. Этот человек не знает жалости.

Он услышал чей-то смех.

Смеяйтесь! Теперь все будут смеяться!

Он поднял голову и увидел Миладу.

— Это вы? — Рейнгардт забыл, что, кроме него, в кабинете кто-то есть. Он сразу выпрямился и, растянув губы в привычной улыбке, сказал:

— Да, досадный случай. Не хотел бы я сейчас быть на месте этих слов на радио.

— Теперь, если вы не забыли о своем любезном предложении, — сказала Милада, — угощите меня папиросой.

Он открыл портсигар и подондел к ней. — Спасибо?

— Благодарю вас.

Она закурила. Рейнгардт следил за кончиками папиросового дыма. Ему хотелось сейчас одного: добить эту женщину, доказать ей, что он все еще прежний фессиальный Гельмут Рейнгардт.

— Мне кажется, вы «обольщаете» себя «какими-то ложными надеждами», — начал он. — Этот радиофортель ничего не меняет. Зато яники будут расстреляны. Важны не слова, а действия. Если я приглашу вас полюбоваться казнью, надеюсь, это не испортит вам настроения?

Папироса выпала у нее из рук.

Рейнгардт шагнул вперед и поднял ее. — Жалько испортить такие прекрасные козы. Их прежние хозяева были, пожалуйста, люди со вкусом... Итак, я настаиваю на своем приглашении.

Она опустила голову. Он снова взял папирос на верх.

Парк при дворце Петровов, где помещалось гостиницо, не был приспособлен для гостиничных дел. Прежние его обитатели устраивали здесь летом роскошные приемы, а в другие времена этот парк служил местом прогулки для собак и стоянкой для автомобилей и карет. Присовокупление деревьев в парке было вырублено, и на сороковатом межищком плацу эсэсовские и юнкерские части проходили строевые смотры.

Из основного корпуса дворца вела на плац массивная дверь. Окна нижнего этажа против этой двери были паско заложены кирпичом, красневшим на серой облицовке фасада, словно кровь.

Сейчас эта дверь открылась. Первым на плац вышел доктор эсэсовца в черных мундирах, за плечами то юношеское пожелание, которое затерялось — каждый под комбоем.

Впереди, втянув голову в плечи, шел доктор Вальтерштейн. Он волнил ноги, отвыкнув ходить после долгого сидения в кабинете, где через каждые два-три шага человек выгибался на спину.

Вальтерштейн посмотрел на ярко-синий безоблачный квадрат неба над плацем и повесил плечами, склонясь от утреннего холода.

За ним величественно въступала Прокопи. Актер вспомнил свои выходы в роли Отелло поборителя, «смысла» своей природной человека, не ведающего о коварстве замысле, жертвой которой ему буджено было стать. Конвойные казались маленькими по сравнению с Прокопи. Величественностью осанки он старался побороть страх, холодной рукой сжимавший ему сердце. Прокопи думал о Маре — о той Маре, которая подошла к царственному Эдипу и бросила свою жизнЬ к его ногам, словно плащ. Он поднял руку, благословляя небо, заминутое жизнь, и испуганно вздрогнул, когда конвойный зарыдал на него: — Это еще что такое!

Лобковиц, который шел за Прокопиом, тоже думал о Маре. Он видел ее такой, какой она была на вокзале перед стоящим на фронт. Эта Мара — смысл всей его жизни — привнесла ему отчую. Черные сини конвойных говорили о том, что этой жизни пришел конец. И, как это ни странно, Лобковиц был доволен ею. Он понимал чувство отрешенности и, словно гость после обильного пира, готов был сказать: — Благодарю вас. Больше мне ничего не надо.

Яношек с трудом передвигал ноги, стараясь подожинь невольные стены. Он то сордался на свою судьбу, то умолял ее исполнить последнее его желание, ради которого ему пришлось вытерпеть такие муки... пусть это случится до того, как пушка прервет его скромную жизнь. Ведь

никогда ничего не просил, не требовал никаких наград, никаких вознаграждений.

Яношек держал здоровой рукой искаженную правую, его распухшие губы шевелились, словно безмозгло умоляя о чем-то. Он наклонил голову набок, стараясь не пропустить ни единого звука, который мог отвестись из вящинного мозга. Осталось так мало времени. Грохот взрыва может не достичь его слуха.

Задыхавшимися почти покорялись с застывшей лицей тишина.

И вдруг Яношек чуть не рассмеялся. Он вспомнил одного пахтера из Кладю, Франту Хорака, который как-то жаловался ему на свою горькую судьбину. Обидно, что сейчас уже никому не расскажешь, как Франта Хорак свалился шмыгом в канаву и профенал вней двое суток лежал. Как за это время на его шахте произошел обвал. Как Хорак прошелся, побрал домой, а дома пусто, на столе лежит замечка: все ушли из церкви на заупокойную службу по нему, по Франту Хораку. Он боялся в церковь — послушать, что пастор будет о нем говорить, посмогреть, много ли свечей поставлено за упокой его души. Прибежал, а тужба уже кончилась, все вышли на улицу. Вот же повезло человеку! Да собственные похороны и то опоздал!

Яношек улыбнулся, забыв на секунду о лысом грузчике — раздобыл вон адрес Вацлава, успела ли их группа передать динамит на баррикады?

Застывшая линия взвода разомкнулась, пропускной заложников и живойных.

Вальмерштейн первый увидел кирпичную кладку, исцарапанную пульами. У стены стояла лужа свежей крови. Он остановился и закрыл глаза, пытаясь вытерянуть из сознания это зрелище. Но это не уходило. Вытравить его можно было только одним способом — убить мозг, в котором оно запечатлевалось.

Прейсингеру,шедшему последним, потребовалось несколько секунд, чтобы понять значение этой стены и крови у ее подножия. Колени у него подогнулись... И вдруг он с силой оттолкнул копейных и понесся по двору, крича страшным нечеловеческим голосом: — Нет, нет! Это липка! Я Лип Прейсингер!

В последовавшей за этим суматохе полную бесполезность сохранились только четверо заложников и стоявший на вытянутую взвод. Они образовывали букву Т — солдаты ее горизонтальную линию, заложники — вертикальную.

Эсэсовцы кинулись за Прейсингером, стараясь скорее перехватить его. Прейсингер метался из стороны в сторону, пробиваясь сквозь мыкающийся круг преследователей. Лицо у него было багровое, волосы торчали дыбом, он хранил так, что было слышно по всему двору.

Это было и смешное и трагическое зрелище. Солдаты с горящими от возбуждения глазами охотились на огромного лучного зверя. Наконец, один из копейных поднял револьвер, прицелился и выстрелил Прейсингеру в колено. Тот упал ничком и отчаянно забыл руками и здоровой ногой,кусая и царапая землю. Чтобы поднять и удержать его, приводились четверо копейных. Они отнесли его на место и представили на колени лицом к солнце, так как стоять он не мог.

Потом туда же подвели и остальных заложников. Яношек, наклонив голову, все еще прислушивался. Он видел перед собой только мощенный квадрат двора... В щелях между плитами набиралась пыль. Крохотный блестящий жучок торопился куда-то, а пепел растворялся крыльышки и летел.

Рейнгардт ввел Мильцу в скучную обставленную комнату, из окон которой открывался хороший вид на плаз и южную стену с кирпичной кладкой. Единственным украшением этой комнаты, где, вероятно, работали младшие чины гестапо, служила алюминиевая рапродукция с портретом Гитлера в образе средневекового странствующего рыцаря в ближайших латах. В одной руке сей рыцарь держал сверкающий меч:

ядовито-желтое солнце вставало у него за спиной, бросая отблески на его напомаженную голову.

Рейнгардт со своей пленницей были здесь одни — рабочий день гестаповцев еще не начинался.

Как истый лакомка, который приберегает самую вкусную конфетку в конце. Рейнгардт распорядился, чтобы группа Яношека была расстреляна последней.

Взвод делал свое дело с точностью механизма. Капитан Патцер трижды поднимал саблю и четвёртый, хорошо поставленным голосом командовал: «Смирно!» — Соседаты вытигивались. — «Целься!» — Солдаты поднимали винтовки. — «Огонь!»

Звуки выстрелов трижды оглашали двор, отдаваясь эхом от стен дворца.

Заложники — пятерни по пять человек — трижды падали наземь, и их тела оттаскивали от стены, волоча по изнанке грязи лицом вниз.

Наблюдая за всем этим, Рейнгардт молчал, как каменный. С язвой, торчащей у него в углу рта, наружка сидел непод, и только это говорило о том, что он живой человек, а не статуя.

Милада, стоявшая рядом с ним, не могла отвести глаз от того, что происходило во дворе. Залпы, словно сотрясали все ее тело; побелевшие губы казались мертвенно-бледными на бескровном лице; она впивалась ногтями в ладони.

Когда последняя группа заложников во главе с Вальтерштейном вышла на плац, Милада повернулась к рейхскомиссару и сказала беззвучным голосом: — Я больше не могу..

Рейнгардт продолжал молчать.

Она отошла от него и села на стул, стараясь скрыть от взгляда на чем-нибудь.. на чем-нибудь другом, лишь бы не видеть этой страшной стены, похожей на тир с падающими фигурками мишеней.

— Идите сюда! — скомандовал Рейнгардт, не повысив голоса.

Она покачала головой.

— Я хочу показать вам Яношека, — сказал он. — Нарядность упорный старик. Прошу вас полюбоваться, как его упорство будет помогать раз и навсегда.

Милада не могла оставить без внимания это имя. Она услышала слова Бреды: «Из всех, кого я знаю, самый бесстрашный человек — Яношек...»

Чувство огромной усталости и грусти охватило Миладу. Она встала, покоряясь выпавшей на ее долю миссии, — быть свидетельницей последних минут жизни и смерти бесстрашного Яношека.

— Иду, — сказала она и, с трудом передвигаясь, словно налитые синим, ноги, подошла к окну.

И как раз в эту минуту Прейсингер вырвался из рук конвоиров. Сверху, из окна, его отчаянная попытка спастись казалась особенно трагической и бессмысленной.

Рейнгардт пришел в восхор, глаза его моргали и метания Прейсингера.

— Посмотрите! Нет, вы только посмотрите! — кричал он, водя пальцем за кидающейся из стороны в сторону жертвой. — Этот Прейсингер, милючка, один из самых могущественных людей в Чехии. Смотрите, как мы весело охотимся на них, ловим их и уничтожаем. Сегодня в Европе нет никого сильнее нас; завтра...

— Который Яношек? — перебила его Милада.

— Вон тот, — сказал он, — слегка изукрашенный.

Яношек следил за погоней. Милада могла разглядеть лишь обличье воинства его обезображенного побоеми лица. Она видела, как Яношек поддерживал левой рукой изуродованную правую, видела, что куртка у него вся в кровяных пятнах, что на месте глаза и рта у него черные выпятины.

Потом Прейсингера схватили и понесли. Яношек повернулся и

приткнется на одну ногу, занял свое место у стены, где ему было суждено встретить смерть.

Нельзя плакать, уговаривала себя Милада, я не буду плакать. Надо сидеть все до конца. Так мне велено судьбой. Это мой долг, в нем смысл моей жизни.

Рейнгардт бросил на пол папиросу и застегнулся на все пуговицы по лоб и нос покрылись капельками пота.

Капитан Натцер, весь красный от возбуждения взаимности возлюбленной него миссии, встал на левом фланге взвода и отставил ногу, чтобы скрыть разинование при взмахе сабли.

Клинок блеснул на солнце.— Смирно! Целься! — Двенадцать солдат о, как один, сделали шаг вперед.

И вдруг чей-то хриплый голос крикнул:

— Правда побежит!

С такими словами несколько веков назад умер борец за свободу Рейхсии Ян Гус.

— Огонь! — отреагировал на них Натцер.

Залп.

С такими словами в октябре 1941 года умер Яношек, огромный сын всего народа.

Треск выстрелов пробудил могучее эхо. Где-то у реки раздался слушательный грохот. Квадрат синето неба над плацом пороссями пышиками желтого пламени. Потом все затянуло дымом. Взрыв следовал за взрывом, потрясая дворец до самотого основания.

Среди офицеров, солдат и конвойных начальствовал паника. Спотыкаясь голая друг друга, крича, они бросились ко дворцу, лица в нем защищая разбушевавшихся стихий. Где-то издали зенитки открыли огонь по немецкому врагу. Завыли сирены. Пожарные машины с проходом помчались по улицам.

Лишь одни заложники остались неподвижными. Они лежали в разных позах. Лобковиц сжимал в руке комок земли. Вальтерштайн покоялся на скамье, чуть растянув губы в улыбке. Руки Прокопа были сплетены от подъя неэффективно. Прейсингер вытянулся на спине и лица его не было видно из-за огромного живота.

Яношек лежал, наклонив голову набок, словно он и мертвый прислушивался к тому грохоту с реки, который для него пришел слишком поздно.

Рейнгардт валялся в пустой комнате на полу. Он обхватил руками голову, пытаясь защитить самую драгоценную часть своего тела от бомб, града камней, словом от всего того, что побеса извергали на землю с единственной целью — погубить рейхскомиссара.

Милада стояла зарожденная зловещей красотой этой катастрофы. На распахнутое окно настежь и всей трустью выхала терпкий воздух. Она плакала и смеялась, смеялась и плакала. Ее губы бормотали неясные слова. Кто-то сильный, более сильный, чем этот человек в черном пундире, валившийся на полу, более сильный, чем все те, кого этот германский мундир представлял, сказал свое всеское слово. И на ее долю выпало счастье услышать перекличку между дробным звуком выстрелов и громовым раскатом, раздавшимся у реки.

— Слушайте, вы! Рейхскомиссар! — Она старалась перекричать подующие один за другим взрывы — Где же ваша сила? Где ваше величие? Заложники расстреляны. Но люди, которые убили их, спрятались в углам. Они боятся встречи с миллионами Яношеков, недосыпаемых ими. А ведь это только первый легкий толчок. Настает время, когда земля развернется у вас под ногами и вы исчезнете без следа.

Рейхскомиссар был слишком занят собой, чтобы вслушиваться в ее слова.

Наконец, взрывы прекратились, по коридорам забегали люди, затрещали телефоны, послышались громкие голоса. Рейхскомиссар неуклюже

встал с пола и улыбнулся глупой, виноватой улыбкой. Он стянул
штаны с брюк, поднял фуражку и спросил:

— Что вы сказали, миличка?

Ответа не последовало. Он опалело посмотрел по сторонам. Милада
одралась.

Рейнгардта привлекло склонить несколько раз, прежде чем он рас-
сказал свое имя. Навстречу ему по лестнице бежал адъютант.

— Рейхскомиссар Рейнгардт! — извинялся он на него. — Сколько при-
кажете вас ждать?

— Просите, — сказал Рейнгардт. — Этот изрыв... — Ему пришлось чуть
не бежать за адъютантом. Потом дверь в кабинет Гейдриха распахнулась,
и рейхскомиссара запустили к протектору.

Как и в тот раз Гейдрих стоял у окна, но сегодня он сразу повер-
нулся к Рейнгардту и сказал:

— У меня здесь лежат два документа. На одном из них требуется
также подпись — это рапорт об отставке. Другой документ — приказ о
выполнении перевода в дивизию СС «Германия», находящуюся сейчас на вос-
сточном фронте.

— Подпишитесь вот здесь.

Гейдрих пытался листок на стол. Рейнгардт боязливо взял его и
записал следующее:

«Не справлявшись с порученной мне задачей по охране интересов
Германии и фюрера в Праге...»

Руки Рейнгардта поколодели. Листок выскользнул у него из паль-
цев и, порхая, опустился на пол.

Гейдрих снова подошел к окну. Он думал о Гиммлером в Берлине и
о самом фюрере, который в припадке бешенства может уделить с челове-
ком все, что угодно. Надо найти козла отпущения. И протектор решил,
что лучшим кандидатом на эту роль будет самовнобленный жандарм Рейнгардт.

Переброска на фронт. Эта мысль сверлила рейхскомиссару мозг, он
не мог думать ни о чем другом. Все оставалось — здравицами, Глазенапом, Миладой, диверсия на радио, изрыв — вылетело у него из головы. Сейчас
важно было только одно: ему, Рейнгардту, человеку из первой молодости
и не такому уже храброму юнке, придется схватить свой кабинет, при-
дется выйти вперед этим зудовищам — таткам. Татки страшны. Они
безопасно выбирайтесь цель и лезут на тебя всей своей тяжестью, вы-
ставив вперед дула пулеметов, жерла пушек. Татки всюду, куда ни
попадешься...

— За что? — в отчаянии крикнул Рейнгардт. — Я служил верой и
правдой. Я сделал все, что мог. Этих изуверов я преследовал не по моей вине.
Ведь те, другие, тоже сильны... Вы прекрасно это знаете, ване пре-
восходительство!

Гейдрих сказал, глядя в окно, — стоит ли поворачиваться лицом к
изверженному рейхскомиссару: — Как? Вы сомневаетесь в правильности
принятого мною решения?

— Нет, нет! — спохватился Рейнгардт. — Что вы! Но почему на фронт?
Я же заслужил такого наказания.

Протектор вернулся к столу. — Придется разъяснить вам всю серьез-
ность вашего провала, — сказал он, садясь в кресло. — Нам было важно,
как можно деликатнее разделаться с Прейсишегером — ведь правда? Вы
ухитились сделать так, что некоторые элементы, воспользовавшись ва-
шими попустительством, провозгласили по радио с правительственный
станицы, что дело Глазенапа, в котором был замешан Прейсишегер, глубок
фальшивка. Согласитесь сами: должностное лицо, виновное во всем
этом, должно понести суровое наказание.

Рейнгардт молчал.

— Значит, вы согласны со мной? — продолжал Гейдрих. — Если я же скажу вас, то берлинские друзья господина Прейсингера вавяят всю ответственность на меня. Неужели же я стану рисковать своим положением, для того чтобы выгородить такого идиота, как вы?

На это Рейнгардт ничего не мог ответить.

— В довершение всего, — снова заговорил Гейдрих, — сегодня утром произошел взрыв, в результате которого погибло ценное государственное имущество. На мой взгляд, между этой диверсией и делом Глазенапа существует какая-то связь. Но даже, если я ошибаюсь, все равно, — за храну барж отвечали вы. И вы не оправдали нашего доверия... Как видите, рейхскомиссар, выбора у меня нет.

— Но почему же на фронт? — отбивался Рейнгардт.

— Вы трусы, — сказал Гейдрих, — но другого я от вас и не ждал. У меня есть все основания для такого перевода. Я не желаю иметь живых врагов. А в том, что отныне вы будете принадлежать к их числу, сомневаться не приходится.

Рейнгардт встал. При последних словах Гейдриха голова у Рейнгардта заработала с прежней четкостью. Этот длинноносый человек и он — враги.

— Слушаю, ваше пре восходительство! — Рейнгардт отвесил протектору поклон и поднял листок с пола. Потом взял ручку и прямymi крупными буквами расписался внизу страницы. — Разрешите сказать вамща прощанье несколько слов?

— Я вас слушаю, — ответил Гейдрих, принимая от него бумагу.

— К моему несчастью, мне пришлось столкнуться с некоторыми людьми, не страдающими трусостью. У меня было все — огромный полицейский аппарат, средства связи, вооружение, солдаты. У тех не было ничего, кроме упорства, готовности пожертвовать собой — пойти даже на смерть — и хитрости. Я имел возможность убедиться, что таких людей много, гораздо больше, чем мы предполагаем. Нам с ними не справиться. Я потерпел неудачу и не отрицаю этого. Меня ждет страшная смерть. Но, поверьте мне, ваше пре восходительство, что такую же неудачу потерпит и мой преемник, и вы сами, а конец ваш будет еще страшнее.

— Довольно! — Гейдрих указал ему на дверь.

Рейхскомиссар вытянулся во фронт. Серебряные пуговицы и нашивки у него на мундире казались потускневшими. Он поднял руку, но проектор рявкнул, не дав ему сказать даже «Хайль Гитлер».

— Вон отсюда!

Рейнгардт повернулся и бросился наутек, обливаясь холодным потом.

С. МАРШАК

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Из Шелли

ЗИМА

Тоскует ятица о любви своей
Одна в лесу седом.
Шуршит, крадется ветер меж ветвей,
Ручей затянут льдом.

В полях живой травинки не найдешь.
Обнажены леса.
И тишину колеблет только дрожь
От мельничного колеса.

Из Блейка

В одном мгновеньи видеть вечность,
Огромный мир — в зерне песка,

В единой горсти — бесконечность
И небо — в чашечке цветка.

Из Киплинга

НАДПИСЬ НА МОГИЛЕ СОЛДАТА — БЫВШЕГО КЛЕРКА

Не плачьте, — сделала борьба
Свободным робкого раба.

И слы отдал он свои
Товариществу и любви.

И, став свободным, он открыл
В себе источник новых сил.

И, жизнь за дружбу положив.
Он пал, но вечно будет жив.

Н. КРАНДИЕВСКАЯ-ТОЛСТАЯ

ГРОЗА НАД ЛЕНИНГРАДОМ

Гром, старый гром обыкновенный
Над городом загрохотал.
— Кустарщина! — сказал воинский,
Махнул рукой и зашагал.

И даже дети не смутились
Блеснувших молний бирюзой.
Они под дождиком ревились,
Забыв, что некогда крестились
Их деды под такой грозой.

И празднично деревья мокли
В купели древнего Ильи.
Но вдруг завыл истошным воплем
Сигнал тревоги, и вдали

Зенитка рявкнула овчаркой,
Снаряд по тучам полыхнул,
Так неожиданно, так жарко
Обрушив треск, огонь и гул.

— Вот это посерзней дело! —
Сказал прохожий на ходу,
И все вокруг оценяло,
Почуя в воздухе беду.

В подвалах скрепились дети,
Недетский ужас затая.
На молнии глядела я...
Кого грозой на этом свете
Пугаешь ты, пророк Илья?

ЗА ВОДОЙ

Привяжи к саням ведерко
И поедем за водой.
За мостом крутая горка, —
Осторожней с горки той!

Эту прорубь каждый знает
На камале крепостном.
Впереди народ шагает,
Позади звенят всадом.

Опустить на дно веревку,
Лечь ничком на голый лед, —
Видно, дедову споровку
Не забыл еще народ!

Как ледышки, рукавички.
Не согнуть их ни почем.
Коромысло, с пепривычки,
Плещет воду за плечом.

Кружит вьюга над Невою,
В белых перьях, в серебре...
Двести лет назад с водою
Было так же при Петре.

По в пути многовековому
Снова жизнь меняет шаг,
И над крепостью Петровой
Илещет в пебе белый флаг.

Не фрегаты, а литье
Вмешали в берег крейсера.
И не спилися такие
В мореходных снах Петра.

И не спились, чтобы в тучах
Шмель над городом кружил,
И с гулением могучим
Невский берег сторожил.

Да! Петру была б загадка:
Лязг и грохот, ташка хол.
И за ташком ленинградка.
Что с винтовкою идет.

Ну, а мы с тобой вслух
По-петровски довезем.
Осторожней! Видишь, горка.
Мы и горку обогнем...

Генерал-лейтенант А. А. ИГНАТЬЕВ

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В СТРОЮ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава восьмая¹

ТОРМОЗА

Париж показался после Лондона большой, красивой, но все же деревней. В Шантильи и Жоффр, и Пелле крепко жали мое руку, узнав об увеличении ежемесячных английских поставок толуола на три тысячи тонн. Таковы были масштабы первой мировой войны!

При содействии Жоффра я получил в свое распоряжение лучшие пороховые заводы в Севре и не без гордости сообщил о своем успехе Главному артиллерийскому управлению. Но сно-то как раз раньше других открыло по мне огонь с дальней дистанции. Оно не могло допустить, что какой-то генштабист, да к тому же не природный артиллерист, мог своей работой за границей восполнить недостаток в боевых припасах на русском фронте, косвенно подчеркивая этим неудовлетворительную подготовку к войне русского артиллерийского ведомства. Дела у этого генштабиста идут не плохо, дешежек, да еще к тому же французских, в его распоряжении сколько угодно,— как же не отведать такого вкусного казенного иирога! Сделать это, однако, надо тонко: пусть он продолжает добывать деньги, а мы уж сами сумеем их тратить.

Для осуществления подобных хитроумных замыслов во всех странах существуют канцелярские писаки, ум которых, за отсутствием творческих мыслей, целиком направлен на составление или казенных отписок, или бумаг, слагающих с их начальства возможно большую долю ответственности. Впрочем, отношение ко мне всех наших главных управлений отражало характерные черты царского режима. Каждый министр считал себя ответственным только перед царем. Однако ни слабовольный Николай II, ни такие диктаторы, как Витте и Столыпин, оказывались не в силах подчинить своему авторитету собственных министров, подобно тому как это делал во всякой другой стране любой, даже посредственный, премьер. В результате один министр вел полков под другого, одно управление военного министерства изыскивало способы свалить с себя ответственность на другое. Каждое российское ведомство, каждая

¹ Окончание. См. «Знамя» № 7—8 и № 9—10 за 1943 г.

комиссия мечтала завоевать для себя побольше прав и нести вместе с тем поменьше ответственности.

Подобные порядки плохо согласовались с той установкой в проведении заказов, на которой была основана моя конвенция с Альбером Тома. Это, конечно, хорошо понимали в Петрограде, и потому присылка в Париж весной 1915 года особой артиллерийской комиссии была обставлена так, как будто она же нарушала установленного в Париже порядка.

«Окажите содействие прибывающей во Францию особой артиллерийской комиссии полковника Свидерского», — гласила полученная мною краткая служебная телеграмма.

А я-то, тлупец, взваливал на плечи французов всю техническую работу, стремясь сохранить для России не только специалистов-инженеров, но и офицеров, глубоко сознавая недостаток как в тех, так и в других.

Через несколько дней в мой кабинет вошел благообразный, еще не старый, но уже лысющий артиллерийский полковник. Он познакомился со мной, как равный с равным, и так неясно произнес свою фамилию, что я скорее догадался, чем расслышал, что это и был Свидерский.

Ни из напечатанного на прекрасной бумаге «Положения об особой артиллерийской комиссии», ни из объяснения Свидерского, всячески избегавшего смотреть мне в глаза, мне не удалось установить наших с ним служебных взаимоотношений. Я только чувствовал, что сидевший против меня тихоня получил в Петрограде какие-то негласные инструкции, позволявшие ему претендовать на полную независимость от меня. Решившись поговорить с ним поушам, я пригласил его в тот же день отобедать. Ласково припугнув меня своими связями с Сергеем Михайловичем, а следовательно, и с Капесинской, в салоне которой брат Свидерского завоевал себе прекрасное положение как хороший винтер, — мой собеседник стал в конце обеда открывать передо мной и собственные карты. В Петрограде, по его словам, очень недовольны тем влиянием, которое якобы оказал на меня Костевич (в этой форме Свидерскому было приказано объяснить недовольство моей деятельностью представителя Шнейдера в Петрограде).

— В России дела идут совсем не так-то плохо, как это вам здесь кажется (Свидерскому, представителю тыла, не было дела до тяжелого положения на русском фронте), и потому лихорадочнаяспешность, которая проявляется в Париже по отношению к вопросам снабжения, производит невыгодное впечатление.

— Чего же ваше начальство хочет от меня? — уже с раздражением спросил я.

Но Свидерский принадлежал к тому типу «могчалиных», которых никакое раздражение не только равного с ним в чине офицера, но даже и начальства не могло пропасть, и он совершенно спокойно ответил:

— Мне просто приказано «наложить на вас тормоза».

Все стало ясно. И мне оставалось охранять русские дела против подрывной работы «свидерских», используя лишь те преимущества, которые представлялись мне французским правительством. А именно: отправка шифрованных телеграмм исключительно за моей подписью и письменное спопление с французским правительством только на моих бланках.

Благодаря этому «тормоза» выражались в том бездельи, котрому предавались многочисленные члены артиллерийской комиссии, тем более что приемку нашего вооружения продолжали производить французские офицеры. Подобную ответственность наехавшие гости принимать на себя побоялись, а на ту работу, которую выполнял при мне один майор Шевалье, погребовался целый десяток офицеров, роскошное, отдельное от моей канцелярии, помещение, французские военные машины и такие оклады, о которых моя миссия и мечтать не смела: юнкер-прапорщик получал большее жалованье, чем сам военный агент. Это было началом той деморализации русского офицерства в Париже, бороться с которой представило для меня новую и почти непосильную задачу.

— Какой ужас! — рассказывала, например, супруга Свидерского нашем общим знакомым. — Я вынуждена защищать в своем салоне репутацию нашего прелестного военного агента, про которого все говорят, что он взяточник.

Так родилась та знаменитая легенда, согласно которой, я после революции успел отложить в Швейцарии, как пейтральной стране, восемьдесят, — именно восемьдесят, а не сто миллионов франков!

— Подождите, мы с ним расправимся! Он не имеет права тащить в Париже свои порядки! — хвасталась пьяная компания в баре шикарной гостиницы «Крильон». Там сын богатейшего купца Елисеева, пожалованного Николаем II дворянским званием, угощал ежедневно на свой счет русских офицеров. Елисеев был зачислен рядовым во французскую армию и, как отъявленный пьяница, спасался в баре «Крильон» от посылки на фронт, находясь под высокой протекцией представителя высшего русского командования.

— Да, все это недопустимо, — сказал мне со вздохом, наивсивший Париж новый начальник генерального штаба, генерал Беляев. — Вам должны быть предоставлены права по крайней мере командира корпуса, если не командующего армией.

Но никаких прав я не получал и боролся с офицерскими безобразиями больше показом, чем приказом.

Между тем число командированных в Париж офицеров, якобы специалистов, множилось с каждым месяцем. Не успел я привести в какой-то порядок свои отношения с артиллерийской комиссией, как прибыла заграничная авиационная комиссия полковника Ульянина. Она тоже захотела быть «самостоятельной», используя с этой целью название «заграничной», как будто в России не было известно, что все авиационное имущество можно было получать только из Франции. Тяжело было приказать исполнительному полковнику Антонову, ведавшему приемкой самолетов и моторов, сдать дела новой комиссии. И ему и мне они уже стали очень дороги.

Сергей Алексеевич Ульябин, один из пионеров русской авиации, был, как и Митонов, чистой души человеком, по увлеченным исключительно техникой, и, в частности, моторами. В противоположность Свидерскому, он был далек от всяких интриг и, почувствовав ненормальность положения в отношении ко мне своей комиссии, сочувственно пожал мне руку, передав бразды правления своему помощнику, капитану Быстрицкому. Летчиком Быстрицкий не был, но в делах снабжения оказался большим ловким. Внешне дисциплинированный, а по существу натура анархическая, Быстрицкий, как человек пронырливый,

написал штевые средства для получения разрешения на заказы от французского правительства, до которых мы с Антоновым, признаюсь, не додумались.

— Господин полковник, для нашей успешной работы нам необходимо включить в состав комиссии французского летчика, капитана Фландена. Вам ничего не стоит попросить французов командировать этого офицера в ваше распоряжение, — настойчиво и упорно твердил мне Быстрицкий.

В главной квартире действительно никаких препятствий против прикомандирования Фландена не встретилось. И через несколько дней передо мной предстал вытянутый, как спаржа, белокурый капитан в светлоголубом гусарском ментике, плохо скрывавшем его полуутратскую военную выправку. Это был тот самый Фланден, эта «макарона-Фланден» (*Cette nouille de Flanquin*), как его ругал Шевалье, который и по сей день, при скандальной репутации крупнейшего взяточника, продолжает играть политическую роль соглашателя с гитлеровской Германией. Только теперь для меня открылся секрет Быстрицкого: как депутат и богатейший человек, связанный со всей авиационной промышленностью, Фланден имел возможность «выхлопатывать» для нас то, чего нельзя было получить от французского правительства законными путями. К чему мы с Антоновым тратили столько времени для доказательств непригодности пятидесятисильных моторов «Клерже», на хлопоты о получении восьмидесятисильных моторов «Гном и Рон», на замену полагавшихся нам устарелых «Морис Фармапов» современными «Вуазенами»! С приходом нашу комиссию Фландена многие вопросы стали разрешаться сами собой.

Фландены — вот в чьи руки переходило управление военной промышленностью. Они парализовали действия самых энергичных министров, разворачивая технические аппараты, и довели Францию до полной военной беспомощности.

Обе эти комиссии, конечно, не оправдывали тех средств, которые требовались на их содержание; впрочем, новая комиссия, прибывшая в Париж для приемки дирижабля фирмы «Клеман Баяр», в этом отношении далеко их превзошла.

Тщетно и Антонов, и я в ряде телеграмм убеждали Главное техническое управление в бесцельности присылки подобной комиссии по той простой причине, что к постройке заказанного нами еще до войны дирижабля фирма и приступала, будучи вынужденной выполнять подобный же заказ французского правительства. Представитель «Клеман Баяра» в Петрограде убеждал «братом и сумел, очевидно, «заинтересовать» в своем деле нужных людей. Он оказался сильнее нас. Комиссия прибыла, наняла тоже «пряличную» квартиру, развесила на стенах громадный флаг, предназначавшийся для несуществовавшего еще воздушного великаны, и, справляв новоселье с молебном и соответствующей выпивкой, явилась ко мне за содействием.

— Наши дирижабль действительно не совсем еще готов, — вынужден был отвечать ярангопщик Доронинский, в мирное время русский подрядчик старого, уже отжившего типа. Он с первого дня забрал в свои руки скромного и беспасного председателя, капитана Тихонравова. — Французский дирижабль, однако, уже готов, и нам бы хотелось получить его от союзников взамен нашего собственного, — заявил он.

Каково же было мое удивление, когда Гран Кю Жэ, обычно столь редко выразивший интересы собственной авиации, согласился на мою просьбу почти без возражений. Это мне показалось подозрительным, и из перекрестных рас-

спросов удалось узнать, что грузоподъемность дирижабля якобы не удовлетворяет техническим требованиям. Впрочем, сама идея дирижабля при быстром росте авиационной техники казалась мне чистейшей утопией.

Французы ничего не понимают, — заявлял мне сиявший от достигнутого успеха Дорошевский. — С понедельника начнем испытания и надеемся, ваше сиятельство, вас прокатить.

— Благодарю, — ответил я. — Обещаю принять участие только в последнем испытательном полете на скорость.

Храбрость Дорошевского на том и кончилась, и в воскресенье он уже пришел меня просить поручить испытательные полеты французскому военному экипажу, так как комиссия с вождением дирижабля должна еще ознакомиться. Недель через пять звонок по телефону известил меня о печальном конце всей этой антреизы: на предпоследнем испытании дирижабль при вынужденном спуске беспомощно повис на дереве, — по счастью, вблизи парижского аэродрома. Пришлось вызвать пожарную команду и снять с дерева среди других пассажиров и Дорошевского, имел, впрочем, не скопфуженное, а мне с Аптоловым расхлебывать отношения с фирмой, потребовавшей уплаты многих тысяч франков за газ, потраченный на заполнение злосчастного аппарата.

* * *

Совершенно переработанным в мирное время явился вопрос о доставке морским путем военных материалов.

Гораздо более предусмотрительным, чем союзное правительство, оказался, как это ни обидно, владелец небольшой парижской транспортной конторы, некий Шретер. Номинально он торговал русскими газетами, главным образом «Новым временем», а в действительности представлял мелкого коммиссionера, эксплуатировавшего наезжавших в Париж русских бар, столь падких на чужие услуги и готовых нести любые накладные расходы, лишь бы освободиться от излишних хлопот.

О существовании столь удобного человека, как Шретер, мне сообщил в первый же день моего приезда в Париж мой предшественник, все тот же подражаемый Гришок Ностиц.

— Ты знаешь, — объяснил он мне, — обстановка квартиры тебе обойдется совсем недорого. Если, входя в любой хороший магазин, ты упомянешь, что он тебе рекомендован Шретером, то немедленно получишь хорошую скидку в лене.

Я, конечно, не стал доказывать Гришку, насколько более ценноыми для самого Шретера могут оказаться в известном случае рекомендации военного агента, и, само собой, не использовал «мудрого» совета моего предшественника.

В первые же дни войны, когда еще не возник вопрос о каких-либо перевозках, Шретер пришел ко мне в канцелярию со следующим предложением:

— Господин полковник, вам должно быть известно, что я являюсь монополистом по доставке в Россию и багажа, и товаров. Ни один великий князь не обходится без моих услуг, и вам тоже нельзя мною пренебрегать, так как в

военное время вам, несомненно, придется отправлять в Россию различные грузы, заказанные, как мне уже известно, русским военным ведомством. Поэтому я вам предлагаю теперь же подписать со мной договор на зафрахтование ваших пароходов по твердой цене за тонну.

И он назвал мне такую баснословную цифру, которая, как я впоследствии узнал, не была достигнута за все время мировой войны. Как принципиальный враг предоставления монополий, я больше всего возмутился апломбом этого типа, претендовавшего поразить меня своими связями с романовской семьей. Ещешний вид его тоже раздражал своей претензией на французского джентльмена — в клетчатых штанах и белых гетрах. Чести было многое ссылаться перед Шретером на получение мною должностных полномочий, что представляло переотипный ответ всех дипломатов, и поэтому я ограничился простым, но твердым отказом на его предложение.

Но Шретер не унимался. Он стал грозить:

— Подумайте, полковник, о печальных для вас последствиях от подобного невнимания к моим словам. Ваши предшественники оказывали мне всегда особое доверие. Впрочем, вы получите соответственную бумагу от самого военного министра генерала Сухомлинова и тогда увидите, чем грозит вам подобное ко мне отношение.

Не помню, какая муха меня тогда укусила, но через минуту я уже оказался на площадке лестницы моей канцелярии, а Шретер внизу оправлялся от печального падения. Казалось бы, что после столь любезного приема я был гарантирован от встреч с этим господином. Но мне потребовалось получить много уроков, чтобы убедиться в живучести подобных слизняков: их недостаточно побить, их надо убивать.

В самый разгар войны Свидерский стал настаивать на заказе какого-то нового типа пулеметов, доказывая, подобно пропорщику Дорошевскому, что французское правительство показывает себя в этом вопросе невеждой, что пулемет представляет верх совершенства. Это вынудило меня в конце концов замому отправиться на казенный полигон, чтобы ознакомиться с этой новинкой, которая, как оказалось, представляла усовершенствованную копию пропортильницы современного пулемета — французской митральезы: спон пулемета достигался тем, что один затвор соединял несколько ружейных стволов. Видимо, Свидерский продолжал считать меня за круглого невежду в стрелковом деле, чтобы осмелиться согласиться даже на опыт стрельбы из подобного оружия. Но тайна разрешилась сама собой: в почтительном отдалении я увидел шагающего по полигону Шретера в своих неизменных клетчатых штанах.

Когда с начала моей работы по оказанию материальной помощи русской армии я занялся вопросом о перевозках, то с великим изумлением узнал, что первый пароход с автомобилями и самолетами был направлен, не распоряжению из Петрограда, кружным путем — вокруг Африки, на Владивосток! Несчастные ящики, погруженные на палубу, сперва рассыпались под тропиками, а в конце плавания покрылись толстой ледяной корой. Надо было изыскать другой кратчайший путь.

Используя в первые месяцы войны пейтранлитет Греции, Болгарии и Румынии, французы помогли мне организовать провоз наших военных материалов через Салоники. Для этого я зафрахтовал сперва один пароходик в три тоннажа тонн — «Сен Пьер» («Святой Петр»), а затем и всю серию одно-

тиных «святых», что крайне упрощало составление планов погрузок. Для обеспечения провоза по железной дороге через нейтральные страны орудия грузились под видом фортепиано, самолеты — под видом молотилок; ящики со снарядами, — по мнению моего начальника транспортного отдела, де Лявиль, — были очень схожи с ящиками шампанского. Кое-кто на подобных сложных комбинациях «подрабатывал», но в конце концов мои ящики прибывали на пограничную русско-румынскую станцию Рени через два-три недели после открытия из Марселя. Обидно было узнать, что после первой же отправки две единнадцатидюймовых полевых мортиры, на изготовление, отправку и погрузку которых было затрачено столько усилий, «затерялись» в самой России: запломбированные вагоны с этим ценным грузом, после долгих и тщетных разысков по всем нашим железным дорогам, оказались заглаженными на зачастые пути в Ростове-на-Дону. А их так ждали на нашем фронте в Восточной Пруссии!

Вовлечьние в войну всех стран Балканского полуострова потребовало новой организации морских перевозок, сперва на Архангельск, а впоследствии на Мурманск, что было большим достижением, так как сообщение через Архангельск, за недостатком ледоколов, прерывалось на добрую половину года. Кроме того, перевозка по железным дорогам из Архангельска на Петроград и Москву была так плохо налажена, что, по свидетельству французов, побывавших в этом порту, они в 1916 году проезжали на санях по крышам ящиков с французскими самолетами, запеченные снегом и высланных мною еще летом 1915 года!

Между тем авиационные грузы как раз и требовали скорейшей доставки. Авиационная техника развивалась такими быстрыми темпами, что самолеты за время пути от Парижа до русского фронта уже оказывались устаревшими, и германские аппараты неизменно превосходили их в скорости. Когда же после долгих усилий удавалось получить от французов новейшие модели и быстро доставить их в Россию, то и это не гарантировало возможности использовать самолеты на нашем фронте.

«Все прибывающие от вас самолеты и автомобили оказались без магнето», — гласила лаконическая телеграмма начальника технического управления, генерала Мишлеанта.

Магнето! Магнето «Боп»! Да ведь из-за этой небольшой, но жизненной части мотора в мировую войну приносились жертвы, совершились преступления. Когда еще в первые дни Жоффр выехал навстречу отступавшим войскам 5-й армии, его машина дважды остановилась из-за порчи мотора.

— Если бы господин генерал приказал выдать мне магнето «Боп», — заявил Маршалу шофер, — то такая задержка не происходила бы.

Но главнокомандующий ответил:

— Нет, оттого, что я опаздываю на несколько минут, большой беды не будет, а рисковать из-за отсутствия хорошего магнето жизнью хотя бы одного нашего летчика я не вправе.

После всех затруднений, связанных с доставкой самолетов, отсутствие магнето на высылавшихся из Франции моторах сводило к нулю всю нашу работу в Париже.

Многими казалось, что еще вчера, приезжая в Петербург из Стокгольма, я присутствовал на первом авиационном празднике, где-то недалеко от Коло-

мисского ипподрома! Я видел полет поручика Нестерова, будущего героя; при мне скатился с открытого сиденья Морис Фармана и разбился насмерть капитан Руднев. Самые смелые наши офицеры шли в авиацию. И теперь эти герои будут в праве проклинать нас за те устаревшие типы машин, эти «гробы», на которых им придется летать.

Получив телеграмму, я набросился на бедного Антонова, который недоволевал:

— Я собственноручно запечатываю каждый ящик казенкой печатью, — дикладывал он мне, — проверяя предварительно все его содержание.

— Но, видимо, ваша печать с орлом оказывается не очень прочной, — смягчился я. — Возьмите же, дорогой Константин Александрович, мою собственную, с семейным девизом, ее подменить не смогут; а внутри большого ящика прикрепите специальный небольшой ящичек для магнето и запечатайте его.

Когда и эта мера не возымела действия, я распорядился принести и разложить на моем письменном столе всю партию магнето с аппаратами, отправлявшихся на очередном пароходе. Их упаковали в особый ящик, простирали номер по морскому коносаменту, и мне казалось, что уж на этот раз мы могли быть спокойны за доставку этого драгоценного груза по назначению. Но ответ главного технического управления на телеграмму об отправке был еще более лаконичен: «Ящика за номером таким-то не оказалось».

Из тысяч ящиков, отправленных на ста двадцати пароходах из Франции в Россию во время войны, это был первый, и единственный, пропавший в пути ящик.

— В Петрограде царит ужасающая спекуляция, — вздыхали прибывавшие из России французские офицеры связи. — За деньги там можно все получить, и даже наши магнето «Бош» продаются — правда, по баснословной цене — через «Северный банк» на Невском проспекте!

Вмешательство русских частных банков в вопросе заграничного снабжения составляло все больше приглядываться к деятельности наезжавших в Париж представителей».

Так однажды среди обычных посетителей записался ко мне на прием какой-то соотечественник, инженер Клягин, о командировании которого я не имел извещен. Я насторожился, когда в мой кабинет вошел молодой, стройный, легалитный блондин, не без аппомба от рекомендовавший себя представителем Чурманской железной дороги. Это еще более меня запутриговало, так как прокладка этой магистрали разрешала основную задачу доставки из-за границы военных материалов.

Оказалось, что Клягин уже некоторое время действовал в Париже совершенно самостоятельно, закупая самые разнообразные товары — от болтов для рельсов до чернослива включительно, располагая какими-то крупными суммами в иностранной валюте. Затруднения Клягин встретил в разрешении самого «пустяжного», как казалось ему, вопроса: получения лицензии на вывоз. Соотечественники в этом отношении оставались неисправимыми, не жалая подчиняться установленному в союзных странах порядку.

Вопрос этот я, конечно, немедленно разрешил, предложив молодому инженеру, вместо работы с частными фирмами, занять столик в моем управлении и получить товары через французское правительство. Александр Павлович

Клягин стал моим сотрудником, а впоследствии и представителем при мне нашего министерства путей сообщения.

Среди командированных из России благодушных, самодовольных и безразличных к делу, но кичившихся своими чинами и положением офицерами-чиновниками. Клягин выделялся своей деловитостью и самостоятельностью суждений. Хотя мундира и фуражки с голубыми кантами и золотыми контрапончиками, присвоенными инженерам путей сообщения, он из России и не захватил, но в обхождении со мной сохранял следы той военной выправки, которой по традиции отличались инженеры путей сообщения. Их институт, как известно, при Николае I входил в систему военно-учебных заведений.

В русской армии придавали большое значение правильному титулованию старших начальников младшими. И ко мне, как к полковнику, офицеры обращались, приставляя к моему чину слово «господин», штатские величали по имени и отчеству, а писаря и солдаты, из-за моего графского титула, заменили титулование «ваше благородие» — «вашим сиятельством». Также обращался ко мне и Клягин. Первое время я объяснял себе такое чинопочитание хитростью: для того чтобы проводить дела за спиной начальника, его надо ослеплять внешней почтительностью.

Вскоре, однако, я узнал, что эта форма обращения объяснялась теми павлинами, в которых воспитывались некоторые из людей подчиненного общественного положения.

— Не забывайте, ваше сиятельство, — соткровербничал со мною как-то Клягин, — что дедушка мой был простым лесником, хорошо знал свое дело, а потому и пожился на лесных заготовках. Отец уже был лесничим у богатых помещиков, которые, как вы знаете, в делах понимают мало. А я уже, как видите, пробился в настоящие инженеры. Одет по последней парижской моде (тут он привстал и хитро улыбнулся), женат на настоящей столбовой дворянке. Да-а. Разорительна, правда, Мария Николаевна, иу что же поделать, барские ее капризы перепопну. А все же такие умру русским мужичком. Не взыщите.

* * *

Разрасталось мое дело, множились охотники до французского кредита, обеспеченного морского тоннажа. Все были только непрочь избавиться от спеки военного агента над их делами. Пример французских сенаторов и дельцов оказался заразительным. И каждый хотел проявить «личную инициативу». прикрываясь возвышенным идеалом спасения России.

К весне 1916 года дела на родине действительно шли из рук воин плохо. Сотни телеграмм с требованием доставки самых разнообразных товаров указывали на беспомощность военного министерства удовлетворить насущные потребности фронта. Так, Свидерский настаивал на заказе какой-то весьма подозрительной фирме в Бордо — городе, не имевшем ничего общего с военной промышленностью, — траншейных минометов и бомб к ним, как назывались в ту пору мины.

— Помилуйте, — пробовал я возражать против предложенной нам баснословной цели, — ведь такие с позволения сказать орудия может склонять наш кузнец Ванька в Чертодчине. Зачем обременять тоннаж на перевозку такого баражла.

Переспорить представителя ведомства бывало трудно: каждый зерчался надежной поддержкой из Петрограда, а этого-то как раз мне недоставало.

Долго хотелось верить, что в конце концов вся моя работа во время войны и на фронте и в тылу, несмотря на полемику с правящими кругами, все же заслужит должную оценку, хотя некоторые мелкие факты должны были убедить меня в противном. Получение очередных орденов давно, правда, потеряло в России свое значение. Помнится, что когда я прочитал в «Русском инвалиде» о награждении меня орденом Анны второй степени, мне не захотелось заменять этим мирным орденом полученный за сражение под Сан-депу шейный орден Станислава второй степени с мечами. Однако, когда с очередным дипломатическим курьером я получил, в разгар мировой войны, за выслугу лет, снова очередной орден Владимира третьей степени, лишивший мечей, то принял это не как награду, а как оскорбление.

Французы прекрасно знали, что орден с мечами жаловался не только строевым, но и штабным офицерам на театре военных действий, и приравнение меня к военным агентам в нейтральных странах представляло в их глазах политическую беспактность.

Реагировали они на это совершенно для меня неожиданно. Среди утренней почты в Гран-Кю-Жэ мне прислали, против обыкновения, очередной номер «Journal officiel» («Французский правительственный вестник») с абзацем, подчеркнутым кем-то красным карандашом: «Согласно приказу главнокомандующего, с объявлением во всем французским армиям, за выдающиеся заслуги русский военный агент полковник Игнатьев награждается командорским орденом Почетного легиона».

Мне показалось особенно дорогим, что эту награду я получал не как дипломат, а в виде особого исключения, как офицер на фронте. Тот же чисто военный характер Жоффр придал и самому порядку награждения — по форме, установленной для офицеров французской армии.

Под звуки рожков на скаковое поле в Шаптильи вышел батальон стрелков с лиху сдвинутыми набок темпосиними беретами и построился неподалеку от места, где проживал Жоффр. Мне было указано прибыть к тому же месту четверть часа спустя — время, предусмотренное для сбора всех чинов главной квартиры.

Это уже меня глубоко растрогало. И Целле и Дюпон уже наперед жалили особенно дружески руку.

Как обычно, скривясь слегка на левый бок и поддерживая генеральский палаш, приближался Жоффр. Раздалась команда:

«Garde à Vous. Présentez armes!» («Смирно! Слушай па караул!»)
Войска берут па караул.

Я уже стою перед фронтом впереди трехцветного знамени, вытянувшись, как старый гвардец, держа руку под козырек.

Главнокомандующий обнажает палаш и, подойдя ко мне, по традиции посвящения в рыцари, прикладывает его сперва к правому, потом к левому моему плечу, после чего при помощи альютанта привязывает па мою шею и поверх походного кителя большой белый крест с зелеными веночками па широкой красной ленте. Пожав мое руку, он дважды меня обнимает, в то

время как по команде «Ouvrez le ban!» («Играйте туш!») оркестр играет сигнал военного салюта.

Церемония, однако, на этом не кончается. Жоффр приглашает меня стать рядом с ним на один шаг впереди, а войска перестраиваются для прохождения церемониальным маршем перед новым командором Почетного легиона.

Всякому военному доводится переживать незабываемую минуту...

После обычного завтрака в нашей «Попот» второго бюро, который был отмечен дружеским бокалом шампанского, я, согласно установленному в русской армии порядку, послал следующую телеграмму своему прямому начальнику, генералу-квартирмейстеру:

«Испрашиваю высочайшего разрешения государя императора принять и носить пожалованный мне сегодня орден командорского креста Почетного легиона».

Впоследствии мне рассказывали, что в ставке это известие произвело должное впечатление, по отношению моему с Петроградом по исправило.

Даже в письмах родной матери проскальзывала критика моего «песчтания» с русскими правящими кругами. Один только Ильинов, мой бывший профессор по Нажескому корпусу, сменивший Сухомлинова на посту военного министра, успокоил мою мать, сообщая, что «Игнатьев нам необходим в Париже».

Некоторую — правда, только чисто нравственную — поддержку получил я в те дни от прибывшей в Париж депутатии Государственной думы и Государственного совета. Эта заграничная пездка русских политических деятелей имела целью доказать общественному мнению союзных стран, что германофильские течения, связанные с распутинскими группировками, еще не так сильны в России и что представители самых разнообразных политических партий полны готовности продолжать войну до победного конца, демонстрируя солидарность с западноевропейскими демократиями, борющимися против Германии.

Понятно представители военной комиссии Государственного совета и думы должны были ознакомиться с деятельностью русских заготовительных органов за границей.

Естественно, что при моем отчуждении от русской деятельности, при моем служебном одиночестве, вызванном разницей во взглядах с командированными из России моими сотрудниками, я ухватился за новых знакомых, как за соломинку, — Франция уже приучила меня проводить возимые вопросы не через военных, а через интимных людей. Однако действительный интерес к своему делу я встретил только у посетивших мою скромную канцелярию или, точнее, личную квартиру, заставленную канцелярскими столами, членов Государственной думы Милюкова и Шингарева. Их сопровождал, скопее для преформы, какой-то член Государственного совета из крайних правых, который своим величественным молчанием старался, повлиянию, поддержать достоинство этого высшего учреждения Российской империи.

После пространного доклада, сделанного мною в присутствии всех старших моих сотрудников, я сказал:

— Вы видите, как растет с каждым днем номенклатура товаров, закупаемых через нас на французский кредит. Не говоря уже о первце, которого может хватить на многие годы, о тиглях, количества которых превосходит потребность чуть ли не всего земного шара, — многие товары, — как, например, медикаменты для гражданского населения, сера для виноградников, — вызывают подозрение: не служат ли они, подобно магнету, предметом грязной спекуляции? Скажите, что еще можно найти в России? В чем я имею право отказать, не рискуя нанести ущерб фронту? Кого на законном основании могу послать к черту?

Шингарев потер лоб и без большой уверенности в голосе вымолвил:

— Есть еще конопля, так что пакли у вас запрашивать не имеют права.
— И на том спасибо, — пришлось с глубокой горечью закончить беседу.

Больше всего поразила моих гостей малочисленность моего центрального аппарата и связанныя с этим образцовая экономия.

— Это уж французская школа, — объяснял я Милюкову, с трудом привыкшему с пресловутыми российскими штатами, раздутыми по случаю войны выше предела.

— Как же это вы можете работать, не имея штата? — удивлялись соотечественники.

Шингарев, как я впоследствии узнал, представил даже по этому поводу специальный и крайне для меня лестный доклад в Государственную думу.

Итак, в силу обстоятельств я очутился в оппозиции к правящим кругам, в противоположность моим коллегам в посольстве, стал получать приглашение на все приемы, устраиваемые русским гостям французскими парламентскими и политическими организациями. Выступать с речами, хвались, не пришлось, но скрыть краску стыда за речи других удавалось с трудом.

Особенно торжественным, а потому и тягостным был громадный банкет, устроенный «Лигой прав человека» под председательством самого Анатоля Франса. Маститый писатель, старик высокого роста, особого впечатления на меня не произвел: он уже был очень стар и служил только символом республиканской Франции с ее лозунгами «Свобода, равенство и братство».

Речи лились рекой, благо ни характер тем, ни время не были ограничены. Можно было вволю поболтать. Этим особенно злоупотребил член Государственного совета Гурко, уцелевший деятель мошеннической аферы на поставках хлеба голодающим.

Также одна его виновность — обросшее седеющей щетиной уродливо лицо со слабым взглядом нелюдима — указывала на мало удачный выбор представителя крайних правых.

— Господа, — начал свою речь Гурко, — приехал в Париж, как-то еще перед войной, владетельный царек одного из африканских племен. Его особенно очаровали прелестные ножки парижанок, и, уезжая, он возымел мысль носить своих соотечественниц в такие же очаровательные туфельки, какими он любовался на парижских бульварах.

Присутствовавшие, приготовившись слушать либеральные, умные речи, в первые минуты были заняты говою подобным оригинальным началом, и Анатоль Франс даже повернулся в сторону занятного оратора. Скоро, однако,

пришлось разочароваться. Прошло еще добрых полчаса, и бывший царский министр продолжал скучно объяснять, как туфли, заказанные негром в Париже, оказались слишком тесны, как в Африку поехал немецкий сапожник, снял там мерки с ног негритянок и сколь выгодную аферу он сумел на этом сделать. Никто ничего не понял. Сидевший направо от председателя Милюков побагровел от негодования, а я, уставившись в тарелку, старательно очищал одну грушу за другой.

Наиболее, впрочем, так негодовал Милюков: в уме ему, конечно, никто не мог отказать, но по бес tactности он на следующий день даже превзошел Гурко.

Ба этот раз обед был интимный, собирались только французские и русские члены «Международного парламентского союза». Все правые отсутствовали и председательство было предоставлено самому Милюкову. У каждого прибора было положено меню, украшенное пучком разноцветных флагов всех союзных государств. Русские гости только что вернулись с организованной мной для них поездки на фронт и, делясь свежими впечатлениями о французской армии, гадали о сроке неминуемой победы над врагом. В открытые настежь окна гостиницы «Крильон», расположенной в одном из двух дворцов, украшающих площадь Согласия, вливался ласкающий весенний воздух. И только не свойственная Парижу уличная тишина напоминала, что враг еще совсем близко, в каких-нибудь шестидесяти километрах от городских ворот. Но вс Милюков встает, берет в руки меню и, рассматривая его, произносит следующий короткий тост:

— Я пью,— сказал наш будущий министр иностранных дел,— за то чтобы в следующую нашу встречу среди этих флагов красовались и отсутствующие ныне флаги!..

Мис, как единственному военному среди штатских, как русскому представителю при союзной армии, хотелось провалиться сквозь землю. Хотя же мек, сделанный Милюковым па германский и австрийский флаги, был достаточно прозрачен, однако, все присутствующие постарались или не понять еи или припять за веселую шутку.

— Неужели у нас помышают о мире с немцами?— спросил я Энгельгардта, выходя с обеда и прогуливаясь по Елисейским полям. Энгельгард мой бывший товарищ по Пажескому корпусу, вернулся из запаса и в форме полковника генерального штаба состоял членом военной комиссии Государственной думы.

— Нет,— ответил он.— Это Павел Николаевич Милюков хотел только сократить. Но отрицать германофильство в окружении паря, конечно, нельзя. Сам он, как ты знаешь, человек безвольный, но в вопросах войны тверд стоит за верность союзническим обязательствам. Поверь, что, как и говорил Шингарев, все чинимые тебе поприятности исходят от распутинской и тесно связанный с нею сухомлиновской клики. Она бесспорно сильна, но мы с нею справимся.

— Но каким способом?— спросил я Энгельгардта.

— Да, пожалуй, придется революционным,— не особенно решительно ответил мой старый коллега.— Опасаемся только, как бы слева нас не захлестнуло.

Глава девятая

НАЧАЛО КОНЦА

Все темные предчувствия первых дней войны, вся тревога за родную армию в течение долгих зимних месяцев 1915 года — все нашло себе горькое подтверждение с наступлением первой военной весны.

К этому времени как раз вернулся из первой поездки в Россию майор Ланглуа, назначенный Жоффром для непосредственной связи с русской ставкой. Никакое письмо не может заменить, в особенности на войне, живого слова, и французы благодаря Ланглуа знали о России гораздо больше, чем прусские знали о Франции. Напис, впрочем, как мне писал «черный» Дашилов, этим «николько не тяготились». Только последним соображением мог я объяснить упорное пожелание и ставки, и генерального штаба назначить с нашей стороны офицера связи, и притом постоянного, как Ланглуа, не откыпавшего в каждый свой приезд Америки.

Жоффр и на этот раз в выборе исполнителя не ошибся: крепыш, весельчик Ланглуа старался придать себе вид рубахи-парня, чему немало помогало его отличное знание русского языка. Но под этой беззаботной внешностью скрывался тонкий наблюдатель и вдумчивый аналитик. По образованию — политехник, по роду службы — артиллерист, Ланглуа был достойным сыном своего отца, одного из создателей тогдашней тактики артиллерийской бреторбы.

Нашими дружескими отношениями мы с Ланглуа были обязаны в большей мере моей нормандской кобыле масти обэр (чалая, без черных волос), в которую влюбился Ланглуа при наших довоенных прогулках в Булоенском лесу, я после настоятельных его просьб уступил ему эту легкую кровную птичку. Любители лошадей никогда не забывают подобных услуг, и Ланглуа после каждого приезда из России подолгу засиживался в моем рабочем кабинете в Шантанье. Привезенные им сведения об окопной жизни русской армии воспрещали в памяти манчжурское зимнее сидение. Та же растянутость фронта в одну сплошную линию, то же отсутствие стратегических резервов, та же скрута от безделья в штабах, удаленных от фронта на десятки и сотни километров.

На французском фронте каждый генерал, даже командующий армией, считал своей обязанностью побывать ежедневно хоть на каком-нибудь из участков, а потому меня особенно поражало, что русские солдаты видят высшее начальство только на смотрах да на парадах. Коряят солдат хорошо, по зиму опипутели в серых холодных шинелишках и дырявых сапогах.

В больших штабах царит благодушное самодовольство, а ставка тщится примирять между собою командующих фронтами; подобно Куропаткину, там пишут обстоятельные мотивированные доклады и бесчисленные проекты. Монтизовано свыше двенадцати миллионов, а солдат в ротах некомплект из-за неостатка в ружьях. Батареям разрешено выпускать не больше пяти выстрелов в сутки.

Рассказы Ланглуа о немецких зверствах казались чуловищными: в последние зимние бои в Августовских лесах немецкое командование, в отместку за понесенные неудачи, гнало русских пленных разутыми по тридцать-тридцати-четыреста морозу. Перед подобными фактами бледнел и нашумевший рас-

стрел немцами бельгийской патриотки, сестры милосердия мисс Кавель, и все те расправы, которые они чинили в оккупированных французских городах.

На русском фронте после зимних кровопролитных сражений под Лодзью и Варшавой, по своему героизму воскрешавших «Илиаду» Гомера, появились уже грозные признаки разложения тыла, заполненного укрывшимися от фронта офицерами, непригодными генералами и присосавшимися к армии дельцами самых разнообразных профессий. Как ни сдержан бывал Ланглуа в выборе выражений и характеристиках «высоких особ», но все же у него изредка срывалось слово *criminel* (преступник), когда он касался работы тыла по снабжению. Мне всегда казалось, что, несмотря на внешнюю откровенность, Ланглуа рассказывает своему собственному начальству гораздо больше, в чем и пришлось убедиться спустя несколько дней.

Свершенно неожиданно меня пригласили отбывать в столовую оперативного бюро, куда никто, кроме «своих», доступа не имел. Я приехал было это только за знак дружеского доверия, но, выйдя из-за стола, Гамелен предложил пройтись пешком и незаметно удалился со мной в глубь темного леса.

— Здесь по крайней мере нас никто не слышит, — начал он. — Скажите, неужели в России настолько сильны германофильские течения? Что, по-вашему, представляет собой Сухомлинов, Распутин, какой-то Аронников и, наконец, сама императрица?

Что мог я ответить Гамелену? В ту пору я не имел еще доказательств близости Сухомлинова с германскими шпионами, сомневался даже в справедливости приговора над Мясоедовым, будучи весьма невысокого мнения о работе нашей контрразведки. Про Распутина я слышал перед войной только от Влади Орлова, ближайшего в то время царского начальника. Он удалился навсегда от двора, после того как высказал лично Николаю II все, что думал про распутного мужика.

Рассказывать обо всех этих подробностях иностранцам я, конечно, не стал и выразил Гамелену лишь уверенность, что в России найдутся люди, которые сумеют вымести немецкую печать «из собственной избы». Но Гамелен был, видимо, глубоко встревожен рассказами Ланглуа.

— Не забывайте, милый полковник, — продолжал он, — что и мы имели когда-то короля, заплатившего своей головой за то, что жена его была немка.

Меня передернуло, я замолчал, а тонкий Гамелен, почувствовав неловкость, перевел разговор на переброску германских дивизий с Западного на Восточный фронт. Этот вопрос к весне 1915 года стал не только серьезным, но и решающим для исхода войны в России.

К счастью, разведывательная служба в ставке к этому времени паладинилась, и мы, паконец, договорились о переброшенных за зиму из Франции германских силах.

В начале войны на русском фронте находилось три активных корпуса (I, XVII и XX) и два с половиной резервных (I, гвардейский резервный и 5-я дивизия II корпуса).

До конца марта с Западного на Восточный фронт было переброшено:

4 активных корпуса (II, XI, XIII и XXI) — 8 дивизий и 3 резервных корпуса (III, XXIV и XXV) — 6 дивизий, всего 7 корпусов — 14 дивизий, и направлено из Германии три вновь сформированных корпуса (XXXVIII,

XXXIX и XL), то есть еще шесть дивизий. Всего на русском фронте должно было находиться двадцать пять активных и резервных германских дивизий, не считая ландверных и ландштурмных бригад, и тридцать пять — сорок австро-венгерских дивизий.

Кроме того, конец марта характеризовался появлением целой серии новых германских дивизий, формировавшихся за счет полков, отведенных с фронта; за недостатком людских запасов, немцы уже начали перетряхивать свои наличные силы. Положение на обоих фронтах становилось все более напряженным, а работа и моя, и второго бюро все более ответственной.

Наконец в эти же первые весенние дни произошло, как нам казалось, исключительное по важности событие: в первый раз с самого начала войны с французского фронта исчез германский гвардейский корпус!

Дюпон стал мрачен, Нелле — озабочен. Но вечерам офицеры связи от армии и фронтов звонили и настойчиво требовали от войск срочной проверки сведений о находившихся против них неприятельских дивизиях.

Начальник секретной агентурной разведки, молчаливый до комизма майор Ценф, и тот заговорил, докладывая мне о принятых им срочных мерах по разыскам этой злосчастной гвардии.

Моя комната в доме госпожи Буланже превратилась в настоящий штаб: после шести месяцев войны и долгих настоятельных просьб я получил, наконец, в свое распоряжение настоящего помощника — капитана Пац-Помаранцкого. Шесть месяцев потребовалось для утверждения подобной «штатной единицы», но не даром же один мудрый старец говорил, что «в Российской империи всякая бумага свое течение имеет». Течет она, голубушка, быстро по самой середине реки, а глянь, и застоится в какой-нибудь тихой заводи.

Александр Фадеевич был исправный, дисциплинированный генштабист, из которого можно было положиться, и казалось бы, что, окончав, хотя и разновременно, первыми учениками и Киевский кадетский корпус, и академию, мы могли смотреть на свет одними и теми же глазами. На деле же, сколько мы вместе ни проработали, не познать друг друга до конца не смогли. Едем мы как-то, например, в открытой машине на удаленный от Парижа французский Восточный фронт. Чудная лунная почь, живописная дорога вьется среди Вогезов, мысли отдахают от повседневных забот и казенных бумаг. Душа переносится куда-то далеко, далеко, на родину...

— Какая почь! — нарушил я невольно молчание.

— Так точно, господин изловчаник! Погода благоприятствует! — возвращаю меня к жизни Александр Фадеевич.

— Эх, барышня! — сказал как-то всердцах подвыпивший чертополох Фелька ч-порной старой леди Ерошкиной, корившей его за полусланную жизнь на козлах. — Не думна в тебе, а один пар!

Без душевной глубины понять такую революцию, как паша Октябрьская, было пелено, и Пац, расставшись со мной, предпочел остаться за границей.

Я, впрочем, сохранил память благотарную память о часах, проведенных с ним над составлением телеграфных сводок в тяжелые дни первой весны.

Усилия по разыскам германской гвардии увенчались успехом почти за месяц до появления ее на русском фронте.

Уже 6 апреля я доложил:

«В Эльзас переброшен, повидимому, весь гвардейский корпус, обе дивизии которого высаживались в ночь с 30 на 31 марта на линии Шлайштадт — Кольмар».

А через две недели уточнял сведения так:

«Получено достоверное сведение, что гвардейский корпус после полного отдыха в течение трех недель в Эльзасе, во вторник 20 апреля погружен на железную дорогу. Здесь, конечно, не знают, куда он направлен, но склонны думать, что он предназначен или в Трентин или в Карпаты, во всяком случае на поддержку Австрии».

Да, мы не знали, мы гадали, но мне хотелось перелететь в русскую ставку (к сожалению, самолеты в ту пору через Германию еще перелетать не могли) и сказать только одно слово: «Готовьтесь!» Мне представлялось, что решительный удар немцев на русском фронте неминуем. Но на каком участке?

Разрешить эту загадку мне помог, как ни странно, вновь назначенный помощник начальника штаба генерал Нюдан. Появление его в Гран Кю Жэ было особенно для меня приятно, напоминая о беспречной молодости, когда я, в чине капитана, галопировал на маневрах 4-й кавалерийской дивизии в Аргоннах, а Нюдан, сухой артиллерийский майор, с запущенными книзу усами, храпловатым баском, как после хорошей пьянки, лихо, на полном карьере, командовал конным артиллерийским дивизионом.

Теперь я заходил к нему обычно по окончании рабочего дня, когда огни в коридорах гостиницы Гранд Кондэ уже тушились, а в штабных бюро оставались только ночные смены дежурных офицеров. Нюден сидел за письменным столом спиной к стене, на которой была развернута громадная карта русского фронта.

О, эта карта! Никогда мне ее не забыть. Смотри! — как будто говорила она мне, — сколь ты плохо работал: за восемь месяцев войны не удосужился добиться от своего генерального штаба присылки хотя бы десятиверстной карты России. Вместо карты аэро-германского фронта, тебе прислали карту Турецкого фронта, и французам пришлось в конце концов сформировать своими средствами какую-то импровизированную простыню. Безобразные зеленые пятна изображали на ней непроходимые, по мнению французов, леса, редкие черные линии подчеркивали лишь раз бедность железнодорожной сети, а перевранные названия городов доказывали смутное о них представление наших союзников.

В тот вечер на карте жирной угольной чертой была отмечена линия застывшего русского фронта от Балтийского моря до румынской границы, с выступом в сторону противника у северного края Карпатского хребта. Никаких пометок о расположении русской армии на карте не было.

Разговор с Нюданом завязался само собой вокруг вопроса о гвардейском корпусе.

— Ну и побезобразничали же эти господа в Страсбурге! — рассказывал мисс Нюдан. — Без пьянства и разврата немцы не могут воевать. Мы ведь помним их еще по 1870 году, ну а теперь, нагулявшись всласть, они, очевидно, готовят какой-нибудь серьезный удар на вашем фронте.

Тщетно разглядывал я черную линию на карте, не желая дать Нюдану необоснованный отваги и вместе с тем не показать ему лишний раз свою полную неосведомленность ю том, что творится в России.

Испытывающее посмотрев на меня, он повернулся к карте и, ткнув пальцем в исходящий угол нашего фронта, который тянулся в этом месте чюлья какой-то пебольшой голубенькой речушки, авторитетно заявил:

— Вот тут, вероятно, стык ваших фронтов — Западного и Юго-Западного. Но-моему, тут и надо ожидать удара.

Я встал, чтобы поближе рассмотреть этот участок, и прочел название речки: Дунаец. Проход у Горлицы обозначен на карте не был.

— Дунаец! Дунаец! — повторяя я себе, пробираясь в темноте через скакове поле в свое логвище. Сообщать или промолчать о беседе с Нюданом, — вот о чем долго совещались мы с Пацем, составляя в эту ночь очередную телеграмму в ставку. Сообщения помощника начальника штаба не посили официального характера, не были подкреплены документами, а упоминание в них в служебном донесении могло ввести в заблуждение наше военное руководство. Кроме моих телеграмм, ставка должна была уже располагать более точными указаниями о подвозе германских резервов.

Лишь бы она не увлеклась лишний раз сведениями от нашего центра агентурной разведки, созданного военным агентом в Голландии, полковником Мейером. Германский генеральный штаб давно его перехитрил, засыпая в Гаагу собственных «надежных фведомителей», создавая через них ложную стратегическую обстановку. Многовещательные донесения Мейера занимали почетное место в сводках нашего генерального штаба, и перед ними, конечно, бледнели мои сухие телеграммы, кратко извещавшие об обнаруженных на фронте корпусах.

— Нет! — решили мы, наконец, — как сотрудники Гран Кю Жэ мы не имеем права передавать непроверенных сведений.

Они, впрочем, не помогли бы делу: 2 мая, то есть через три дня после беседы с Нюданом, немцы уже прорвали наш фронт как раз в том месте, где мы и предполагали, сидя в далеком Шаптильи. На ураганный огонь германской артиллерии нам нечего было отвечать. Началось длительное и тяжелое отступление всего русского фронта.

Первым и трагическим последствием этого события явилось устранение Николая Николаевича и принятие на себя самим царем верховного командования.

Каким бы самодуром ни был Николай Николаевич, какими бы ничтожествами, после потери им своего бесценного сотрудника Палицына, он себя ни окружал, все же этот породистый великан был истинно военным человеком, имевшим большой авторитет в глазах офицерства, импонировавшим войскам уже одной своей правкой и гордой осанкой.

До какого же безумия мог дойти царь, этот полковник с кругозором командаира батальона, не способный навести порядок даже в собственной

семье, чтобы возомить себя полководцем, принять ответственность за ведение военных операций миллионных армий, внести в работу ставки зловредную атмосферу придворных интриг!

Для меня это являлось началом конца.

Если в мирное время военный союз без взаимного доверия представлялся мне только излишним бременем, то во время войны личные отношения между союзными главнокомандующими являлись важным залогом успеха. Жоффр и его окружение с полным основанием считали Николая Николаевича другом Франции и французской армии, но царский двор оставался для них загадочным. Они, конечно, понимали, что верхителем всех вопросов явится не царь, а его начальник штаба, генерал Алексеев, по с ним они не были знакомы и могли судить о нем только по донесениям своих представителей в России. Неразговорчивый, не владеющий иностранными языками, мой бывший академический профессор, скромный, трудолюбивый, не был, конечно, создан для укрепления отношений с союзниками в тех масштабах, которых требовала мировая война.

В тот трагический для России день 2 мая, по странной случайности, мне пришлось поставить от лица родины свою подпись па военной конвенции между союзниками и вступавшей в войну на нашей стороне Италией.

Не только мне, но и всему французскому военному миру долго не удавалось усвоить ту простую истину, что за надежным прикрытием миллионов вооруженных людей в грязных серых шинелях сидят люди в смокингах и фраках, плетущие политические интриги и тоже «запамятавшие войной», имея, правда, о ней весьма смутное представление.

Французы долго не без основания считали свой собственный фронт решающим. Но в действительности, после стабилизации его в 1914 году, война приняла характер мировой и важную роль вней играла Англия.

— Это ведь не папи проект, а желание англичан! — оправдывался передо мной сам Мильера, когда еще в начале 1915 года я раскритиковал дарданельскую авантюру. Овладение проливами без обеспечения десантной операции хотя бы одного из берегов я считал попыткой с негодными средствами. Предпринимая эту операцию, англичане не посоветовались даже с Жоффром, а Изволский лишь раз кинялся, несоглася, что я, сидя в Шантильи, не был в курсе этого злосчастного проекта.

Та же картина получилась и со вступлением в войну Италии. Вовлечение все новых и новых стран в войну объяснялось тем равновесием сил обеих сторон, выражителем которого явилась окопная война 1915 года.

«По мнению Делькассе (этого типичного воинствующего французского политика, получившего портфель министра иностранных дел), выступление Италии явится поворотным пунктом всего хода событий, — доносил Изволский 19 апреля, — тогда как вы (то есть Сазонов и Николай Николаевич) не возлагаете больших надежд на военную помощь итальянских войск».

Об организации итальянской армии мы, русские военные агенты, были известомлены по секретным сборникам об иностранных армиях, но у меня в голове крепко засел, кроме того, французский анекдот, характеризовавший итальянские войска.

Незадолго до мировой войны Италия решила не отставать от Франции в покорении Северного африканского побережья и, с разрешения держав, предприняла поход в Триполитанию. Победа казалась ей легкой, но когда туземцы не пожелали покоряться и стали стрелять, то итальянцы засели в окопы, отказываясь из них выходить. Наконец нашелся среди них один храбрый капитан. Он выскочил из окопа с саблей в руке и, подавая пример, воскликнул: «Аванти! Авант!» В ответ на этот призыв к атаке солдаты только зааплодировали: «Браво, браво, капитано!» — выражали они восторг своему начальнику, продолжая сидеть в окопах.

Бывают государства, которые выгодно не иметь союзниками, и использовать их нейтралитет для получения от них сырья и промышленной продукции. Италия представлялась мне как раз такой страной: на химических заводах Милана мне удалось разместить крупный заказ на порох, а заводы Фиат могли оказать нам впоследствии крупную поддержку в автомобилях и самолетах.

Решающим, однако, явилось слово Лондона: участие Италии в войне облегчало Англии контроль над бассейном Средиземного моря, и не позже как через неделю после донесения Извольского Россия, Франция и Великобритания одобрили в Лондоне итальянский меморандум о присоединении этой страны к союзникам.

Главным положением этого документа являлось немедленное заключение Италией военной и морской конвенции, причем Делькассе, стремясь ускорить решение, неоднократно высказывал пожелание подписать эти конвенции в Париже, снабдив для этого соответствующими полномочиями русской стороны военного и морского агентов.

«На совещаниях в Париже присутствовать нашем агентам разрешается, но без права голоса, — отвечал Сазонов Извольскому, — так как переговоры о совместных действиях итальянской и русской армий верховный главнокомандующий желает вести в ставке с итальянским военным атташе в России».

— Лишь бы поскорее втянуть их в войну, а о военных операцияхного жрить еще успеем, — заявил со своей стороны Жоффр, напутствуя меня с Челле на совещание в Париж.

Когда мы вошли в один из кабинетов генерального штаба на бульваре де-Жермен, мы встретили обычную картину союзных конференций мировой войны: добрые две трети стола были заняты англичанами, рассевшимися в бесприужденных позах, уверенных и всегда довольных людей. Против них, военную сторону председателя Мильерана, сели несколько скромных французов с деловым видом и большими листами бумаги, на которых они то и дело что-то записывали. Челле присел боком около Мильерана, а мы с моим морским коллегой, капитаном 1-го ранга Дмитриевым, расположились на почетных местах, подле наших новых союзников — итальянцев.

Редко пришлось мне слышать более красивый и убедительный военный

доклад, чем та речь, которую в течение двух часов произносил стройный кра-
савец, полковник генерального штаба, делегат итальянской армии. Сама ее
фамилия — Монтанари — звучала так же музикально, как его родной италь-
янский язык, созданный, подобно русскому, как будто нарочно для певцов.
Не засекречивая никаких данных о своей армии, он на безупречном француз-
ском языке объяснял нам и план мобилизации, и порядок развертывания, и
даже предстоящие военные операции в Тирольских Альпах. Столица Австрии
Вена, казалось, была уже у наших ног!

«Что же это происходит? — невольно задавал себе вопрос каждый из присутствующих. — Ведь еще вчера этот самый генштабист сидел, быть может, со своими бывшими союзниками в той же Вене или Берлине».

— Я чувствую, что схожу с ума, — потирая себе лоб, говорил Ислле, прогуливаясь со мной под руку в перерыве заседаний по длинному балкону второго этажа, выходившего на бульвар. — Чем вы все это объясняете, чего они могут ждать от нас? Неужели им неизвестно наше с вами невеселое по-
ложение?

За парадным завтраком Мильтеран, произнося тост, предложил итальян-
скому делегату, сидевшему направо от него, и мне, сидевшему налево, выпить бокал вина за дружбу наших армий как братьев по оружию...

Чем более парадно празднуется начало, тем горше оказывается конец
предприятия, ц. союз с Италией, вместо радости, поднял немало яду в моей
жизни. Я избегал встречи с моим очень любезным итальянским коллегой. Он
всегда находил предлог поплакаться из переброску с нашего фронта какой-
нибудь дивизии или бригады.

— Не обращайте на это внимания, — утешал меня, бывало, мой приятель
Белль, — у них такое превосходство сил, что никакие переброски с вза-
шего фронта не должны их смущать.

Бедный Белль! Он не мог предвидеть, что ему-то и придется драться и
умереть во главе бригады, экстренно отправленной в Италию не столько для
боевых операций против австрийцев, сколько для преграждения пути бежав-
шим в панике союзникам после поражения их под Каорретто!

Неумолимо вращается колесо фортуны, и мое, линененному в 1919 году
уже всех прерогатив, пришлось после разгрома немцев встретить в послед-
ний раз своего итальянского коллегу в коротах того же здания французского
генерального штаба в Париже. Он выходил на бульвар во главе целой воен-
ной миссии, разодетой в парадные мундиры с шелковыми шарфами и разно-
цветными пломажами. Все итальянцы, узнав меня, почтительно раскланя-
лись.

— Ну, поздравляю, — сказал я, приветлив, пожимая руки бывшим союз-
никам. — Наконец-то удалось разбить австрийцев!

Сопровождавшие меня французские генштабисты не могли удержаться от
смеха.

★ ★ ★

Вступление Италии в войну вызвало необходимость для союзников сесть
за один стол, о чём-то заранее договорившись. Однако только тяжелое по-
ложение на обоих фронтах, сдавшееся к лету 1915 года, заставило их серьез-
но призадуматься над вопросом о согласовании действий союзных армий.

Немецкое командование продолжало использовать отсутствие общего руководства у своего врага для сохранения инициативы ведения операций на Восточном и Западном фронтах.

Так, предпринятое Жофром через неделю после прорыва на Дунайце наступление в Артуа явилось запоздалым и не облегчило положения на нашем фронте. Французская операция приняла, кроме того, такой затяжной характер, что телеграммы, составлявшиеся нами на основании данных Гран-Кю-Мэ, казались нам самим невразумительными: при подвижности русского фронта ничтожное продвижение французских войск трудно было объяснить.

«К концу мая,— доложили мы,— французы ввели в дело около 10 корпусов, но, несмотря на артиллерийский огонь, достигавший небывалого напряжения, им не удалось сломить упорства германской обороны».

Поехали сами на фронт, решили мы с Пацем, и обойдем постепенно весь участок, тянувшийся на сорок с лишним километров, от Ланса до Арраса.

Это направление имело, кроме тактического, и важное стратегическое значение: союзников оно выводило на коммуникации всего западного фронта, а немцам открывало путь к северным французским портам, через которые подвозились английские подкрепления.

Французы показали, что при систематической артиллерийской подготовке и при том одушевлении, с которым они вели пехотные атаки, они способны схватить сильно укрепленными селениями и взломать германскую оборону, несмотря на подавляющее число пулеметов у немцев и применение ими бетонированных укреплений.

«Однако развитие успеха задерживается тяжелой германской артиллерией,— доложили мы,— она не прекращает своего действия и по настоящий день, разывая сильнейший огонь против завоеванных французами участков. Именно в этот последующий период боя французы и несут наибольшие потери, достигшие у Арраса ста тысяч человек».

«Долгое стояние на месте дало обоим противникам возможность пристреляться с поразительной точностью, чему в значительной степени способствует авиация. Калибр новых 105-мм орудий признается недостаточно мощным, и французы энергично работают над созданием артиллерии более крупных калибров».

«Французская пехота,— заканчивал я одну из телеграмм после осмотра фронта,— никогда не была в таком блестящем положении: люди кормлены лучше, чем в мирное время, дух превосходный, даже в частях, понесших тяжелые потери, санитарная служба, наконец, налажена, одежда и снаряжение — все построено заново».

Подобные донесения доказывали, сколь большую работу провела французская армия за первый год войны и диктовались искренним желанием, чтобы русская армия возможно шире использовала опыт войны на Западном фронте, несмотря на ее казавшуюся беспрসветность.

Характерно, что для передачи в Россию более подробных соображений о положении на Западном фронте, мне приходилось прибегать к форме личных

писем новому генерал-квартирмейстеру, Леонтьеву, и пользоваться для этого по дипломатическими курьерами, а случайными надежными оказиями.

«Насколько французы откровенны и правдивы со мной в отношении сведений о неприятеле, настолько они продолжают быть сдержанными во всем, что касается собственной их армии, из опасения огласки не через меня, конечно, а через инстанции, через которые эти сведения могут пройти», — заканчивал я одно из писем, намекая на признаки недоверия союзников к некоторым русским военным и дипломатическим кругам.

Вот так, между прочим, представлялось мне тогда общее положение:

«Напряжение сил и средств Германии и Франции почти одинаково: при 70-миллионном населении немцы выставили от 75 до 90 корпусов, считая в том числе и ландверные войска, а французы при 39-миллионном населении — от 45 до 50 корпусов. Потери немцев, считая оба фронта, более значительны, чем французские, а потому истощение в людском запасе должно наступить для них скорее, чем для французов.

При том числе потерь, которые французы несут в операциях за истекшие месяцы, они рассчитывают быть в состоянии поддерживать численный состав выставленных ими в настящее время войсковых единиц примерно 29 марта будущего 1916 года, после чего им придется или расформировывать части, или пополнять их численный состав — словом, итти на убыль. Они надеются, однако, сохранить при этом призывной класс 1917 года, как последний резерв до весны 1916 года.

Французская главная квартира не может опасаться прорыва фронта. Опыт наступления в Шампани и Артуа показал, что тактический фронт благодаря артиллерии может быть прорван, но стратегический успех будет без труда парализован тем из противников, который будет иметь в распоряжении сильные резервы.

Те двадцать дивизий, что французам удастся сохранить в распоряжении главнокомандующего, способны парировать удары, но их недостаточно для развития первого успеха. По той же причине и контратаки немцев на участках, не имеющих даже стратегического значения, вызывают у французов удивление. «Зачем, спрашивают они себя, немцы, не располагая сами резервами, несут бесплодные потери?..»

Беспроблемной представлялась, таким образом, обстановка после безрезуль-татного весеннего перехода французов в наступление в Артуа. Англичане все еще медлили, и Западный фронт оказывался неспособным поддержать русские армии, терявшие с каждым днем результаты своих победоносных наступлений первых месяцев войны.

В военные вопросы вмешались дипломаты и после долгих переговоров, по инициативе Делькассо, было решено собрать в июле 1915 года в Шантанье первый военный совет главнокомандующих Франции, Англии, России, Италии, Бельгии и Сербии. В случае невозможности лично присутствовать, главнокомандующим предлагалось прислать своих представителей.

Ставка, повидимому, не придавала значения этому союзническому начинанию, так как лишь только после повторных телеграмм, и моих, и послан-

и получил за два часа до открытия первого заседания разрешение участвовать в совете, «без права принимать какие-либо обязательства в отношении действий русской армии».

Никаких других директив я, разумеется, не получил и вошел в кабинет Жоффра, где происходило совещание, с пустыми руками. Председательствовал Мильеран, предоставивший первое слово французскому главнокомандующему.

— Необходимо установить принцип, — начал Жоффр, — что та из союзных армий, которая в данную минуту выдерживает главный нападок неприятельских сил, имеет право рассчитывать, что остальные союзные армии присоединятся к ней на помощь переходом в энергичное наступление на своих театрах войны. Подобно тому, как в августе и сентябре 1914 года русская армия перешла в наступление в Восточной Пруссии и Галиции, чтобы облегчить положение французской и английской армий, отступавших под напором почти всей германской армии, тынешняя остановка требует таких же действий с со стороны союзников, так как русская армия выдерживает за последние два месяца главный нападок германцев и австрийцев и принуждена временно отступать.

Генерал Жоффр был поддержан фельдмаршалом Фрепчем в необходимости перехода в наступление в ближайшем времени французских и английских сил.

От имени верховного главнокомандующего я выразил благодарность за высказанные главнокомандующими возвышенные чувства и за намерение предпринять наступление, дабы облегчить положение на русском фронте. Я надеялся было этими красивыми фразами отделаться от каких бы то ни было расспросов, но Мильеран со свойственной ему настойчивостью предложил мне высказаться хотя бы в общих чертах о положении русской армии. При полной своей неосведомленности, пришлось вспомнить уроки академического профессора генерала Золотарева, используя все ту же злополучную карту Шюдана. Она выглядела зловеще: отмечавшиеся на ней ежедневно лишения русского фронта образовали громадную черную лавину, неудержимо двигающуюся в восточном направлении. Где она могла задержаться? Да конечно только на тех бесчисленных «лесисто-болотистых» и «речных» преградах, с которыми мы были так хорошо ознакомлены когда-то в академии. У меня находило так, что чем дальше углубляются немцы в нашу страну, тем опаснее становится их положение. Я имел вид ученика, державшего трудный экзамен перед ареопагом строгих профессоров. Только добродушный толстяк Жоффр улыбкой и утвердительными кивками головы выражал как бы свое одобрение. Не обнадеживая союзников возможностью скорой остановки наших отступавших армий, я указал, что развитие операций на Восточном фронте потребует значительного времени, которое союзники должны использовать для нанесения решительного удара на Западном фронте еще до наступления зимы.

Жоффр при этом нахмурился и счел нужным оттенить, что лучше было не употреблять слово «решительный», так как настоящая война приняла такие размеры, при которых самые блестящие успехи не всегда приводят к решительным результатам, и что усилие, которое предстоит сделать союзникам, будет зависеть от средств, предоставленных промышленностью в их распоряжение.

На вопрос Жоффра, будет ли русская армия в состоянии перейти в наступление в том случае, если немцы ослабят свои силы на Восточном фронте, я ответил, что не вправе дать определенных уверений по этому поводу и не знаю планов верховного главнокомандующего.

— А будет ли русская армия достаточно обеспечена материальной частью, чтобы быть в состоянии изменить настоящий ход военных событий? — спросил Мильеран.

Тут уж лекции Золотарева счасти меня не могли, и пришлося ограничиться красноречивыми, но туманными фразами о предприятии в России мобилизации частной промышленности и о надеждах, которые мы возлагаем на материальную помощь союзников.

В результате было постановлено, что французские армии будут продолжать ряд «локализированных действий» и предпримут общую наступательную операцию после пополнения запасов орудий и снарядов и поддержки английской армии, ожидавшей подкрепления в размере шести дивизий. Итальянская же армия будет развивать начатое ею наступление, с которым должны согласоваться действия сербской армии.

Подчеркивание союзниками значения операций этих наиболее слабых союзных армий указывало, что на них-то до поры до времени и возлагаются задачи по сказанию поддержки русскому фронту.

С тяжелым чувством докладывал я о результатах конференции Извольскому. Русской пехоте придется героическими штыковыми контратаками, не поддержаными артиллерией, прикрывать отступление армий.

Минул июль, прошел август, бесконечно тянулись сентябрьские дни, а обещанное наступление союзных армий все откладывалось. Это было новым испытанием нашего терпения — этого важнейшего качества для всякого военного дипломата.

Раздражать французов бесполезными запросами, как того требовало начальство, было, конечно, напрасно. Хотелось лишь верить, что серьезная подготовка наступления позволит на этот раз если не разгромить, то хотя бы серьезно расшатать казавшуюся неодолимой стену немецкой обороны.

Наконец желанный день настал:

«Сегодня, 25 сентября, — телеграфировал я, — французская и английская армии перешли в общее наступление, подготовленное усиленным артиллерийским огнем в течение последних четырех дней. Огонь велся крайне систематично: полевые орудия произвели широкие проходы в проволочных заграждениях первой и второй линий противника. Короткие орудия в 120 и 155 мм разрушили укрепленные опорные пункты. Длинные, тех же калибров, боролись с открытыми авиацией неприятельскими батареями. Мортиры 270, 280 и 370-мм действовали против особенно важных опорных пунктов и, наконец, длинные 14, 16-сантиметровые и 274 и 305-мм произвели разрушение железодорожных линий в тылу противника, прекратив сообщение вдоль фронта в районе Шампани. На

конец сегодня с рассветом артиллерийская подготовка к атаке была закончена огнем танковых 58 и 240-мм мортир. Почти одновременно, около девяти часов утра, пехота союзных армий атаковала:

Первое — англичане в районе между Ла Бассе и Лансом, на фронте в 25 км, силами в 13 дивизий и 900 орудий, из коих 300 крупных калибров.

Второе — французы в районе Арраса, на фронте в 20 км, под начальством генерала Фош, силами в 17 пехотных дивизий, 700 полевых орудий, 380 тяжелых орудий и 7 кавалерийских дивизий, из коих 4 английских.

Третье — французы в районе Шампань, на фронте в 30 км, под начальством генерала Гастельно, силами в 34 пехотных дивизии, 1 400 полевых орудий, 1 100 тяжелых орудий и 7 кавалерийских дивизий.

По последним полученным сведениям (21 час) союзные войска овладели первыми германскими линиями на многих пунктах и продвигаются вперед. Прекрасная до сих пор погода, способствовавшая артиллерийской подготовке, со вчерашнего дня, к сожалению, испортилась. Дождь идет на всем фронте.

Дождь. Неужели это такое необычайное явление природы, что о нем стоило упоминать в докладе, да к тому же телеграфном, о важной военной операции!

Неужели французы такие неженки, что не могут воевать под дождем?

Так, вероятно, рассуждали те мои начальники, от которых за всю войну не удалось добиться получения через башню Эйфеля хотя бы самых кратких, но регулярных метеорологических сводок. Зачем французам требуется для перехода в наступление в Шампани иметь сведения о погоде в Москве или Якутске? Какой шаловливый этот Игнатьев, не дающий покоя своими телеграфными запросами!

Если десять лет назад в Манчжурии сражение на Шахе было приостановлено непрходимой грязью, стеснявшей передвижение артиллерийских батарей и переброску пехотных частей, — то теперь, во Франции, непогода оказывала еще большее влияние на подготовку атаки, лишая возможности использовать для корректирования артиллерийской подготовки новый могущественный фактор — авиацию.

Первые и даже вторые линии германской обороны были прорваны на всех фронтах, но глубина ее потребовала перемены позиций для коротких орудий. Насторожные атаки на отдельных участках еще продолжались, но через десять дней наступление окончательно приостановилось. Цель — прорыв германского фронта — не была достигнута, «отчасти потому, — объяснял я, — что атаки велись против участков, уже ранее атакованных, а также потому, что длительная подготовка не могла возместить потери элемента внезапности».

Некоторым утешением для русской армии могло явиться только обнаружение на французском фронте гвардейского и десятого корпусов, вернувшихся из России в самом плачевном, обтрепанном виде.

Инициатива военных операций оставалась еще в руках немцев, но «моральное превосходство, по мнению французов, уже переходило на сторону союзных армий».

Нам с Нашем сентябрьская операция дала богатейший материал для изучения всех новых тактических приемов, выработанных на опыте французского фронта.

Мы все еще надеялись, что русское командование сумеет сделать выводы из тяжелой летней кампании и примет необходимость не отставать от быстро развивавшихся современных методов войны.

Разве мыслима была еще совсем недавно подготовка атаки трехдневным методическим огнем 1285 полевых и 650 тяжелых орудий на фронте в 32 километра, с расходом 1 320 000 спарядов!

Приходило ли в голову возвращение к тактике Петра Великого, создавшего полковую артиллерию: некоторым французским полкам были впервые приданы 65-мм пушки — предродительницы современных ротных орудий!

Могла ли авиация еще несколько недель тому назад помышлять о вооружении самолетов пушкой, снимавшей без труда излюбленные немцами привязные сигары.

По больше всего поражал нас внешний вид пехоты в стальных касках, устраивавших три четверти всех ранений в голову. Тщетно извивался я этот вид снаряжения нашему командованию, предлагая использовать с этой целью наложенные во Франции изготовление касок. Николай II, которому были демонстрированы высланные мною образцы, нашел, что каска лишает русского солдата воинственного вида. Потребовалась и тут острая телеграфия извещника с Петроградом, чтобы получить разрешение на срочный заказ через французское правительство одного миллиона касок.

* * *

Сентябрьская операция ознаменовала начало конца карьеры Жоффра. Безрезультатные посторонние наступления, связанные с крупными потерями, дали богатую пищу для той закулисной работы, которая велась против главнокомандующего и его окружения некоторыми влиятельными членами парламента. Первоначальной и одной из главных задач их недовольства был уверенный отказ в выдаче парламентарием пропусков не только на фронт, но даже в армию.

Открытое выступление в Палате депутатов в военное время было невозможно, и потому враги решили работать за кулисами. Они нашли для себя надежного сотрудника среди ближайшего окружения главнокомандующего, в лице представителя прессы, депутата Андре Тардье. Жоффр не подозревал, что за его скромным обеденным столом сидит пригретый им преатель и что сентябрьское наступление 1915 года явится предлогом для написания ему первого, а верденская операция 1916 года — последнего удара, уже давно подготовленного соединенными усилиями Тардье и его закадычного друга Мажино.

В звании чехотного сержанта Мажино был серьезно ранен в ногу и, опираясь на палку, тяжело передвигался. Этим он заслужил законное право

критиковать начальство и выдвинуться в председатели военной комиссии на заседания депутатов. Под личиной горячего патриота, отдавшего себя без остатка военному делу, Мажино представлял собой тип испытанного с юных лет политического интригана, считавшего депутатский мандат, а тем более министерский портфель, если не прямым источником крупного личного обогащения, то в любом случае обеспечением привольной парижской жизни: двери богатых ресторанов и объятья красивых женщин должны были открываться перед ним самим собой. Одна уже послевоенная линия Мажино представляла верный способ наживы если не для самого ее создателя, то для всех его многочисленных подруг и друзей.

Мажино был моим старинным знакомым, и потому я несколько не удивился, когда однажды после сентябрьской операции этот рыжий великан позвонил мне по телефону, предлагая позавтракать с ним за просто в ресторане «Вуазен». Не смутили меня также его рассуждения за хорошим стаканом бордоского вина о бесполезности частичных переходов французской армии в наступление. Да меня уже ранее доходили слухи по этому вопросу от тыловых стратегов. Но вдруг неожиданно, после небольшой паузы, Мажино, как бы очищая заранее подготовленные слова, насупил, как обычно, свои густые брови и в унисон с ним спросил:

— А что бы вы, русские, сказали, если бы мы прогнали Жоффра?

Столь непочтительный отзыв о главнокомандующем, у которого я как раз это утро был с докладом, меня покоробил.

— Да ничего не скажем,— резко ответил я, чем совершил обезоружил скавшегося бывшего сержанта, которому, конечно, прекрасно были известны мои отношения с Жоффром.

— Это ваше внутреннее дело,— продолжал я,— и мы в него не вмешиваемся, тут как у вас только и разговоров о Распутине, императрице и Столыпине. Это тоже наши внутренние дела.

— Но, дорогой полковник,— уже с заныивающей улыбкой попытался Мажино возвратить пеудавшися разговор.— Вы говорите со мной как официальное лицо, а я просто хотел узнать ваше личное мнение.

— Что мне еще вам сказать!— начал я.— Единственный человек из ваших генералов, про которого слышали русские солдаты на фронте,— это капитан Жоффр. Его популярность на всех союзнических фронтах громадна. Что касается вашей собственной армии, то, помягите мое слово, если «пропажа», как вы выражаетесь, Жоффра, вы разрушите тем самым его рабочий аппарат,— столь вам нелюбезный Гранд Кю Жэ, то не пройдет и шести месяцев, как вы окажетесь в самом тяжелом положении.

Я почти не ошибся: генерал Жоффр был смешен с должности главнокомандующего 2 декабря 1916 года, а предпринятое его преемником, генералом Нивелем, наступление в феврале 1917 года,— то есть через два месяца,— повлекло за собой столь тяжелые потери, что французские армии оказались почти на краю гибели.

Мекленко, по неумолимо закатывалась звезда Жоффра. Сентябрьское наступление оказалось концом и моей активной работы по освещению, также и прибытием вскоре после этого представителя ставки генерала Железнова изучение даже таких крупных и важных операций, как верленская для нас с Пашем невозможная.

От поездок на фронт у меня остались, как дорогое воспоминание, два эсколка немецкого снаряда, угодившие в крыло и в покрышку моего рольс-рояса, заменившего в этой войне верного старого манчжурского Ваську.

Неужели, думалось не раз, вся моя работа в Гран Бю Жэ окажется не только неоцененной, но и бесполезной для России?

Глава десятая

НАЧАЛЬНИКИ И ПОМОЩНИКИ

Долгие годы, проведенные за границей, хотя и не оторвали меня от моей матери-родины, но несомненно скрыли от меня многое из русской действительности.

В мирное время я поставил себе за правило, всеми чинами и привилегиями, добиваться разрешения пытать русским воздухом по крайней мере раз в год: явиться и получить указания начальства на Дворцовой площади отбывать и посидеть за стаканом вина в родном полку на Захарьевской, пастить семью в Чертолине и с крыльца отчего дома потолковать со смердянскими и карповскими крестьянами, заехать по дороге в Белокаменную поклониться древнему Кремлю и за ботвиньей в «Славянском Базаре» наслаждаться московских «дворянских сплетен».

Эта возможность отдала для меня с первого дня войны, и пришлось жить на тех запасах мыслей и чувств, что были накоплены с детства воспитанием и службой в русской армии.

Если после русско-японской войны можно было, поругивая за глаза высокое начальство, строить планы о необходимых реформах, то в мировую войну на мою долю выходило уже сгорать не раз от стыда не только за своих начальников, но и за некоторых ближайших помощников. Трудно бывало вспоминать иностранцам старую военную мудрость «не сущи о гарнизоне по первому встречному плохо одетому барабанщику». Еще труднее, бывало, убедить соотечественников, что многое из того, с чем можно было мириться у себя дома, нельзя было выносить на суды и пересуды союзников.

Первым русским высоким гостем, посланием самого царя во Францию явился свиты его величества генерал-майор князь Юсупов граф Сумароков-Эльстон. Соединение в одном лице двух титулов и трех фамилий объяснялось очень просто: у последнего из рода князей Юсуповых, прелку которого Пушкин посвятил стихотворение «Вельможа», была единственная дочь — наследница, между прочим, и великолепного подмосковного имения «Архангельское». Она была не столь красива, сколь прелестна с седеющими с ранних лет волосами, обрамлявшими лицо, озаренное лучистыми серыми глазами, словом она была такой, какой изображена на знаменитом портрете Серова.

В молодости княжна «вывезжала в свет», то есть танцевала на всех петербургских балах высшего общества. Все ее товарки давно повыходили замуж, по красивой клятве никто не смел предложить: богатыми невестами, конечно, не брезгали, но Юсупова была уже настолько богата что гвардейцы даже самые знатные опасались предлагать ей руку из боязни зачинать себя браком по расчету. Каким-то друзьям удалось, наконец, убе-

зть одного из кавалергардских офицеров, хоть и недалекого, но богатого и привившего уже двойную фамилию Сумароков-Эльстон, жениться на Юсуновой.

Неглупая и очаровательная супруга сделала карьеру этого заурядного гардемара, но ума, конечно, ей придать не смогла.

На этот раз миссия, возложенная на Юсунова, была, правда, не очень ясна: он должен был вручить Жоффру за победу на Марне высшую русскую боевую награду — Георгиевский крест 2-й степени (Георгия 1-й степени — ленту через плечо имели в свое время только два фельдмаршала: Турку и великий князь Михаил Николаевич).

Жоффр, узнав от меня об этой награде, был крайне польщен и решил придать встрече посланца царя возможно более интимный характер. Он знал, конечно, что деловых разговоров иметь с Юсуповым не придется, и потому решил привести его из Парижа в Гран-Кю-Жэ прямо к завтраку, ровно в полдень. Этот священный для французов час соблюдался, между прочим, и на войне: от двенадцати до двух на фронте заключалось как бы негласное перемирие, и пушики с обеих сторон переставали стрелять.

Зная, насколько скромен стол главнокомандующего, я посоветовал майору Гузелье обратить особое внимание на меню завтрака и качество вин, до которых, как мне было известно, Юсупов был большой охотник.

Выйдя в назначенный час к Юсупову в кабинет Жоффра, я не счел себя вправе, как обычно, представлять соотечественника: больше уж он был знатным, и потому предоставил слово самому представителю царя. Но мой план не удался: Жоффр стоял посреди комнаты, ожидая, как это подобает военному, какого-то приветствия со стороны прибывшего младшего его в чине, а Юсупов тоже молчал, рассчитывая, что Жоффр обязан первым расстывать перед ним в любезностях. После неприятной заминки Юсупов что-то пробормотал и передал Жоффру коробку с срепом, а тот произнес заранее составленный комлимент по адресу русской армии, чем считал официальную часть оконченной. Но не тут-то было. Юсупов захотел не только объяснять правило ношения ордена, но и лично воздеть на шею неуклюжего толстяка Жоффра белый крест на черно-желтой ленте. Это оказалось не так просто сделать. По французскому обычанию шейные кресты в минуту их получения завязывались для ускорения поверх мундира, а Юсупов не хотел этого признавать и пытался, чтобы глашатайкающий снял при нем мундир. Тот не соглашался предстать в пиджаках, вероятно из первой ювенилии, перед разодетым генералом, и позвал из поместья дежурного ординарца. Юсупов, однако, все унимался и полез сам завязывать ленту под расстегнутый наполовину мундир покривившего от конфузу старика. Я, вероятно, тоже покрасил, но укротить «что сиятельство» не мог.

Облегчению вздохнув, перешли мы, пажонец, в соседнюю крохотную комнату столовую, где был накрыт стол на шесть куветов. Начался завтрак, продолжалась беседа или, точнее, монолог Юсупова, не прекращавшийся в течение трех мучительных часов.

— Надо, чтобы вы знали — хвастливо врал Юсупов, — что такое георгиевский крест. Я, например, обвязал госпиталь и прикальплю на грудь всех солдат или георгиевский крест, или медаль.

«Неважная награда», — мог подумать Жоффр, не зная различия между

«офицерским георгиевским крестом и солдатским «сокорием», то есть «знаком отличия военного ордена».

Сидевший направо от меня Целле снисходительно улыбнулся, а Жоффр, заправив за воротник салфетку, усерднее стал пожирать устрицы. Он всегда отличался хорошим аппетитом.

— Главным нашим несчастием является немецкое засилье. Представьте, мой генерал,— продолжал тараторить Юсупов на петербургском, то есть полуграмотном французском языке высшего общества.— В Москве, например, уж это кажется русский город,— наш офицер не может себе купить бинокля. Хозяева магазинов — немцы запрятали товары и не хотят их продавать!

Целле перестал улыбаться, а Жоффр, обтерев салфеткой свою пышные седые усы, не удержался и сочувственно изрек:

— Се n'est pas possible! (Не может быть!)

Когда после поездки во Францию Юсупов был назначен генерал-губернатором в Москву, то произошли погромы магазинов на Кузнецком мосту: меня не удивили. Они уже в Шантанье представлялись мне неизбежными.

— А кроме того, большинством несчастием для нашей армии являются интендантсы, — неизвестно почему избрал подобную новую тему уже слегка раскрасневшийся царский представитель; он уже который раз нарушил установленный обеденный ритуал и требовал от денщика Жоффра подливать себе в стакан только красного вина: другого он не призывал.

— Русские солдаты имеют вот какие ноги,— показал он широким жестом обеих рук,— а интендантство поставляет вот какие малюсенькие сапоги.

Жоффр сделал вид, что не слышал, Целле тоже уставился и тарелку, не зато сидевший налево от меня злозычный Тардье, давно тяжкавший мою шею под столом, на этот раз не выдержал, и нагнувшись, шепнул мне на ухо:

— Правда исходит из уст младенцев, это ведь совсем не то, что вы нам рассказываете.

Юсупов, заметив, вероятно, что на военные темы французы не реагируют, перешел на пуховые, и попал уже такую сложную белиберду про «интриги» не то ярославского, не то вологодского архиерея, что я сам разобраться в них не мог, мысленно заткнув уши и южная конца пытки.

Перед подачей кофе денщики по общесустановленному обычанию стали постепенно прибирать всю посуду со стола, шо Юсупов категорически запретировал.

— Оставьте мой стакан, оставьте,— повторял он, удерживая рукой очередной поданный стакан красного вина. Тут уже сам Жоффр встутился и приказал не только не убирать, но продолжать подливать вина русскому гостю...

Короткий зимний день уже склонился к вечеру, когда, выйдя из-за стола и распростиившись с хозяином, я собирался уезжать ужо побагровевшего генерала в Париж. Но и это не удалось.

— Игнатьев, па фронт! Везите меня па фронт! Вы вот тут тыловые не знаете, что такое фронт! — и, перейдя на русский язык, он стал разговаривать со мной уже тем начальническим тоном, каким привык говорить с офицерами, не имеющими чести посчитать, как он сам, кавалергардский мундир. Французы могли только подозревать, что генерал чем-то крайне недоволен и сочувственно пожимал член руку, оформляя разрешение для поездки на выбранный по их совету ближайший боевой участок.

Для того чтобы только до него доехать, требовалось не менее двух-трех часов и терять бесцельно драгоценное для меня время на полуночного генерала казалось нестерпимым.

Как я и предупреждал, мы подъехали к тыловому ходу сообщений в полной темноте. Густой холодный туман спустился на Комицкий лес, участок был спокойный, но громкий разговор на передовых линиях был воспрещен. Для курения требовалось спускаться в убежище.

— Трусы! — негодовал Юсупов, не выпускающий из рта папиросы. Его уже совсем развезло, и, останавливаясь через каждые сто шагов, он негодовал, что его не доставили на машине ближе к переднему краю. На конец за одним из поворотов хода сообщений мы встретили бравого бородатого зуава в феске и широчайших красных шароварах. Это был хороший предлог остановиться и предложить зуаву папиросу из никарийского золотого мортсигара с золотым бриллиантовым вензелем, но часовой любезно отказался.

Траппинги становились все глубже и темнее, а его сиятельство все ворчливе.

— Где же, чаконец, стрелковые цепи? Где разрывы? — мучил он меня вопросами. Объяснять, что в окопах выступаются только наблюдатели, не стоило, и я почувствовал истинное облегчение, спустившись, чаконец, в ближайшую глубокую офицерскую землянку: тут уж князь мог накуриться вволю и вдоволь помочить рассказами о российских портах совершившего растерявшегося французского капитана, проведшего жизнь между южной базарной и жаркой африканской пустыней.

Посещение фронта было эпизодом, но почетного гостя довезти до Парижа мне все же не удалось: проезжая через какую-то деревушку и узнав, что золотый фонарик обозначает штаб кавалерийской дивизии, князь вышел из спинны и заявил познакомому генералу, что он сам кавалерист и желает за этот оснований у него переночевать.

Я просто махнул рукой, к тому же меня в Париже скдали срочные и гораздо более важные дела.

Казалось бы, что практика мирного времени должна была меня приучить к сатрапиям повадкам Юсуповых и Романовых за границей, но понимание ими истинного смысла войны еще более углубило пропасть между ними и сим скромным военным французским миром, с которым я сроднился, по которому они никак понять не могли.

★ ★ *

Война явилась пересечкой многих ценностей. Этой судьбы не избежала и франко-русская дружба: «братья и союзники» решили, что наступил удобный момент использовать союзные отношения для личной денежной и служебной выгоды.

Начало этого нового рода деятельности было положено в Бордо, а инициатором был не кто другой, как Озиобинин. Чувствуя, что его проекты не претят сочувствия с моей стороны, он нашел себе союзника в лице жены Петра, — госпожи Извольской. Как всякая лютеранка, она, кроме пения по воскресным дням соответствующих псалмов, была обязана «делать добрые дела» и никому, например, не отказывать в рекомендации. Этим не замедлили воспользоваться не только укрывшиеся в тылу французские шалопти, но и

искротьные опасные авантюристы. Несол знал эту слабость своей супруги и предупредил меня:

— Если кто-нибудь явится к вам с рекомендательной карточкой моей жены, я заранее прошу вас, польщите, во всем ей отказать!

На Озюбишина Извольский уже давно махнул рукой, и мой помощник мог беспрепятственно воспитывать симпатичных ему французов в духе франко-русской дружбы, как он всегда ее понимал. Еще задолго до создания в России прославленных «земгусаров», он облачил в военную форму сыновей богатых родителей, владетелей роскошных лимузинов и образовал из них две «русские санитарные автомобильные колонны», просив для них, конечно за моей кличкой, высокое покровительство самой императрицы. Наконец для всяческой важности во главе колонн были поставлены два русских штатских приятеля Озюбишина, хорошо говорившие по-французски и переодетые в какую-то фантастическую полувоенную форму с царскими коронами на золотых ногах.

Вот каким образом под русским флагом был создан очаг самого беззастенчивого укрывательства, дурная слава которого не замедлила докатиться и самого Гран Кю Жэ. Под благовидным предлогом пришлося это «добровое начинание» ликвидировать, а наиболее наглых из молотчиков познакомить с менее привольной жизнью во французских окопах.

☆ ☆ ☆

Едва я успел потушить скандал в юденах Озюбишина, как меня ожидал новый сюрприз, и на этот раз уже от моего ближайшего подчиненного интендант-ротмистра Шагубатова, присланного в мое распоряжение еще в мирные времена.

Звоню я как-то раз Озюбишину в Париж и прошу прислать мне срочно в Шантильи одну нужную бумагу. Он предлагает использовать для этого несложного дела Шагубатова, я не возражаю, и через два часа этот мнящий себя красавцем улан, вздев на себя боевые ремни, табло и револьвер, прилетает ко мне в Гран Кю Жэ.

Передав чакет, он просит разрешения на обратном пути заехать «на оде только часечек» в знакомый замок, наименуя визит молодой герцогине Граммон. Запрещать что-либо без уверенности, что приказ будет исполнен было не в моих правилах, а потому, не имея времени заниматься перевоспитанием незадачливого ловеласа, я согласился и тут же, признаться, про не забыл. Однако не надо: уже на следующее утро, направляясь в помещение штаба, я встретил мчавшийся по направлению к Парижу какой-то допотопный открытый автомобильчик; в нем восседал мой собственный помощник а рядом с ним держал в руках уланскую саблю усатый французский жандар Сомнений не оставалось — Шагубатов был арестован.

В Гран Кю Жэ Дююп, снисходительно улыбаясь, посвятил меня немедленно в дело, а отпущеный по моему ходатайству на свободу Шагубатов, в тот же вечер, с возмутительным спокойствием дополнил мне в парижской канцелярии всю картину произошедшего. Оказалось, что в Шантильи он мне врал и визит к Граммонам выбрал только как предлог для проезда на первые линии фронта. Ему хотелось просто похвастать подобным «подвигом» перед великосветскими героями парижского тыла.

По выезде из Шантаны он приказал тому самому шефу, что вывозил его когда-то из Парижа в Бордо, ехать на этот раз не на запад, а в сторону Гемпса, — на восток.

Карты, как всегда у Шагубатова, не было, а потому, сбиваясь постоянно с дороги, он лишь в полной темноте добирался до передовых линий. Никто по первому не смел задерживать «помощника русского военного агента», так было указано на специальном пропуске в зону армий, полученным Шагубатовым для поездки в Гран-Кю-Жю.

И вот он в окопах. Но темному ходу сообщений его проводят в убежище этого капитана, который в первую минуту сражен и погибен визитом этого высокого гостя. Его надо угостить, и несколько офицеров, собравшихся в ужину в землянку, посыпают зерно за шампанским, чтобы выпить за здоровье храброй русской армии. Они с любопытством рассматривают ее предметы оружия и засыпают его вопросами, но ответы Шагубатова изводят старшего капитана на более чем странные размышления.

— Скажите, — спрашивает он Шагубатова, — сколько орудий в вашей первой батарее?

— Восемь! — с аллюром отвечает помощник русского военного агента, подозревая, что всякому французскому офицеру известно о переформировании русских восемьорудийных в шестнадцатирудийные батареи.

— А сколько пушек приходится у вас на батальон?

— Хорошо не зомбю, — бормочет Шагубатов, — но достаточно.

Не может быть! — думает про себя французский капитан, — чтобы русский офицер, да еще военный атташе, не знал бы организации собственной армии. Не самозванец ли этот лицемерный молодой человек с заискивающим листьям взглядом и напущенной серьезностью? Проверить бы его документы!

— Но как же вам удалось пробраться к нам? — неожиданно задает напыщенный вопрос французский капитан.

— А вот мое разрешение, — не смущаясь отвечает Шагубатов, вынимая из внутреннего кармана походного кителя папкарийский бумажник.

— Ах, какой красивый, позвольте полюбоваться, — и француз, потерявшись в продолжая беседу, начинает рассматривать содержимое бумажника.

— Говорят вот, что револьверы у вас хороши. Может, вы скажете, какой они системы?

В ответ Шагубатов, желая похвастаться своим оружием, вынимает пистолет из кобуры и передает его через стол хозяину землянки.

— К великому моему сожалению, — скончайно положив руку на револьвер, — вы являетесь своей приговор француз, — я вынужден вас арестовать!

Напрасны были слезливые протесты потуившего глаза Шагубатова: взмешен объяснений капитан вынул из его бумажника и молча показал приступающим фотографию, изображавшую германского офицера в парадной форме, в каске и при всех орденах.

— Это портрет возлюбленного однажды моей возлюбленной, мадемузели Мерлен д'Англоман, — бормочет Шагубатов. Этот человек состоял перед войной секретарем германского посольства в Париже и, уезжая, оставил ~~на~~ намяту карточку, а мадемузель, опасаясь подозрений со стороны французской полиции, прошила меня ее сберечь.

— Ну, прости, сударь, — возмущаясь капитан (за военного он Шагуба

това уже не считал), — я не в силах поверить вашим объяснениям. Во всей французской армии не найдется офицера, который бы согласился принять на себя от женщины подобное унизительное поручение.

Си обезоружил плачущего, как баба, Шагубатова и пригласил его привести почту на скамье, грелась у каминса, под надзором часового, поставленного у входа в землянку. К утру донесение ротного командира успело уже пробежать по телефонным проводам по всей воходящей штабной лестнице до кабинета самого Дюпона.

Шагубатова я откомандировал в Россию, но аттестация с описанием его «подвигов» на французском фронте послужила только к его возвеличению в Петрограде: Ланглая как приятную для меня новость сообщил, что Шагубатов катается по Невскому и состоит адъютантом при одном из великих князей.

★ ★ *

И все же, несмотря на диссонанс, нараставший с каждым днем в моих отношениях с Петроградом и сильными мира сего, мне удавалось, не имея даже дисциплинарной власти, ликвидировать самолично все возникавшие с французами трения и недоразумения, опираясь на авторитет старшего военного представителя русской армии. Вот почему уже само известие о прибытии во Францию полномочного представителя верховного главнокомандующего меня немало смущило. Как бы это не повело к самому опасному врагу всякой работы и всякой дисциплины — двоевластию.

Впрочем, эти соображения отходили на второй план, самый выбор парем своего представителя вызывал недоумение. Трудно было найти для Франции менее подходящего генерала, чем Жилинский. Его, как главнокомандующего Варшавским фронтом, союзники не без основания считали главным виновником гибели армии Самсонова, а у Жоффра о нем сохранились, кроме того, неприятные воспоминания от последнего предвоенного совещания начальников генеральных штабов в Петербурге.

— Чего порядочного можно ждать от республиканского режима? — говорил мне в свою очередь не раз Жилинский. — Все что есть хорошего во Франции, было создано при королях!

Таких недоступных сухарей, кичившихся своими чинами и положением, как Жилинский, среди наших генералов встречалось немногого. Чем бы его ублажить, как встретить, а главное, как примирить с «монастырским уставом» Гран Кю Жэ?

— Выставьте на пристани в Булои почетный караул со знаменем, разведите русский гимн, выпустите при мне представителя Жоффра в чине не ниже генерала, реквизируйте не меньше, не больше, как замок самого Ротшильда, в двух километрах от Шантаньи, подыщите лучшего повара в Париже, обеспечьте не таким столом, каким мы тут с вами довольствуемся, а самым изысканным, с лучшими винами, — учил я мало тароватых и непривыкших к русскому хлебобытству своих французских друзей. Все было выполнено мною, как по ~~пам~~там, по приказаню Жилинским, только как должное, с подобающим на это взгляд величественным достоинством.

— А деньги для меня переведены? — был одним из первых обращений им ко мне вопросов.

— Прикажу своему счетному отделу немедленно выписать положенные ваму высокопревосходительству суточные, столовые и жалование. Когда же прикажете доставить?

— Нет, уж я вас попрошу лично доставлять мне деньги в гостиницу «Континенталь». Я занял там постоянный номер, так как сидеть безвыездно в Шантанье не собираюсь,— отдал мне приказ Жилинский, подчеркивая этим подчиненное положение. Оно, впрочем, было уже установлено телеграммой, извещавшей меня о его приезде.

Во время пребывания генерала Жилинского при французской армии выходите в подчинении его высокопревосходительства и должны сообразовать он действия и доиссения по всем вопросам, кроме заказов, с его указаниями»

— Виноват, ваше высокопревосходительство, с непривычки,— извинился подбирая с пушинского ковра в раззолоченном салоне «Континентала» серебряные и медные французские сантимы. Они как бы парочно выпали из привезенного мною конверта с деньгами.

Жилинский пересчитывал, как хороший кассир, светлолиловые стодранковые билеты, но, стараясь изежливости притти мне на помощь, прервал это занятие и тоже наклонился. Он понял.

— Можете присыпать на следующий раз жалование с одним из ваших французских офицериков, только знайте,— офицера с выпривкой.

Не иначе как с бравым красавцем Тессье, с его кирасирской каской и даже с налаждом,— заранее решил я. Холодного оружия никто, между прочим, в время войны во Франции не посыпал, что тоже беспокоило Жилинского.

Перемену передачи жалованья мне захотелось использовать для установления распорядка работы в Гранд-Кю Жэ,— вопроса, которого Жилинский всячески старался избежать. Сам он, разумеется, ничем заниматься не собирался привез с собой только личного адъютанта, сыночка своего старого полкового старшина Панчулидзе. Кто же будет поддерживать связь с французами про? — спрашивали мы себя с Нацием, и в конце концов решили рекомендовать Жилинскому задержать при себе командированного в Париж полковника Гиненко. Последний, как это часто случается в подобных случаях, оказался отношению ко мне, вероятно из зависти, большим врагом.

Одно лишь удалось уберечь от всей перебрихи, вызванной появлением в Гранд-Кю Жэ вместо одного — двух русских органов: ничто не могло помешать посыпать в Россию ежедневные телеграммы со сведениями о противнике.

Основной причиной командирования Жилинского явилась вторая международная конференция главнокомандующих, собравшихся в Шантанье 5 декабря 1915 года после длительных политических переговоров. Ставка, на раз, сама находила необходимым обсуждение между союзниками текущих вопросов, намечая для этой цели Лондон. Асквит предлагал даже учредить постоянную организацию, которой подлежали бы не только военный и дипломатические, но и политические вопросы. Бриан считал, что достаточно собирать периодические совещания. Наконец все согласились, что после безрезультатного сентябрьского наступления на французском фронте и стабилизации на великий срок русского фронта, надо было найти выход из создавшегося безотвратного положения, используя, например, уже созданный к тому времени, если еще и очень слабый, Салоникский фронт.

После перехода на сторону немцев Болгарии и разгрома пре-

восходящими германо-австро-болгарскими силами доблестной сербской армии,— Балканский театр приобрел особое значение. Союзникам хотелось привлечь на свою сторону во что бы то ни стало Румынию и через нее подать руку русской армии. Однако взгляды в этом вопросе резко расходились.

Французы, воспитанные на наполеоновской стратегии, считали, что война может быть выиграна только после разгрома главного противника и на кратчайшем стратегическом направлении.

— Все силы против Германии, а об австрийцах поговорим, когда вы будете в Берлине,— давал мне советы в начале войны Мессимье. К тому же французы опасались присутствие немцев у самых ворот Парижа и при этом мне известной узости политических горизонтов, долгое время не были склонны уделять свои силы на Салоникский фронт. Сентябрь их изменил, и Жоффр стал прислушиваться к мнению Алексеева, считавшего, что при борьбе с германской удар надо направлять против слабого противника в тем, чтобы отвлечь его от более сильного. В конце концов и Россия и Франция были склонны к развитию операций на Салоникском фронте, не рассчитывая даже заботиться за содействие Италии, хотя аппетиты ее на Балканском полуострове им были хорошо известны.

Не так смотрела на этот вопрос Англия, привыкшая простирать свои интересы не на один какой-нибудь театр войны. Это линий раз воутвердила последняя моя беседа с лордом Китченером, возвращавшись осенью 1915 года из своей инспекционной поездки на Восток. Извинимому, наши лондонские зиоры об американском рынке не были им забыты, и прежде через Париж он неожиданно вызвал меня в английское засольство.

— Скажите,— с обычной прямотой спросил меня маришал,— зачем вы нападобился Салоникский фронт? Я твердо решил отозвать наши войска с Балканского полуострова с тем, чтобы развить наступление из Египта против Германии.

— По примеру Монселя через Черное море,— улыбнулся я.— Как бы мне не хотелось быть вам приятным, милорд, но полагаю, что эти ходждения не пустыни, позанятые противником, особого интереса для нас представлять не могут.

— Опять станем спорить,— полуутильно замял разговор Китченер и стал расспрашивать, насколько я удовлетворен материальной помощью союзнико-России.

Недобные противоречия между союзниками во взглядах на Салоникский фронт не предвещали больших результатов от предстоящей конференции, за которой должен был выступить Жилинский.

Он наизути приказал мне на нее не появляться, но вместе с тем и отлучаться из Шантильи на случай, если ему понадобятся какие-либо спрахи. В последнюю минуту он, однако, позвонил мне по телефону и сухо заявил: — Жоффр хочет, чтобы вы немедленно присутствовали. И приходите немедленно.

В одном из кабинетов Гран-Кю я снова застал знакомую картию конференции с той разницей, что она носила вполне военный характер: вместо Мильерана председательствовал Жоффр. Направо от него сидел маришал Френ со своими, как обычно, многочисленными сотрудниками, а напротив — Жилинский, к которому я и подсел, раскапавшись на ходу со всеми собравшимися.

Не успел Жоффр закончить свою довольно пространную речь, как Жилинский, вскочивший ко мне, на ухо прошипел:

— Скажите этому хаму, сидящему против меня, чтобы он сел пристально.

— Ваше высоконравоходительство, это же сам начальник штаба английской армии, генерал-лейтенант Викторсон, я не имею права делать ему замечаний.

Между тем мой английский приятель, заскучавший высоко ложу за ложу и сдеревший рукой подбородок, не подозревал, конечно, что своей обычной физой может помешать почтенному русскому коллеге обсуждать вопросы государственной важности.

Телеграммы с отчетом об этой конференции Жилинский, как обычно, мне показал, чем, быть может, объясняется отсутствие какого-либо о ней следа в моем отчете, так и в моей памяти.

Мне, впрочем, уже давно стало очевидным, что в моей работе пользу для Франции можно извлечь только из совещаний о материальном снабжении и распределении между союзниками запасов мирового сырья. Недобных случаев пропускать не следовало, и потому было очень досадно не получить приглашения и на следующую международную конференцию в париже 27 марта 1916 года.

В раззолоченных залах Еэ д'Орэ собрались за этот раз такие люди, как председательствующий Бриан, Жоффр, Альбер Тома, Аспит, Грей, Ллойд-Бокртж, Китченер, Саландра, Титони, Гадорна, Иашин. Представителями России были назначены только Извольский, Жилинский и как технический представник, советник посольства, Севастопуло.

Все, кроме русских, имели при себе, между прочим, заранее составленные программы и требования по снабжению.

Мартовская конференция оказалась самой грандиозной за все время войны. Правда, и момент был решающий: сама «Марна» поблекла перед величием многострадальной и в конечном счете победоносной для французов борьбы за Верден. Их армия была обескровлена, но и немцы потеряли в этой авантуре большую часть своей боеспособности. Несмотря на мобилизацию промышленных ресурсов Франции и даже Англии,— центральные европейские державы сохранили еще свое превосходство в технике и особенно в тяжелой артиллерии.

Во Франции к тому времени зазвучал бархатистый бас ее любимого оратора, Аристида Бриана, того самого Брэана, которого Клемансо характеризовал как «человека, ничего не знающего, но все понимающего». Новый представитель совета министров высокий, елегка горбившийся брюнет с грибной седеющей волос и пышными опущенными вниз густыми усами, благодаря чисто французской тональности ума и умению изящно выражать свою мысль, был рожден дипломатом.

— Я знаю жизнь, меня ничем не удивить! — говорили за него изображенные глубокими складками красивые черты его лица.

«L'enfer est pavé de meilleures intentions» (Лад вымощен наилучшими намерениями),— говорят французы, и Бриан, равно как его английский союзник, пылкий Ллойд-Джордж, главные инициаторы мартовской конференции, верили, что можно еще добиться объединения высшего руководства военными операциями на различных фронтах мировой войны.

Они давно уже осознали также, что в общем деле эгоизм — плохой советник, что Англии и Франции необходимо поступиться собственными материальны-

ными ресурсами в пользу союзников, в первую очередь русской армии. К нашим солдатам они оба питали неизменно высокое уважение и были мне этим особенно симпатичны.

Я нередко задавал себе вопрос: с кем лучше иметь дело, с высокими начальниками, полными добрых намерений, или с исполнителями, искающими в дебрях канцелярской волокиты полученные ими директивы? Во всяком случае, будучи отстранен от участия в конференции и зная о ее программе, но от своих начальников, а через своих французских друзей, я надеялся, что такие бы решения ни были приняты, их всегда удастся изменить при сохранении добрых отношений с чиновниками,двигающими громоздкую машину французского министерства вооружений.

В самый день конференции я, таким образом, спокойно сидел за разбором мицной почты в своей парижской канцелярии, но около полудня Тессье взволнованно доложил, что меня просит к телефону не раньше не меньше, как сам председатель совета министров. Я сразу узпал бархатистый бас Аристида:

— Я прошу вас, полковник, простить нас за произошедшее недоразумение и сделать мне лично большое одолжение, согласившись приехать к нам на завтрак, запросто, без церемоний, как вы есть!

Через десять минут я входил по парадной лестнице в министерство иностранных дел и не без удивления увидел на верхней площадке ожидавшего меня Бриана с вечной пузатухающей папиросой в зубах. Со свойственной ему распашностью он стал мне жать не одну, а обе руки:

— Кого вы нам прислали? В какое положение нас поставил ваш генерал перед лицом всей конференции? Он громогласно заявил, что ружья, которыми итальянцы вам уступили, ни к черту не годны. Вы один можете уладить этот инцидент, и я приказал оставить вам место за завтраком между итальянским главнокомандующим Бадорна и начальником их военного снабжения, генералом Жалолио.

И с этими словами Бриан ввел меня в давно мне знакомую *salle de l'Horloge* (зал с часами), где стал представлять тем высоким членам конференции, как, например, Асквиту и Пачичу, с которыми мне до того времени не приходилось встречаться.

Я поздоровался и с Извольским, по Жилинского в зале уже не было. Я стал его искать и нашел задумчиво шагающим в полном одиночестве по отдаленному залу биллиардной.

— А, здравствуйте, — как обычно с высоты своего величия приветствовал и меня. — Вы знаете, между прочим, что вы избраны членом комиссии по наблюдению. Ну и наложил же я им!

— Кому, ваше высокопревосходительство? — скрывая свою беседу с Брианом, спросил я.

— Да этим подлецам итальянцам, — и он повторил уже мне известные подробности об уступке ружей.

Завтрак, как помнится, был столь же вкусен, как сладки были мои беседы с нашими новоиспеченными союзниками, а последовавшее вслед за этим заседание с Ллойд-Джорджем и Альбером Тома несло, как всегда, хоть и дежевой, но не язвенный юмора характер.

— Ну, знаете, — сказал, между прочим, Ллойд-Джордж, — всяких аргументов наслушался я от нашего русского коллеги, но его мотивировка об исключ-

шательной важности для России алюминия, как средства борьбы с бездорожьем и западной распутней, доказывает его изобретательность и пане невозможество!

В действительности, стремясь выторговать несколько лишних тысяч тонн этого драгоценного в то время металла, я указал на необходимость ввиду бездорожья всячески облегчать снаряжение нашего пехотинца, заменяя например чугуеные медные котелки, принятые за границей, алюминиевыми.

— Отказывать Игнатьеву очень трудно, — добавил Ллойд-Джордж, — я только выражаю некоторое опасение — достаточно ли серьезно при обсуждении потребностей России он относится к священным обязательствам переводчика между мною и моим уважаемым коллегой Альбером Тома.

Умом Россию не понять,
Армию общим не измерить,
У неё особенность стать,—
В Россию можно только верить.

(Тютчев)

Кому действительно из высоких участников парижской конференции могло прийти в голову, что именно та армия, которая больше других нуждалась в материальной поддержке, моральные силы которой должны были быть глубоко потрясены тяжелым отступлением 1915 года, она-то первая и перейдет в наступление и еще раз поддержит славу своих старых знамен. Что летом кампания 1916 года на русском фронте не только заставит немцев окончательно отказаться от Вердена, но и вынудит их к переброске своих дивизий на поддержку деморализованных австрийских армий! А это, в свою очередь, облегчит французам прорыв германского фронта на Сомме.

Вот какое влияние на ход мировой войны имел тот переход в наступление войск нашего Юго-Западного Фронта, о котором, как всегда, ранее получения служебных телеграмм, я прочел на страницах всех парижских газет от 6 июня 1916 года.

«Русские прорвали австрийский фронт в нескольких местах на протяжении 350 километров, они перешли границу, форсировали линию реки Серет, они двигаются на Львов, они взяли сто тысяч, триста тысяч, в конечном счете 420 000 пленных и 600 орудий».

Радостные вести с родины следовали одна за другой, поддерживая дух французского народа, уже истомленного длительной войной.

Недолюбливали наши цари воаждей, выдвигавшихся в народные герои. Надо было великим, как Петр I, или столь неглупой женщиною, как Екатерина II, чтобы возвеличивать имена достойных русских полководцев и государевых мужей без опасения затмить собственную славу.

Не по плечу было Навлу I переносить славу Суворова, не по душе был Александру I Кутузов, не мог перенести и Александр II популярности выдвинувшегося в русско-турецкую войну «белого генерала» Михаила Скобелева.

Вероятно, по тем же причинам имя Брусилова прогремело во Франции раньше и сильнее, чем при русском дворе.

Подобно любящей жене, продолжающей видеть в седовласом старце все того же юношу, каким она знала своего мужа при первой встрече, для меня

Алексей Алексеевич Брусилов представлялся все тем же щупленьким полковником с тоненькими усиками стрелкой, в армейском зеленом сюртуке с красным воротником, каким я встретил его в кавалергардском манеже на первом уроке верховой езды у Фитисса.

Я был тогда безусым гвардейским капретом, а он скромным и уже немолодым полковником, помощником начальника Офицерской кавалерийской школы, которой в те времена решко кто интересовался. Она была не в моде, выезжали там кое-какие по-старинке, и самому Николаю Николаевичу — генерал-инспектору кавалерии не сразу удалось перестроить школу по-новому, выдвинув в ее начальники Брусилова.

— Мы дружески, — говорил завистники Брусилова, — что он усердный работник, что ей не погнулся переручиться на старости лет верховой езде в этой смене с молодежью по какой-то «фантастической» системе (Фитисса), что поддержаный «лукавым», он воспитал в кавалерийской школе целое поколение лохих кавалерийских начальников, что в конце концов он мог даже быть терпим, как начальник 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, хотя конечно от строя отстал. Но как могли ему дать пехотный корпус, — сделать помощником начальника Варшавского военного округа!?

На деле же оказалось, что Брусилов, являвший пример русского офицер-труженика, хотя и не окончил Академию генерального штаба, но под тихими сводами старых аракчеевских казарм на Шиллерной, изучил все стороны военное дело, что и доказал столь блестяще на сурвом экзамене первой мировой войны.

Как жаль, что пришлось столь мало служить под начальством Брусилова! Быть может, и он помнил добрым словом своего бывшего подчиненного, пробивая вражескую оборону фугасными гранатами, успевшими в это время прибыть на Юго-Западный фронт из далекой Франции! Мне же из ста восемьдесят лет суждено было только поклониться свежей могиле этого образцового офицера на родной земле, которую он так любил.

* * *

Как бы ни старались союзники быть объективными в оценке операций на русском фронте, они не могли учесть того значения, которое обнаружила виновность бесстрастная история. Брусиловское наступление, казавшееся французам только блестящей операцией местного значения, не только внесло смятение в умы верховного немецкого командования, но и нарушило его планы дальнейшего наступления на Верден. К сожалению, ненаддержанная остатками фронтами эта блестящая наступательная операция не получила дальнейшего развития.

Силою девяти дивизий, из коих четыре (3-я резервная гвардейская, 215-я 53-я и 7-я кав. дивизии) были переброшены с французского фронта и пять (92-я, 93-я, 202-я, 205-я и 224-я) вновь сформированы — немецкому командованию удалось восстановить положение в Галиции, остановить бежавших перед русскими войсками австрийцев.

Хуже обстояло дело в нашем тылу. Мобилизация русской промышленности еще сильнее подчеркнула несоответствие заводского оборудования и запасов сырья требованиям, предъявленным Россией длительной войной. Если в первые месяцы было невозможно добиться светлений о наших потребностях, то теперь

государственные органы снабжения за границей были завалены телеграммами, друг другу противоречавшими, раздувавшими размеры заказов до астрономических цифр (при заказе тягачей выше начальства оказалось на один пуль и вместо 10 000 уюров требовало высылки в Россию 100 000). Чувствовалась международная общественная неразбериха, бессилие центрального аппарата регулировать поставки и распределение сырых материалов между частными собственниками заводов.

Так ощущало, на практической работе, подготовлялся военный дипломат, превращенный силой судей в начальника управления по снабжению, к воспроизятию принципа государственной монополии внешней торговли.

Неразбериха с заказами к лету 1916 года привела столицу угрожающие размеры, что потребовала командирования за границу специальной комиссии — главе с начальником Генерального штаба Беляевым. Его правою рукой оказался мой бывший берлинский коллега уважаемый Александр Александрович Михельсон. Тяжеловатый генерал, он привез с собой такие же тяжеловесные для с широковещательными всjomстями наших потребностей и сводками об их удовлетворении заграниценными заказами. «Три для и три ночи» сидели мы над этими документами, но толку все же не добились.

Прибытие Беляева в Париж было почему-то скрыто от меня до последней минуты. Из России я об этом извещен не был, и только накануне мой лейтенантский коллега, генерал Ермолов прислал мне лаконическую телеграмму с перечислением фамилий прибывавших. Ермолов добавлял: «Комиссии сопровождает английский военный агент в России полковник Нокс».

«При чем тут Нокс? — подумал я. — Неужели нари начальник генерального штаба для посещения Франции нуждается в английском союзнике?» На деле оказалось, что вся поездка Беляева была организована англичанами.

Когда на следующий день, известив о приезде комиссии и французское правительство, и Гран Кю Жэ, я прибыл для встречи высокого начальства на Северный вокзал, та перед недъземлом наших ностальгиями в образцовом порядке повечерья английские военные машины, окрашенные в светлокоричневый поздний цвет. Мог разнотипные французские машины имели в сражении с теми скажий вид и боткались где-то зараза. Исполнив свой роль роите первых выхода с вокзала, я конечно прикасал своим лифтерам присорбиться к нему ряд, засорети английских.

Беляев, мой старый коллега по штабу Куропаткин, при выходе из вагона французски меня обнял. Его примеру последовали остальные члены нашей комиссии, а затем из вагона вышел тот самый угрюмый полковник Нокс, что поездки играл первую роль при Колчаке.

— *Ausfully glad to meet you* (стать счастлив видеть вас!), — сиялись мы приветствием и крепким рукопожатием с ханжеской.

— Мы едем в отель «Рига»? — спросил Нокс, из чего я понял, что его правительство наимло даже помещение для нашей комиссии в Париже.

— Нет, — вежливо заявил я, — мы сюда в отель «Шантане», где я уже взял номера, — и спокойно предложил Беляеву сесть в свою машину. На машине и белой звезде — эмблеме знаке Гран Кю Жэ, теменившейся в дверцах машины, красноречиво называя: «Attaché Militaire de Russie».

Вечером в Шантане я уже изъяснялся у Жеффра разрешения представить ему на следующий день нашу комиссию.

— Ихса я приму отдельно,— заявил старик — это мне должно представить их английский агент Ярд-Буллер. Вы его предупредите.

Этикет был соблюден.

Челеко было вызвать на откровенность Беляева — эту «мертвую голову», как мы его прозвали в Манчжурии. Он все с тою же осторожностью и большой опаской касался всех вопросов, налагающих какую-либо тень на начальство, а тем более на царя, которого он даже в частной беседе с благовением и скромно-особым приздыханием титуловал «государем императором». Не зумаз я тогда и не гадал, что этот пугливый чиновник окажется, во проптении Распутина, последним парсним военным министром.

— Войдите в мое положение,— жалуюсь я,— как мне выполнить запрос нашего генерального штаба, полученный уже несколько недель тому назад о том, какие меры принимаются во Франции по подготовке к демобилизации? Вы же видите, что война здесь в полном разгаре и подобные вопросы никому еще в голову не приходят.

— Да, вы правы, сделайте вид, что вы подобной бумаги не получали.

— А скажите, — почти искривив лицо, — вот французы болеют, что у нас много дезертиров. Неужели это правда?

— А сколько у них самих? — старается отклонить вопрос мой высокий начальник.

— По моим сведениям тоже не мало, что-то около пятидесяти тысяч, считая в том числе и «уклонившихся», — привожу я цифры, полученные недолго перед этим по секрету от Гамелена.

Беляев смущению поправляет пенсне и еще более тихим, чем обычно, голосом произносит со вздохом:

— А у нас в несколько раз больше!

— Неужели дисциплина уже так пала? Неужели война так непопулярна? — забрасываю я вопросами Беляева.

Он молчит.

— В таком случае пора кончать, — так же глубоко вздохнув, заканчиваю я беседу, возвращаясь из Шантильи и подъезжая к парижскому предместью.

Глава одиннадцатая ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС

Само название — экспедиционный корпус — создает представление о каком-то крупном военном соединении, выигравшем в мировую войну самостоятельную задачу, где-то за пределами России. Однако я сам, как это видно, услышал про Русский экспедиционный корпус только после войны, приехав из Парижа в Москву, где ознакомился с обширной литературой, посвященной этому корпусу. Оказалось, что дело идет о тех четырех исходных бригадах, которые разновременно были посланы во Францию и в Салоники, под начальством генералов Лохвицкого, Марунцевского, Димерихса и Леонтьева. Две из них находились на французском фронте, а другие две — на греческом. Они входили в состав французских армий и корпусов и никаким общим русским руководством объединены не были.

Бригады эти, численностью около 7 тысяч человек каждая, причем, за исключением первой, не отличались от обычных русских бригад, хотя

и носили название «оссолях». Они, конечно, не могли повлиять на ход военных действий.

Несылка наших войск во Францию оказалась, конечно, политической ошибкой, но совершила она была не французским и не русским командованием, а теми парижскими политиканами, которые, не продумывая достаточно вопросов, принимают упрощенные решения за генеральные.

Один из таких вопросов возник осенью 1915 года: военная промышленность из-за нехватки рабочей силы оказалась в столь тяжелом положении, что для работы на заводах пришлось возвращать солдат с фронта, из перешедших уже рядов французской армии. Парижские мурреи решили разрубить этот узел одним ударом топора, вынисав людей из России, представившей, не в их мнении, неиссякаемый источник пополнения.

Этот проект свалился на меня, как снег на голову. Однажды, в начале октября, я только что вернулся с утреннего доклада Жоффру и защищал главную сводку о противнике, как неожиданно раздался телефонный звонок из Парижа, и сам Извельский, в этот необычный для него ранний час, вызвал меня срочно приехать в город для обсуждения какого-то важного вопроса.

В кабинете посла я уже застал сенатора Поля Думера, будущего президента республики, а в то время председателя военной комиссии Сената. Думер был посчителем доживавшей свой век французской либеральной буржуазной культуры, согласно которой, республиканский режим казался непогрешим, а Франция представлялась посительницей высших политических идеалов. В отличие от большинства деятелей Третьей республики, Думер был примером безукоризненного семьяншина, а потеря в первые же недели войны всех своих четырех горячо любимых сыновей создала ему ореол истинного натриона. Он бодро переносил свое горе, и только седина в бороде и черный траурный галстук напоминали о перенесенных им тяжелых испытаниях.

— Господин сенатор выезжает завтра в Россию, — объявил мне Извельский, — и я хотел узнать ваше мнение по тому вопросу, который является главной целью его путешествия.

— Вам, конечно, известна главная причина трудности нашего положения, — стал тут же объяснять приятным до вкрадчивости голосом Думер: — то большие потери в людях и недостаточность генеральных контингентов новоизбранных, между тем как затяжной характер войны требует такого большего расхода в людях, что угрожает нашей обороноспособности, — и он начал разивать передо мной набившую оскомину теорию о неподъемных русских людских ресурсах.

— У вас нехватает даже ружей, чтобы их использовать, тогда как мы, перевезя сюда сотни тысяч ваших солдат, можем пополнить ими редеющие с каждым месяцем ряды нашей пехоты.

— Пожалейте нашу нехоту, — попробовал я разрушить одним махом проект Гумера. — Не вливайте в нее хотя бы и самые отборные, но чуждые ей и не гибкую и не восприимчивую элементы.

— Что вы! Что вы! — с азотом возразил мой собеседник. — Мы же в нашей армии имеем анималистов, или слова не понимающих по-французски, но прекрасно воюющих под нашим начальством.

Господин сенатор, — сдерживая возмущение и переходя на официальный тон, заявил я. — Русские — не анималисты, и я позволю себе вам посоветовать воздержаться от подобных сравнений.

Извольский, опасаясь обострений отношений с Думером, а вместе с тем
изменно поддерживая меня, перевел разговор на героизм, проявлявшийся на-
шими войсками в дни тяжелого летнего отступления.

Компанионом Поля Думера для поездки в Россию те же мудрые штатские
политики выбрали совсем не мудрого, но славного старика, генерала Но —
и то, что он еще во франко-прусскую войну 1870 года потерял руку. Тя-
желоеувечье не помешало этому доблестному солдату продолжать ездить
верхом, а в первые дни мировой войны даже командовать импровизированной
группой территориальных дивизий, собранных для прикрытия черезсур по-
спешного отступления на юг английского генерала Френча. При поездке в
Россию бедный старик должен был произвести своим увечьем подобающее
печатление на наши высшие военные сферы.

Вся эта антреиза показалась мне настолько несерьезной, что я не за-
мечал вернуться в Шантаньи, где и нашел единомышленников среди офице-
ров Гран Кю Жэ. Оказалось, что и для Нэлле проект Думера явился сюрпри-
зом, и что военный министр запросил главнокомандующего только об оформ-
лении выработанного правительством проекта.

Нэлле, конечно, понимал всю нелепость приездки из России маршевых
батальонов, но, не желая претерпеть лично вопроса о тех или иных русских
войсковых соединениях, просил меня составить об этом записку не позже
как к следующему утру.

Советников, кроме Нана, у меня не было, но от этого осторожного ген-
штабиста не легко, бывало, добиться его собственного мнения по вопросам
выходившим из строгих рамок официальной инструкции для военных агентов
мирового времени.

С одной стороны было необходимо предоставить русским войскам извест-
ную долю самостоятельности, но вместе с тем не возлагать на них черезсур
большой ответственности. Дирисия, а тем более корнус казались нам соедине-
нием слишком крупным, состоящим из всех родов оружия, применение кото-
рых в специальных условиях Западного фронта, насыщенных всякого рода
техникой, могло вызвать для наших генералов черезсур большие трудности.

С другой стороны, зону являющуюся единицей, которой французы могли бы
ломыкать, не считаясь с нашими русскими уставами и обычаями.

— Нет! — решали мы, — во главе русского соединения должен быть по-
ставлен генерал, тем более что этот чин пользуется во Франции гораздо
большим почтением, чем в России.

— Вот как создался проект командирования во Францию наших подкрепле-
ний в форме отдельных бригад: эти войсковые соединения лучше всего отве-
чали требованиям военно-политической обстановки.

Предупреждая нашего военного министра о целях поездки Поля Думера в
Россию, я в письме к генералу Бельгому называл наивным план посылки в
Францию двухсот-трехсот тысяч русских солдат.

«Проект этот, — писал я, — доказывает:

- 1) полное незнание духа и чувств русского народа;
- 2) иренебрежение религиозной, служебной и даже материальной стороны
солдатской жизни...

Тем не менее появление наших солдат на Западном фронте имело бы
большое моральное значение, поднимая дух союзников и являясь неприятным
сюрпризом для немцев».

Я находил также, что главным затруднением для отправки целых войсковых соединений явится недостаток у нас офицеров.

Некомплект в среднем командном составе был вечным злом в русской армии.

Несоразмерно большие потери в офицерском составе в первые месяцы войны и запоздалые меры по подготовке штаборщиков создали подлинную угрозу боевой способности русской пехоты. Казармы ломились от запасных батальонов, а обучить и вести в бой этих солдат было некому.

Все это, как и многое другое, было мне известно от моего верного осведомителя Ланглуа, а потому, как обычно, под видом сведений о французской армии я использовал письмо Беляеву для полезных, как мне казалось, советов в отношении собственной армии.

«Во Франции,— писал я,— большинство чиновников, в том числе и министерства иностранных дел, мобилизованы, число адъютантов, ничтожное даже в мирное время, еще более сокращено, а генералы, не служащие на фронте, их совсем не имеют. Раненым, больным и отпускным офицерам ведется строжайший учет (Ланглуа мне говорил, что Петербург и Москва ими переполнены) и пребывание в тылу строго ограничено. Между фронтом и тылом происходит постоянный обмен, причем тыловые должности заполняются преимущественно тяжело ранеными офицерами. Для штабной работы пользуются женским трудом (что в ту пору являлось большой новинкой)».

«Не в бровь, а в глаз попадаю»,— думал я, излагая подобные соображения и зная наперед, сколь неповоротливо и трусливо напеч высшее военное руководство.

«А как же быть со штатами?»— воскликнет, паверно, читая эти строки, наш добрый Беляев!

Как видно из этого письма, несмотря на какие-то предчувствия, я все же не высказывался категорически против посылки во Францию русских пригад. Кроме того, здравому мышлению моему сильно препятствовали в ту пору привитые мне с детства идеалистические понятия: в мою голову не впадалась мысль, что французы попросту стремятся купить за свои снаряды русское пушечное мясо. Понять это мне помог, несколько дней после отправки письма Беляеву, сам Пуанкаре.

Во Францию в те дни прибыла, наконец, давно затребованная мною из России комиссия фронтовых офицеров для ознакомления с техническими достижениями французского фронта. Я надеялся, что компетентные представители нашей армии смогут подкрепить мои донесения о необходимости коренных изменений в методах ведения боя на русском фронте.

Как обычно, деятельность командированных началась с представления начальникам чинам военного министерства, но для придачи комиссии исключительного значения, я испросил для нее аудиенции у самого президента республики. Офицеры наши были в восторге и заранее предвкушали удовольствие личной беседы с Пуанкаре.

Он принял нас без всяких церемоний, в своем рабочем кабинете Елисейского дворца, и после представления ему каждого из моих спутников любезно предложил рассесться вокруг своего письменного стола. Все ожидали, что глава государства станет расспрашивать о положении на фронте русской армии, но Пуанкаре, забыв про офицеров, начал излагать мне мотивы поездки Думера в Россию. С логикой, трансформированной с цинизмом, скандируя слова,

этот бездушный адвокат объяснял, насколько справедливо компенсировать французскую материальную помощь России присылкой во Францию не только солдат, но даже рабочих.

Тщетно старался я направить мысли президента в другое русло, напоминая ему истинную цель моего визита, обращая внимание на присутствие русских офицеров, совершенно не посвященных в тайну командировки Думера.

— Какая мерзость, какая низость! — набросились на меня наши офицеры, выходя из ворот дворца президента. — Что же, мы станем платить за снаряды кровью наших солдат?

Первое невыгодное впечатление, полученное от союзной страны, было заглажено поездкой на следующий день в Гран Кю Жэ, где удалось для нашей комиссии организовать посещение наиболее интересных, а потому и более засекреченных, участков фронта.

Сам я, подхваченный вихрем работы по срочным отправкам боевого снаряжения в Россию, и не замечал, как летели недели, а вопрос о присылке бригад ограничился визитом ко мне Поля Думера по возвращении его из России.

— Я заехал к вам, дорогой полковник, чтобы пожать вашу руку и искренно поблагодарить вас за предостережение, сделанное вами тогда, в кабинете Извольского. Представьте себе, что даже сам царь, встретивший нас крайне любезно, противился посыпке во Францию своих солдат, не говоря уже об упрямом генерале Алексееве. В конце концов мы добились, что все же будет послана в виде опыта одна бригада, по из опасения подводных лодок ее направили не обычным путем, из Архангельска, а через Владивосток!

Подобного безумия я, конечно, предвидеть не мог, тем более, что за все время войны ни один из посланных мной пароходов потоплен не был.

Началась подготовка достойного приема наших войск.

Французы со своей стороны всячески шли навстречу малейшим нашим желаниям. Лагерь Малыи, избранный для 1-й бригады, считался образцовым, был наиболее близким как к фронту, так и к большой дороге из Шалонна в Париж, что облегчало сношения русского командования и с фронтовыми и с тыловым французским командованием.

Хотя русские офицеры, окончившие Инженерную академию, были действительно на все руки мастера, однако полковник Антонов несколько смущался, когда я поручил ему руководить постройкой русской бати: подобный костяк составителями академических учебников не были предусмотрены.

— C'est épatant! (Это потрясающе!) — изумлялись французы, поддаваясь на русскими шайками.

Бы стыду своему, и мне пришлось впервые узнать, что гречневая каша такой же моде в Бретани, как и у нас в России.

Самым серьезным представлялся мне вопрос о переводчиках, необходимых не только для усложнявшейся с каждым днем связи с артиллерией и авиацией, но и в войсковом быту. По всем французским армиям понеслись звонки о лицах, знакомых с русским языком, и, после двукратного отсева лагеря Малыи, их заставили пройти специальный курс подготовки. Кого только не пришлось там встречать: сын богатого московского хозяина фирмы Эйнем, скромный еврей-картузник из Парижа, сын французского парикмахера из Петербурга — все штатские люди, которых война овала в военные мундиры.

Подготовка к приему нашей бригады послужила, наконец, предлогом для издания вновь вышедших французских боевых уставов на русском языке. Когда-то еще дойдут до русских полков все наши телеграммы, осведомлявшие о новых методах ведения боя! Да и чего они будут стоить, если военные уставы останутся в силе! Война может кончиться прежде, чем могут быть изданы в России новые уставы. Они ведь потребуют утверждения самого царя!

Надо рискнуть и, минуя начальство, дать нашим войскам вполне официальный документ в кратчайший срок.

Помогла нашему начинанию все та же французская бережливость. В архивах национальной типографии сохранились в полной неприкословенности русские шрифты времен Александра I. Ими пабирались в 1814 году все русские правительственные распоряжения и военные приказы по оккупационному корпусу. Нашлись и русские наборщики, и прекрасная бумага, что позволило в какие-нибудь две недели издать в прочном картонном переплете боевой устав французской пехоты с придуманными нами выходными дамцами:

«Печатается по распоряжению военного агента во Франции».

Отрадно было узнать впоследствии, что высланный в Россию значительный тираж этого документа имел в русской армии большой успех.

* * *

Настал, наконец, давно жданный день прибытия в Марсель первого эшелона нашей 1-й бригады. Трудно описать волнение последних часов, отделявших меня от желанного свидания. Ведь со времени последнего посещения господином Пуанкаре перед войной красносельского лагеря я не видел родных солдатских лиц, а тут доведется не только на них полюбоваться, но и отвратить за их жизнь в чужой им стране, гордиться ими перед французской армией.

Наконец сама поездка для встречи их в Марсель представляла для меня, как всегда, праздник. Сколько раз благословлял я судьбу за возможность расстаться с зимним серым небом и холодной слякотью Парижа, с тем чтобы проснуться на следующий день под лазоревым небом, на берегу лазурного моря, в солнечном до ослепительности Марселе.

Солнце и свет исцеляли все недуги, а толпы как будто всегда праздничные, никуда не спешивших людей, заполнивших бесчисленные кафе с открытыми настежь дверями и окнами, призывали смотреть веселее на собственную и на чужую жизнь. У марсельцев были, конечно, тоже свои заботы и пристрастия, но эти южане были не похожи на парижан, вечно бегавших за заработком. Марсельцы довольствовались малым, любили свой город — этот райский уголок, а море и опять-таки солнце замечали им красоты и развлечения других городов.

Марсельские анекдоты в большой моде во Франции, но всякая пикантная история рассказывается на таком неподражаемом марсельском жаргоне, что самые большие вольности становятся вполне приемлемыми.

Когда перечитываешь «Трех мушкетеров» Александра Дюма или «Тараса Боне из Тараскона» Альфонса Доде, то герои этих романов переносят тебя мысленно в столицу юга Франции — приключенческий Марсель. Он сохранил и до наших дней свой оригинальный фольклор в форме пигде не защищенных рассказов о похождениях остроумного и уморительного Мариуса.

Марсельцы — охотники до всевозможных преувеличений и не без гордости

говорят, что «если бы Париж располагал Канебьерой, то он вправе был бы именоваться Марселеем»; а я бы только прибавил, что тот, кто не постиг прелести Марселя, тот не знал Франции.

Канебьера — широкая городская артерия — упирается в сохранившийся с времён парусного флота старый порт. Теперь им пользовались только бедные рыбаки да богатые яхтмены, в его узкий выход бесшумно проскальзывали море то желтые, то красные паруса, а у бетонной низенькой дамбы, заменившей совсем недавно деревянные мостки, стояли па причале сотни разноцветных лодочек и яликов.

Здесь, в самом центре города, уже пахло морем. Бесчисленные корзинки из лавника были наполнены, ракушками самых разнообразных местных на эвапий. Их подавали на закуску тут же на берегу, в потемневших от времени крохотных ресторанчиках, где если горячий «буябес» и прочие чудеса марсельской кухни, рекомендуемые любителям рыбы и чеснока.

Едва вы селились за столик на открытой круглый год террасочке, как перед вами на мостовой появлялись местные уличные артисты — скрипач певица, развлекавшие вас провансальскими народными песнями.

Позади вас — над городом висится гора с собором святой Марии, покровительницы моряков. Перед вами, на южном берегу порта, — старый квартал красочных базаров и совсем не таинственных публичных домов — этого по зорища Франции, прибежища иностранных туристов и моряков. Религиозность и проституция уживаются друг с другом почему-то особенно хорошо в французских торговых городах.

Неумолимое время изменило, впрочем, многое в этом старинном городе, основанном филиппиянами за шестьсот лет до нашей эры. В самом городе кипела лишь оживая торговля этого первого по величине порта Франции — хлебная биржа. Погрузка и разгрузка товаров давно уже были вынесены за городскую черту. Туда, к застланным пароходным дымом бесчисленными причалами, должны были подойти и наши транспортные с первым эшелоном 1-й бригады.

Как только обрисовались на горизонте контуры двух громадных морских транспортов, я вышел на широкий мол и долго шагал в ожидании причала, отдавая последние распоряжения. Мне, между прочим, казалось крайне унизительным появление наших солдат безоружными из-за недостатка в России винтовок, а потому, невзирая на протесты французского интенданства, жалавшего записывать фамилии солдат и номера выдаваемых им французских винтовок, я организовал заранее живую цепочку, которая должна была несущая взбежать по трапу и без всякого предварительного учета вручать ружьё не на берегу, а на самом борту парохода.

Вот стали собираться вокруг меня представители военных и гражданской власти. Вот выстроился почетный караул и эскадрон гусар в светлоголубых ментиках. Наступает торжественная минута.

Серо-зеленая пелена, покрывающая палубы обоих морских чудовищ, с мере приближения к берегу оказывается плотной массой наших солдат западных гимнастерках. Вот уже можно различать лица, вот у трапа зияют офицерские погоны, а с берега французский оркестр, как всегда, затягивает и без того медлительный русский гимн. Слова «царствуй на страх врагам» уже давно не говорят ничего моему сердцу: передо мной встала жалкая фигура Николая II.

В ответ наш оркестр, гораздо более мощный, чем французский, исполняет марсельезу, и до моих ушей докатывается опьяняющее, неподражаемое русское «ура!»

Французы кричать не умеют и, стоя позади меня, лишь исправно, очень долго, держат под козырек.

Первым сходит на берег командир бригады, генерал-майор Лохвицкий. Довольно высокий блондин, элегантно одетый в походную форму, при боевых орденах, он держится с той развязной, почти небрежной манерой, которой многие гвардейские офицеры, даже по выходе из полка, стремились как будто показать свое превосходство над запутанными армейцами. Как все скончившие академию генерального штаба не по первому, а по второму разряду, этот храбрый боевой генерал, несмотря на боевые отличия, вечно считает себя если не обиженным, то недооцененным. Хоть и не будучи со мной знаком, он, в знак солидарности русских офицеров за границей, троекратно меня обнимает. Из его объятий я попадаю в руки старого товарища по академии, Ивана Ивановича Щолокова. Этому уже было действительно на что приблизиться: из начальника оперативного отдела ставки он превратился в начальника штаба бригады.

Пока идут знакомства и представления, на берегу быстро и бесшумно строятся первые наши роты, раздаются русские команды, и по скалистым берегам Средиземного моря разливается русская песня:

Выло дело под Полтавой,
Дело славное, друзья!
Мы дрались тогда со шведом
Под знаменами Петра!

Не дожидаясь построения батальонов, роты одна за другой шли в оборудованный для нас временный лагерь, а мы, старшие начальники, были привлечены па обед к командиру XVI Военного округа.

Эшелон в составе трех батальонов должен был на следующее утро отправиться по железной дороге к месту постоянного расположения, в лагерь Малыи. Однако после обмена горячими приветственными речами за обедом у генерала растроганный мер города, поддержаный префектом департамента, настойчиво стал просить отложить отъезд и дать возможность марсельцам взглянуть на русских солдат. Первый полк, укомплектованный почти исключительно добровольцами разных полков, выглядел действительно гвардейским. Мы согласились на просьбу французов.

Выходя с обеда, я предложил было русскому начальству проехать взглянуть на лагерь, расположенный в пяти-шести километрах от города. И генерал, и господа полковники устали с дороги. Это меня кольнуло, и я, не прощаясь, отправился в лагерь, где, неожиданно для себя, пришлось встать чуть ли не в командование отрядом!

Все офицеры по приходе в лагерь сразу укатили в город. И французский шлан раздачи ужина одновременно из нескольких котлов провалился. Какой-то чересчур старательный подпрапорщик решил установить собственную очередь «подхода поротно» к одному котлу, и в результате — в десять часов вечера люди еще продолжали стоять голодными. Обидно было, что все мои старания о достойном приеме французами дорогих гостей оказались тщетными.

— Придется вам ночку не поспать, — сказал я на прощание своему импровизированному адъютанту, ротмистру Балбашевскому.

Людей, наконец, накормили и уложили, но меня беспокоило, как устроились на ночлег офицеры?

— Проверьте, последите за порядком и приходите ко мне в гостиницу к шести часам утра.— сказал я Балбашевскому.

— Господин полковник, приказание исполнил,— докладывал мне сильным кавказским акцентом разбудивший меня на следующее утро Балбашевский.

Это был очень худой красивый брюнет, кавалерийский офицер, давно вышедший в отставку и застрявший в Париже по каким-то любовным делам.

— Нашел командира первого полка, полковника Нечволовова, с адъютантом и большой компанией офицеров, в «старом квартале»,— горестно вздохнув и поднимая глаза к небу, докладывал Балбашевский.— «Военный агент будет крайне недоволен»,— заметил я. А он мне говорит: «Я — георгиевский кавалер и чхать хочу на вашего военного агента. Французы должны знать, как умеют гулять русские офицеры». А шампанское льется рекой, и деньги летят,— снова с глубоким вздохом закончил Балбашевский, уже «испорченный» пресловутой французской страстью к экономии.

Ушам не верилось. Вот что значит оторваться надолго от своей среды, забыть про все безобразия развращенной военной аристократии, жить иллюзиями русских песен, мечтать о подвигничестве всех и вся в тяжелые годы войны. Там где-то — фронт, а тут вот — неприглядный тыл.

Когда я передал рассказ Балбашевского Лохвицкому, то он не смутился.

— Да, Нечволовов — человек не без оригинальности, но парень неплохой и любит солдатами. Вы же должны помнить его еще по Манчжурии. Он был тогда переводчиком при Куропаткине, а теперь, как видите, стал боевым командиром.

В ожидании прохождения войск мы прогуливались с Лохвицким перед городской ратушей, и нежный морской воздух солнечного утра быстро рассеял мысли о ночном кошмаре. Перед нами открывалась новая незабываемая картина: со стороны Старого Порта, на широкую Канебье вытягивалась яркая многоцветная лента. Это была паша пехота, покрытая цветами. Когда в романе Сенкевича описывались победные римские легионы, украшенные цветочными гирляндами, то это казалось фантазией художника, тут же с приближением головных рот сказочное видение оказалось действительностью.

Впереди полка два солдата несли один грандиозный букет цветов, перед каждым батальоном, каждой ротой тоже несли букеты, на груди каждого офицера — букетик из гвоздики, в дуле каждой винтовки тоже по два, по три цветка.

Весь путь наших войск оглашался восторженными кликами экспансивных южан, страстных любителей всяких зрелищ. Темноглазые смуглые брюнетки не знали, как бы выразить лучшие свои чувства белокурым великанам, прибывшим из далеких северных стран, чтобы спасти их дорогую Францию.

— Oh, ceux-la nous sauveront pour sûr! (О, эти наверно нас спасут!)-— слышались громкие рассуждения в толпе, совсем как когда-то на больших маневрах в Монтобане.

Этот нежданный военный праздник лишний раз заставил пережить то же, что еще совсем недавно я почувствовал на падале не нашей, а французской пехоты на фронте.

«Как хорошо быть русским!» — подумал я, забывая про Юсуповых, Озобишиных, Шагубатовых и не предчувствуя всех разочарований, вызванных впоследствии именно нашими бригадами.

* * *

Занятия в лагере Мальи начались с подготовки к парадам и прохождению торжественным маршем перед высшими французскими начальниками. Охладить тог пыл, с которым Лохвицкий и Нечволоводов наслаждались маршированием в сокрушенном строе, убивая драгоценное время на рашажир и безукоризненную внешнюю выправку, было, конечно, очень трудно. Они неизменно выражались желанием не ударить лицом в грязь перед союзниками. Непрасно убеждал я Лохвицкого приняться как можно скорее за освоение такой пехотной тактики, созданной на Западном фронте под давлением небывалого роста техники. Все предлоги были хороши, чтобы отложить подобные занятия, Лохвицкий, между прочим, ссыпался на невыполнимые французские требования — как, например, обязательные прививки против тифа и столбняка; от этих прививок наши солдаты болели по нескольку дней.

Безрезультатным оказался и мой личный доклад, сделанный всему офицерскому составу бригады, по окончании которого наступило томительное молчание.

Некоторые распоряжения нашего командования должны были, как мне тогда казалось, вызывать серьезное недовольство у наших солдат. Что может быть гороже, например, для всякого человека на фронте, чем отпуск? Во французской армии порядок увольнения в отпуск был единым, от главнокомандующего рядового, и строго при этом соблюдался. Что же могли думать русские солдаты, запертые в лагере Мальи, глядя чуть ли не на ежедневные поездки в изысканных французских машинах своих офицеров в Париж!

— Солдат ни под каким предлогом отпускать в город я не намерен! — заявлял Нечволоводов. — Париж полон русских революционеров, и контакт с ними моих солдат недопустим.

Это же был шестнадцатый год!

Не стесняясь себя французскими правилами, Нечволоводов демонстративно ходил со своими офицерами в литеиной ложе Фоли-Бержер, что, как ему казалось, вернее всего спасало офицеров первого полка от зловредной парижской политической атмосферы.

Случилось одпако, что Нечволоводову не удалось уберечь одного из своих очарованных от гораздо большей опасности — подлинного немецкого шпионажа.

* * *

По установленному порядку моей канцелярии, всех посетителей женского пола, как не серьезных, хотя подчас и очаровательных, должен был принимать толстяк Озобишин, и потому я был не мало удивлен, когда мой гувернант Тессье стал упрашивать меня, в виде исключения, принять в конце концов какую-то даму. Она наотрез отказывалась идти к Озобишину и уже третий день сидела в приемной, настойчиво прося пропустить ее в мой кабинет. Фамилии своей она не называла.

— Ну, впустите,— раздраженно ответил я, но через минуту, сознавшись, смягчился, увидев перед собой элегантную, очень высокую, хорошо сложенную смуглую брюнетку, непринужденно и почти вызывающе расположившуюся на моем диване. Приглядевшись к грубоватым чертам лица и толстым чувственным губам, я несколько разочаровался. Особенно неприятен был какой-то горловой тембр голоса, а тяжеловатый французский акцент во французском языке выдавал ее иностранное происхождение, заставляя даже насторожиться.

— Я безумно влюблена,— без всяких церемоний заявила мне красавица-брюнетка,— и очень несчастна. Вы не можете себе представить, как мы друг друга полюбили, и только вы один можете рассеять мою бесконечную тревогу за моего любовника.

— Но кто же он такой? — спросил я в конце концов, терпеливо выслушав все подробности романа, происходившего в излюбленной всеми русскими гостинице «Гранд-отель», в самом центре Парижа.

Не без труда удалось добиться, что сидевшая перед мной героиня романа оказалась отмеченней уже шумной рекламой танцовщицей Мата-Хари, а герояем — капитан нашего первого полка, — некий Маслов.

— Вот уже неделю, как я не имею о нем известий, и прошу вас сказать мне, где находится его полк. В лагере или на передовых позициях?

Подобный вопрос был так плохо увязан с романом «Гранд-отеля», что невольно вызвал, если не прямое подозрение, то во всяком случае какое-то сомнение в правдивости всего длинного рассказа посетительницы.

Я отговорился неосведомленностью, обещал позвонить в бригаду и просил зайти за ответом через два-три дня. Любопытство Мата-Хари меня, правда, меньше всего интересовало, но зато я был обеспокоен любовной связью скромного нашего офицера со столь шикарной женщиной. Маслова я отметил еще в Марселе как симпатичного молодцеватого блондина с Владимиром с мечами на груди. Лохвицкий и Нечволовов дали мне о нем наилучшую attestацию и обещали предупредить об опасности.

Незначительный сам по себе факт моей встречи с Мата-Хари, которой я не преминул отказать в исполнении ее просьбы, представился вскоре в совершенно другом свете.

С приходом к власти грозного Клемансо, Мата-Хари был вынесен, одной из первых, смертный приговор. Она была обвинена в шпионаже в пользу Германии, хотя осведомленные люди утверждали, что ее услугами пользовалась одновременно дурной памяти капитан Ладу, возглавлявший в то время французскую контрразведку.

Дочь колониального офицера нидерландской армии, женившегося на туземке, Мата-Хари понесла на казнь с гордо поднятой головой я, но дрогнув, в элегантном костюме-тэйер, приняла зали в грудь от чужих ей солдат.

Маслов, которого она, по показаниям на судебном следствии, действительно любила, по окончании войны постригся в монахи.

Шел 1916 год. Русские войска обжились. Гуро приходил в восхищение от наших солдат, побивших все рекорды, поставленные французами по метанию ручных гранат. Для наших войск это было новинкой. Таким же нововведе-

илем явились стальные каски, которые пришлось специально заказать на французским, а русским гербом.

Четвертая армия Гуро вместе с нашей бригадой вошла в состав центрального фронта, во главе которого был поставлен генерал Петен. Трудно было запомнить его внешность, в ней не было ни одной характерной черты, и я до сих пор не знаю, способен ли он улыбнуться или даже рассердиться. Это был истукан, главным качеством которого, быть может, являлось хладнокровие в тяжелые минуты сражений, но и это опровергается мемуарами Пуанкаре, развенчавшего славу Петена, как спасителя Вердена.

Наслышавшись о строгости нового командующего фронтом, я решил превратить возможные недоразумения и лично поехать на осмотр им нашей бригады. Гуро уже стоял на фланге войск, шестроепных на плацу, до которого надо было пройти пешком через лагерь.

При выходе из машины я приветствовал Петена от лица русской армии и после сухого военного рукопожатия пошел сопровождать мало приветливого на вид генерала.

— Ну, посмотрим, как ваши солдаты освоились с нашей винтовкой. Они ведь у вас сплошь безграмотные.

— Не совсем так, генерал, — ответил я, — а что касается винтовки, то наш «лебель» много хуже и проще нашей трехлинейки.

В ответ Петен подозвал одного из встреченных нами солдат и предложил мне приказать ему зарядить и разрядить ружье. Из дальнейших вопросов стало ясно, что Петен принимал нас за дикарей, а все служившие в мировую войну во Франции могли объяснить выдвижение этого генерала на роль жалкого главы правительства только тем режимом, который, опасаясь пересечур ярких военных фигур, предпочитает использовать устарелые военные посредственности.

1-я бригада, после длительной подготовки, заняла, наконец, побольшой участок на фронте, к северу от Шалона. Он был специально выбран по соглашению с Гамеленом, как один из наиболее спокойных. Наши солдаты быстро освоились с жизнью во французских окопах и находили их много комфортернее наших. Особенно занимали их камуфлированные посты для наблюдений: пень, заменяющий в одну ночь точной копией из стали, бугорок, незаметно обращавшийся в современный дзот. Они даже привыкли к заменяющей кофеем и водкой — коньяком. Очутившись в первой линии, офицерство заметно подтянулось, и Лохвицкий не без гордости обращал мое внимание на порядок, царивший на его участке, продолжая жаловаться на французов за их невнимание к больным и раненым солдатам. Это создало для меня новую работу по организации тыла, и военный агент, без всяких распоряжений из России, превратился в начальника тыла на чужой земле, отвечая решительно за все, вплоть до уплаты хронически недополучаемого на фронте жалования. «Не на эти ли деньги катаются ваши офицеры в Париж?» — спросил я как-то Лохвицкого. Это была еще одна из пеяцких мне страниц деятельности нашего русского командования.

3-я бригада, под командованием моего старого коллеги по академии и манчжурской войне, Володи Марушевского, проходила переподготовку в лагере Малыи. Большой ловкач, этот малюсенький блондинчик применился к французским порядкам гораздо скорее, чем Лохвицкий, и беда Марушевского заключалась только в его супруге, красивой брюнетке, на две головы выше

это ростом. Это обстоятельство, как будто уже давало ей повод чувствовать свое превосходство, вмешиваться в его служебные дела, получать букеты цветов от офицеров, принимая не только денциков, но и вообще солдат за рабов, обязанных ее обслуживать. Охлаждение наших отношений с бывшим «юнтом» стало неизбежным.

* * *

Салоникские бригады прибывали уже по наложенному англичанами морскому пути от Мурманска до Бреста, где погружались на железную дорогу и снова перегружались на суда в Марсель.

Для встречи и передачи от меня приветствия каждому эшелону я командировал всегда того же Балбашевского, привыкшего разрешать самостоятельно бесчисленные мелкие затруднения и возникавшие с французами трения. Все, казалось, было налажено, как исходило, в почту со 2 на 3 августа 1916 года, у моей постели в Париже раздался телефонный звонок из Марселя.

— Господин полковник, большое несчастье — докладывал Балбашевский. — Солдаты убили командира эшелона 4-й особой бригады. В лагере настоящий бунт. Офицеров нет. Солдаты никого не слушаются. Сейчас лично арестовал при содействии французов 3-ю пулеметную роту и вывез ее из лагеря на форт Сен-Никола. Я знаю, что вам невозможно отлучиться из Парижа, но я прошу вас принять какие-нибудь меры. Французы очень зстревожены. Лагерь окружен разъездами гусар...

— Сам приеду. Встречайте меня после завтра на вокзале и успокойте французов, — ответил я Балбашевскому и, вызвав тут же машину, полетел в Шантильи.

Мне надо было прежде всего доложить обо всем Жилинскому, являвшемуся высшим начальником над нашими бригадами. Он пользовался по отношению к нам дисциплинарными правами главнокомандующего фронта.

Но и в семь, и в десять утра его высокопревосходительство еще, конечно, отдыхали, между тем как адъютант Жоффра уже звонил по телефону Парижу, вызывая меня к главнокомандующему. Жоффр был в курсе марсельского происшествия и принял меня немедленно.

— Нам уже было известно, — сказал он, — что эти войска еще при посадке в Бресте произвели менее благоприятное впечатление, чем прежде ваши эшелоны, но бунта мы на своей территории допустить не можем. Нам, конечно, нетрудно навести порядок в кратчайший срок, у нас для этого войска в Марселе достаточно, однако судите сами, какая это будет пища для немецкой пропаганды: французы расстреливают собственных союзников! Необходимо, чтобы вы сами привели ваши войска в порядок. Поехайте в Марсель; я предоставлю в ваше распоряжение, на всякий случай, все воинские части 15-го и 16-го военных округов (Марсель и Ницца).

— Очень вам благодарен за доверие, генерал, — ответил я. — но надеюсь, что ваши войска не попадутся. Я обязан только доложить об этом генералу Жилинскому, который вам и сообщит свое решение.

— А так ли это необходимо? Впрочем, делайте все, как найдете нужным, — отпустил меня с этими словами старик; он был не в духе.

В роскошной столовой виллы Ротшильда свита Жилинского благодушно распивала утренний кофе, ни о чем, конечно, не подозревая. Представитель

верховного командования принял меня в своей спальне и, выслушав мой скандал, раздраженно заявил:

— Вот они (из презрения к французам, он всегда употреблял по отношению к ним это неуважительное слово) хотели получить себе пани войска, пусть и управляемые с ними, как хотят. Нам с вами до этого дела нет, и во всяком случае никого из «своих» посыпать в Марсель не стану.

Напрасны были мои горячие доводы о чести русского имени, о престиже России, напрасны были соображения о немецкой пропаганде.

Серовато-желтое лицо Жилинского оставалось неподвижным, а безразличное отношение ко всему происходящему объяснялось его искренней неподозрительностью ко всему, что имело малейший запах демократизма,— будь то русский солдат или французский республиканский генерал.

— Что же вы сами можете предложить? — пропел, наконец, сквозь свои пересчур длинные и склоненные зубы Жилинский.

— Самому поехать в Марсель,— почтительно, но твердо, по-военному, ответил я, и заметил с удивлением, что генерал способен оживиться.

— Вот это прекрасно! Я передаю вам мои полномочия, все права главнокомандующего, действуйте от имени государя императора,— и мы стали уже в более приятном тоне обсуждать вопрос о командировании в мое распоряжение одного батальонного и четырех ротных командиров из состава 1-й бригады. По моим предположениям, прежде всего надо было заменить командный состав марсельского эшелона. «Рыба с головы воняет»,— говорил Михаил Иванович Драгомиров.

От Шалопа до Парижа в хорошей машине можно было доехать за три часа, но так уж создан был старый русский мир, что для выполнения столь простого распоряжения Жилинского потребовалось не один, а целых два дня. офицеры запоздали, и мне пришлось выехать с вечерним поездом в Марсель в полном одиночестве.

На этот раз город-весельчик не смог отогнать тяжелых мыслей. Дело было о жизни и смерти людей, о репутации русской армии за границей. В первую минуту хотелось помчаться с вокзала Марселя в знакомый уже мне лагерь, но, рассудив, я решил подготовить предварительно свое появление перед взбунтовавшимся отрядом, выработать заранее план действий.

Вспомнился и завет отца, который как будто предчувствовал, что сын может оказаться в положении, еще более трудном, чем он сам, принимая командование курляндскими уланами, не ответившими на приветствие своего командира. «Стайся говорить с восставшей толпой,— советовал отец,— только утром, когда первы еще успокоены ночным отдыхом. Как ни странно, но после полуночи люди и хуже работают и не столь здраво рассуждают».

Из допроса, учиненного встревоженному Балбашевскому и встретившему меня еще на вокзале временному начальнику отряда, полковнику Крылову, выяснилось, что убитый полковник Краузе оказался в роковой вечер единственным офицером, кроме дежурного прaporщика, не уехавшим из лагеря в город. Толпы были взволнованы недополучкой жалованья и запрещением выхода за пределов лагеря.

Темнело, когда Краузе ищел их увещевать, но беседа приняла, повидимому, столь угрожающий для него характер, что он вынужден был резко ее прервать, а затем, под улюлюканье толпы, направиться к выходу, сперва склонно, а потом, испугавшись, почти бегом. Это и решило его судьбу.

Несколько человек из толпы бросились за ним и, повалив его, нанесли ему смертельный удар. Находившийся в десяти шагах от происшествия караул не принял никаких мер, а дежурный офицер совсем скрылся. Единственным защитником полковника оказался лагерный сторож, старый французский унтер-офицер, которого солдаты только оттеснили, но выместили свою злобу на выставшемся их уговорить собственном фельдфебеле из вольноопределяющихся, Лисицком. Ему пробили череп.

Офицеры, вызванные срочно из города французскими переводчиками, прибыли, когда уже все кончилось и люди разошлись по баракам. Виновных не оказалось, а дознание дрожащий от страха Крылов боялся начать.

Дело, вирочем, было уголовное и требовало производства немедленного судебного следствия. К счастью, на рейде стоял случайно наш крейсер «Аскольд», и, связавшись по телефону с командиром, мне удалось получить в свое распоряжение морского следователя, очень спокойного и культурного судейского подполковника. Это дало возможность избегнуть вмешательства французских судебных властей, а тем временем заняться выяснением самой личности покойного.

Удалось лишь узнать, что Краузе был кадровым офицером, исправным, подтянутым служакой, всегда одетым с иголочки, в лакированных сапогах и узких рейтузах, не нехотного, а кавалерийского образца. Дослужившись до штаб-офицерского чина и получив в командование батальон, он стал подтасовывать не только офицерскую молодежь, но и самих ротных командиров, придиаясь, по словам Крылова, даже к мелочам. Что считал Крылов «мелочами», добиться от него было невозможно, но по его одутловатому и плохо выбранному лицу, да и по кителю не первой свежести можно было догадаться, что на внешнюю дисциплинированность старик уже бросил обращать внимание.

При подготовке эшелона в России солдаты привыкли уже к строгости своего молодцеватого батальонного командира, но офицеры простить ему начальнический тон не желали и, как только погрузились в Архангельске на морской транспорт, стали взваливать на своего командира все неприятности, связанные с морской перевозкой. С первых же дней пути стали ходить нелепые слухи о неизбежном потоплении парохода германскими подводными лодками, которые якобы будут действовать по указанию Краузе, благо он носил немецкую фамилию.

По прибытии в Марсель задержки в выдаче ротными командирами жалованья солдатам так же объяснялись нераспорядительностью Краузе, как временно заведывающего хозяйством отряда.

— Благоволите, — напутствовал я Крылова, — построить отряд завтра в шесть часов утра и подойти ко мне с рапортом (это меня несколько смущало, так как престарелый Крылов, очевидно, был старше меня по производству в полковники), а при обходе мою отряд называть мне попутно номера рд, так как «братьями» я завтра называть ваших солдат не собираюсь.

— А как прикажете, господин полковник, выводить войска при оружии или без оружия? — вполголоса, таинственно спросил меня Крылов.

«Неужели офицеры настолько боятся собственных солдат?» — мелькнуло у меня в голове.

— Не только при оружии, а и при боевых патронах, словом с полной боевой выкладкой, — резко отчеканил я, торопясь еще успеть нанести визиты

амыншему французскому местному командованию. Я просил его снять, как заложенное, оцепление лагеря французской кавалерией.

На следующее утро, точно в назначенный час, я, в сопровождении Балашинского, считавшего себя моим телохранителем, вошел через ворота той самой каменной ограды, окружавшей лагерь, через которую еще казалось так недавно проходили покрытые цветами первые роты наших солдат.

Мне впервые пришлось оказаться в роли строевого командира пехотного отряда, и потому не без волнения услышал я команду: «Смирно! Слушай叫我 караул!», увидел почтенного полковника Крылова, пересекавшего луг с опущенной под высь шашкой для отдачи мне рапорта.

— Здорово третья! Здорово одиннадцатая! — здоровался я с людьми, проходя петроцеливо по фронту, глядываясь в солдатские лица.

Состав был смешанный: рядом с безусыми поворбранцами и бравыми кадровыми унтерами попадалось много бородачей, напоминавших старых манчурских соратников. Все «ели глазами начальство», и трудно было поверить, что перед тобой стоят бунтовщики, убившие собственного начальника. Но, чу!

— Здорово восьмая! (роты были разных батальонов и стояли не в порядке номеров).

В ответ, вместо обычного «Здра-а-а-вия желааем!..», только несколько уверенных голосов. Останавливаясь, а Крылов неправильно подсказавший мне номер роты, шепчет мне на ухо: «Пятнадцатая».

— Виноват, — говорю, — я ошибся. Здорово пятнадцатая!

И сразу слышишь не только дружный, но почти радостный ответ.

Окончив обход, направляюсь в самый угол каменной ограды, откуда отступать, подобно Краузе, мне некуда. Солдаты окружили меня плотным кольцом, и я начал речь. Я ее не готовил и не записывал, а только обдумал. На какие чувства моих слушателей я могу рассчитывать. Речь — это не оклад: доклад требует строгой продуманности, основанной на документации и логике, тогда как речь призвана пробуждать мысли и доходить до сердца. Вот почему восстановить все, что я говорил в течение доброго получаса, невозможно.

— Подумайте о позоре, которым вы себя покрыли, об огорчении, которое принесли своим близким на дорогой нам всем родине, о чести русского солдата, оскорблённой перед иностранцами. Я не в силах признать вас всех виновными, но смыть с себя позор вы можете только выдачей убийц. Воспоминания вам известны. Он пеумолим, и я не хочу, чтобы перед ним отвечали неповинные. Я даю вам шесть часов на размышление.

Никогда мне не забыть того низенького бородача, левофлагового рядового, что отбивал шаг по густой траве в последней ширенге отряда, пропущенного мною в заключение церемониальным маршем, как не изгладятся из памяти и все те, подобные ему, простые русские люди, что били лбом землю на паниаде перед гробом Краузе.

— И вы, ваше высокоблагородие, и ты, господи боже, — читалось в глазах этих наивных русских крестьян одетых в военные пинетки, — видите, какие мы усердные служаки, как бы мы хотели заслужить прощение, не брать греха на душу!

А едва смолкли звуки «Вечной памяти», как зазвенели в ушах медные рожки альпийских стрелков, загремели барабаны невиданных чернокожих солдат африканских дивизий и засверкали серебряными позументами светло-

голубые ментики гусар на непокорных тонконогих арабчонках. Это были представители марсельского гарнизона, прибывшие для отдания воинских почестей умершему полковнику союзной армии. Было с чего русским людям голову потерять.

К четырнадцати часам были уже арестованы, если не ошибаюсь, четыре или пять унтер-офицеров, уличенных в убийстве, а в шестнадцать часов — весь отряд в образцовом порядке погрузился в поезда для отправки в лагерь Малыи. Вновь прибывшие офицеры вступили в командование, а погодные были откомандированы в Россию для предания суду.

Моя миссия была закончена. Марсельский отряд поступал под непосредственное начальство Жилинского, который решил строго придерживаться закона и приговора полевого суда.

Героями умерли на французской земле семь унтер-офицеров и солдат, приговоренных к расстрелу, героями сражались и умирали на далеких Балканах в последние недели перед революцией их товарищи 4-й особой бригады!

Шокидая Марсель, с тяжелым чувством садился я в тот же вечер на парижский экспресс... Мне удалось устраниТЬ французов от вмешательства в наши дела, предотвратить неизбежно суровую и, как всегда, черезсур поспешную французскую расправу с нашими солдатами. Я не мог забыть русских волонтеров Иностранного легиона, которых мне не удалось спасти от расстрела французами в первые месяцы войны.

Когда поезд тронулся и, выйдя из темного длинного марсельского тоннеля, начал плавно рассекать безлюдные тихие равнины Прованса, стало очень грустно на душе. При последних лучах солнца, заходящего где-то там, далеко на Западе, расставался я с теми представлениями о русской армии, которые уже сильно были поколеблены в русско-японскую войну.

В памяти вставала вся марсельская трагедия.

Кроме той полуграмотной массы, что молилась на танкище, появилась солдаты, каких я до тех пор не видел. Озлобленные, готовые на все, смотрели они на меня, когда, закопчив дела в лагере, посетил я еще и арестованную Балбашевским пулеметную роту. Я впервые почувствовал, что на таких людей могу иметь воздействие, только показывая им собственное бесстрашие, и выстроил их парочно на узенькой площадке, между крепостным фортом и обрывом неприступной скалы. Малейший толчок одного из стоявших передо мной солдат свергал меня в море. Быть может, спокойный тон, в котором я старался с ними говорить, примирял их с моими полковничими щеголями, но я уже чувствовал, что недолго. Это были пулеметчики, окончившие Орангенаузаумскую школу, о революционной репутации которой мне довелось как-то мельком услышать.

Так вот они, те русские люди, которых называют революционерами, те левые, которые, по выражению Энгельгардта, грозили «захлестнуть русских либералов». Кто и как сможет с ними справляться?..

Государственная власть стала, видимо, уже так слаба, что и военное командование пытается избегать черезсур близкого общения с собственными подчиненными. В этом убедили меня некоторые офицеры, с которыми я три часа подряд говорил сегодня в лагерной канцелярии. Разве подобные начальники способны поддержать честь и достоинство нашей армии? Участвуя в той или иной форме в провоцировании солдат на выступление против черезсур строгого начальника, они после его убийства не решались сами спро-

ить своих подчиненных, увиливая всеми способами от объяснения мно-
гоего поведения.

Так этот день, проведенный в Марселе, создал для меня однажды из отправ-
ных точек для суждения о грядущей революции. Я почувствовал с ужасом,
что с разлагающимся офицерством мно- будет не по дороге. Чем дороже тебе
человек, тем тяжелее бывает разочарование в нем. А русская армия была для
меня дорога.

Сколько великим и трудно досягаемым счастьем казалось для меня когда-
то производство в офицеры, сколько священным казался и серебряный пояс и
желонежный мундир родного кавалергардского полка! Как живые запечатле-
лись в памяти скромные герои-офицеры сибирских стрелковых полков
и талких манчжурских сопок, и как будто еще вчера я слышал рассказы
о наших гвардейцах, ходивших во весь рост в атаку в великой галицийской
битве, о кавалергардских офицерах, подававших рапорты о переводе в пехоту
и замены своих товарищей, павших смертью храбрых.

Горько будет со всем этим расстаться.

Солнце закатилось, а экспресс продолжал нестись сквозь починую мглу
севера, в Париж, где ожидала меня снова работа и работа без конца.

Глава двенадцатая

ОДНА НОЧЬ

В ночь с 7/20 на 8/21 марта 1917 года я в Гран-Кю-Жэ не поехал в
наслед рабочего для вернулся на отдаленный от городского шума остров свя-
того Людовика, где мы уже второй год жили с Наталией Владимировной на ее
трой квартире, в доме № 19 по Бурбонской набережной.

Злая судьба разлучила нас с первых месяцев войны. Они показались нам
обенно долгими, и по возвращении Наталии Владимировны в Париж мы
вспоминали о предвоенной весне как о потерянном рае.

Вот камин и кресло, на котором, еще совсем недавно папевали мы ста-
льные любовные дуэты:

Давно все это было
И с вешиним льдом упала...

Наташа так любила мою гитару. Темерь было не до песен, а к камину
пришлось пристроить из-за недостатка угля для центрального отопления чу-
пину, нарушавшую гармонию в обстановке кабинета эпохи и стиля Ампир.

Вот наружная лестничка в садик с древними ясениами и двухсотлетним
деревом спреи. То ли от войны, то ли от старости, оно раскололось на две
части и погибло. Илонда лестницы с черными чугунными перилами, без
израшивших ее когда-то цветов. Темерь тоже не до них.

Не доносятся из гостиной звуки рояля, на котором так любил играть на-
руг, композитор Дюкас, не садится за большой круглый обеденный стол под
рустальной венецианской люстрой элегантный Ария Барбюс и экспансивный
Балье. Их заменяют мои скромные ближайшие друзья и сослуживцы с Эпзе
Рюю. Пожелавший от работы Ильинский не перестает жаловаться на тех
«врагов внутренних», что по недоразумению сами «подтачивают суб, на
котором сидят».

Когда они уходят, Наташа мне постоянно повторяет: «Не горюй, все будет по-хорошему и по-нашему!» Что означают слова «по-нашему», мне еще не ясно. Неужели же наступит час, когда все эти сознательные и бессознательные немецкие пособники, саботирующие нашу работу во Франции, получат заслуженное возмездие? И как это может произойти?

Что творится в России?

Единственным источником осведомления за последние десять дней являлись для нас французские газеты. В коротких телеграммах, якобы от собственных корреспондентов из России, они сообщают о каких-то уличных беспорядках в Петрограде, вызванных очередями за хлебом. Эта причина мне кажется мало правдоподобной: неужели в России пет хлеба?! Впрочем, кому же, как не мне, было знать, чего стоят французские газеты в военное время!

Приходилось, как обычно, жить догадками. А что как действительно хлеба нехватило? При строгом режиме в питании, введенном во Франции с первого же дня войны, меня поражали письма Наталии Владимировны из России о «калачиках» и «расстегаях» в Москве, а также разговоры с Лапглуа заставляли серьезно призадуматься: по его словам, панна армия с первых дней войны получала чуть ли не двойной, против мирного времени, хлебный и мясной рацион. Но в пример Франции, мясо в России всегда считалось роскошью, и чертольцкие крестьяне позволяли себе есть солонину только по праздникам, а хлеб им хватало лишь до весны.

Если, по словам Шипгарева, мы теперь пуждаемся «принципиально во всем», то, чуждый, при подобной государственной бесхозяйственности миллионы мобилизованных людей могли съесть и мясо, и хлеб всей страны.

Уличные беспорядки сами по себе не означали еще революции: за все царствование Николая II мы уже к ним привыкли, но вот причина их — недостаток хлеба — напомнила по аналогии о ближайшем прошлом к французской революции. Мысль эта, впрочем, только промелькнула: я был так поглощен войной, что инстинктивно устранил с пути всякую помеху ее конечному успеху. Перенести уже одновременно и войну, и революцию России, как мне казалось, будет не под силу. Революция 1905 года мне достаточно ясно это показала.

«Нет, — думал я не раз за последние два года, — надо терпеть и надеяться, что без большой ломки, одной заменой главных руководителей, мы сможем добиться разгрома вильгельмовской Германии. Заменец же был Сухомлинов либеральным Поливановым и честным Шувасевым, а Сергей, хотя и великий князь, — таким славным русским человеком, как Маниковский».

Истекшая зима сильно, впрочем, поколебала во мне уверенность в возможности поворота внутренней политики. Я никак не мог себе представить во главе правительства того самого Штюрмера, который, по-моему, только и был способен заведывать церемониальной частью министерства иностранных дел и в раздраженном штальмейстерском мундире указывать дорогу иностранным послам через залы Зимнего дворца.

Еще большей загадкой явился для меня приход к власти Протопопова. Он ведь только что побывал в Париже, во главе нашей парламентской делегации. Болезнеподобный, нервный, неуравновешенный либерал, он, по словам всегда хорошо осведомленного в этих делах Севастопуло, превратился неожиданно в ярого реакционера.

оны они, Штюрмер и Протопопов, были таким ничтожеством, что по сравнению с ними не только Витте и Столыпин, но даже Боковцов представлялись величими государственными людьми. Приезжавшие из России офицеры тихо и осторожно объясняли, что высшие посты предоставляются по указам Распутина. По мысль, что на государственные дела может иметь хотя бы даже отдаленное влияние какой-то развратный полу值得一кий мужик, не укладывалась в моей голове. Многое, что говорилось о Распутине, хотелось та время прописывать сплетням, и только его таинственное убийство уже сделалось былью. К чему было только князю Юсупову и великому князю Митрию Навловичу морть руки о подобную личность! Вероятно, иначе они с нею покончить не могли.

Серьезно призадуматься над «беспорядками» в столице заставили проявившие намеки на участие в них солдат Волынского полка. Варшавская ардия! Как могла она попасть в Петербург? Это могут быть, наверное, только запасные батальоны этого полка, решил я, надо же быть Беляевым и Сабадовским, чтобы додуматься, для обеспечения порядка в столице, набить «засланными войсками», поддающимися легче всего разложению! Французские правители поступали хитрее, отводя на отдых в окрестности Парижа только самые наилучшие и наиболее дисциплинированные части — кавалерию. Они действительно показывали, что армия остается «вице-политики», но по существу считали ее, конечно, опорой республиканского режима. Они, правда, не калели денег на хорошую полицию, не упоминали в своих военных уставах, в противоположность нашим, о «врагах внутренних», но все же рассчитывали на армию как на последний «полицейский резерв».

Только наивные российские политики могли не постичь, что с начала XX века царский режим держался на миллионы двухстах тысяч солдат, лежавших в армии по лягушам мирного времени.

Неплатилась армия и развалилась, «как карточный домик», по выходу тех же наивных политиков, Российской империи.

Не раз приходилось вздыхать о роли охранителя «порядка», навязанной русской армии, но когда в парижских газетах появилось известие о выдаче войсковых генералов столичной полиции, о переодевании в нашу военную форму горючих и жандармов, лекони презираемых русской армией, меня охватило глубокое возмущение. Впервые, быть может, я почувствовал «себя на стороне противников».

По-своему негодовал на последних царских правителей и всегда такой несумимый Матвей Маркович Севастополю. Мы сблизились с ним за последнюю время еще и потому, что с появлением в Париже Жилинского посол редко делался со мною мыслями. С моим мнением он мог уже не считаться. Смененный Жилинского Федор Федорович Палицын все тот же «Федя», привнесший о начавшихся в Петрограде серьезных волнениях поступил, как всегда, «мудро»: он окончился в Гран Кю Жэ, переехавшем к тому же из Парижа в отдаленный от Парижа Бове.

16 марта, под вечер, Севастополю позвонил мне на службу и просил сию заехать в посольство. Говорить по телефону в Париже во время войны было не безопасно из-за строго установленного полицейского контроля.

— Царь отрекся, этого, конечно, надо было ожидать, — объяснил мне Севастополю. Его спокойный тон меня сразу от него отшатнул. Искужали он не имеет всего значения этих слов? Я просто верить не хотела, как это ме-

жет русский царь добровольно уйти с престола? Как может Россия существовать без царя? И, сильно взволнованный, я, вместо канцелярии, прямо поехал на Ез Бурбон, чтобы привести в порядок свои мысли.

Наташа, однако, тоже понять меня сразу не смогла: для нее царь представлялся только тем «Колькой-Миколькой», каким уже давно называли его в Москве, а о политике она рассуждала по рецептам, преподанным французской революцией. Пострадают ведь одни только аристократы.

На следующее утро во всех французских газетах большими буквами уже было напечатано:

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ И ОТРЕКСЯ ОТ ПРЕСТОЛА
В ПОЛЬЗУ СВОЕГО БРАТА МИХ. ИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧА

С этим недоуменiem мне уже приходилось встречаться.

Ири входе в свой служебный кабинет первым, что бросилось мне в глаза, был овальный, очень плохо выполненный портрет Николая II в преображенской форме. По страшной случайности, он был написан мною подчиненными только недавно, к Новому году. Когда и кто возымел эту злосчастную мысль, так и не удалось установить, по удобольствия подобный подарок мне не доставил: я никогда не украшала даже своего рабочего кабинета портретами царей.

— Снимите портрет и замените его тем же зеркалом, которое всегда тут висело, — приказал я Тессье и продолжал обычную работу.

Позднее этот простой жест был истолкован эмиграцией как нечто чудо-вившее:

— Игнатьев-де, сорвал портрет царя со стены и публично топтал его ногами.

К полуночи ко мне ворвал Лохвицкий и требовал точных указаний, что как ему объявлять войскам. Солдаты уже были в курсе происшедшего в России и могли обвинить офицеров в сокрытии от них совершившегося переворота. От своего прямого начальника Палецкого Лохвицкий по телефону толку добиться не мог, но и я, к сожалению, никаким официальным документом не располагал. Мне тоже надо было подумать о непосредственно мне подчиненных русских комендантствах, о больных и раненых солдатах, разбросанных по всей территории Франции.

От великого до смешного — один шаг, и к вечеру того же дня Извольский вызвал меня для решения вопроса о форме ектении на воскресной в посольской церкви: была суббота, и почтенный отец Смирнов требовал указаний: поминать ли великого князя Михаила Александровича как царя или нет и как же совершать «большой выход» из литургии? Вся ведь церковная служба была переполнена молениями о царе и августейшей семье, что уже с давних пор мне было не по душе.

— Граф Игнатьев знает церковную службу не хуже вас, — заявил усмешкой Извольский отцу Смирнову, — пусть он и решает вопрос.

Каждый час, проведенный без официальной телеграммы из России, казался вечностью, но мое начальство, повидимому, оставалось верным себе и просто позабыло о своих заграниценных представителях.

Пронесла ночь, прошли два дня, и первым, получившим телеграмму, сформированием какого-то правительства, назвавшего себя «временным», окон-

ился наш морской агент, капитан 1-го ранга Дмитриев — «борода», как называли его не очень с ним считавшиеся мои сослуживцы. В Петрограде среди работников морского штаба уцелело еще несколько офицеров «младотура», рожденных Цусимой. Они приветствовали революцию, особенно юнкерами, что она произошла «без малейшего пролития крови».

Этот оптимизм как нельзя более соответствовал настроению и моих близайших сотрудников с Элизе Реклю. Близко принимая к сердцу всю мою борьбу за сохранение тех устюев, от которых зависел наш военный кредит во Франции, они надеялись, что революция, да к тому же «бескровная», сможет прорвать «деловую атмосферу», выкинуть за борт темных дельцов и взяников.

В артиллерийской комиссии, где продолжалось благодушное безделье, революция дала возможность использовать служебные часы на бесконечные чудесы, а в авиационной — старик-прапорщик Дороневский, оказавшийся членом монархистом, безустали громил интеллигентию, обитавшую в «Крушиении».

Вынимая из бумажника русские кредитные билеты и тыча пальцем на изображенную на них эмблему России, подзывающей Дороневский твердил: — Ст, смотрите, за эту женщину в кономнице погибаю!

Французские знакомые сочувственно пожимали мне руку, как бы считая, что после падения царского режима для меня в России места не найдется.

Военные французские друзья предлагали мне без замедления перейти в ряды французской армии. Пройдя школу усовершенствования для высшего командного состава в Шалоне, я, по их мнению, мог получить командование поладой и быстро продвинуться по службе.

Некоторые «Рыцари промышленности», как Ситроен и в особенности главный директор Шнейдера Фурнье, не замедлили открыть передо мной широкие горизонты для работы в военной промышленности на почетной, не через тур обременительной, а главное — очень доходной должности в *conseils d'Administration* (правлениях). Их интересовало сохранить через меня связи с Россией, развить дела с Англией и Америкой.

Альбер Тома уже несколько дней избегал встречи со мной. Он, как и большинство политических деятелей, занял по отношению ко мне выжидательную позицию.

Отречение Михаила Александровича внесло еще большее смятение в обеяния бригады, и Лохвицкий продолжал звонить мне по телефону из лагеря Чаллы и просил указаний: кому же присягать? Но солдаты, однако, не получили даже манифеста об отречении царя на русском языке, а солдаты трооили документа. Таков уж русский человек — словам не верит, требует погасить не только документ, но даже подпись.

В конце концов я понял, что для разрешения всех недоразумений нужен какой-то приказ. Но солдаты его не могут, Палицын не хочет, — значит, все будет служить документом приказ по управлению военного агента, и я вынужден был с некоторыми нареками окрестить мою когда-то скромную пажескую капеллярную.

Кстати, утром 7 марта примила, паконец, давно жданная телеграмма из посольства Запекевича. Я догадался, что это тот Запекевич, который был только в мае года старше меня по выпуску из академии, из чего я понял, что в Генеральном штабе произошли перемены — власть захватила молодежь.

Кратко сообщая об отречении Николая II и обращении к народу Михаила Александровича, новый генерал-квартирмейстер не говорил прямо о принятии на себя временным правительством верховной власти, а только указывал, что:

«Все главные управления военного министерства продолжают без изменения функционировать под руководством временного правительства».

Слово «руководство», как не совсем военное, мне особению не поправилось.

Вся революция ограничивалась тем, что: «название «империя» заменилось словом «солдат» и что «солдатам приказано (кем приказано не указывалось) говорить «вы», а они титулуют начальствующих лиц «господин генерал или полковник» и т. д.

Отменены ограничения (слово тоже мало вразумительное), установленные статьями 29, 100, 101, 102 и 103 устава внутренней службы».

Никакой революционной решительности и твердости в этом документе не чувствовалось, но все же он давал какой-то материал для установления нового порядка вещей.

«Объявляю по вверенному мне управлению следующую телеграмму генерал-квартирмейстера».— перечитываю я теперь копию своего приказа от 8 марта 1917 года за № 15, сохранившуюся на пожелтевших от времени листках французской бумаги.

Изложив манифест отрекшегося царя и отказавшегося от «невыгодного наследства» его брата, я заканчивал свой приказ так:

«На основании вышеизложенных документов предписывают:

1) Сохраняя впредь до могущих быть изменений все военные законы и уставы, за исключением вышеупомянутых параграфов устава внутренней службы, считать высшей властью в России временное правительство.

2) Начальникам отделов, старшим и младшим комендантам объяснять, с особым вниманием, офицерам и солдатам смысл совершившегося в России государственного переворота и необходимость соблюсти более чем когда-либо все требования закона и воинской дисциплины.

Обращаю внимание всех подведомственных мне лиц и учреждений во Франции на необходимость делом и примером поддержать в настоящую минуту честь русского имени офицера и солдата в глазах наших союзников. В настоящий момент главной целью нашей жизни является победа над внешним врагом, и потому прежде всего все мы должны проникнуться сознанием воинского долга перед бесконечной дорогим всем нам отечеством.

Подлинный подписал:

Полковник граф Игнатьев.

С подлинным верно:

Капитан Шардигон».

Последний пункт был вызван, повидимому, брожением умов в солдатской массе и распущенностью в офицерской среде.

Перед окончанием служебного дня Приказ уже лежал передо мной, перепечатанный на машинке. Оставалось его подписать. Он показался мне вполне обоснованным, однако моя собственная формулировка: «Считать высшей властью в России временное правительство» в последнюю минуту еще линий

раз меня смущила. Этими словами я принимал на себя какую-то самостоятельную политическую ответственность.

— Тут вот две ошибки нашлись, — сказал я своему секретарю, — они не допустимы в таком документе. Всегда перепечатать, я завтра подпишу, — я, положив черновик в карман походного жилета, вернулся на Ез Бурбон.

Большим для меня подспорьем в жизни являлось привитое смолоду уважение к подписи. Сколько горя хлебнули целые русские семьи из-за необдуманного подписания мужьями или сыновьями денежных обязательств, и как много было скомпрометировано французских политических деятелей их страстью к писанию писем по всякому поводу, к выдаче совсем на первый взгляд невинных рекомендаций. Подписав за время войны одних только казенных чеков больше чем на два миллиарда франков, я привык еще осторожнее давать свою подпись. Это очень мне пригодилось во всей моей последующей службе России, а в советское время создало репутацию надежного хранителя наших торговых интересов за границей.

— Передайте эти векселя на подпись Алексею Алексеевичу, — сказал как-то один из наших работников по Внешторгту, — он зря не подпишет.

Ноинято, какое значение придавал я подписанию своего приказа о февральской революции.

Казалось бы, что за дни и часы, пронесенные после отречения царя, было время определить свое личное отношение к событиям в России. Однако так уж мы созданы, что и радость и горе ощущаются не сразу. Время их только искугбляет. Влюбиться можно подчас с первого взгляда, а глубоко полюбить случается лишь пройдя вместе через тяжелые испытания.

Обрадовались мы революции, но что она с собой привнесет?

Для меня, усталого не от работы, а от борьбы, жаждавшего коренных перемен в управлении России, революция, в первую минуту казалась величием счастьем. Но как Россия сможет быть без царя? Что скажет нам многочисленный народ? Как отнесется к революции наша великая армия?

Мысли и чувства перепутались, противоречия душили...

Их надо было во что бы то ни стало разрешить, и притом раз и павсегда. Я еще не ясно сознавал, но предчувствовал, что, подпишав приказ, я председаю этим всею мою дальнейшую судьбу.

Тихо было в эту памятную для меня ночь в нашем кабинете на Ез Бурбон. Наташа легла сидеть, а я, положив перед собой чистый лист бумаги, стал писать. Еще в академии у меня была привычка думать с карандашом в руках: для военного человека не бесполезно уточнять и закреплять на бумаге свою соображения. Но беда моя была в том, что мыслить приходилось не о войсках, не о снарядах, а о чем-то отвлеченному, что и долго опасался называть «политикой». Офицерам подобным делом заниматься не полагалось.

Сперва мысли продолжали лежать друг на друга, а когда я, потерев лоб, стал искать причину этой неразберихи, то с ужасом убедился в своей почти абсолютной «политической беспомощности».

Поступая в академию, я основательно изучил французскую буржуазную историю.

В первую русскую революцию узнал о существовании «эсеров», вооруженных браунингами, и «эдеков», не вооруженных, но более опасных для существовавшего режима, опиравшихся не на разрозненное крестьянство, а на организованные рабочие массы. Читал я как-то в Париже о Плеханове, но о других вождях левых партий даже не слыхал.

В разнице между кадетами и октябрьстами разбирался плохо, так как не мог попять, чем отличается бородач-гастроном Михаил Стахович, видный кадет, от моего коринусского товарища Энгельгардта — октябрьста.

С Шуриниковичем знаком не был, и речи его представлялись мне только не лишней талантливой болтовней. А Марков 2-й казался просто грубым хамом.

Заграницкая служба, в особенности во Франции, вынудила меня ощущать разобраться в темном лабиринте политических партий, от которых зависела оборонопоспособность нашей союзницы. Читал газету Жореса и наслышался о забастовках, как о крайнем средстве борьбы рабочих с предпринимателями.

В конце концов я был больше знаком с политической физиономией Франции, чем со всем происходившим за последние годы в России.

«Как жаль, — думалось мне, — что нет у меня ни одного русского, с кем бы я мог посоветоваться. Извольский растерялся, Севастопулे мыслит о России, как ипостратец, а мои сотрудники, даже полковник, уже ничего в политике не смыслят».

Одиночество заставило вспомнить об ушедших уже в могилу дорогих и близких мне людях. Как бы они думали и поступали, очутившись в моем положении?

Помню, как в раззолоченном мундире камер-наажа приглашался я по воскресеньям, после обедни у бабушки, на завтрак к дяде, Николаю Навловичу, и, пользуясь его особым расположением, проходил прямо в рабочий кабинет этого бывшего государственного деятеля. Он сидел у письменного стола, вечно заваленного — вероятно, по привычке — какими-то бумагами, а я, сидя, что он кончит писать, смотрел в окно, выходившее на Мойку, на сунутрив красного здания придворных конюшен.

— Смотрите, дядя! — не удержался я от взгляда, — казаки едут! Едучи к вам, я слыхал от кузовчика, что на Казанской изоклади студенты бунтуют. Неужели казаки будут их рубить?

— Какое там рубить! Все это, братец, пустяки. Вот когда с «топориками» народ пойдет, тогда ты обо мне вспомни, — сказал старик и продолжал писать.

Но пошел ли уже народ «с топориками» — вот вопрос.

Революция в России долгое время представлялась мне великим шаредным бутыком, направленным не только против помещиков и властей, но и против всех интеллигентов, которые не имели пресных корней в родной земле.

Мой единственный жизненный друг — старец Алексей Навлович, не смог бы тоже дать мне совет. О революции он избегал говорить и только учил меня с детства, что «единственным справедливым актом во Французской революции явилось лишение политических эмигрантов их имуществ во Франции». Как бы отнесся Алексей Навлович к эмиграции, мне догадаться было трудно и я хорошо помнил, что даже переведенные некоторыми русскими богачами деньги за границу он считал тяжким нарушением интересов России.

Для обоих этих русских людей любяния о России и о царе являлись не-

и отделимыми. «Основные законы Российской империи» были для них священны, и вот почему даже «Манифест 17 октября» так сильно их смущил.

Взирая на каску, завещанную деду Николаю I и хранившуюся под стеклянным колпаком в кабинете на Гагаринской, Игнатьевы должны были помнить, как понимал этот самодержец служение отечеству.

«Я — первый слуга России, — будто бы говорил он, — вам, генералам, надлежит быть вторыми, в противном случае — в Сибирь!»

Как же должен был страдать после этого Алексей Игнатьевич, убивший царственное Императорство Николая II! Недаром он помышлял в свое время о дворцовом перевороте, но все же представить себе Россию без царя не мог.

Как из чистоевропейского мира воскresли в эту ночь передо мной все эти сплетия о русском самодержавии, и, несмотря на все возмущение, пахонившееся против самой личности Николая II, я все же понимал, что с его уходом изменится коренным образом лицо моей родины.

Те, кто со мною управляли, никогда не вернутся к власти.

«Держи вожжи тройки, которая тебя носила, столько, сколько можешь. Никогда не перебирай вожжей. Лошади почувствуют твою слабость, и другой лучер, быть может много слабее тебя, лучше с ними справится», — вот на каком примере мой отец объяснял мне одни из главных принципов управления людьми.

«Не течет речка обратно», — вспоминались мне также мудрые слова песни казачьих казаков.

Я уже не отделял Россию от революции, но смогу ли я, однако, служить моей родине, так как служил при царе? Чьи приказы я должен буду исполнять? Кому подчиняться?

Нейтральным я оставаться не могу: я всегда презирал нейтралов.

Революционером, «подтачивающим государственные устои», тоже не был.

При таких условиях не лучше ли отойти в сторонку, приказа не подпisyвать, сделать Францию своей новой родиной и в рядах ее армии продолжать выполнять свой военный долг?

Однако от одной мысли, что я могу перестать быть русским, сердце сжалось до слез. Как могла такая нелепость в голову прийти?!

«Надо взять себя в руки, — решил я, — и хладнокровно произвести анализ своих мыслей и чувств, точь-в-точь как когда-то в юности на уроках Штецкого анализировали мы характеры героев тургеневских романов».

Ведь все, что я решу сегодня ночью, должно оставаться незыбленным до конца моих дней.

Вот конец того листа, что сохранил я навсегда, как «отходную для старой жизни», как «путевку» в новый мир:

ДО ВОДЫ

ЗА ТО, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
РУССКИМ
ОПТИРОВАТЬ ЗА РЕВОЛЮЦИЮ:

Естественная, и потому неотъемлемая, привязанность к материализму.

ЗА ТО, ЧТОБЫ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
И ОПТИРОВАТЬ ЗА ФРАНЦИЮ:

Семейные традиции верности царскому престолу, не дающие права служить революции.

Чувство бесконечной благодарности России и русскому народу за всю прожитую жизнь, за все успехи, что я имел за границей как русский и как представитель русской армии во Франции.

Глубокое, до боли, возмущение против павшего царского режима за преступное ведение им войны.

Слепая вера в творческий гений русского народа. Он всегда сумеет определить свою дальнейшую судьбу.

Чувство удовлетворения от победы демократических начал в России, ценность которых, как крупного фактора в обороне страны, я осознал во Франции.

Сознание служебного долга перед Россией за сохранение кредита, необходимого ей для продолжения войны и нравственной ответственности перед Францией, оказавшей мне формой этого кредита личное доверие.

Нет! Какие бы личные выгоды и покой ни сулила мне Франция, не в силах я буду лишиться права ходить по родной земле, дышать русским воздухом, любоваться белыми стволами берез (они во Франции не растут), слышать русскую песню или даже просто русский говор!

Что же еще меня удерживает от подписания приказа, знаменующего мое вступление в ряды тех, кто сверг царя с престола?

И в эту минуту какой-то внутренний голос, который я не в силах был заглушить, помог разгадать загадку:

А присяга?.. Офицерская присяга?.. Ты забыл про нее? И про валергардский штандарт, перед которым ты ее приносил, поклявшись защищать «царя и отечество до последней капли крови». Отдавая приказ, ты не только ее сам нарушил, но и потребуешь парушить ее и от своих подчиненных.

Стало страшно, хотелось порвать все написанное...

Но сам-то царь, кто он теперь для меня? Мне предстоит отказаться только от него, а он ведь отказался от России. Он нарушил клятву, данную в моем присутствии под древними сводами Успенского собора при короновании.

Неохота стать участником тех насилий, которые неизбежны при всякой революции.

Возможность продолжать дело освобождения России, и Франции от германского нашествия, в рядах французской армии, с которой я так сроднился.

Уважение и доверие к французам, вытекающее из совместной с ними работы в военное время.

Неуверенность в возможности использовать для России весь тот опыт, который был приобретен с затратой стольких сил и энергии в течение трех лет войны.

Материальная обеспеченность завтрашнего дня.

Витиеватые слова манифеста, оправдывающие отречение от престола, для меня не убедительны. Русский царь «отрекаться» не может.

Уж на что жалкой фигурой казался мне всегда Павел I, но и тот наил в себе мужество сказать в последнюю минуту своим убийцам, гвардейским офицерам, предлагавшим ему подписать акт об отречении: «Вы можете меня убить, но я умру ваним императором», — и он был задушен, а его преемник, Александр I, только благодаря этому и смог, пожалуй, беспрепятственно вступить на престол.

Николай II своим отречением сам освобождает меня от длиной ему жизни, и какой скверный пример подает он всем нам, военным! Как бы мы судили солдата, покинувшего строй, да еще в бою? И что же мы можем думать о «первом солдате» Российской империи, главнокомандующем всеми сухопутными и морскими силами, покидающем в разгар войны свой пост, не помышляя даже о том, что становится с его армией?

Когда-то мой бравый молодой гвардейский улан 3-го эскадрона отказался покинуть пост часового у дровяного склада до прихода «разводящего».

Я тоже был воспитан в строю, и как старый гвардеец останусь честным при вверенном мне многомиллионном денежном ящике «до прихода разводящего!»

Светает. Мое решение принято, и оно бесповоротно.

Царский режим пад, но Россия жива и будет жить.

Я подписываю приказ.

Как бы мне ни хотелось, подобно многим, рассматривать вчерашнее событие только как великий праздник, — для меня, знающего историю, это однажде длинного пути, полного трудностей и тяжелых испытаний.

Да прольет революция хоть немного света на мою темную родину.

Я буду служить ей столь же самоотверженно, как служил и до сих пор.

Я обязан всем, решителью всем, русскому народу.

Шутей он отыне и будет моим единственным повелителем.

Июль 1943 года
Москва.

КОНСТ. ФЕДИН

НЕСКОЛЬКО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

(Зависи)

Пять городов — Мценск, Орел, Карабев, Жиздра, Людиново, десятка разрушенных сел и деревень, сотни километров военных дорог, утопающих в зеленой пущине пыли, — вот что оставил я позади, прежде чем сесть за стол и написать о впечатлениях, небывалых в моей жизни никогда.

Спером в руке я попытаюсь понять то, что иногда казалось, ~~не~~ поддается никакому пониманию и повторить путь по следам врага среди людей и самой природы, ставших жертвой врага, и рядом с людьми, которые врага побеждают

ОН

В тех местах, где немец побывал, где прокатилась его армия, постояла его власть, его зовут — он. Горожанка-обывательница и красноармеец, крестьянский мальчик и старик-мастеровей почти никогда не скажут — немец, германец, противник, враг, но всегда однозначно и запечатлеваяще: он.

Он угнал. Он спалил. Он подорвал миной. Он искалочкил. Когда он пришел. Когда он уходил...

Он — это олицетворение всего, присущего иноземной волей. Он — это разорение, дно и чисты. Он — это война. В кратчайшем и как бы скользь выговариваемом этом слове слышишь что-то отверженно-чужое. За пределом этого звука начинается небытие. На пределе этом — конец света.

Очень часто кажется, что развитое воображение способно создать любую картину горя и разрушения. Пожарища войны представляешь себе тотчас, как только произнесены эти два слова. Но воображенная картина лишена силы переживания, а сила, полнота переживания дается лишь действительностью. И самая изолированная фантазия без спора

уступает место картинам действительности современной войны.

Все сметено на пути отступающего немца. Вынужденный бросать места, которые тепло насидел, покидать позиции, крепости, которые со смаком помасторил, оставлять навеки край, сладость которого текла по усам и сдача из пошала в рот, немец уничтожает все, что поддается уничтожению.

Он живет, налит огнем хаты, избы, амбары, сараи, риги — всякое строение, быть то уловатый дом, будь то собачья конура — лишь бы оно горело. Он рвет каждый мост через реку, каждый мосток через канаву, перегородки и переправы. Он рубит и пачат леса, как во времена Батыя, разгромляя засеки против преследуемых и сто Красной Армии. Он уничтожает железные дороги, подрывая рельсы на каждом стыке, перечиная взрывчаткой нескончаемые территории станций, разъездов, вокзалов. Он разносит минами здание за зданием, переходя от одного к другому, точно в адской калабрии.

Невади его остаются руины. Докторические нагромождения шебня,

кирпичной крошки, известковой, бетонной, глиняной пыли, припуренной сверху пеплом и сажей. Тлен великого прошлого. Следы землетрясения. Былье. И больше ничего.

По дороге ко Мценску мне пришлось перепечевать в крошечном городе Черни Тульской области. Чернь непроложительно была занята германской армией в 1941 году — время славной обороны Тулы — первого русского города, перемогшего осаду немца и отбросившего его от своих неприступных ворот. Горные брустверы попирок тульских улиц уцелели и покиню. В Черни лежать немцу было некого, разгуляться негде: городок скромный, не-приметный, как подорожник. И хотя немец в 1941 году был не тот, что теперь — были его тогда в эту войну мы только юнцы, и он вероятно считал, что случился просто какой-то малообъятный курьез, — природы своей, однако, он переменить не мог и городок разрушил. Он выбрал, правда, что получше: новую школу, крупные здания районных учреждений, все, чем могла похвастаться Чернь, которая также стронлась до войны, как любой чаш город, — выбрал лучшее и взорвал. Это лучшее, однако, составляло почти девять десятых всех строений. С тех пор, после его изгнания, шло второе лето, и я мог на примере изучить во всей образности понятие «фактор времени», столь значительное в условиях войны. Руины Черни сплошь покрылись бурьяном фантастической силы, много выше места роста и непролазной чащобы. Мертвопох и краина, рапейник, размахом в добро дерево, лопухи, каленые как нальчи, лебеда и чолочай состязались в мощи и достоинстве, удушая насмерть растки старые группы белых садов с обмуренными черными гангренозными сучьями. Спору нет, — вот живое чудство, буйно радующееся войне — бурьян.

И вот сколько нужно времени, чтобы из городка, горячего на солнце, белесыми стенами зданий, краиной жестко крыши мученически оторванными стеком, образовался косой холм земли, обмотанный зигзагами глухой зелени, рыжеющей от южной пыльной скуки: по-

сколько месяцев, два печальных лета.

Но, начиная со Мценска, следы немецких разрушений еще не прикрыты обманчиво-живоносным покровом сорняков и простираются на запад во всей своей устрашающей наготе.

Передняя линия немецких окопов, за ней вторая, раскинутые на стороны проволочные заграждения, почищенные свежевыструганные мосты, первый десяток вскрытых минах оболочек, отброшенных в кювет, за обочину шоссе, увидшие огороды германских солдат, наскаженные позалы траншей руками подневольных мценских горожан (о, бесстыдная скопиломная немецкая практичность!) — и я вступаю на освобожденную землю орловщины.

Здесь хочется минуту постоять, как у могилы бесстрашного солдата, как у памятника славы. На этих холмах, по ленивым их склонам, на виду у отдаленного горизонта, кое-где завитого простыми и милыми перелесками, двинулись вперед наши войска, после того как полторы тысячи орудийных стволов пробили брешь в оборонительной стене врага. Рывком с этих полей войска перекинулись через реку Зушу и пошли к Оке, воронкою раздвигая отступающих немцев. Здесь началась орловская битва. Здесь подломилась и рухнула одна из немецких военно-политических иллюзий — вера в летний сезон, как в сезон успешных немецких наступлений. Здесь, наперекор отживающему немецкому счастью, поставлена исходная дата летних побед Красной Армии 1943 года.

С этих холмов начинает раскрываться картина немецких поражений и становится видно, с каким безумием сопротивлялся потрясенный враг, отходя, убегая или пытаясь с Востока на Запад. Белокаменный Мценск взорван. Глыбы кирпичей, срашенных известкой в массивы, навалены по обе стороны Зуши. Все цепное поврежено в прах. Усталыми муравьями приподнимаются и клонятся к земле между развалин люди, в надежде что-то откопать, и только по окраинам уцелели деревянные домики, и народ в великой заботе сунет по улицам.

Орел — это десятикратно умножен-

ные развалины Мценска. Завихрение первозданного хаоса на месте вокзала и станционных путей, обрывки которых перевиваются, точно вытянутые жилы из развороченной туши. По наступляемому плану улиц и по грандиозности развалин видно, как огромен был город и как он был красив. Немец рвал его минами замедленного действия. Люди, входившие в город сейчас же после его взятия и затем вновь приехавшие, спустя три недели, уже не нашли виденных картии: все это время улицы сотрясались взрывами, и разрушения продолжались.

Как и во Мценске, руины центра опоясали в Орле сохранившимися пригородами. Город превратился в пастынкую кольцо деревянных столбов, которое падет на кладбище каменной крошки.

Шоссе Орел — Карабчев является собой наглядный образец той новой разрушительной фазы, в какую война вступила с момента прорыва на Зуше. Через каждые полкилометра — воронки от разрывов мин и бомб. Надо спускаться с шоссе, облезжать воронки. Сотни таких объездов сливаются в конец концов в особую дорогу обок с полотном шоссе. Сквозь окаменевшую куличь-рыжо-зеленой пыли на минуту выглядывает испепленце деревни, и снова все застилает неодолимая стихия пыли, намолотой войсками на этих импровизированных дорогах рядом с шоссе, которое выведено из строя, умерщвлено войной.

Так по пути отступления немца, по пути смерти въезжаешь в город Карабчев. Стоя в центре этого города, свободно видишь окрестные горизонты. Ничто не препятствует взору, всякое сооружение, возвышающееся когда-то над землей, извергнуто и сражено с низиной, выбегающей сюда из далеких болот и лугов. Признаки жилья всюду так основательно уничтожены, что между центром и окраинами не стало различий, и теперь беспредметно несет сюда с недавнего пригородного поля боя: тонко-стадий, содрогающий извего телефона трубный зал.

Приходит на ум вопрос, который задаешь себе, желая покинуть врага: что стало с немцами? Что единственное

с этим в лето 1943 года, когда он был принужден не только бросить мысль о наступлении на Восток, но уходить и уходить на Запад, оставляя громадные области земель, пропитанных его кровью, что сделалось с ним? Ведь судить о состоянии, в каком он находится, можно прежде всего по тому, как он ведет войну. А в Карабчеве слишком явно видно, что ведет ее он в несущем безрассудства.

Даже в разрушениях войны обычно видна суровая целесообразность: уничтожение железнодорожной станции, телеграфа, завода, который может быть легко использован противником, понятно. Но расходы и страдания, употребляемые немцами на уничтожение каждой халупы и всякого коровника, обывательского флигелька и старой церкви — окупаются ли они тактически?

Немец говорит: он превращает ganze земли в зону пустыни. Но пустыни Африки не спасли Роммеля от разгрома. Но спасают немца от поражений и создаваемые им новые пустыни на дорогах его отступления из России. Он говорит: он ведет войну на износ, войну на истощение. Но, уничтожая позади себя слоны наземных человеческих поселений, немец изнашивает, истощает дух своей армии, которая понимает, что так уничтожать может только тот, кто не находит когданибудь возвращаться на эти разоренные места. Он понимает, что пространства, за которые он бился подряд два года, уходят из-под его власти, и тоже как они уходит из-под его власти паводка, то он и уничтожает все, за обнаружение чем еще недавно окочочечему дралися. Он видит, что произошла неизоправимая перемена с того времени, как он стоял у Владикавказа и под Сталинградом. Он мечтает теперь не о дороге через Баку на Индию, но о том, чтобы уединяться на Украине. Война поддается действительно на износ — на износ немецких восточных планов. Над всеми неисчислимими крестами, которые немец натыкал в России на могилах своих солдат, он ставит пылью огромный черный крест своим расстегам на Востоке. И поэтому, уходя, он «хлопает дверью». Он хлопает ее из вост

ставшейся у него силы — он день и ночь без сна и роздыха, без перерыва и до седьмого пота уничтожает, уничтожает все на Востоке и окончит на Запад.

Вот что можно сказать о состоянии немца, судя по тому, как он вел войну в лето 1943 года.

Сумасшедшему чувствует, что скоро него отнимут не только кожа, но и награбленное, и чтобы отбиться от усмирителей, он поджигает все и прячется за огнем. Огонь заставляет сумасшедшего спалить его.

Я поднимался на самолете в районе между Барачевом и Жиздрой. Чудом нестареющий «У-2», с мотором-трещоткой и беспримитивным кругозором на все шесть сторон, показал мне орловские деревни с воздуха. Мы с детства помним краску по имени «берлинская лазурь». Это резкая синяя краска, самая ядовитая из холодной лазуревой гаммы. Этой краской кажутся покрашенными синие пожарища деревень, пепелища русских крестьянских изб. Селедий не осталось, есть только их иллюзии — широкоголовые акварельные ковбоя — все живописные краски в которых подменены берлинской лазурью — мрачной краской Берлина, заливающего мир своим ледяным ядом.

Объезжая дороги войны, где-то по пути к Жиздре я напал на деревушку, почти полностью уцелевшую живую. Среди пустыни она показалась мне такой же неутихающей, как «У-2». Лихо подбогенилась она на пригорке, точно на выраже. Ее неожиданную жизнерадостность можно было легко разделить, потому что она видела воочию бесстрашно немцев: их опрокинули наездом, и из этой деревни они бежали так, что было не до выполнения непременной разрушительной программы. В деревню возвратились из лесов жители, и женщины, дети, старушки поспошли благодатным осенним трутом вокруг урожая.

В одном из сараев деревушки разместился пшитабной отдел, занимающийся изучением протирника. Я подсел к столу под открытым небом, поодаль от сарая. Стол был изведен немецкими инсемами к солдатам от ролных и приятелей: в обеих руки попала половая почта, оставившей германской части

разраз полторы сотни самых свежих писем из Германии. Во многих из них повторилась запека о том, что дело, против ожиданий, немножко затянулось и что было бы приятно, если бы оно поскорее кончилось. Перечитывать это становилось скучно, как вдруг в глаза бросилось внушительное послание на солидном бланке под фирмой «Тодор Ган, в Оберштейне, на реке Наэ — жестяная и водопроводная мастерская».

Заведение это очень почтенно, у него имеются три текущих счета — почтовый, во Франкфурте-на-Майне, во Всеобщем Эльзасском банковском обществе Идар и в отделении немецкого банка в Оберштейне. Письмо относится к концу июня, принадлежит владельцу предприятия — Эрнсту Гану, пишет он, очевидно, брату, Эмилу Гану, и описываемые житейские события развертываются в самом Оберштейне, в Рейнской области. Чтобы оценить этот документ, его надо привести полностью.

«Милый Эмил,

сердечно спасибо за твое первое письмо от 30 мая, на которое я могу ответить лишь сегодня. Моя правая рука была несколько недель забинтована. Совершенно неожиданно у меня в запястье появились боли, и д-р Фишер сначала установил, что это было заражение. После того, как я около десяти дней поносил гипсовую повязку, руку разбинтовали. Но уже приблизительно через четырнадцать дней опять возобновились страшные боли. Они стали возникать всегда ночью, когда сейчас так трудно добиться врача. На другое утро сделали рентген, но ничего не установили. Опять наложили гипсовую повязку, которую я проморгли около трех недель. После того, как ее сняли, боли до некоторой степени прошли, но работать я совершенно не мог. Писать еще удавалось. Сейчас начали коротковолновое облучение с известным успехом. После пятнадцати облучений боли прекратились, только я все еще не могу правильно ловить рукой. Врачи сказали ничего не могли сказать, что это, собственно, было. Сейчас они признают, что это воспаление сухожилий. Страшно скучная история. Писать мне все еще трудно, поэтому ты и получа-

ешь это письмо на машинке. Надеюсь, каких-либо новых историй больше не случится. Вирт года полтора назад неловко повернул руку, и сейчас обнаружился перелом в запястье, который установлен на прошлой неделе л-ром Финнером. Смешно, что подобная история дает себя знать с таким опозданием. Правда, у него все время были боли, когда приходилось, например, ступить, но он на них не обращал внимания. Мне теперь придется слегка поберечь руку Вирта. Поэтому я уже купил электрические ножницы и постараюсь получить для нас фальцевую машину. Новые машины этого рода больше не изготавливаются, и надо, наверно, раздобыть какую-нибудь на другом предприятии. Со здешними слесарями изготовить такую машину невозможно, потому что у них много работы над более важными вещами.

В работе у нас недостатка нет, а последнюю неделю хватает и болезней среди моих людей. Вчера поутру я стоял в мастерской всего с одним человеком. Антон тоже должен был выйти из строя, потому что у него что-то случилось с глазом. Гергард вот уже с апреля на трудовом фронте, а от учеников больше нет никакого проку. Едва они выучились, как их забирают на трудовой фронт. Да и ученье обычно заканчивают поскорее, чтобы ребята отправлялись на трудфронт.

Меня очень радует, что ты хоть на короткое время смог вырваться на отдых, потому что вы на переловой линии это основательно заслужили. Как только ваш участок упоминается в сводках, я должен всякий раз о тебе думать. Будем надеяться, что ты благополучно вылезешь из этой истории и война скоро окончится. Но мы налеемся на это уже много лет, а все еще не видно никакого конца.

Я опять затеял большое птицеводство на Наэ; с тою малостью мяса, какую нынче получаешь, приходится заботиться о балансе. В настоящий момент у меня пять старых уток, четыре молодых нынешнего года и еще три совсем маленьких. Разгуливают шесть кур и двадцать семь петухов. Самое замечательное в моей ферме то, что три утки сидят сейчас на яйцах. Очень интересно, что из этого получится? Из восьми яиц на

сегодня осталось под утками ~~под~~ штуки, потому что остальные сожрали всякое зверье. Много работы мне с этой живностью, но ведь если не постараешься, ничего не выйдет. Мои куры и утки очень хорошо неласли, и я должен был сдать тридцать шестьдесят яиц. Это я делаю с охотой, потому, что ведь взамен получаешь гораздо большие. Весь оплата сделанная яиц очень хороша. Получаешь за один курячий яйцо 9,5 пфеннига и за одно утиное 8,75 пфеннига. Можно сделать большое дело. Ты можешь себе представить, во что мне обходится мое птицеводство. Когда ты был в отпуске, ты ведь видел, как приходилось изворачиваться, чтобы прокормить пернатых.

Ждется нам еще хоршо, брюхо у меня пропало, но мы выдергим.

На сегодня сердечно приветствую тебя, а также моя жена желает тебе всего хорошего.

Эрнст Ган».

Так живет и работает водопроводчик Эрнст Ган у себя в Рейнской области. В разгар тотальной мобилизации, когда его вот-вот должны были забрать в гитлеровскую армию, он почувствовал сонерично не объяснимую боль в руке. Знакомый доктор Фишер за наруч уток принял лечить странную болезнь, и, так как утки были икесны, страдания Эрнста Гана все затягивались и возрастили. Тем временем очередь по мобилизации дошла до Вирта, и у него тоже открылась болезнь, которую он никогда в жизни не подозревал. Доктор Фишер принял лечить и Вирта, тотчас потерявшего работоспособность. Молодые петушки из птицеводства на реке Наэ могли сыграть в усложнившейся болезни Вирта известную роль. И поскольку тотальная мобилизация продолжается, боли не проходят ни у Эрнста Гана, ни у Вирта. Но вот и Антону потребовалась срочная помощь доктора Фишера, потому что если доктор Фишер не откроет у него какой-нибудь застарелой болезни, его угонят по мобилизации на трудовой фронт, как уже учили беднягу Гергарда. Что же стало с почтенной фирмой Тодора Гана? В мастерской у электрических ножниц пригорюнился безрукий Вирт, на пороге, в ожидании пока Эрнст Ган ходит по

предприятиям Оберштейна, раздобытым ионошеннюю фальцевую машину, слив одноглазый Антон. Учеников явно не осталось, станки остановились, тихо и грустно в мастерской лежали.

Эрик Ган, опора и фундамент режима немецких национал-социалистов, решительно не желает идти на гитлеровский трудфронт. Он не хочет, чтобы у него отшли последние рабочих, он надеется, что у него отбирают учеников. Он думает только о том, чтобы его брат вышел живым с фронта. Он мечтает о славе (что слава? — дым!), а о том, чтобы война кончилась. Ему не по душе, что он должен славить яина, которым памеревался заменить отсутствующее мясо.

Но самое для нас неизвестное в длиннейшем послании Эрика Гана то, что он не может и не хочет скрыть неудовольствие своим положением. Он даже не побоялся подчеркнуть извратительские слова насчет того, что «оплата лиц сечь хороша». И, наконец он зло высмеивает краеугольный лозунг воинствующей Германии:— Мы, немцы, вы геркин.

Этот лозунг возник в тяжелые для вильгельмовской Германии времена 1918-го года и повторялся всюду в тупом упрямством, вопреки и на здравому смыслу. В конце концов обыватель, которому осталось фанфаронство глашатаев официального благополучия, стал употреблять пресловутый лозунг в самых неподобающих случаях, придав ему совершенно обратное значение. Говорилось, например: «скоро будет приказано мыться мыльной карточкой и вытиратись талочкой из почетно, но мы, немцы, выдержим». Или так: «за последний месяц к двадца-

ти пяти государствам, объявившим войну Германии, прибавилось еще три, а мы, немцы, все-таки выдержим, нам хоть бы что!» Насмешка эта звучала не иронией, а юмором висельника, и это понималось во всей Германии.

Времена измениются. Германия Гитлера поет на все свои казенные голоса, что она продержится, что она — непоколебимая крепость на Западе и на Востоке.

А вот германский обыватель Эрик Ган из Оберштейна в лето 1943 года прокомментировал официальный гитлеровский оптимизм на свой лад. Эрик Ган сказал: «Брюхо у меня не болит, но мы, немцы, выдержим». Сказал в письме на восточный фронт, в момент, когда этот фронт дрогнул, не выдержал, и от слов его, от этого юмора висельника, пахнуло душоюением 1918 года. Прягнись душоюение, и слышать его ограбило.

Поэтому я привожу убогое письмо полностью как документ большой важности и поэтому в уцелевшей орловской деревушке, в штабном отеле, занимающемся изучением противника, я мысленно связал письмо на бланке фирмы Тодора Гана с картинами опустошений, причиненных немцами русской земле, и подумал: так, там, в глубоком тылу Германии, немец чувствует, что он не может выдержать. Но откуда ли разгул и беспощадие немецкой жажды разрушения? Да, отсюда. Немец не верит в свою победу, он знает, что будет побежден. Он уже усвоил, что вместе с труинами своих солдат на Востоке им оставлен среди разрушенных бездыханный труп великогерманских надежд, которым никогда не сбыться.

ПАЕШАЯ КРЕПОСТЬ

Добрый километр иду я немецким окопом, и он все тянется, и ему не видно конца. Это «передний край» вторжения германцами позиций, засеченный пами «узел сопротивления» — твердыш кордегардии гейца. Чтобы разойтись в его окопе со братьями, надо повернуться боком.

Чтобы выплынуть за его пределы, надо подняться на две головы. По обоим краям окопа сделаны земляные насыпи, спереди — щиты, свалки — ниже, в защиту от огня. Пол логами на всем протяжении траншей настланы слеги с поперечными коротенькими планочками в виде ре-

верки, для предохранения от сырости. Оно построено зигзагом, проволота зигзага перевибомеры — вот здесь длинным прямым коридором, ноги вдруг через каждые десять шагов сгибаются, поворачиваться то лицом, то спиной к солнцу. Здесь, на углах и выступах кривой, кроются труднодоступные и нулеметные гнезда.

Что должен преодолеть красноармеец, когда он идет в атаку на такую крепость?

Я взбиралась на насыпь. Неизбранный горизонт раскрывается вокруг крепости, приглушенной по далеким разумом темной зеленью Балканских лесов. Чем ближе, тем яснее местность: остатки сожженных деревень, придавленные ржавыми пятнами места, где мори располагаются напиши войска, совсем обнажены; и пространство между ними и начальными позициями — «тычечное поле» — голо, как ладонь. Во всех подробностях с высоты насыпи видны подступы к узлу сам узел — охваченная колючим окопа несущая возвышенность крепостию в десяток километров.

Итак, красноармеец идет в атаку. Поднявшись из своего укрытия, он падает на первое проволочное заграждение, выпинюю немножко больше, чем нога и лубиню метра в три. Затем его склоняет минное поле — пространство, засеянное противопехотными и противотанковыми минами. За этим полем следует «стороной кол» проволочного заграждения такой же, как первый. После него — опять минное поле. Амбидетерийская подготовка предварительно прочищает ходы в этих промежутках, рвет проволоку, размотывает коляя, взрывает мины. Но эти ходы несостаточны для атаки: наступая, она должна расширять их и создавать новые.

Преодолев минные поля, красноармеец встречает третью линию проволочного заграждения — спиральную проволоку Бруно. Это густая бесконечная спираль колючей проволоки, намотанная на деревянные козла. Спираль Бруно — серьезное препятствие, придуманное старательный дьявол с немецкой фамилией: так как проволока скручена кругами, то, когда ее резонь, она распускается, как пружина, запутывая ирорезанные брани

и лазы. Но вот и спираль осталась позади, и атакующий видит перед собою насыпь неприятельского окона. Однако на пути к нему спрятано одно препятствие — «спотыкач». Это тоже проволочное заграждение из колышков высотою в четверть аршина, по цоколотку, так что его нечти не видно в траве и об него нельзя не споткнуться. Спотыкач делается шириной шагов в пять, ставят его не только перед оконом, но и на минных полях. Он опасен тем, что незаметен и встречается в самом неподходящем месте, когда преодолена какая-нибудь одна преграда и атакующий устремляется к другой. Местность, на которой сооружены все эти заграждения, совершенно открыта, и каждая линия препятствий находится на прицеле.

На тот случай, если смельчаки преодолеют все заграждения, неизменно и воруются в окон, у немца создана специализация. Оно очень смелана своей жестокостью, но вполне действенна. В стенку окна вделан кусок проволоки, на него подвешена связка втулок жестяных из-под консервов. К противоположной стенке прикреплен другой кусок проволоки, конец которой загнут крючком. Днем приспособление находится в бездействии: на одной стороне окна стоит связка жестяных, напротив, на другой стороне крючок. Ночью же стяжки подцепляются крючком и пешкывают собой проход по окону. Стоит задеть это перекрытие, как оно разбутигает глухого. Немцы расставлены в оконе довольно редко, большая часть их находится в блинчаках и замынках. Консервные банки служат сторожевую службу там, где присутствуют постовых солдат.

В блинчаках к потолку подвешены пустые медные стаканы орудийных снарядов, внутри них на веревке горят винтовочных матропов. Стаканы — это колокола, матропы — языки. От стаканов пропадута проволока с ружу, к постам. В случае тревоги, избы меди поднимает на ноги все население узла. Такие же медные пильзы развесены по окону, в них болтами, железными пластинами, чем попало, и этот дикарский исполненный набат несется по модернизованным фортификациям современной крепости.

Немец устраивается в обороне с щитами. Рядом с пулеметным поездом — глухая землянка на однодвух человек, где можно поспать, скрывшись от непогоды, как в кротовой норе. Около орудий — блиндажи с перекрытиями в несколько настов неподъемных сосновых краяжей, нарами на восемь человек. Немецкая пропаганда не скучится на нынешнее печатание картинок, и горные красотки, глазастые кино-дивы в всех позах соблазна облепляют превечные стены блиндажа, созданные уют совершенно в духе его поборителей.

Тревога прозвенела, немцы кинулись к оружию, к тем самым «огнем точкам», которые для нашего капитана давно перестали быть военным термином.

Вот гнездо пулемета. Его стены сложены бумажными мешками с песком. В нем свободно поворачиваются два человека. Амбразура довольно широка, ее видят наши наступающий автоматчик, а так как позади гнезда светит солнце, то он различает и силуэт головы пулеметчика. Поэтому на входе в гнездо немец повесил аккуратную темную занавеску, она загораживает свет, и синует исчезает. Вот более просторный дот. В нем умещаются несколько человек, стреляющих из миномета и противотанкового ружья. Амбразура эта защищена стальным щитком толщиной в танковую броню, щитоккрыт в землю. Вот, наконец, самое сильное оружие узла — вкопанные в землю танки. Они обнесены особым копом, проволочным заграждением и масыпами со всех сторон на случай прорыва и нападения в флангов и тыла. Это крепость, в крепости. Точко башни затонувшего корабля, вытравают танки на поверхность.

Как же может быть взята такая крепость?

Красноармеец берет ее. Он берет прежде всего искусством русской артиллерии, со времен Ивана Грозного всегда устрашающей врага. На месте немецкого танка топорятся перремятое металлическое башено. Наша пушка изготовили из стальной виноград. Рядом висит другой, как будто совершен-

но сохранившийся танк. Мы забираемся в него, сопровождающий меня офицер садится за управление, и башня танка словно со вздохом сожаления начинает свой медленный жуткий поворот. Ей и правда есть о чем пожалеть: ствол ее орудия отбит нашей артиллерией, танк выведен из строя.

Красноармеец берет современные крепости не только силуго своего оружия, но и умением воевать. Описанный мною узел сопротивления вблизи поселка Островского, в районе Жиздры, попал в наши руки целехонек и по сохранности годен занять место в музее орудий вытого. Наша войска обошли его, немцы вынуждены были отступить, крепость пала.

В летнюю кампанию 1943 года немцев преследовал призрак Сталинграда, они заблаговременно избегали опасности окружения и, боясь мешков и котлов, покидали позиции весьма увертиво и торопливо. В окопах под Островским видны отчетливо следы бегства — разбросанные пригодные пулеметные ленты, множество перастрелянных патронов. Быт немцев в обороне встает перед глазами неприносимый, со всеми его картинками, сигаретками, консервными банками, журналами и провинциальными газетами, в которых доказывается, что под Орлом русские разбиты наголову... Читать эти газеты, когда мы находились на марше к Брянску, было крайне занимательно.

Одна женщина в Жиздринской деревне сказала мне:

— Ушли, теперь уж больше не вернутся, чай, окопанты.

— Окопанты? — переспросил я.

— Ну да, окопанты. Пришли, окопались на земле нашей...

— Не могут вернуться, — сказал я. И вспомнил так свежо все земляные поры павшей крепости у селения Островского. Немцы ушли из нее ходами внутреннего сообщения — узкими тралишками, выводящими далеко прочь из подпольного края окопа. Дно тралишек, когда я смотрел, было уже затянуто стоячей позеленевшей водой. В ней сидели скучные лягушки.

ЖИТЕЛИ

В Орле, на виду у южного моста, через Оку, по которому шумят поток грузовиков, людей, разнообразных орудий, повозок, стоит у бережка дедушка-рыболов. Засунув по колено штаны и войдя в струящуюся воду, он перекидывает тонехонькую лесочку, норовя подсечь уклейку. Удивительен облик этого рыболова: он совершенный Иван Сергеевич Тургенев, с его серебряной благообразной бородой и с выщипанными концами до голубизны седых волос, подстриженных в кружало. Сразу вспоминаешь, что ты на родине Тургенева, и радуешься, что этот живописный русский тип сохранился, живет и никакими силами не будет искоренен из своих родных земель. Позади рыболова лежат в развалинах орловские улицы, вокруг него грохочет история народа топорами саперов, восстанавливавших Большой оскский мост, скрежетанием гусеничного транспорта, а он невозмутимо и настойчиво перекидывает удочку, делая это так заманчиво-приятно, что хочется сбежать к нему на бережок, залезть в воду и тоже попытать счастье на уклейку, да поговорить с ним, может, о Красной Мечти, может, о Бежином луге, а то и о самом Иване Сергеевиче, который легко мог видеть старика-рыболова тут же, на Оке, еще маленьким мальчиком.

Грохот истории одних отглушает, в других будит самоотреченные силы героизма. Но и в огне войны не спорят повседневная забота человека о своем существовании. Неизвестно, не воткнет ли благообразный, как Тургенев, дедушка вилы в бок немцу, тогда будет подходящий случай, но каждый день ему хочется похлебать окуневой ушицы. А окунь берет на живца. И — что поделаешь? — стой на старости лет по колено в воде, да ловчи подсечь на муку юркую уклейку.

Одни из миллионов людей, имя которых, кажется, бесцветно — жители — орловский этот рыболов — пас грозный удел войны: находится во власти врага. Заботясь о горьком стариковском прожитии и он наверное берег в груди драгоценное чувство — приверженность своей зем-

ле. Поражает стойкость этого чудства.

По обочине дороги тянет самодельную двухколесную тачку женщина. Лицо в нагуте страшных усилий мешки и узлы пожитков тяжелы краине колеса откатывают тяжко вбок, по женщина тащит ее без розыха, как одержимая, вперед и вперед. Сзади девочка налегла на машину одной худенькой рукой, а другую подстегивает прутом козу, впряженную пристяжной и бестолково дергающую тачку в сторону. Таких кафти не счесть по проселкам и в большихах. Народ возвращается по моей, из тыла, в деревни, откуда был из времена отселен из лесных тайников, куда бежали от немца и: немоли, куда были им угнаны.

— Знаю, — говорил мне много видавший на войне человек, — такая эта страсть — тяга домой, что удержать ее ничем нельзя. Мучаются, еле ноги волочат от усталости, но не спят линней минуты — скорей до хаты. Приходят, а никакой хаты нет одна зола. Поплачут и начнут жить. Все-таки, говорит, лучше дома. Спросишь иную женщину: да ты хоть землянку выкопать знаешь? Нет, не знаешь. Да как же ты жить будешь? Как-нибудь. И, понимаешь ли, ни разу еще я не видел чтобы назад возвращались, в тыл или новое место искали. Прилепляются к своей земле.

Прилепляются к земле — очень верное слово. Как дома стены помогают так помогают своя земля. Вера в это — наивного народа непоколебима.

Но путь к Карабчу, в сожженной деревне, возле колодца, уцелевшего от крестьянской усадьбы, расположился перевязочный пункт. Мы пошли попить воды. Медицинские сестры, молодые и приветливо-важные, зачерпнули ведро воды, дали нам в стаканах, кристаллического напитка — совершенное чудо в недрах пыли, и: которой мы не вылезали сутками. Сынчик — топорик рятымок ступа стук: два парашюта-армейца рабочей команды рубят складную избу. Справляем сестер: — Для пункта, что ли? — Нет, — отвечают, — для хозяйки, хозяйка отстраивается — Да где же она? — А вон, корову гонят.

Востроглазая, с быстрой речью, пылающая жаром работы, от которой на минутку оторвалась, хозяйка горбила:

— Добро мое уцелело, самое главное, все как есть — сак-пальто и шуба. Это со мной в яме находилось. Корова. Ну, все как есть.

— А дом?

— А дом он сожег. Как шёл вдоль деревни, так подряд и жег. Только хлеб у меня тоже спасел, ничего. Напиши, как начали наступать, так листовки сбрасывали: не снимайте хлеб, немец пождет. Я доверилась, хлеб у меня весь в поле и стоит. А некоторые прогорчились снять, в крашны сложили или заскирдовали, так он доделал все сожег.

Она обернулась. Красноармейцы, севши верхом на стену, копошатели насы сеном.

— Помочь вику, — сказала женщина одобрительно. — Моя была о плянистах, а эта помечте будет, четырехстенка. Ничего. Пока хозяин придет, погибнется.

— Где же хозяин?

— В Красной Армии, с начала войны. Я рада, что добро, все как есть. спасело; придет — увидит: сак-пальто и шуба. А соседка моя побежала прятаться в другую яму, — ее убили, вместе с коровой. Хорошая корова была, куда более моей — удоя давала.

Стоя на попелище своего дома, эта крестьянка говорила о будущем с естественной уверенностью, что оно принадлежит ей. И правда, оно словно улыбалось ей: росли стены ее нового жилища, корова, уминая свою жвачку, глядела на хозяйку задумчивым, атласным глазом, собака, брошенная помчами и привязанная к дереву, помахивая хвостом, ждала, когда новоявленная ее повелительница бросит ей кусок.

Одно из самых тяжких испытаний, нынавших на долю жителей под властью врага, — это угон в неволю, в плен. Отступая, немец старается гнать с собой всех до последнего человека, не исключая детей и старух. В этом нет ничего стихийного, это не родилось из какого-нибудь военного самовозникновения — «на войне, как на войне». Нет, это есть разработанная система, насаждаемая сверху методами варварства из Берлина. Геббельс печально

привозгласил, что считает «основным принципом» германской стратегии — «вырвать максимум пространства и людей у противника, не только для того, чтобы лишить его последних, но и, что еще лучше, поставить их себе на службу».

Стремясь покорить наши земли, титлеровские оккупационные власти жадно эксплуатируют природу и труд населения, превращая человека в раба своих военно-грабительских целей. В захваченных областях немец принуждает жителей работать на оборону германских войск. О международных соглашениях на этот счет, запрещающих использовать гражданское население противника в военных целях, немец никогда и не думал, давным-давно с наглостью разорвал этот «ключок бумаги», как и все прочие международные акты.

В Людинове, на другой день после изгнания немцев, нам встретилась семнадцатилетняя девушка Римма, которая успела загодя спрятаться в лесу, когда немцы угоняли народ, и потом, в числе первых, прибежала в освобожденный город. Мы расспрашивали ее о многом и прежде всего, конечно, о том, как живет такой молодежи живется по-немецки?

— А как старым, так и молодым.
— Ну, а все-таки, что же вы делали? Учились?
— Нет, какое там!
— Служили?
— Нет.
— Ну, значит, ничего не делали.
— Да, как бы не так, попробуй!
— Тогда, выходит, работали?
— Угу.
— На какой работе?
— Нас всех на одинаковую гоняли. На земляную.
— Это что же такое?

Девушка помотала, оглядев насторожившиеся и явно робея. Вероятно, мы показались ей не слишком грозными, и она речипала.

— Окопы рыть, — сказала она потихоньку, словно больно застыдившись.
— Все население гоняли?
— Все. Партиями. Уроки давали.
— Какие уроки?
— Обыкновенные: вырыть полтора метра в длину, полтора в глубину —

урок. Как выроешь — еще добавят полметра, или сколько...

Я вспомнил немецкую крепость близ селения Островского. Отлично выравненные стены окопа, решеточки под ногами, гладкие насыпи над головой, сколько крови и слез пролили наши женщины и девушки под окрики немецких солдат, под кнутами и револьверами фельдфебелей, чтобы добиться этой вылизанной ласкотности укреплений?

Отступая и угоняя с собой подневольное население, враг еще более беспощадно, чем при оккупации, «ставит его себе на службу», превращает в пригодный механизм своей военной машины. Угнанные жители вынуждены не только рвать немцам окопы, заготовлять колья для проволочных заграждений, рубить на лесных дорогах засеки. Плещаясь в хвосте отступающих, они исполняют роль живых заслонов, немцы прятываются ими, употребляют их на разминирование минных полей и бросают погибать, либо добиваются, либо гонят дальше, в плен. Каждый знает цену своей жизни, если его забрали немцы; и так поют трепет в лучших, почти детски-наивных глазах Риммы, когда она, после рассказов о том, как жилось под немцем, вдруг, точно в испуге, спохватывается:

— Правда ведь, Красная Армия больше от нас не уйдет?

И потом совсем не по-детски:

— Все равно теперь ни за что не останусь. В армию не возьмут — в лес убегу.

Каждый несет в себе это неиссякаемое желание — любой ценой уйти из-под немца.

Останется в моей памяти село Белый Колодец. Когда-то оно было красиво, хорошо отстроено, обитое приветливыми полями. Немцы поставили в нем гарнизон и особые команды по сельскохозяйственным заготовкам. Солдаты обжились, у каждого дома нагородили палисадники из бересовых жердинок с воротниками и скамееками. К березе немец имеет пристрастие (дерево редчайшее в Германии), и всяческие бересовые завитушки и украшения пасождались германской армией еще в первую мировую войну, а теперь сооружения из бересов

сделались как бы условным знаком всего немецкого: бересовые огорожи около изб, от простых до самые замысловатые, означают, что в избах стоят солдаты, или гарнизонный штаб, или офицерское казино, или пост, или какое-нибудь начальство. Несчислимые бересовые изадели на кладбищах немецких солдат — кресты.

При отступлении из Белого Колодца команды по заготовкам превратились в команды по поджогам. Сел спалили. Перед пепелищами изб со хранились одни палисадники из бересовых жердинок, ровно тянувшиеся вдоль длинной сельской улицы, похожие на могильные ограды. Сел могил.

Многие жители Белого Колодца успели спрятаться в лесах, а после прихода Красной Армии вернулись домой, уже погорельцами, на тлеющие угли и поселились в землянках, в которых и прежде жили, вытесненные из своих изб немецким гаитоном.

Старуха у входа в свое подземелье толчет в деревяшкой ступ картопшку с мучицей, на лепешки. Все в сборе. С поля к ободу пришел хозяйка — колхозный бригадир. Глубоко из землянки глядят на свет две белых детских рожицы, еще одни женщины возятся там, во мраке погреба, с годовальням, на крик орущи ребенком. Рассказы мало чем отличаются от того, что мы знаем, и горе у всякого свое, особенное слезы свои, особенные, и старуха толчет, толчет жилистой рукой месиво в ступе, и ровны и неспешны слабые удары, и так же ровно неспешно текут у нее слезы и морщинам щек и капают в ступу. Солон будет обед.

На минуту рука приостанавливается, старуха вытирает щеки, говоря разумительно:

— Шешнадцать полицейских дежал он у нас, подумай-ка, мыльшешнадцать на одно наше село. А нас всего сто двадцать шесть дворов считали. На сколько дворов выходил полицейский? Вот они, знай, доглядают, да подгоняют, все дай, да да. Вот что нам теперь оставили.

Деревяенным пестом, вымазанным картопшке, она показывает на землянку и понимается опять толоч

Молодая ее жесту, хозяйка, загородила женщину с темными кругами под глазами, обворачивается и медленным взглядом обводит брошенный на солнце пух кудели, подсыхающее попове лыжко, смотришее в кольца, которые наизнанку на мочалину, как барабанки, да две дородные желтых тыквы. Женщина улыбается одним взглядом устало и все понимающе: правда, моль невелико богатство. Но глаза ее сухи и в больших тенях блуждают испытанные-спокойны.

Большого вида человек, наполовину военный, наполовину пшеничный, подойдя к ней с дороги, сказал:

— Бригадир, чего же ты смотришь, — опять она спонники свои золотит.

— А что я с ней сделала? Я говорила. Она рвется вымолотить, как бешеная.

— А потом, не передохнувши, опять в поле? Надо колхозное жечь.

— Она разве против? Она пшан выполняет.

— А что я говорю — против? Я говорю: сказано, в обед чтоб отдохнули.

У соседнего пепелища молодуха, вложив под мышкой сноп пшеницы и перекинув его колосьями через скамью, усердно выбивала зерно палкой. Панева мерно хлопала по широку расставленным бронзовым ногам, конец палки вспыхивал и гаснул на солнце, зерно лениво выбрызгивалось из спота на маленький, в два шага, ток. Долготропная эта молотьба производилась с таким жаром, будто только она и могла поправить все разорение. Человек прилепился к земле, и она поила его соками веры, что труд на ней все перенесет.

Много полей заброшено колхозами во время хозяйствичания немца. Земля юрчала, зачестивела, речейник топял ее, наглый и сильный, как кустарник. Великие пространства захвачены супротивцем. Она в цвету, и на целые версты оделись поля в лимонно-желтый крикливый ее покров.

Около деревень жмутся прусские узкие ленты и клинья посевов. Потемнела коричневая гречка, выше человека стоят густо-зеленые волны коноплей, уже высываются шуганные ветром овсы. Разоряя край, немец торопился уничтожить

хлеба. Кое-где он успел прокатить по полям катки и цримял посевы к почве. Но это только вблизи дорог, а дальше, вглубь, урожай ждет уборки. И как же много жителей угнал с собою немец, там и тут видны люди за житвом и вязкой снопов, и уже повсюду высится горбатые скирды.

Когда работники на счету, когда от былых уборочных машин осталась одна память, — всякому очевиден расчет общественного труда, и работа на колхозных полях идет дружно.

— Нет с бабами говору, своевольный народ, — сожалительно сказал большой человек, тряхнув головой на молотильщицу.

— Наш председатель колхоза, — отрекомендовала его хозяйка, опять улыбнувшись усталыми своими глазами в кругах.

— Много ли вас здесь, мужиков? — спросил я.

— Сколько видите, — ответил председатель и посмотрел на хозяйку. — Всю с ними. Один против деревни.

— Отвоевался с немцами, повоюй с нами.

— Я вот в партизанах инвалидом стал. Теперь на гражданском положении. Больше года в отряде был. Надежду в них поддерживал, — добавил он, снова глядя на хозяйку.

— Это верно, поддерживал, — увердила хозяйка в полном спокойствии, поменявшись с ним своим особыенным взглядом, и я увидел, что между ней и этим инвалидом существует им хорошо известное понимание, не мимолетное, а испытанное и потому решительное и спокойное.

Понимание это росло из связи, существовавшей на Орловщине между населением и партизанами.

Партизан тут было много — рядом начинались Брянские леса, до сего дня кое-где непроходимые, великолепные своим первозданным убранством. Немцу страшны были лесные болота, страшна чаша зарослей, но еще страшнее был русский партизан.

В деревне Песочне, недалеко от Карабачева, в крайней к речке избе жил немецкий фельдфебель — начальник отряда, занимавшего деревню. Никто не позавидовал бы доля этого бравого служаки. Лес подхो-

дни сюда совсем близко. Партизаны держали Несочину на мушке. И фельдфебель каждую ночь праздновал со своим отрядом труса.

Его изба пропивала на меня впечатление. В первых, на изрядном расстоянии она кругом обнесена серьезным проволочным заграждением. Во вторых, окопана большим земляным валом. В третьих, загорожена высоким забором. В четвертых, укреплена баррикадой из погромождения бревен с досками. В добавок на территорию, столь основательно защищенную, никто не имел права входить, под страхом расстрела. Чего попонтишь это тем, что по ночам испуганный фельдфебель заграждал дверь в избу столями и скамейками, а окна затыкал тюфяками. Но так как партизаны все продолжали тревожить окрестности Несочин, то фельдфебель соорудил за деревней, у самого моста, по всем фортификационным правилам земляную крепость, со множеством бойниц и четырьмя дотами по углам, пригодную для длительной обороны. И в ней доводилось ему отсиживаться от безбоязненных партизан на радость всей Несочине, крестьяне которой не могли пройти мимо забаррикадированной избы, не отвергнувшись, чтобы скрыть смех.

Тайна связи жителей с партизанами была тайной величайшей, ибо раскрытие ее означало смерть. И то, что партизаны поддерживали надежду всех, кто ждал освобождения, тоже было сокровенной тайной, и редко жители могли доверить ее друг другу.

Людиновская Римма во время разговора вдруг спросила:

— Вы не видали такого военного... он тут вот был, вот у того дома. Я где знаю, как называется, — у него одна звездочка.

— Какая звездочка? Маленькая?

— Да, маленькая... ну, не очень-такая, побольше...

— Майор, что ли?

— Не знаю.

— А зачем он нужен?

— Он мне велел сходить за одной женщиный. Адрес са-да... ну, чтоб я ее привеза. Он чего-то сказать, что ли, ей хочет.

— А что за женщина?

— Просто одна жительница. Она на углу дожидается, я ее привела

— Да куда же военный велел ее привести?

— Вот он тут стоял. Я думала, он дожидаться будет.

— А что, женщина вам знакома?

— Так, немножко... Мы на одной улице живем.

— Ну-ка, позвовите ее сюда.

Римма побежала.

Все это происходило на заброшенной плотине Людиновского озера — чудесной водной глади, мирным зеркалом своим разделяющей городок надвое: на том берегу — крохотные домики, напоминающие обыденную русскую слободу, здесь — каменные белые дома большого города. За час до разгонора германские «Юнкерсы» заняли центр Людинова. Бурно наступавшими войска нацистской армии не сумели немцам выполнить их методическую программу разрушений, и они старались бомбардировками делать то, что не успели совершить при бегстве. Нылело огромное здание техникума, выхлестывая из всех окон огненные потоки. На набережной медленно коробились железные крыши двух больших домов, подожженных днем раньше. Чмыры возлезали в любви багрово-рыжие нечестиво-тиловые вихри окончательных и потерянных немцами битв. Треск пожаров наполнял воздух. И странно: под этот треск и под стоны рушащихся в огне строил уже возвращались в город жители, пережидавшие в лесах артиллерийский бой либо успевшие избежать его, либо уединившиеся по дороге от немцев, и уже торопились на свои дворы выносить из земли спрятанное спасение добро.

Женщина, которую подвела к мне Римма, тоже как будто не обращала внимания на пожары. Она была не спокоюхотлива, хмура, и трудно сказать, кто кого подозрительнееглядел — мы ее или она нас. Не успели мы выскать из нее двух слов, как Римма сказала:

— Вам идет военный, который меня несыпал.

Она переглянулась с женщиной, обе они не двигались с места.

— В чем же дело, — спросил я. — Бегите, скажите ему, что вы испортили поручение.

Она не сразу помяла, опять бросив взгляд на женщину, а та переминалась с ноги на ногу и щурилась на удалявшегося офицера.

— Скорее, а то он уйдет.— потоптали я.

Наконец, все ускоряя шаг, Римма догнала офицера и, поговорив с ним, замахала рукой женщине, чтобы та подошла. Женщина двинулась без всякой охоты, в неуверенной поступи, ее было что-то такое, точно ей хотелось повернуться и убежать, но она все время пересматривала себя. И подумал — чисто ли тут дело?

На плотине больше и больше появлялось людей,— с громоздким скарбом, с тяжелыми сatchами, они останавливались, чтобы рассказать, как свистели через их головы снаряды, когда они пытались в ложбине, или как обманул немец: велел выгнать коров за город и сказал, что спасет от огня жителей вместе с коровами, а за городом согнал скот в стадо и увел его со своим обозом.

Среди этих изволненных людей, несчастных и обрадованных, что уцелели, опять появилась Римма. И вдруг подбежала та женщина, за которой посыпал офицер. Только это была уже не та женщина.

У нее был открыт рот, но не то, чтобы она смеялась, или сбираясь что-то воскликнуть, или была чем-то поражена.— все эти чувства, и желания, и еще какие-то чувства, может быть, все, какие она знала в жизни, заключались в движении этого открытого рта, и было понятно, как за несколько минут перед тем женщина эта могла произвести такое нерасполагающее впечатление хмурой замкнутостью и почему она так подозрительно на нас смотрела.

— Ты что?— немножко робко вырвалось у Риммы.

— Завтра придет, вдруг, захлебнувшись и обращаясь ко всем и ни к кому, проговорила женщина.— Вышел! Соединился с Красной Армией. Вместе с отрядом вышел. Командир тот его видел, говорит из его рук — а третя мой. Я все боялась, что сей-

час скажет, что его в живых нет. А он говорит — завтра придет. Два, говорит, ордена получил!

— Тетя Маша!— громко сказала Римма и потянулась к ней.

И все стали поздравлять тетю Машу, будто это она получила два ордена. Она заплакала. Видно, ей сделалось легче, что с нее спал груз тайны и теперь все знают, что она жена партизана и что ее муж вышел из Брянских лесов на соединение с Красной Армией. Все радовались ее радости, будто затмившей своим светом пламя пожаров, пыл которых слышали наши лица.

Жена партизана могла свободно рассказать нам, как выдалась с мужем год и семь месяцев назад в деревне, куда ее позвали в гости, и он явился внезапно из леса, тоже в гости, и объявил, что теперь на долго и простится. Она рассказала, как надо было хоронить такую тайну, потому что тех, кто не умел ее уберечь, немечи обрекал на страшную судьбу.

— Вот маленький мысок выдается в озеро,— сказала она.— Видите, к нему тропинка спускается с берега. На этом мыске он расстрелял нашего народа — никто счету не знает. Расстреливал и в воду бросал. Это уж вам весь город скажет.

— Да,— прибавила Римма.— кто по этой тропинке один раз спустился, тот назад не поднялся.

Все молча глядели на тропинку, на мысок, на безразличную гладь Людиновского озера. А я посмотрел на лица девушки и женщины. На них уже не было минутной радости, наверно, ее заслонила память о тех, кто не посмелся плавать по тропинке. Но было в этих лицах, пожалуй, больше, чем радость: была в них необыкновенная сила сознания. И мне показалось, что Римма знала тайну жены партизана и сохранила ее. Это не мало для нее. Кто она? Девушка, почти ребенок, просто — жительница, как она назвала тетю Машу — жену партизана.

Впрочем, ведь и сама партизанка тоже — просто жительница.

НА МАРШЕ

Всем русским известна картина «Военный совет в Филях» — помните? — Кутузов в крестьянской избе, спогребалы за столом под образами, девочка на почи — эта картина должна, конечно, оживать на разные лады, в ходе нынешней отечественной войны в деревнях и селах, где останавливаются наши штабы. Но дивишься, когда она открывается тебе в красочных подробностях иногда с точностью юмора: бревенчатая изба с двумя макушатами запачканными оконками, образа в переднем углу, вымытый пол, почка, с которой слышишь запах завязанной одеялом кашни, девочка в долгом сарафанчике, пыняющая из сетей в горнице и обратно, лют на лавке, свое-правно повернувшись задом к припавшим людям и за столом — генералы Военного Совета армии. Воинский труд и воинская слава витает в крестьянской избе над советскими мундирами и орденами и кажется — мы видим неумирающий дух русской истории на старом испытанном поле боя.

Деловой разговор окончен, генералы выходят на крыльцо, мимо которого, по дороге, идет войско.

— Поехали дивизии, — говорит командующий.

Всю ночь лил дождь, и полки словно пересыхали — ни следа не осталось от сиро-зеленого покрова нынешней, потемневшей земли и почерневшего все, что на ней обреталось — чехлы на орудиях, паруса на обозах, плащ-палатки на плечах командиров, шинели рядовых. Блестят вымытые лошади, своркают коухи тягачей, автомашины, стволы пулеметов, штыки винтовок — повсюду дрожат светящиеся капли, струятся змейки воды, скатываются под ноги серебряные ручьи.

Грязь уже давно размещена на дороге в обочинах до идеального состояния какао, но ее продолжают месить с фабричной методичностью, поддавляя воды и чередуя процесс обработки — то пропусканием через стальные гусеницы, то обиванием юнгтаунскими коньками, либо взбалтыванием орудийными колесами, либо распылением штанами грузовиков.

По бокам, вдоль с орудиями и по-

возками, марширует шехота, узенькими цепочками, боец за бойцом. Подобрав полы шинелей за пояса солдаты идут рассчитанным, нагретым шагом, который нельзя называть скорым, но в мерности которого заложена покорюющая сила устремления. Когда долго видишь этот шаг, начинает казаться, что ты идешь сам, что ты не можешь не идти, что находиться во власти этого движения легко, и в нем, в его неудержимости — победа. Чем дальше развертывается по дороге ленты полков, тем торжественнее становится на душе — другого слова я не найду, — так распрямляешься, такой гордый голос слышишь внутренним настороженным слухом.

А полки идут, идут, повторяя друг друга, как в зеркалах, своим вооружением, своими боями, тысячами предметов и существ, делающих войну. Тотто стальные носилки, нехотиши лошади посугут на плечах длинные, изчерна-losиницеси от дождя противотанковые ружья, другие маршируют, держа на спине стволы пулеметов. Цепями рогами проходят автоматчики, а внутри их строя, посередине дороги, катятся, пожалуй, плынут в рюкзаках коротконосые минометы.

Кто-нибудь повернет голову к крыльцу и нечаянно увидит генералов. Молодой большеголовый парень, может быть, — воиханин, с ясным, распахнутым взором; коричневолицый узбек, тонкое лицо которого, умытое дождем, будто вынуто из глиняного плаката; здоровяк-серьезник с болобрым мокрым клоком на лице, вылезшим из-под пилотки и с машинными щеками, — взглянувшись на командующего, может быть, узнает его, может быть, догадалась — кто это и сразу, от одного к другому: смотри, смотри! И улыбки, в которых любопытство смешалось с удовольствием, рассвечиваются и как будто подтягиваются марш, который его становится острее, и офицер, заметивший внезапную перемену движения, быстро выволожает руку из-под тяжелого размокшего плаща и поднимает ее к фуражке.

— Весело идут, знают, что — наступать, — говорит командующий, и

илице его отражается улыбка солдата.

Едут пекарни и кухни, дымки заливаются над трубами, повара, сидя на козлах, шиньют вилки капусты. А вот и хвост какой-то большой котофьи: бычки и коровы с погонщиками — будущие обеды и ужины пришли.

Марш начался глубокой ночью, но онца проходившему войску не было ни утром, ни днем. С этого часа на троицце избы, напомнившей миссарию Военного совета в Филях, долго разделял путь армии и передко другие картины военной истории приходили мне на память.

В сосновом лесу, на песчаной тропе — свежие следы схватки; бражеский заслон прикрывал отход немецких частей. Ожесточение его не спасло, он опрокинут, уничтожен. Несчастны насыпь над ямой, где закопаны трупы немцев. Валиются клочья серых курток, грязный солдатский пояс с зеленым кантом танкистов — я поднимая его и бросало наземь, вон каска лежит набоку, как выкинутый горшок, и в воронин от разрывов снарядов загнили ветром совсем еще свежие германские газеты, доказывающие немцам, что все юбстом превосходно.

Немного дальше, под березовыми крестами, — унылый ряд немецких могил. И вот она — новейшая военная история Германии, каллиграфически выведенная на солдатских могилах солдатскими руками: вот смылаты Гитлера за наступление на Москву в 1941 году, вот его плата за отступление на запад в лето 1943 года. Сколько его солдат полегло тогда и сколько сейчас? Два года назад, еще одержимые душой манией — разбить Конченую Армию — немцы излияли свои чувства черной краской на торец березового столба: «Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen» — «Германия должна жить, даже если мы должны умереть». Теперь, на обратном плозорном пути, у них уже нет времени заниматься рисованием на березах, да если бы и было время, они перефразировали бы свое высоконное изречение, паверно, на такой лад: — Мы, конечно, умрем, но будет ли жить Германия? Как тут

не вспомнить солдат Наполеона из пути из Москвы на запад?..

Через несолько шагов я вижу могилу, вызывающую совсем иные чувства. Это — русская могила, которую сразу узнаешь по привычной кладбищенской ограде из тесаного штакетника, заостренного сверху. Я подхожу к ней с некоторым чувством опасения — достойно ли похоронены люди, отдавшие жизнь за свою страну? Но тотчас меня охватывает волнение: на высокой насыпи положены цветы — нюль пышные, почти суровые цветы, потому что уже осень и травы отцевели. Коричневато-желтый зверобой и пушцовый репейник собраны чьей-то рукой после битвы, может быть, в ту минуту, когда другая рука писала на дощечке имена двух бойцов, похороненных в этой ограде.

Молодые красноармейцы из линейческого подхолят к могиле, стоит молча, заглядывая через штакетник, читают имена погибших старших товарищей, и два слова, начертанных покрупнее: «За Родину» — и вдруг один из них перегибается через ограду, берет цветок репейника броском поправляет на плече винтовку и уходит дальше. И за ним все так же молча, идут другие...

В сумерки, когда настех готовят ужин, чтобы успеть потушить костры до наступления темноты, я попадаю в полевую редакцию дивизионной газеты. Она тоже на марше, что дивизия обгоняет ее, а она торопится выпустить листовку.

Мне приходилось не раз читать об американских газетах, в которых три-четыре человека пишут рассказы, сочиняют рекламы, набирают, печатают, продают свои издания в розницу и разносят их по абонентам. Но американцы могли бы полюбоваться предприятием совсем другого типа, успевающим во время наступательных сражений и перебросок дивизии выпускать газеты, печатать экстренные телеграммы в условиях, где небо является крышей, поваленное дерево — корректорской, ноги печатника — типографским двигателем.

Сама типография, в кабинке грузчика, стояла под придорожной липой, маскируясь от немецких самолетов ее сенью. Половина грузовика

вылезла на дорогу, и под его колеса были подложены кирпичи. Маршировавшие мимо войска огибали его и, уезжая типографию по трохоту печатной машины, похожему на катанье чурбака в пустом ящике, кричали:

— Эй, товарищи газетчики, что такое?

Два лаборщика, под той же лампой, наклоняясь к керосиновой лампочке и набрасывая плечи шинели, мерно раскачивались на цапкахами. Две лодыги готового набора, по всем правилам, лежали наклонно на колышках, вбитых в землю.

Мы забрались в редактору в палатку и заняли такую же лампочку, как у лаборщиков. Скоро холод северной ночи, земли и промокшего презента потребовал возмещения, которого охотно было дано поджаречком на сковороде, чаркой водки и фронтовым душевным разговором. Но фронтовые душевые разговоры очень далеки от фронта, а наш хозяин не видел тыла ровно два года и готов был всю ночь расспарывать о Москве. Поэтому, чтобы не уклоняться от темы моих записок, я опускаю весь разговор в палатке, кроме конца. В конце же, как подбрасывает редактору, хозяин не удержался и попросил меня написать что-нибудь для его газеты, и я сказал:

— Всякая газета хочет, чтобы писалось о том, что ее интересуют Вы интересуете меня дивизии. Но я пока ничего о ней не знаю и не могу сказать, что напишу, когда узнаю. Может быть, вы мои писания не видите напечатанные. Договоримся лучше так: я отыщу в вашей газетации нечто такое, чего вы не заметили, и сообщу вам. Тогда вы сами и напишете.

Вряд ли особенно понравится мое предложение редактору, но, исполнение обещанное, я хочу обратить его внимание на один примечательный факт.

Мои познания в дивизии с подполковником Жулиевым, командиром артиллерийского полка, и однажды он меня ютировал по своим баракам.

Я ходил по густому, красочному участку леса, где в кустах созревают, под ударами первых заморозков, ягоды, расположились стойла, и уважительно осматривал заслужен-

ных коней, в гривы которых почте виселись гроздья красных ягод Природы заслуженно звания животных: среди них было много ученыхников боев на Западе и под Орлом. Мне показали двух великолепных жеребцов, ходящих в кирюху гаубичной запряжки, то есть основной патной шестерки — белого и каштана. Оба они были ранены в боях, и зечили в лазарете, и они снова вошли в строй, как старые бойцы. Я опушнял рубцы их ран — следы якоюров авиаомбом.

Потом я смотрел орудия, легки и тяжелы. Одна гаубица оказалась дважды подбитой, первый раз знаменитым боец под Новосилем, прорывом германского фронта, второй — под Орлом, где мина разорвалась в полутора метрах от нее и было убито три человека из расчета. Гаубицу вынули, и после починка она возвращалась в строй. Я ощущал ее закрепленные латы на станине лафета, прорызанные в многих местах. Это — раны гаубицы. Одно ее колесо заменено новым. Это — новая нога, прорез гаубицы.

Потом я проводил время с артилеристами и узнал один совершенный, особенный по составу расчет орудия: командир расчета — таджик Назаров, замковый — армянин Александр Герадзе, производил его брат Исидор Герадзе и податчики — украинец Черный и туркмен Оразов.

— Да, что вы, старческо задаете: целью так подобрать людей? — спросил я.

— Нет, — поклонившись все четырнадцати лытности, — нечестно получить деньги. Это — новый расчет.

— Чему пишут — новый?

— Смите тому, из которого троицей минной.

— Стало быть, вы — расчет это расчетной гаубицы?

— Да.

— Несхольте, — сказал я, помедлив задумавшись, — может быть, ваша гаубица возят раненые кони?

— Да, та паря жеребцов — на корень, белый с карим...

— Вот и весь рассказ о простоте сущности, сознания. Но думи об источниках нашей силы, я откзываюсь считать это совпадением простым. Оно не случайно, оно значит и глубоко. И редактор

цивилизованной газеты, разумеется, напишет историю коней, птицы и расчеты командира Назарова. Оружие находится в балтаре старшего лейтенанта Дикарева, в полулу Жульева. Тому, кто знает дивизию полковника Кубасова, легко разыскать.

Тогда, в пыльные времена, я еще не знал сюжета этого рассказа. Я успел, согретый фронтовым разговором, проснуться на рассвете от свежести утренника.

По дороге шли и пили чайки, как будто еще не прошел вчерашний день и не начинался пынущий. Мне чудилось, что, лежа в палатке, при тороге, я слышу дыхание армии, стук ее сердца. Колеса погромыхивали по камням, и, перекартизывая с яхами, неутомимо катал свой чурбак печатный станок.

Вдруг густой бег раздался у самой палатки, кто-то застучал в фанерный кузов типографии и по-утреннему ясно произнес: «А ну, газета, сводка есть? Дай типовочку.»

Секунду было тихо, потом камоги затопали, удаляясь, и тот же голос молодо, со смехом произнес: «Стро!»

— Ребята! Взяли Сумы. Айда скорей, а то все возьмут, шамничего не останется!

Я быстро встал и вышел из палатки. Дорога уходила дальше по отлогим песчаным холмам, и освещенные вспышкой, с юго-запада, подтягиваясь на холмы колонны пехоты своим нескорым шагом.

По лобинке я взобрался в типографию. Листорка была готова. Печаталась газета, и мастер, паклядывая бумагу, размеренно написал штого письмо «американцы». Сколько раз едетает он это движение за время войны? Это — его мать, его неустанный, тяжелый, все трепетающий переход за победой, впередом он, как солдат, не может ни на минуту отойти от своего оружия.

Мне надо было донести упомянутую телеграмму, я думал, вижу в сущим офицером на глинике и опустился в лесу. Марширующие по холмам колонны ютились в лесу. Мы были совсем одни. Я, спасаясь, без всякого ложного блуждания по измельченному «жердянику» — борту, настланному по лесному бе-

люту из жердей. Офицер, сидевший впереди, не отрывал пальца от карты, на каждой просеке мы останавливались, и он озирал местность все строже и строже, а шофер глядел на него все смиходильное.

В эти минуты осталась мне делать видное картина, в которую был вписан наш блуждавший газик. Слава Брянских лесов создалась недаром. Могучие стволы вздымаются тут к небу несчитанными дружинами вальдайцев, покрытых сверху темными племенами листвы и хвои, а снизу обнаженных сырьем подлеском. Немцы навалили всюду заграждения из порубленной ели и щелинника. Эти цепиродавные крепости времен Орды были уже отфрангены с дорог Крачной Армии, но тем естественно выселились завалы леса по сторонам, превращавшиеся местами в тигантские зеленые тулиши. В путанице сучьев и веток, в извевляющейся гати, жерди которой византии высекали из-под колес и строились по бокам машины частоколом, обдавая нас всем содержимым болота, я в полную меру оценил достоинства старого газика. Он лишен только одной способности — летать по воздуху, все остальное ему достаточно как хорошему цирковому артисту. Он может даже быть полетчиком, если приходится лететь сверху вниз.

Некрасиво в шум шайки ездили разрезалось несколько очередей автомата. Офицер жестом приказал остановиться. Снова сделал свои переборы автомат, раз, другой, пули со щелчком прорвали листья совсем близко от нас.

— Выключи мотор, — тихо притворился офицер и, нависнувши из кобуры револьвера.

Мы стоим некоторое время в полной неподвижности. Потом, шагах в десяти от дороги, раздвинулись бетки и на час глядящую феерию, в пятнах ютища, лицо красногвардейца. Улыбаясь первым понимающим, он сказал с добруютием:

— Езжайте, ничего. Тут кругом тропинки. Это я приводил оружие.

Офицер ухватил револьвер, спрятал, вернувшись вдом, и мы спать с трехкомандой засиделись по скердинке.

— Я все-таки забеспокоился, скажет офицер впринципе погодя и до

Были для ясности: — за вас... А вы волновались?

— Да, когда увидел, что волнуетесь вы. А вообще я начинаю понимать, что значит быть на марше. Найти новое расположение части — значит неизвестными путями прорваться к неизвестному месту. Всёное может случиться. Знаете, как мы недавно искали штаб армии?

И я рассказал, как нас застал в пути ливень, спутавший наши расчеты времени, и как, обогнав колонны, мы плыли по размытым колеям в непроглядной глубине ночи. Первое время автомобильные фары вырывали из мрака стоявших на перекрестках, как в цветной кинокартине, девушек-регулировщиц, которые, обмытыми от воды, красными флагами, показывали нам повороты незримых дорог. Затем эти беззаботные помошницы оперативных отделов начитавшие исчезли, и мы должны были мысленно отпустить возможны, как отпускает их сбившийся с пути крестьянин, полагаясь на лошадь. Конечно, те, кто нас вели, что они делают, однако, уверенность их быстро уменьшалась. В отдалении спачала вспыхивали фары, похожие на наши, но потом ночь стала озаряться иными огнями. Мы потушили свет, остановившись у какой-то речочки, и пошли смотреть, годен ли для переправы мост. Всё за вспышками неба иселись к нам перехваты разгоревшегося артиллерийского боя. После каждой громовой зарницы мы окунались в такую черноту, что рядом с ней любое городское затмение показалось бы иллюминацией. В этой черноте, словно из самых недр земли, прогулел вразумляющий бас:

— Чего ты тянешь? — Я развернулся — тянни?

— А что ты молчишь? — спокойно выпросил из тех же недр тонкий голос.

— Скажу, тогда тянни. Торопыга.

Тянули связь под мостом, как мы установили путем переговоров с недрами, и весь дальнейший диалог так и прошел с людьми-невидимками, под сопровождение артиллерии и неизменно загримивших пулеметов.

— Далеко ли бьют? — спросили мы у тьмы.

— Километра полтора, — ответила тьма тонким голосом.

— Километра три, — поправила она бывшем.

— А передний край далеко?

— Километра два, — сказал тонкий голос.

— Километра четыре, — возразил бас, — а то и шесть.

— За шесть пулемета не усыпили.

— Сматывя по местности, а то и за восемь усыпили.

С тайной же толковостью шли рассуждения о нашем маршруте. Стало ясно только то, что не надо ехать на артиллерийскую стрельбу. Мы двинулись, как объясники связисты, через мост направо, затем опять направо; затем спустились в ложбину, поднялись, поднялись налево и, из юнона, решительно запутавшись, погасли фары, остановились и начали слушать артиллерию, которая уже ревела синтию, без передышек.

Стало очевидно, что перед нами единственным путем — вернуться на зад к связистам. Мы начали разворот в темноте, потом зажгли фары и в один миг увидели перед своим носом фанерную доску с надписью: «Мини!» Мы чуть не свалили ее радиатором. Мне показалось, что машина попятилась сама, без малейшего участия штурма...

Все кончилось благополучно, иначе я не рассказывал бы об этой ночи офицеру в лесной дебри, когда мы с ним домонгли дивизию.

Я прибыл к новому расположению дивизии вечером, сразу лег спать в палатке и к рассвету вскочил от холода. Я услышал прежде всего рокот артиллерии, начавшей утреннюю дузль с немцем. Хрустнула переломленная хвостинка, за нею — другая и третья, то ближе, то дальше от палатки, и словно по сигналу — скоро затрещал и захрустел лес: полки разжигали костры и кудрявые дымы курились в березовых вершинах.

Я думал, что посреди марша, длившегося несколько дней, начнется заслуженный отдых. Да я и не ошибся, он начался. Но только это был отдых на фронте, отдых-ученые.

Не успели поиздеваться костры, как рота за ротой, с песнями, ушли в поле — строить укрепления и брати

их, обороныться и ломать оборону. Я вспомнил, что ведь эти поиски, бравшие Орел, ввели на фронте предварительную тренировку в интурме паротно построенных укреплений и затем применили свою вынуженную репетицию на позициях, взломавших позиции и принудив врага к бегству.

Так еще одна историческая кар-

тина приходит мне на память: Суворов тренирует взятие Измакла, и Суворов берет его.

Рокот артиллерии несется с передовой линии, пушки приблизают логоту на запад. Им отвечают пушки позади фронта. Они совершенствуются, чтобы облегчить работу тех, что впереди. Один марш кончился, немедленно готовятся другие.

КОМАНДИР ДИВИЗИИ

Армия наша молодая, судьбы ее юнцов стремительны. Начал войну рядовым, сейчас — лейтенант и командир роты: таков сапер Кудрявцев, рассказавший мне, как он разбирает уширения лемцев. Начал генерал-майором, сейчас — генерал армии.

Полковник Кубасов начал войну капитаном и летом 1943 года получил дивизию, наступавшую на Орел. Перед приходом Кубасова, дивизию три дня подряд бомбили немцы, она вытерпела от непрестанного огня с воздуха — это было первое впечатление, получившееся новым командиром. Он сказал, в полуслуху, но впечатлило:

— Колченко. Приехал Кубасов — бомбить больше не будут.

И все, шутя стали передавать по полкам: приехал Кубасов — конец бомбежкам!

Подоплекой шутки, было обстоятельство, известное немногим, кроме командира: его дивизия только поддерживала наступление на Орел с севера, и немец, уразумев маневр, должен был перенести свои главные оборонительные усилия на другие участки. Так и случилось: он вдруг всем перестал бомбить, как отрезал. И прибаутка понесла ходить по паризан веселее и веселее, и в какое-то особое ее начинание немножко верили даже очень трезвые люди: приехал Кубасов, бомбить не будут!

Отлавляя приказание о наступлении на Орел, Кубасов добавил, что действовать надо быстро, чтобы почтой посыпать чайку в Орле.

Полковник Макаров, будущий че-

тищати километрах от города, так и повторил приказание по своему полку: «Вечером пить чай в Орле!» А разведчик капитан Бодасев на следующий день доложил Макарову: «Ваше приказание выполнено: посыпал чайку в городе Орле, и даже не постыдился, а с коньчком».

Надо тут сказать о двух вещах. Во-первых, с коньчком — дело не выдуманное, а истинное: человеку повезло — он напал на счастливца, не только радовавшегося приходу советских войск, но и прятавшего до праздничного дня бутылочку «Арарат». Бодасев тщательно загисал себе в книжечку и адрес добрового орловца, и его имя, и запомнил обиду, нанесенную ему немцами. Это был телеграфист с двадцатилетним стажем, Голубев, немцы его от телеграфа отстранили и поставили чистить уборные. Во-вторых, Бодасев — не из тех, кто любит красное словцо, а из тех, кто берет города. Немцев в спину под Орлом он видел не впервые, но об этом речь пойдет дальше.

Дело же с чайком заключалось в том, что Бодасев посыпал его в шесть часов утра, выйди в Орел с севера, в то время, как части других дивизий уже вошли в него раньше утром с северо-запада и юга. Так что тема чайка в дивизии Кубасова долго, оставаясь острой, командиры постарались возвращаться к ней, как к вопросу, подлежащему серьезному разбору, вроде задачи по тактике, или, например, артиллерия считала, что когда она должна быть по центру Орла, а нахотела уже

на городскомпподроме, то можно было бы, не колеблясь, сообщать о занятиях города, пехота же медлита, и в результате — фронтовики имелись другие дивизии, а не кубельские.

Но тема о том, что первый пошел чаю в Орле, жила особо, а словечко — погони чаю в Орле — без всяких заминок ходило по дивизии, и Кубасов это знал. К орловской теме в своей дивизии он относится просто:

— Городовпереди много. Наше дело брать. А называться мы будем почетно.

И это уже не «словечко», как с бомбесками и с чайком, а уверенность, побуждающая к деятельности.

Понимание роли «словечка», его значения для солдата на войне пришло к Кубасову от «суворовско-кутузовской школы», не только прививавшей нашему командованию, что от природы близкой, присущей ему. Кто из нашего офицерства не помнит и не любит знаменитого словечка отечественной войны 1812 года: «Приехали Кутузов бить французов».

Кубасов от природы быстр в движениях, и видно, что быстроту свою все время сдергивает, как люди молодые, работающие над своей выправкой. Его «житейскую» манеру лучше всего назвать отчетливостью — вокруг него нет ничего лишнего, так же, пожалуй, как в нем самом. Налатка его настянута, точно на винтах, барабана. Графин с водой, над ним приспичета картишка, на чернильном приборе — ни одного пятнышка. Это все.

— Подиаг, — говорят юн, стягивая за спину складки гимнастерки; ему все кажется, что можно было бы собрать себя всею еще покрепче, потому, хотя он и так собрал крепко — невысокий, мускулистый, гибкий.

Мы видим леском, где прогоревшая от пылающих тропа узенько обнесена стеками, подсвеченными к деревьям, чтобы птицы было уклоняться с тропы, и на паг: по сторонам бродят с минометчиками саперы — нечего только что выгнали отсюда.

У опушек выстроены пополнения, прибывшие в дивизию из состоящие из бойцов, возвращенных фронту фронтальниками. Люди разных возра-

стов, бывалые, серьезные. Когда Кубасов обходит строй, они глядят на него проницательными глазами солдат, привыкших распознавать начальника и оценивать его по первой встрече. А его взгляд кажется еще опытнее, искушеннее, и это краткое взаимное знакомство рядовых с высоким командиром, который, может быть, сегодня же пошлет их в бой, проекает в настороженной тишине. Слышишь птичье перепархивание в кустах опушки, шум листвы, ты вдруг напыливает гул артиллерийской дуэли, напоминающий, чтовой по прекраснейшии на час.

Кубасов начинает говорить, как будто опечатавшому себе и в то же время вызывая на ответ солдат:

— Ну, «буль вам выдана... шинисты у вас есть... гимнастерки есть...

— Есть... есть, — все гулко раздаётся в строю.

— Чего же недостает? — спрашивает полковник, широку поднявши голову.

Секунда проходит в молчании, потом сразу несколько человек отзываются громко и одновременно, точно говоривши:

— Винтовок.
— Прялкини! Сейчас же направят в части, и вы получите винтовки. Но вот, я помирю, один из вас успел запастись и винтовкой. Откуда?

Загорелый, темноволосый, с широкими сердитыми бровями солдат из первого ряда — единственный во всем пополнении с винтовкой на плече — отчитает, вздергивая голову:

— Подобрал на дороге, товарищ полковник.

Кубасов быстро берет у него винтовку, поднимает ее обеими руками над своей головой и с расстановкой, словно читая приказ, произносит:

— Красноармейцы! Еще находятся у нас такие преступники, которые бросают свое оружие. Военный закон карает этих людей без малейшего происхождения, это вам хорошо известно. Но вот — рядовой, который на тяжелом переходе, подобрал брошенное оружие привел его в порядок, вычистил и вернул его в строй. Как фамилия?

Темноволосый, сурово подняв бровями, выговаривает глухо:

— Павлов.

— Объявляю от своего имени благодарюте красноармейцу Павлову.

Кубасов возвращает солдату винтовку, приветствует его под козырек и сильно похлопывает ему руку в строю. Тыльина словно взрастает, все стоят юмино. Мимолетно улыбнувшись, Кубасов оглядывает весь строй, спрашивает:

— Может, еще кто подобрал что-нибудь?

Озорной, но неуверенный голос, но-молодому юсекнись, отзовается из дальних рядов:

— Вот я тоже вешь одну нашла... ракетницу, товарищ полковник.

— В добром хозяйстве ракетница тоже пригодится, — сказал Кубасов, смеясь, — смотри, чисти се хорошишко.

Одобрительно веселый говор летошн прошел по рядам, и видно было, как в этом душеевении шума созадалось ощущение, что разговор командинира с рядовыми состоялся. Полковник был весел, потому что подтверждалось его уверенность, что он заслужил доверие и расположил к себе солдат, а они были довольны, что, оценивая их, он показал и цену себе.

Импровизации, находчивость в речи с подчиненными — стиль Кубасова, и, так как он говорил родной своей нижегородской скороговоркой, просто, без затруднения отыскивая слова, то общение его с людьми не-принужденно и очень живо. Он весел не потому, что хочет быть веселым, а ему на самом деле доставляют радость все возможные отрадные обстоятельства.

Мы опять у того в палатке, и он по телефону поздравляет заграждениеми орденами юнкеров частей своей дивизии. Улыбка удовольствия походит с его лица, как будто это его награждают орденами и он принимает ликвидацию. Хочется приносить всему одну фразу и в одной интонации, но мне кажется, что юнкеры казацься, что они расценивают какую-то историю возрастающей удивительности и реекаю ему самому становится всю интереснее:

— Поздравляю вас, товарищ полковник, и скетаю вам дашинейших сильных успехов. Поздравляю вас, товарищ подполковник, и скетаю вам дашинейших сильных успехов...

На другой день юнкеры вручают ордена

заграждением, и опять я вижу его счастливо-приподнятым, и снова одна и та же фраза, тихо, даже интимно произнесенная, очень разин-образно выражает его праздничное расположение духа:

— Поздравляю вас, товарищ подполковник, с высокой правитель-ственной наградой и желаю вам...

Постоянно, как зеленый обруч, високопечной трапе, вокруг нее — живые от ветра березы. Посередине выстроились офицеры. Один за другим подходят юнки к столу, призывают из рук командинира дивизии ордена и, возвратившись, становятся позади строя. Волнуясь, они не-жно помогают друг другу паковать ордена, делаясь в этом занятии похожими на москодеки веселых учениц, которую только что произвели и она еще не освоилась с непривычным мундиром.

По синему небу летят разрозненные облака, и пятна света ярко пробегают по небу. Веселое это движение застывает меня яснее уви-деть перемежающую историю клюточек земли, на котором мы находимся.

Здесь домовито живут немцы. Вон стоит приземистый, обложенный деревом, блиндаж. Здесь обитала германская команда. Здесь долгими зимними вечерами она строила польши, вырезала картинки из гипса, чиркала на губных гармошках. Отсюда она методически, утром и вечером, по часам, стреляла из тяжелого орудия, защищенного бруствером, который тоже обложен деревом и высится поодаль от блиндажа. Отсюда юнки высыпали своих солдат в лес, на дзоры и в разводы. Здесь пили пиво, раздаваясь обрывистые выкрики фольклорные.

Вся эта захваченная машинами однажды по утру исчезнула орехом в пыльцах и разлетелась; наши часты застали здесь только след убежавшей немецкой команды — поголовный ящик для блиндажа, картина по стеклам, недоузданные газеты, пера-стрелявшие спиралы да развеянный по траве мусор.

Постоянно переполняется. Вчера виделся сюдались военные дровушки-дивизии — Татьяны и Лизы памятки времен, пронесшие в боями по земли Орловщины, заслужившие им всеобщее уважение. Путя были связи

стки, медицинские сестры, регулировщицы, санитарки, машинистки. Трудно сейчас представить себе Красную Армию без этих лиц. Женственные улыбки их сохранились непронутыми, но к ним добавилось знание жизни, каждой она раскрылась в войне с горем, с беспощадностью, с требованием неустанной доблести и железного терпения. И когда девушки на поляне поднялись, как одна, чтобы почтить память своих подруг, отдавших жизнь в орловских сражениях, глаза их наполнились слезами, но все они, пока оркестр играл печальный марш, стояли в крепкой выдержке солдат, неподвижно, ровно, мыслю и чувством принаслежащие долгу, на верность которому они присягнули. Их головы были чисты и звонки, когда, призывая друг друга к мужеству, они обращались к собранию со слюнами женских увещаний:

— Девушки, мы — будущие матери... наши дети спросят нас, что мы сделали для защиты родины... Мы, девушки, сможем взглянуть в глаза наших детей открыто и прямо...

Я рассмотрел и сразу узнал среди этих воительниц санитарку с лицом, о котором говорится — маков цвет. Пробираясь узенькой лесной дорогой между участков, только что обставленных надписями «мины», мы почти задавили выскочившую из-за кустов девушку с санитарной сумкой.

— Стой! — крикнул мой спутник, сплюзая от толчка с сиденья. — Зачем ты лазишь по минным полям?

Поправляя пилотку и раскостынившиеся волосы, поддерживая кожанкой расстегнутую сумку, девушка пропрещала, запыхавшись:

— Там, товарищ полковник, слышали? Мина подорвалася. Я думала, может, кому попало...

— Я спрашиваю, зачем ты бегаешь по минным полям? Кто тебя послал?

— Я думала, товарищ полковник, может, кому попало. Так перевязка потребуется...

— Кто тебе показал?

— Я, товарищ подполковник... думала, может, перевязка нужна будет... если кому попало...

Так и не удалось с ней говорить-

ся, потому что она считала своим призванием спешить туда, где может понадобиться ее помощь.

Сейчас, на поляне, она слушала «теперивийским, возбужденным взглядом, и лицо ее было таким же, каким я увидел его, когда она выбежала с минного поля, — маков цвет. В словах: «Мы, девушки, сможем взглянуть в глаза наших детей открыто и прямо», в этих словах она, наверно, не видела ничего героического, исключительного или величного. Они были для нее только правильными...

На смену траурному, суровому сарызату явилось развлечение оркестра, пристроившись на пнях поваленных деревьях, заиграл вальс, и было забыто смотреть, как в высокой траве заплетались ноги танцоров в красноармейских сапогах не слишком приспособленных для балета. Зато какой смех поднялся «поляны к небу, и как долго звенел он между берез в переплitchку «музыкой»!

Назавтра, перед пикетом, та же поляна была свидетельницей другой встречи. Молодые офицера пятачков сидя в кружок перед огромной картой, пристроенной к деревам, слушали доклад командира из штаба дивизии о положении на фронтах. Зеленая краюха карты сливалась с окрестной зеленью леса. Кончик обчищенного прута медленно двигался по зигзагам рек, от города к городу указывая правоохранительные территории. Воображение слушателей проектировало действительность, отталкивалася от масштаба карты, а в эту минуту жизни действительности врывалась в жизнь карты, стараясь изменить движение указки: над головами слушателей пролетали самолеты, погоняя машину в отряде, по проклонным курсом на врага, и уже прогонялась окрестность гулом нещадной нашей бомбёжки.

Так складывалась переменчивая история лесной поляны. Складывалася полковник Кубасов, выступавший на совещании девушек, и пятачковыми офицерами, и при награждении отличившихся старших командиров.

Он находил язык с любым солдатом, с любым офицером. Для него девушки были, конечно, люди более

— менее значащие. Но людей незнающих для него не существовало. И мне сказал однажды:

— Писарь на войне тоже писун. Писко — это симфония. Устриги чуя инструмент, и полнота гармонии невозможна.

Он видит себя со стороны — организатором, дирижером своей войсковой симфонии. Но в этом взгляде, в этой оглядке на самого себя нест

рисовки. Мне кажется, чуть-чуть заметной улыбкой он сдерживает свое желание видеть себя, чтобы оно не развилось в самолюбование. Он контролирует даже свое здоровое честолюбие.

В отчетливой зоркости к своим людям и к самому себе — одна из новых черт нового командира. А полковник Алексей Федорович Кубасов — молодой и вполне новый командир.

СОЛДАТЫ

Немцы, как напитка за всю историю своих нападений на Россию, как никогда за все свои войны с неей, узнали в нашей отечественной войне русского солдата.

Разгадкой феномена, который называется русским солдатом, занимались многие иностранные историки. Они признавали за ним всечеловеческие достоинства, от выдающихся до ярости. Один французский историк, рассказывая об осаде Севастополя, говорит с русским солдатом, как об «одаренном редчайшими воинскими качествами, бесстрашном, упорном, не впадающем в уныние, изнурявшем после каждого поражения бросавшемся в бой с возросшей энергией».

Каждое из этих качеств, наряду с другими, о которых свидетельствуют наши отечественные документы и сочинения писатели, заставляют глубоко задуматься над настоящей людьми, бросившихся в бой под Москвой, когда имели считали, что советская столица лежит у них в кормаше; под Сталинградом, когда еще полагал, что открыты ворота в Испанию; под Орлом, когда прорвавшиеся собирались грабить политкоролевский набег на центральную Россию.

Для нас, кто всем сердцем привыкает к движениям души солдатчины Красной Армии, необходимо нечто увидеть людей, любившихся свободы в переломной орловской битве после которой немцы начали свое покорное отступление на запад. Их эти просты. Лев Толстой за-

ставил своего героя Пьера Безухова доказывать главной притчи, приведшей русских солдат к победе под Бородицким. И Пьер Безухов приходит к выводу, что солдаты завоевали победу потому, что они «не говорят, но делают».

Под Орлом русский солдат «делал», действовал, следуя велениям своей души и применяя свои разносторонние качества воина...

Штаб полка, куда я прибыл, маскировался руинами деревни. Сем командир, полковник Макаров, стоял в разломанной сняздом хибаре с одной уцелевшей горницей. Винтовый сал крестьянской усадьбы наподобию был выкорчеван бомбежкой, по половину еще занимал своим изогнутыми деревнями несчастную ископанную воронину землю. Хибара покрывалась этими остатками виниага.

Мы лежали на земле и пили чай такого вкуса и букета, каких я не встретил во всей армии, в чём, к удовольствию полковника, и признался погававшей стаканы Катюша — почтенной и грозной женщине в красноармейской форме, с медалью. Как часто бывает, она оказалась житницей мягкого сорта, и похвалила меня обесконечила нам к чайю малиновое варенье.

Именно чай подходил к нашему разговору, который Макаров вел уравновешенно, неторопливо. Все в его повествиях было прочно, устойчиво.

они обладали истинным героизмом, дающим от покойной крайности.

Он велел принести полковое знамя, и через пять минут я помог ему развернуть красное шелковое полотнище, и мы долго смотрели на него. Оно дочерила опалено разрывами авиабомб и разорвано по углам в ключья. Оно прошло сколками в десяти мест. От его дровка не осталось следа. Его несли и защищали поочереди пять знаменосцев. Все они были убиты. Кровью они оттояли святыню, слава их смерти сделала ее славой полка.

Макаров разгладил большой рукой спутанные шнитки почерневших ключьев шелка.

— У меня просяли его отдать в музей, — сказал он. — Я отказался. Наш полк будет хранить его всегда. Мы так и будем жить под ним, на войне и после войны.

Мы стояли знамя опять.

Это — исторически живое напоминание о самом горячем деле дивизии — о деле на переправе через Оку, при деревне Савинково. Много спалось здесь людей, сам Макаровносит за него орден Александра Невского. Страшная память об этом деле осталась у артиллеристов, принявших удар немецкой авиации. Но слава только и приходит тогда, когда преодолен страх и кровь пролита недаром: Ока была форсирована, путь к Орлу завоеван.

Вот тут, у Савинкова, среди прочих и прославился разведчик, капитан Бодаев, который потом попил чайку с комьячком в Орле. Тут он увидел немцев в спину, к чему, как я писал, начал уж привыкать, потому что гнал немцев первый раз под Малоярославцем, второй — под Сорочуком, где трижды был ранен, и вот теперь третий раз должен был принудить их к повороту.

Разведчик всегда уходит далеко вперед со своей частью. А под Савинковым, после того как немцы нахлынули со множеством танков и самолетов, и наша пехота, под их давлением, должна была сойти на позиции, Бодаев очутился оторванным от нее с горячкой агоматчиков. Он объединил их под своим командованием с десятью солдатами и у него получился отряд в двадцать пять человек. С одним противотан-

ковым ружьем и с пятнадцатью автоматами он начал обороняться.

Очвидно, там, где дело доходит до человеческого духа, математика отступает, и соотношение сил измеряется как-то иначе. Бодаев оставил семь самоходных орудий, два танка и батальон немецкой пехоты. И он перебил целую роту противника. Он захватил серьезные трофеи и среди них — противотанковое орудие.

Подобный материал совершенно непригоден для арифметических задачников. Но зато на войне его применение дает отличный результат. Капитан Бодаев сказал мне, что после Орла ему приходилось не раз захватывать в плен немцев, и первое, что они при этом кричали, было — «я — поляк, я — поляк!» Аные, в отчаянии забегая вперед, провозглашали: «Гитлер капут!»

В полку Макарова я слушаю эпопею солдатских деланий и убеждаюсь, что воинские привычки совершаются глубоко сознательно, но в пылу страсти. Сами герои воспринимают их, как нечто подразумевающееся, естественное, и рассказывают о них, будто мастер — о проделанной работе, но о такой работе, которой он отдал душу.

Мы сидим втроем, среди все тех же развалин деревни. Два моих собеседника, очень похожие друг на друга, обладают одним общим внутренним качеством: мне кажется — это ровность, ровность к делу. Они следят друг за другом с остро прищуренностью, но благожелательно, как это бывает у супружеских пар.

Коротчкий, плотный, даже тощий Алексей Иванович Шилейкин — конотопский рабочий, бекманик, ему чуть-чуть за сорок, пожизненно — старшина. В обороне он был снайпером, но из самых выдающихся, заурядным.

— Сколько же на вашем счет немцев?

— Обыкновенно.

— Ну, а все же?

— Четырнадцать.

— Порядочно, — говорю я.

— Средствено, — уточняет друго собеседник, и по этому случаю предполагаю, что он из курских.

— Курский, — подтверждает он

радостью.— Курский крестьянин, Аникиев, Иван Игнатьевич, с 1910 года.

Это — сержант, высокий худощавый, ширококостный. Руки его лежат на коленях, как отмытые. При прощании с ним я вполне оценил, что это за руки.

Когда полк форсировал Зупу, завязался бой у деревни Крутая Круча. Само название ее говорит, какова была месть, а каковы бывают бои в момент преграды немецких позиций и говорить излишне.

И вот Шилёнкин рассказывает.

— Начинает он кидать в нас мины. Мы залегли. А он кидает сильней. Выбывает наш командир роты. Осталось — старший. Командую: «Рота, слушай моих приказаний, я принимаю командование!» А он все кидает. Люди наши горят под его минами. Санитары не поспевают выносить.

— Где поспеть, — вспоминается Аникиев, — где поспеть! Санитары тоже убыли, а которые работали — те без начальника остались.

— Без начальника они не были спокойно, — останавливает сержанта старшина.

— Как не были, если санитар-инструктор...

— Погоди. Выбывает наш санитар-инструктор.

— А я про что?

— Погоди. Выбывает санитар-инструктор, и я тут же сразу надеваю на себя его сумку.

— А я про то же и говорю.

— А ты говоришь, санитары остались без начальника. Я надеваю его сумку и работаю за санитар-инструктора: сам раненых перевозываю сам выношу, а сам все командую ротой. Немец думал — конечно мы готовы. Попридержал очень, понимаешь, в атаку. Однако мы его не допустили, он стал отходить назад. У меня осталась минутка находиться, я — к раненым. Перевозываю тяжелого раненого, тыку — немцы наших в плечи захвачены, ведут стрельбой. Наших пять человек, их — одиннадцать. Оглянулся я. Вот так вот, как до этой минуты, около убитого бойца — пулемет. Подползаю я к пулемету. На убитом — граната. Я ее беру. Лежу, укрылся, выжидаю. Сначала пани,

которые в плен попали проходят, за ними — немцы. Я тогда — раз! — гранату! И — за пулемет. Всемя человек я их уложил, и тут же лента вышла. Оглянулся я опять...

Но на этом месте рассказа Аникиев не выдержал, потому что ему давно хотелось выразить, как все это он пережил, а Шилёнкин рассказывал тлако, некуда было слова вставить.

— Я тогда, — начал он, вспоминаясь.

— Погоди, — остановил старшина. — Оглянулся я, вижу: сержант Иван Игнатьевич из окопчика поднимается.

— Я побегаю на пулеметную очередь, — опять начал Аникиев.

— Погоди, — безжалостно перебил Шилёнкин. — Я тебя вижу, как ты приближаешься, и командую: сержант Аникиев, помоги!

И старшина кратким жестом командира передал, наконец, слово Аникиеву.

— Я про что же говорю, — третий раз начал тот. — Я слышу, как он мне командует: Аникиев, помоги! Бегу к нему, и, с колена, из автомата — сколько очередей, не помню, дал, — только остальных трех немцев кончили. Всех пятых наших мы освободили. И стали мы тогда вместе с Алексеем Иванычем раненых с поля боя выносить. Вынесли мы тридцать два человека.

— Тридцать два, — подтвердил Шилёнкин и прибавил: — он тут спять принял мины кидать.

— В это время по связи передают приказание майору, — сказал Аникиев.

— Нет, погоди, — остановил Шилёнкин. — В это время, пока мы с тобой раненых выносили, я продолжал командовать ротой.

— Я ничего не говорю про то, когда мы с тобой раненых выносили. А я говорю, когда мы кончили выносить, поступило личное приказание от майора — это наш командир батальона: назначить сержанта Аникиева командовать ротой, — это миссия.

— А Шилёнкин? — спросил я.

— Я остался санитар-инструктором, — отвечал он. — Для мне, в мое распоряжение, фельдшер пять санитаров. И я продолжал санитаром.

— Как же сержант Емельянов доложил ротой?

— А вот как,— сказал Аникиев, поднявшись ближе ко мне и этим показывая, что теперь он не испытывает больше вмешательства Шилёнкина в разговор.

— Как вышло приказание идти в конгратану, так подали я роту и пошел. Как донесли мы до его позиций, так я скомандовал — в штыки! Выло со мной тридцать бойцов. Поднялись они все и в один голос — ура! Как зарыгнули «ура», так всю операцию не представали кричать. И я кричал.

— Какую операцию,— спросил я.

— Такую операцию, что ворвались мы к нему в позицию и первое — погнали его колбасу. Второе — он побежал, мы его бросились преследовать. Третье — мы очистили от него позицию, захватили четыре пулемета, телефон и двоих радиоинженеров...

— И что я, все время «ура» кричал?

— Одни уж начали винтовки сносить, которые захватили, а другие спят с открытыми ртами, кричат. Я говорю, что орота, трофеи надо подсчитывать, наша победа. А они смотрят на меня, у них все еще рты не закрывался.

— Да,— сказал Шилёнкин.— Теперь узнали мы, что это значит.

— Теперь узнали,— спокойно согласился Аникиев.— Знаем, как добывать над ним победу...

Двое этих решивших друзей по роте — сержант и старшина, крестьянина и рабочего — делятся в моей памяти надышиго. Но разом какон стали врежутся они в память друг другу, пройдя действительно сквозь воду форсированных рек, сквозь огонь вражеских крепостей, сквозь медные трубы пушечных и минометных жар. Нет крепче в мире памяти, чем солдатская память друзей, испытанных боем.

И еще, в поиску Макарова, выдалась мною одна встреча, запавшая в сознание.

Юношески чистые глаза, но без застенчивости и без скрытности. Задорные, но без нахальства. Походка настолько легка, будто нети того и гляди выскочат из отстающих сапог. Господинчи, проходя, больно широки, и почему не спадают сапоги — загадка.

Ну, да, конечно, ему всего девятнадцать лет, а позади — столько должностей, столько званий: война любит быстрый рост. И при знакомстве со мной он уже не называет себя Алеши, он уверен, что ему идет только полное имя — Алексей Иванович Зайцев.

— Хорошо, Алексей Иванович,— говорю я.— А давно ли вы из школы?

— Да знаю.

— А как вы, Алексей Иванович, учились?

— Хорошо.

— А сильно ли вы, Алексей Иванович, озоровали?

— Сильно.

Это все произносится серьезно и даже в предупреждающем тоне, в том смысле, что, мол, вы со мной как будто шутить собираетесь? — мыслись. И вдруг — совершенно ребячий, обрадованный смех, точно солнце брызнуло сизую тучи:

— Теперь, на войне, пригодилось

— Что пригодилось, Алексей Иванович?

— То, что сильно озоровал.

Я обнимаю его с тем первым внешним расположением, который известен учителям, и задаю ему, как учитель задачу:

— Ну-ка, перечисли мне, Алексей Иванович, все должности, которые вы занимали с начала войны и до сего дня.

И он, смеясь, бряки, перечисляет, как у классной доски. Еще когда он был в учебном батальоне лиззионского проезжего и сержанты. К моменту наступления на Орел он — первый заместитель командира взвода автомашинистов. Когда выбыл командир, он заменил его и командовал взводом по самого Орла, где «попил чайку» (слоганко свое дело делают — приходилось и живет!).

— Ну, отличился, все-таки чем-нибудь или нет?

— Так, просто. Где увижу немецкий пулемет — сейчас автомат за спину, пулемет тяну. Кумбат это заметил и назначил меня командиром пулеметной роты, взамен выбывшего командира. Я так ротой и командовал, пока не дали нового командира.

— Ну, а все-таки, что же ты такое сделал, что к тебе такое доверие?

— А ничего. Не дал ребятам в панику бросаться. У меня ребята держались во как!

— Кем же ты сейчас?

— Сейчас — командир расчета пушечной роты. Меня учились посыпают на офицера, а я по лоту... Но почему не хочу? Вот когда победим, тогда захочу.

— Ты офицером и победишь. Офицеры армии, знаешь, как нужны!

— Я раньше до Берлиша дойду, — выпаливают си, и вдруг снять у него вырываются мальчишеский смех.

Но он сразу подавляет си, смотрит мно в глаза испытующе прямо и выговаривает с неожиданной, якой заносчивостью:

— Эх, я там ему покажу!.. А что ему спускать? Он наших родных будет калечить, а мы — смотреть?

Тут я заново флижу его глаза: нет, это не мальчик, но юноша, это муж, гневный, страшный и мстительный муж.

— Откуда же ты такой родом взялся, Алексей Иваныч? — спрашиваю я.

— Я — чернинский, — отвечает он

— Как чернинский? — вскрикнул я. — Из Черни?!

— Из Чернинского района.

Слово это пламенем сияетило мне развалившийся гарнитурой: когда-то милый городок — кури и торы оскальской почты, торосной пепролазным буряком. След землетрясения. Вилья.

Так вот как отмирает маленькая Черни за свое поругание! Бог какой отолья посыпает она гарнитуре из глохшего из шашей земли вратом! Вот он — фактор времени в войне: неудержимо быстрое созревает молодое племя воинов, из мальчиков делаясь мужчинами и мужей превращая в богатырей.

И тут мне ясно увиделось, как великий городок, каждое селенье что ли двор, что ли дом, разрушенные немцем, отправляют на великое поле боя своих беспощадных отмстителей, настороженное сердце их болью за родину и напутствуя — сии победили!

Еще раз обнял я Алексея Иваныча, мальчика-мужа и сказал:

— Хорошо, Алексей Иваныч, или си Берлин солдатом. Все равно вернешься ты офицером.

ПОМНИ!

Я помню пыльный, люто холодный вечер. Тёмнота и лю-осенному часо падающим звезды. Мир почему-то кажется, что испытывает, мчась и пропадая в небе, эти феколки миров сознанию и краю выкорчивают очищенное слово — помни! Миги эти и слезы забыть.

На горизонте отымаются гигантами неба трепетные вспышки земли. Одни то красны, то пекино рожены, то блохны: отставы пожаров — этины сражений. Рычанием приладейской бомб пакаиваются талами и пати-мост, снова растет, снова вспыхнет.

В темните зори людей сходит по-поганью, склонившись, тело к земле. Людям холодно, чю никто не уходил. Над головами — чернине агобо в зорах, по сторонам — чернине об-

рывы оврага в смутных тенях ползущих деревьев. Торна спрят глубоко в овраге, лицами к его туннелю, к задней стенке, на которой повисел и свечится обвораживающим чертами далекой жизни мальчишеский окран. Сматрят картигу «Леди Гамильтон». Корабль Альмира, под парусами, бле-зается к Триффальгару. Альмир Ильинсон поднимают башню. Виды па-руса пропадают. Башарен сматрывают оголь. Рукичес мастьы. Герят палубы. Альмир надает. Адмирал умирает. Далеко, далеко от Триффальгара адмирала идет леди Гамильтон.

Ровут орудия горящих кораблей. Речет окран. И в ого рев издалека вспыхивает ряжаком боя на горизонте. Быстро сорвали на окране. Идет бой за переправы через Десну, там,

за горизонтом. Леди Гамильтон ждёт. Всегда и всюду кто-то ждёт. Далеко, далеко.

Холодно. Люди стоят неподвижно, тело к телу. Никто не уходит. Это — картина. Это — искусство. Человек остается с искусством наедине. Молчит, разговаривает с ним. Думает о том, как оно похоже или как непохоже на жизнь. Смотрит на него, как на падающую звезду, которая, может, где-то вычерчивает: помни!

И спи.

Кромешная горница уцелевшей избушки в орловской деревне. Кромешный экран. Генералы той армии, которая выиграла орловскую битву, сидя очень тесно на скамейках, пле-чом к плечу, смотрят только что доставленный на фронт фильм «Орловская битва».

Завывают орудия. Идут в атаку солдаты. Падают побежденные. Встают и шествуют победители. Бетономенный, непокоренный Орел принял к земле, истерзанный, в руинах. Мимо руин идут освободители. Генералы смотрят марш своих солдат.

Генералы, юная перед экраном, смотрят на себя, как они вступают в Орел, как в Орле они стоят у гроба Гуртьева, павшего за Орел. Как они хоронят Гуртьева на площади Орла.

Гуртьев — герой Сталинграда. Он вел свою танковую дивизию на Орел. Командующий армией Горбатов поехал знакомиться с позицией Гуртьева. Оба генерала пришли на командный пункт и заняли места рядом. Это было в полутора километрах от немца. Он обстреливал позицию.

Я помню, как Горбатов говорил о смерти Гуртьева. Два осколка попали в Гуртьева — в спину и в голову. Горбатов прижал голову Гуртьева к своему плечу. Гуртьев истекал кровью. Он сказал:

— Я, кажется, умираю.

И умер.

Ему только казалось, что он умирает. Смерть была для него неестественна. Для таких, как он, естественна жизнь. Я помню, как Горбатов говорил об этой смерти.

Орловцы смотрят на экран и видят себя, как свою память. Так они брали Орел.

Пролетела яркая звезда по высокому небу надежд нашей отчизны. Помни! — прочертила она. Помни о славных героях, павших за свободу нашей родины. Помни, что враг еще не уничтожен и что твой долг — нести ему смерть во имя нашей жизни.

Сентябрь — ноябрь, 1943 г.

Генерал-лейтенант Е. ШИЛОВСКИЙ

О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ

Русские войска всегда отличались мужеством, выносливостью, молодецкой силой штыкового удара. Под водительством Суворова, Кутузова и других полководцев они совершали замечательные походы и одерживали блестящие победы, выказывая чудеса храбрости и образцы высокого стратегического искусства и тактического мастерства. В первой мировой войне 1914—1918 гг. русские войска под командованием Брусилова нанесли ряд поражений австро-германским силам.

Красная Армия, развивая и продолжая лучшие боевые качества и традиции русской армии, за 25 лет своего существования сильно двинула вперед теорию и практику военного дела. К началу великой отечественной войны против немецкого фашизма ее военная доктрина была вполне современной и передовой.

В ходе войны Красная Армия приобрела необходимый опыт, закалилась в борьбе с сильным и настырым врагом. Ее военное искусство быстро совершенствовалось, становилось гибким и многообразным. Красная Армия одержала величайшие победы над немецкой и другими германскими армиями. Но этих успехов она добилась, в результате суровых испытаний.

...Так тяжкий мят, дробя стекло, жует буллит!

Летом 1941 г. вероломный враг вторгся в нашу страну, используя все выгоды внезапного нападения. Его многочисленные войска, вооруженные мощной техникой и обладавшие двухлетним боевым опытом войны в Европе, атаковали наши пограничные части. Это был удар огромной силы, я наш первый стра-

тетический эшелон, ведя неравную борьбу с наседавшим врагом, был вынужден отходить вглубь страны, чтобы выиграть время для мобилизации, сосредоточения и развертывания наших основных сил.

В первые месяцы Красная Армия имела серьезные неудачи. Но, отходя, она изматывала и уничтожала в ожесточенных боях врага, подрывала его наступательную мощь. Главные силы немецко-фашистских войск и их сателлитов наступали на обширном фронте от Балтийского до Чёрного морей. Целые группы вражеских армий были двинуты на Ленинградском, Московском и Киевско-Харьковском направлениях.

Всем миру теперь придано, что ни одна страна, кроме нашей, ни одна армия, кроме Красной Армии, не выдержали бы подобного нападка. Но мы устояли, отмобилизовали свои силы и к зиме 1941/42 гг. взяли инициативу действий в свои руки. В великой битве под Москвой ярко выявились характерные черты военного искусства Красной Армии этого периода.

Наши калдровые части понесли известные потери при отходе. Вновь сформированные дивизии еще не были полностью обучены и оснащены техникой. В маневренности и мобильности они уступали пехотистским войскам, хорошо снабженным автотранспортом. Превосходство в технике было на стороне врага; в количестве танков под Москвой он превосходил нас в 2½ раза.

И все же в этих трудных условиях мы разгромили немецкую полчища под Москвой. Защитники Советской столицы в самые тревожные дни не прогнули, не потеряли веры в свои силы. Они знали, что товарищи Сталина в Москве, слышали с Красной площади его слова, полные уверенности в нашей окон-

чательной победе. Исход сражения под Москвой решили в нашу пользу, в конечном счете, армии резерва Верховного Главнокомандования. Они были сформированы в глубоком тылу, скрытое сосредоточены за нашими флангами и введены в дело, когда ослабленный потерями враг делал последние усилия, чтобы прорваться к столице. Победа была одержана нами в очень сложном и невероятном сражении, в той самой форме концентрического наступления с двухсторонним оперативным охватом, которую немцы считали своей специальностью. Пытаясь охватить Москву с обоих флангов, немцы сами оказались охваченными, а затем разбитыми. Попытка немцев осуществить грандиозные «Канны» под Москвой закончилась для них полным провалом и поражением.

Операции в стиле нашей московской битвы 1941 г., связанные с переходом в решительное контрнаступление после отхода, являются наиболее трудными и сложными. Нужно правильно определить допустимый предел отхода, все время чувствовать пульс боя и уловить благоприятный момент для перехода от обороны в контрнаступление. Военная история показывает, что только мужественные, стойкие войска и большие полководцы способны осуществить такие крутые повороты, добиться коренного перелома обстановки в свою пользу и разгромить зарвавшегося врага.

Мы знаем, что «чудо под Москвой», как его называли иностранцы, не было чудом. Величие духа, искусство и стратегическая мудрость нашего Верховного Главнокомандующего, непреклонная воля к победе всего советского народа, упорство и беззаветное мужество наших воинов обусловили успех в этом важнейшем сражении. В области тактики наши войска освоили и успешно применяли пока более простые способы действий. Сложные приемы, операции на окружение, глубокие прорывы менее удавались в этот период второго года войны.

Разгром немцев под Москвой явился переломным, решающим моментом первого года стечественной войны. В суровую зиму 1941/42 гг. Красная Армия, развивая наступление, отбросила немецкие войска на запад местами более, чем на 400 км.

Первый год отечественной войны закалил наших бойцов и командиров, оказал им подлинное лицо врага, научив ненавидеть его всеми силами души. Красная Армия выросла и окрепла. В борьбе повысилась ее организованность и техническая боевая мощь. 1 мая 1942 г. товарищ Сталин в приказе указал, что Красной Армии есть все необходимо для выполнения стоящих перед ней великих задач по освобождению советской земли от немецко-фашистских захватчиков. Нехватает только умынья полностью использовать против врага ту первоклассную технику, которую предоставляет ей наша родина. Верховный Главнокомандующий приказал бойцам и командирам Красной Армии настойчиво овладевать военным искусством, чтобы быть врага наверняка.

Воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, немцы летом 1942 г. небросили свои резервы на советско-германский фронт, создав ударный «кулак» на юго-западном стратегическом направлении. Переядя здесь в наступление, немцы в ходе летних боев достигли значительных тактических успехов, продвинувшись на подступы к Стalingраду и в предгорья Кавказа. Однако упорным сопротивлением советских войск враг был здесь остановлен.

В последовавшем зимнем контрударе 1942/43 гг. Красная Армия покрыла свои знамена неудящим славой. Она окружила и уничтожила две отборные немецкие армии под Сталинградом, разбила пленную румынскую, чатальянскую всигерскую армии и, отбросив врага от Волги и Терека, продвинулась на 600—700 километров на север. Кроме того наши войска имели успешные успехи на других участках фронта: прорвали блокаду Ленинграда, выбили врага из Курска, Ржева, Вязьмы, Великих Лук, Демянска и других пунктов.

Рост военного искусства Красной Армии, поднявшегося на огромную высоту, и последовательное падение военного искусства гитлеровской Германии можно проследить на примере Сталинградской операции. Эта операция явилась наиболее крупным и ярким военным событием периода зимнего контрнаступления.

Подготовка операции производилась в трудных условиях. Войска и хику приходилось сосредоточить издалека в открытый степной ион со слабо развитой сетью дорог. Общее соотношение сил не было нам каких-либо решающих симметрии. Но путем искусного маневра было достигнуто решающее превосходство в силах на направлениях главных ударов. Вся подготовка была произведена очень организованно и скрыто: она обеспечила готовность нашего наступления, план операции представляет замечательное достижение советского, алинского военного искусства, полноты и глубины замысла, основанного на правильном учете всех иных обстоятельств, определении смысла для перехода от обороны к наступлению и выборе направлений главных ударов по флангам противника немецкой группировки. Поводец, который в отечественной войне конца 1942 г. на юге, от задумать и осуществить подобную операцию, — приобрел право на смерть.

За пять дней был выполнен основной замысел наступления: оперативные прорывы северо-западнее и южнее Сталинграда, разгром румынских войск и окружение главной мешкой группировки под Сталинградом. Войска и маневрирование армии показали здесь разы высокого тактического и оперативного искусства. Пехота и артиллерия мощными и согласованными ударами взламывали южно-казахстанский фронт. Подвижные группы словно успевали действовать в оперативной глубине вражеской обороны.

Окружение тактических и оперативных группировок противника выполнялось быстро и четко и завершилось полным разгромом окружаемых войск. Темп операции впервые и в три раза. Взятие линейных рубежей и операции, применившихся в еще в московской операции, здесь широким использованием

глубокие формы, гибко применялась тактика маневрирования. Наша авиация своим ударом с воздуха дружно поддерживала наземные части. Резко поднялось качество управления войсками и взаимодействия подразделений войск в ходе быстро развивающихся маневренных действий.

Разгром врага под Сталинградом представляется наиболее совершенный образец военного искусства, какой знает военная история. Две наступавшие отборные пехотные армии численностью в 330 тысяч человек с первоклассным, мощным вооружением были окружены и ликвидированы, причем ни один солдат не вышел из кольца окружения. Так в новых условиях на русской, советской земле возродились классические операции на окружение, осуществились «Каньи» великой отечественной войны.

В приказе 1 мая 1943 г. Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза товарищ Сталин отметил, что сотни тысяч бойцов в совершенстве овладели своим оружием, а многие командиры научились умело управлять войсками на поле боя. Но успокаиваться на этом было бы неразумно. Остановиться в военном деле — значит отстать. А отсталых, как известно, бьют.

«...главное сейчас состоит в том, чтобы вся Красная Армия изо дня в день совершенствовала свою боевую выучку, чтобы все командиры и бойцы Красной Армии изучали опыт войны, учились воевать так, как этого требует дело победы».

И Красная Армия, выполняя эти указания вождя, грозилась боевую учебу, овладевала более совершенными способами и приемами, оснащалась все более могучей и многочисленной боевой техникой. Она напряженно готовилась к решающим боям трехтысячного года войны.

Летом 1943 г. немцы уже не были в состоянии наступать на широком фронте. Они сумели организовать наступление на срочнительном участке в нескольких десятках километров в районе Курского выступа. Здесь немцы сосредоточили 38 дивизий, из них 17 танковых и мотопехотных, поддержанных боевым количеством самолетов. Это был очень сильный и концентрированный удар. Первый этап показал, что наша оборона оказа-

лась силыс немецкого наступления, несмотря на введенную противником многочисленную боевую технику, в том числе новые тяжелые танки «Тигр» и самоходные орудия Фердинанд. Ценой огромных потерь врагу удалось лишь вклиниться в наше расположение на 9—35 километров. Но советские войска, измотав и обескровив врага, вскоре отбросили его в исходное положение, а затем сами двинулись вперед. Третье летнее наступление немцев было быстро и успешно ликвидировано нами при очень небольшом маневре по глубине и без потери территории. Здесь мы видим новый характер операций — возросшую стойкость нашей обороны, способность к быстрым и сокрушительным ударам и переходу к контрнаступлению.

Таким образом решающее оборонительное сражение в районе Курского выступа было выиграно нами. Впервые в истории второй мировой войны оборона оказалась настолько сильной, искусной и упорной, что отразила наступление главной группировки немцев, без потери территории и с огромными потерями для врага. Такой результат является крупным стратегическим успехом и большой победой. Он немедленно и благоприятно сказался в общем ходе войны, повлиял на отказ Германии помочь Италии и способствовал падению Муссолини.

В докладе 7 ноября 1943 г. товарищ Сталин сказал: «Если битва под Сталинградом предвещала занятие немецко-фашистской армии, то битва под Курском поставила ее перед катастрофой».

Советские войска не только сорвали летнее наступление гитлеровцев, но и сами перешли в решающее наступление на Орловском и Белгородско-Харьковском направлениях.

Несмотря на хвастливые заявления немцев о неприступности их обороны, наше наступление оказалось сильнее немецкой обороны. Поражение немцев под Орлом и Белгородом было началом наших дальнейших успехов. В упорных боях сопротивление немцев было сломлено, и весь обширный фронт от Азовского моря до «Смоленских ворот», протяжением в две тысячи

километров, пришел в движение. Был вырван из рук немцев Донбасс — важнейший угольный и промышленный район страны, освобождена левобережная Украина. Штурмом были взяты Смоленск и наши войска вступили в Белоруссию. На юге был занят Новороссийск, — важный военный порт на Черном море, и немцы были изгнаны с Таманского полуострова.

Преследуя отступающего врага Красная Армия на широком фронте вышла к Днепру и форсировала его в ряде пунктов. В результате стремительно проведенной операции с смелым обходным маневром 6 ноября наши войска овладели Киевом, стилицей Советской Украины, крупнейшим промышленным центром и важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на правом берегу Днепра. Наступление советских войск успешно развивается на большую глубину.

В этих ожесточнейших сражениях мы видим выросшую крепость и силу Красной Армии, ее многочисленную боевую технику, новое боевое мастерство бойцов и командиров. В приказе от 7 ноября 1943 г. товарищ Сталин указал:

«В наступательных боях истекшего года наши войска обогатились опытом ведения современной войны. Наша офицерия и генералы умело руководят войсками, успешно овладевают искусством вождения войск. Красная Армия стала самой мощной и закаленной современной армией».

В наступлении наших войск мы наблюдаем решительность действий, основанную на правильной оценке обстановки, на учете слабых и сильных сторон врага, хорошо организованное взаимодействие родов войск и смелый, искусный маневр на поле сражения. На практике успешны наступательные бои войска видны плодотворные результаты упорной труда по боевому совершенствованию, по изучению опыта войны, и освоению современной техники.

Год, прошедший от Сталинградской операции до победы Красной Армии под Курском, Харьковом, Смоленском, Киевом, был годом коренного перелома в ходе войны в пользу нашей страны. День нашей окончательной победы приближается.

Опыт последних войн показывает, что немцы гибко и отработанно отрабатывают свои тактические и оперативные приемы. Они нередко достигают хорошей слаженности действий войсковых соединений и различных родов войск при выполнении поставленных задач. В этом их сильная сторона. Но зачастую отработанный способ или прием (сам по себе имеющий определенную ценность) они затем применяют без учета конкретной обстановки, недооценивая силы и возможности противника и, таким образом, обращают этот прием в шаблон. Хотя немцы неоднократно и жестоко былибиты за это, как в первую, так и во вторую мировую войну, — немецкое командование нередко продолжает ту же тупую и самодовольную линию, не будучи способно к гибкому и широкому применению различных приемов и способов действий в зависимости от конкретной обстановки. В этом их слабая сторона, которую мы используем все с большим и большим успехом для себя.

Наиболее крупным военным теоретиком Германии в XX столетии был Шлиффен. Основой его оперативного учения служили положения:

Для достижения решающего, сокрушительного успеха требуется наступление с двух или трех направлений, то есть с фронта и с одного или обоих флангов противника;

важнейшая задача руководителя сражения заключается в том, чтобы задолго до встречи с неприятелем указать всем армиям и корпусам дороги, пути и направления, по которым они должны продвигаться, назначить примерные цели движения на каждый день;

окружение противника по примеру «Канн» путем наступления с фронта, с флангов и по возможности с тыла — вот, по Шлиффену, наилучший способ достижения победы с полным уничтожением неприятеля. Сущность концентрических операций, по Шлиффену, заключается в том, что все колонны и группы войск наступают в заданных направлениях и атакуют неприятеля, где бы они его ни встретили. Координация движений отдельных групп для их взаимодействия является задачей полководца.

Слабой стороной учения Шлиффена были его односторонность и схематизм, увлечение узко-оперативной стороной в проблеме ведения войны, где все приносилось в жертву односторонней тенденции, — двойному оперативному охвату, — и терялось представление о бесконечном разнообразии военной обстановки и отвечающих ей действиях.

Шлиффен своим положением и выгоды облек в форму, отражавшую одностороннее увлечение операциями с двойным охватом, обратив его в рецепт и тайну победы, единственным обладателем которых являлся, якобы, германский генеральный штаб. Это самомнение влекло за собой пренебрежительное отношение к стратегическим и тактическим взглядам противников, к их положению и действиям, за что немцам приходилось неоднократно расплачиваться на полях сражений кровью и поражениями. Поэтому Шлиффен является одним из наиболее ярких представителей схематизма и шаблона в военном искусстве.

Уже сражение на Марне на втором месяце первой мировой войны 1914—1918 гг. опрокинуло шлиффеновский план. Помимо целого ряда важных данных (ослабление правого ударного крыла немцев вследствие переброски двух корпусов на Восточный фронт для противодействия наступлению французских и пр.), одной из причин проигрыша немцами сражения на р. Марне в 1914 г. было также упрощенное представление, созданное к началу первой мировой войны, об управлении войсками при операциях в стиле Шлиффена. Кризис немецких войск на Марне явился в значительной степени кризисом управления и командования.

Общий ход войны 1914—1918 гг., образование сильных фронтов, длительная позиционная борьба — явились новыми и непредвиденными обстоятельствами. Все это резко расходилось с учением Шлиффена. Когда приходилось наступать на сильно укрепленные сои противника, занимавшего сильной фронт, следовало произвести тщательную подготовку, предварительно сосредоточить войска на узком фронте для совместного наступления и нане-

сения единого мощного удара. На первое место выдвинулся фронтальный удар сосредоточенными силами в целях оперативного прорыва, чего учение Шлиффена никак не предусматривало.

Готовясь ко второй мировой войне, немецко-фашистское руководство вытащило из-под снуда шлиффеновское учение и, несколько модернизировав это за счет моторизации и механизации войск, включило в свой планировочный арсенал один из элементов победы.

Важнейшим достижением немецкой теории и практики конца первой мировой войны, по мнению немцев, был так называемый «германский метод прорыва». Вскоре после установления позиционного фронта организация успешного прорыва укрепленных полос стала основной привлекательной военного командования. Новый метод прорыва, отработанный и примененный Людендорфом в 1918 г., предусматривал сосредоточение подавляющих сил и средств на участке прорыва, использование внезапности, быстроты и силы удара для глубокого проникновения в расположение противника. Внезаломность немцы стремились обеспечить скрытностью подготовки операции, занятием войсками исходного положения непосредственно перед началом наступления, отказом от артиллерийской пристрелки и широким применением химических снарядов. Значение танков немцы недооценили, и своих танков почти не имели.

Этот метод был разработан во всех деталях, с немецкой точностью и педантизмом. Примененный в маргейском наступлении 1918 г., этот метод дал возможность немцам одержать известные оперативные успехи, продвинувшись вглубь шефшательского расположения на 60 километров, что создало кризис на англо-французском фронте.

По тому же методу немцы провели вторую большую операцию в мае 1918 г. на р. Эн. Они достигли значительных результатов, дошли до р. Марн, от Парижа их отделяло тогда только 70 километров. Считая, что рецепт победы находится в их руках, немцы организовали в июле 1918 г. третью большое наступление по тому же способу, обратившемуся уже в шаблон. Но союзники успели

уже освоиться с германским методом прорыва и подготовили свои контрудары. Противостоящие войска 4 и 5 французских армий глубоким эшелонировали свое расположение. Первая линия обороны занимала лишь слабым охранением. Немецкая артиллерийская подготовка по первой линии оказалась произведена впустую. Наступавшие немецкие дивизии встретили организованное сопротивление в глубине оборонческого пояса. Большие потери и остатки были. Наступление немцев прорвалось. А когда через три дня началось контраступление союзника из района Валлер-Коттере, поддержанное большим количеством танков, то инициатива действий была немцами окончательно утеряна.

Так, второй основной способ действий — метод оперативного прорыва, подробно разработанный немцами, но обращенный ими в шаблон привел их к катастрофе в 1918 г. и к дальнейшей капитуляции на мирность победителя.

Вероломно вторгнувшись в нашу страну в июне 1941 г., немецко-фашистское командование широким применением метода бронированных клиньев, которые глубоко проникали в наше расположение и стремились окружать наши войска. Вначале этого способа действий давал немцам некоторые успехи. Но вскоре наши войска разгадали приемы врага и научились им противодействовать. Генеральное сражение под Москвой поздней осенью 1941 г. немецкое командование пытались провести в стиле мото-механизированных «Камп»т. б. двухстопоннего опорного пункта. Однако командование Красной Армии своевременно разгадало замысел врага и приняло решительные контрудары, о которых мы выше уже говорили. За флангами наших войск, обложивших Москву были сосредоточены резервные армии. Они были развернуты так, что оказались вдали немецкого колыбельного окружения Москвы.

Немецкое командование обнаружило упорство в битве под Москвой не проявлено ни острые понимания складывающейся обстановки, ни избоготи в выборе способов действий. Им казалось, что плифованский «спонс любой» является излучением, и после первых успехов они считали, что уже достигли

победы. В конце ноября, когда командование Красной Армии осуществило свой контрманевр — сосредоточивало резервы, — германское командование в очередной склонке неправильно информировало свои войска, что Красная Армия уже разбита, и значительных резервов под Москвой у русских ожидать не приходится. Вытеснув свои войска в линию, немецкое командование с тупой самоуверенностью упрямо имело их все идти и вперед, не считаясь ни с потерями, ни с меняющейся обстановкой. В результате, как известно, немецкие бронетанковые клинья попали под Москвой в подготовленные для них русские клещи, из которых могли вырваться лишь с большим трудом и с тяжелыми потерями.

Московская операция наглядно показала, что даже такой выгодный и сущийший большие успехи способ действий, как двойной оперативный охват, может при шаблонном и схематическом его применении, без учета конкретной обстановки, обратиться в свою противоположность и привести к поражению.

Под Сталинградом немцы снова жестоко по испытались за недооценку противника, за схематическое понимание обстановки и действия по шаблону. В конце 1942 г. немецкое командование вновь считало, что войска Красной Армии настолько обесценены, что не в состоянии наступать. Несмотря на уроки первой зимней кампании, они полагали, что активные операции уже завершены и нужно заботиться об устройстве на зиму. Они недостаточно обеспечили войсками своих союзников фланги главной своей стalingрадской группировки. Такое положение близким образом напоминало окружению немцев под Сталинградом: оно было полностью использовано командованием Красной Армии, которое проявило большую смелость и гибкость.

Внезапный и стремительный переход Красной Армии от обороны к наступлению, как мы видим, информировался разгромом немецких войск на флангах и быстрым окружением немцев. Не понимая изменчившихся условий, восприняя силы Красной Армии, немцы полагали, что они (по примеру зимы 1941—1942 гг.), смогут отсиживаться в окружении.

Пока их не заблокируют бонгрудами извне. В результате получилась блокада немецкой армии под Сталинградом.

В июле 1943 г. немецкое командование, предприняв решительное наступление на Курский выступ, начало излюбленную концентрическую операцию, наложив удары с севера и юга, на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. Но и здесь немецкое командование проявило схематическое понимание обстановки, недоучет сил противника, и действовало по обычному оперативному трафарету; оно переоценило свои силы и сделало большую ставку на тяжелые танки и новые самоходные орудия.

Однако излюбленный немецкий способ концентрических ударов и на этот раз дал осечку. Ход событий показал ошибочность немецких планов. Наши войска и командование непрестанно изучали положение и тактику врага, совершенствовали свою подготовку. Ожидая немецкое наступление, они были готовы не только отразить его, но и нанести мощные контрудары с переходом в дальнейшее контрнаступление.

Товарищ Сталин отметил 7 ноября 1943 г., что с чисто воинской точки зрения поражение немецких войск на нашем фронте к исходу этого года было предрешено двумя важнейшими событиями: битвой под Сталинградом и битвой под Курском.

Несколько примерами из двух последних мировых войн мы старались показать дефективность немецкой стратегии, склонность немецких войск и их командования к шаблону и схеме. Таких примеров можно привести очень много. Благодаря заранее отработанным оперативным и тактическим приемам немцам удалось провести организованную операцию. Но не случайным было тот факт, что хороших стратегов в XX веке у немцев не было, и войну в целом они вели неудачно.

III

Мы видим, что развитие военного искусства Красной Армии идет по восходящей линии. Красная Армия находящаяся в борьбе улучшает свои приемы, получает все более могучее и совершенное вооружение. Ее

мудрая и смелая сталинская стратегия приобретает все более широкую и прочную основу, уходя своими корнями в толщу народную. Ее гибкая тактика маневрирования быстро развивается. И все с большими и решающими успехами использует более совершенные приемы и способы действий, применения искусные маневры на поле сражения.

Мы видели, как в наиболее трудные, кризисные моменты борьбы под Москвой, Сталинградом, у Курского выступа и в других местах мудрая советская стратегия своим решительным воздействием создавала перелом в ходе боевых действий в нашу пользу (правильно определяя время и направления главных ударов, создавая и группируя резервы) обеспечивала выигрыши сражений.

Мы также видели, как амбициозная гитлеровская стратегия погнала в 1941 году немецко-фашистские полчища на Москву с растянутым тылом, вытянула войска в линию, чтобы выиграть в силе первого удара, а в решающий момент генерального сражения оставила их без резервов и умыла руки. Эта же метафизическая гитлеровская стра-

тегия в 1942 г. загнала лучшие немецкие войска в тупик под Сталиномградом и обрекла на пассивное ожидание уготованной им там плачевной части. Крупнейшие прорывы были также допущены германским командованием в летней кампании 1943 г. Гитлеровская стратегия неоднократно ставила немецкие войска в условия, способствовавшие их поражению.

Красной Армии удалось перебить и перемолоть наиболее опытные старые кадры немецко-фашистских войск умножив и вместе с тем закалив и усиливших наступательных операциях свои собственные кадры. Теперь немецкая армия уже не та, что прежние.

Оперативное искусство и тактическое мастерство Красной Армии быстро растут в ходе отечественной войны. Наше наступление развивается во все ширеющем масштабе.

Весь ход событий отечественной войны вселяет в нас чувство болести и уверенности в завтрашнем дне. Впереди встает яркое солнце победы завоеванной трудом, кропью и военным искусством нашего великого народа.

16 ноября 1943 г.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Академик Е. Тарле

КНИГА О СУВОРОВЕ¹

Эта небольшая, весьма содержательная книжка производит с первых же страниц очень выгодное для автора впечатление. Прежде всего: она написана прекрасным литературным языком, без тех ненужных и безвкусных стилистических вывертов, которые уже давным-давно успели надоесть советскому читателю и забыть ему оскомину, но, к сожалению, еще не надоели многим авторам популярных исторических и историко-беллетристических работ.

И чем больше мы вчитываемся в эту книжку, тем больше крепнет в нас убеждение, что перед нами очень удачноая характеристика великого русского полководца, написанная на основании серьезного изучения разнообразного и довольно обильного материала.

Автор дает в сжатой форме очень продуманную и осудительную картину «генеалогии» и развития наиболее характерных черт полководческого искусства Суворова. Он связывает суворовские наставления с традициями, идущими от «Устава воинского», данного Петром.

Денис Дианов пишет о Суворове, что он «удеялся на пользу, принесшую повиновением», составив его с «чувством воинской гордости». Суворов, как неподражаемый и недосягаемый идеал воинского воспитателя, рисуется в разбираемой книжке необыкновенно ярко и отчетливо. В связи с этим хочется выложить, как умно и удачно с чисто архитектурной, так сказать, точки зрения — автор окружает центральное солнце русского «фебосклона славы» Суворова — плейдой вождей и героев, воини-

¹ Кирилл Пигарев, Солдат-полководец. Москва. Гослитиздат. 1943, стр. 164, цена 4 руб.

тавшихся на суворовских традициях: Кульгина, Дениса Давыдова, больше всех Багратиона и Кутузова. И при этом он не старается вымучивать аргументы для доказательства недоказуемого тезиса о полном тождестве суворовской и кутузовской военной манеры (а этим иногда грешат биографы обоих военачальников), но совершенно правильно говорит: «Кутузов-полководец образовался в суворовской школе: пройдя через нее, он стал тем, чем он был для солдата, не темью Суворова, а Кутузовым, русским полководцем». С другой стороны, К. Пигарев не владеет и в обратную ошибку шаблонного противопоставления Суворова, как представителя только наступательной тактики Кутузову, будто бы представляющему только тактику отступления. Это является несомненным достоинством работы К. Пигарева.

Автор справедливо защищает Суворова от часто делавшегося упрека в неумеренном честолюбии. Кто же из военных героев не был честолюбив? Можно по этому поводу вспомянуть, что говорил как раз об этой черте Суворова сибиряк-иконописец Ровинский, известный автор «Русских народных картинок»: если бы Суворов мечтал, начиная свою жизнь, стать святым угодником, то он воздергался бы от таких страстей, как честолюбие, — но ведь он мечтал стать не угодником, а фельдмаршалом. И добавим: он мечтал стать также народным героем, прославившим русское имя. Это ему и удалось в полной мере. Важно было, что онставил нечто выше своей личной славы — это была честь и слава России, и служил он во имя не своих интересов, а во имя интересов русского народа.

и государство. Кстати: в этой связи читатель вполне был ждать от автора внимательного анализа любопытного Суворовского произведения «Разговор в царстве мертвых между Альксандром Великим и Героюстратом» (перепечатанного в этой же книжке в виде приложения). Ведь тут именно идет принципиальный разговор о честолюбии, и самое замечательное в нем то, что Героюстрат у Суворова оказывается очень сильным спорщиком и кое-где ставит Александра в довольно затруднительное положение. А между тем настоящего разбора этого произведения мы у К. Нигарева не находим. Прибавлю, что вообще этот «Разговор» (шестнадцати печатавшийся) настолько любопытен и столько там неожиданного, что он очень и очень достоин самого пристального внимания исследователей. Без этого источника нельзя понять всей разносторонности и независимости мысли молодого Суворова. Нескольких белых строк (на стр. 65 книги К. Нигарева) совсем не достаточно.

Богато насыщены фактическим содержанием страницы, говорящие о Суворове, как о военном ораторе и как о военном писателе. Тут весьма показательно обрисован Суворов, как мастер дохудового из солдатских сердец русского слова. Понутию гут же охарактеризованы и более или менее видные словесно-литературные подражатели Суворова: Култыев, Иван Скобелев (дед), Федор Глинка, Погосский, Драгомиров. Замечу, что в следующем издании своей книжки (которого должно ждать и желать) автор хорошо сделает, если исключит ложное (по обыкновению) повествование Ростопчина о том, как Суворов при нем ни с того ни с сего во время разговора закричал петухом и что будто бы сказал при этом (стр. 90). Этую явную ростопчинскую небылицу пустил в ход впервые доверчивый журналист Сергей Глинка, но уже в сороковых годах прошлого века ростопчинским «санкт-петербургом» о Суворове вообще мало кто верил. Ведь мы хорошо знаем, что чем знаменитее был человек, тем больше лгал о нем граф Ростопчин: много о Барклее, больше о Кутузове и естественно больше всего о Суворове. О некоторых устно, о других — письменно.

Очень тонко очерчен у К. Нигарева образ «героя», как он сложился в уме и в воображении Суворова. Ему хотелось, чтобы понятия «солдат и герой» совпадали. «Я солдат, я умираю за мое отчество... смелыми шагами приближаюсь к могиле, совесть моя не запятнана... Тело мое извечечею раками, а бог оставляет меня жить для блага государства», — писал он своей любимой дочери.

А что русский солдат очень часто славился героем, кому же это было лучше знать, чем Суворову? Почему он был в таком бешенстве, когда Навел стал заводить немецкие порядки в русской армии? Да потому, что самая мысль о подражании немцам ему казалась нелепой: «русские прусских всегда бывали, что же тут перенять?», — ядовито спрашивал великий полководец. Русский солдат может другим давать пример, а самому ему брати примера не с кого. Так полагал Суворов в 1797 году, сдав ли бы он изменил это свое суждение и в 1913 году!

Автор не задается целью анализировать во всей полноте стратегию и такику Суворова, он по поставленному своему заданию по обязанам придерживаться старого христианского порядка в изложении, ви даже перечислять все победы русского героя. Но все-таки следовало бы назвать наряду с Наполеоном хотя бы Прагу, штурм которой исключит уступац в лаконичных «стюардских» изманическому, а не своим политическим последствиям даже проходил его. Советский писательник, знакомясь с Пушкиным, читает обращенный к «Клементинам Рюеши» стих: «Для них безмолвны Кремль и Прага!» Но для и для него, юного пионера, тоже будет «безмолвна» Прага, если ему ничего не говорить об этом великом подвиге Суворова, одном из самых трудных и блестящих исторических дел.

Очень нужны, хороши и новы по содержанию страницы, посвященные анализу своеобразнейшего языка Суворова. Сколько жизни, сколько могучего темперамента, горячей крови, огня было во всем, что говорил, и во всем, что писал этот необыкновенный человек! Что удивительного если перечисленные военные мысли, подражавшие ему, никогда не

могли с ним сравняться в слове так же, как не могли с ним сравняться в бою самые талантливые подражатели его стратегии и тактики?

К. Пимарев говорит о том, как умел и любил Суворов награждать за воинские подвиги. Это совершенно естественно для настоящего офицера. Можно, кстати, указать автору на любопытнейший документальный материал, никем не обследованный и даже, кажется, никем из исследователей не упомянутый. Это — рукопись, занимавшаяся поиски целый фольклант и хранившаяся в Архиве древних актов в фонде «Бумаги канцелярии кн. Потемкина-Таврического». В рукописи (точнее

в целом фонде) приведенных в этой томе рукописей) эта фракция подробно мотивирована предпринятыми к наградам трех видов: олицетворяющей триумф взятия Измаила. Предпринятые снабжены на поисках авторитетными выступлениями самого Суворова, составленными его рукой. Да и самые мотивации, конечно, тоже происходят от него. Эти документы очень интересны для характеристики зоркого языка и биографического письменника, каковым всегда был Суворов.

При первом появлении рукописи я хорошо изучил ее критикой К. Пигарева и оценил ее заслуги и успеха.

Т. Мотылева

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЗАПАД¹

В дни отечественной войны по-новому перечитываются родные, памятные страницы Пушкина, Лермонтова, Толстого, Горького, в которых отразилась неразрушимая внутренняя мощь русского народа. Ныне по-новому раскрывается величие русской литературы.

Наша литературная наука испро-
стительно мало сделала для определения вклада, внесенного русскими писателями в сокровищницу мирового искусства. Теперь этот вопрос поставлен самой жизнью в порядок дня.

История русской литературы в сопоставлении с литературой других стран дает ценный материал для понимания того, какую большую творческую роль сыграла русская нация в развитии мировой культуры.

В этой связи интересна мысль французских иностранных писателей и критиков о русской литературе. Разумеется к их мнению сле-
дует прислушаться критически. Однако суждения эти ярко свидетельствуют о влиянии, которому окончательно оказывает русская литература на своих читателей за рубежом, они

целы и тем, что помогают вычленить своеобразие русской литературы, ее отличие от литератур других народов, те ее качества, которые завоевали ей за последнее столетие громадный международный авторитет.

Приступаемся к некоторым ха-
рактерным отзывам Запада о ру-
сских писателях.

Н. Тэн находил, что Тургенев по заключенности своего мастерства может быть сравним только с художниками древней Греции. Английский критик Мэйкэйль также считает, что Тургенев по высоте своего художественного таланта стоял во главе европейского искусства своей эпохи.

Общеизвестно, что Флобер при чтении «Войны и мира» воскликнул: «это — Шекспир!». Анатоль Франс, как и ряд других западных писателей, сравнивал Толстого с Гомером.

По определению Томаса Манна, Достоевский — «первый психолог мировой литературы». Стефан Цвейг, соглашаясь с этим, ставит Достоевского не ниже Гете и Гомера. Автор известной немецкой монографии о Достоевском, Эмиль Лукка, утверждал, что герои Достоевского по глубине и богатству своего внутреннего мира превосходят шекспировских героев.

¹ Сокращенное изложение доклада, сделанного в Институте мировой литературы им. А. М. Горького.

Мельхиор де Богюэ — первый исследователь и популяризатор русского романа во Франции — сравнивал Гоголя с Сервантесом, а Толстого с Гете.

В нашей печати уже приводились слова английского критика Миддлтона Марри о том, что «писатели других народов могут лишь играть у ног таких гигантов, как Толстой и Достоевский».

Все эти разнообразные оценки и сравнения говорят не только о вершинности русской литературы, — не только о том, что она достигает уровня поэтических образцов, созданных величайшими гениями человечества. Характерно, что русские писатели XIX века часто сравниваются с художниками эпохи наивысшего расцвета мирового искусства, античности и Возрождения, — с величайшими мастерами эпического, философски-обобщающего искусства, которых когда-либо знал мир. Уже сами эти сопоставления свидетельствуют о том, что русские классики среди своих европейских современников занимают особое место.

В западной критике делалось немало попыток определить особый характер русской литературы, ее специфику, ее пафос. Одним из первых это сделал Мериме. Известны его слова, сказанные в беседе с Тургеневым: «Ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом приходит сама собою...» У Пушкина, говорил Мериме, «поэзия... расцветает из самой трезвой прозы». Эта мысль французского художника о высокой правдивости русской литературы, о ее трезвости, близости к жизни, о красоте русской литературы, органически («сама собою») вырастающей из идейных ее качеств, — впоследствии неоднократно развивалась писателями и критиками разных стран Запада.

Томас Манн вкладывает в уста своего героя Тонио Крекера слова «святая литература». Это определение русской литературы Тонио дает с восхищением и завистью. Хрупкий и одинокий поэт, мучительно ощущающий, как его непреодолимая отчужденность от людей обделяет и губит его дарование. — Тонио Крекер считает недостижимыми для себя то непосредственное общение с народом,

ту этическую целеустремленность, которые свойственны русским писателям. О «святости» русской литературы писал Томас Манн и в своих публицистических работах.

Оглашение левой европейской интеллигентии XX в. к русской литературе хорошо формулировал Стефан Цвейг: «Понтистин — смысл и миссия России в истекшем столетии заключались в том, чтобы со священной тревогой и беспощадно мучительной грастью раскрыть все моральные глубины, затронуть все социальные проблемы и обнажить их до самого корня, — и с бесконечным благоговением склоняемся мы перед коллективным подвигом духа гениальных ее художников».

Несколько иной оттенок в оценке русской литературы у Арнольда Цвейга. Бернер Бертиль, герой его трилогии об империалистической войне восклицает: «Какая литература у русских, какой могучий поток мастерства! Дух мятежа пронизывает и, как молнии, огнемает каждую страницу. Когда же оглядываешься на нашу литературу, включая и свое собственное творчество, — хочется плакать от досады...»

«Дух мятежа», присущий русской литературе, сумели ощутить далеко не все ее западные читатели. Приведенные слова Арнольда Цвейга взяты из его романа «Возведение на престол короля», написанного им сравнительно недавно, уже в антифашистской эмиграции. В дооктябрьских западных оценках — так же как и во многих послеоктябрьских — обычно подчеркиваются не столько социальные, сколько этические качества русской литературы, и передовыми социальные устремления русских писателей истолковываются именно в этическом духе. Например английский историк литературы Эмиль Круз — книга которой о литературе послевикторианской Англии вышла накануне второй мировой войны — говорит, основываясь на высказываниях ряда опрошенных ею лиц, что англичане, читавшие русские романы, «обретали большую свободу ума и духа и более глубокое сознание братства людей».

О высокой совести русских писателей, об их гуманности, об их любви к человеку — оба всем этом на

Западе писали много раз. Но не трудно понять, почему немалая часть этих зарубежных оценок производит на нас несколько двойственное впечатление. Нередко бывает, что в этих оценках искреннее восхищение сочетается с непониманием или даже со стремлением как-то «обезвредить» русских классиков, выдвинуть на первый план не их революционные черты, а слабые стороны их мировоззрения. Так, например, нередко поступали немецкие критики с Толстым и с Достоевским.

Чаще всего и те представители зарубежной интеллигенции, которые понимают и приемлют передовые, освободительные устремления классической русской литературы, которые склонны считать русских классиков образцом — во многих отношениях недостижимым — для литераторов Запада, не могут ответить на вопрос, чем обусловлен высокий идеальный и моральный уровень русской литературы, ее художественное величие. Обычно они вместо объяснения ссылаются на «русскую душу», понимая ее, как нечто раз и навсегда данное, неизменное.

«Русский человек — самый человечный человек», говорит Томас Манн. «Русская душа — самая душевная из всех душ», вторят ему швейцарский критик Матье.

Это звучит очень искренно и... очень наивно. Разумеется, особенности русского национального характера наложили очень существенный отпечаток на всю нашу литературу. Но сам национальный характер — далеко не постоянная величина. Он постепенно складывается и изменяется в результате исторического развития нации. Этого не понимают западные писатели, охотно оперирующие понятием «русская душа», — нередко с помощью этого понятия пытающиеся отразить или идеализировать пережитки патриархальной старинки и быту и сознанию масс дореволюционной России.

Следует учесть, что в странах Западной Европы, — где до сих пор почти не знают Белинского, Чернышевского, Добролюбова, но хорошо знают, например, книгу Мережковского о Достоевском и Толстом, —

русская литература нередко воспринималась преимущественно сквозь призму реакционно-мистических или либерально-народнических истолкований. Аодячее среди западной интеллигенции представление о России и ее народе до сих пор не свободно от различных ложных, иррационалистических примесей (о том, как живучая экзотика «широкой русской натуры» даже в сознании искренних друзей России, свидетельствует хотя бы русская девочка Ася в «Очарованной душе» Ромэна Роллана — образ, в котором глубоко привлекательные человеческие черты сочетаются с чисто декадентским хаосом страстей и некоторым примитивизмом мысли).

Излишне доказывать, насколько непримлемы для нас воззрения, выдающие своеобразие и красоту русского национального характера, русской культуры из черт отсталости в прошлом нашей страны. Известно, как настойчиво искоренил Ленин «предрассудки старого русского самобытничества». Тем более нетерпимы подобные предрассудки сейчас. Перечитывая книги и статьи западных писателей о России, мы тем отчетливее видим, насколько необходимо очищать историю русской культуры от остатков славяно-фильских и народнических легенд.

Источник силы русской культуры — не отсталость, а борьба против отсталости, вся многолетняя «история протesta и борьбы самых широких масс населения», против остатков крепостничества во всем строе русской жизни» (Ленин). Своеобразие русской литературы не может быть понято, если не учесть этого протesta, этой борьбы.

И у нас, и на Западе много раз, объяснения причин расцвета литературы в России в XIX в., напоминали о том, что художественная литература долгое время была почти единственной легальной триумной, с которой нередко русские люди могли обращаться к народу. Это верно, но как объяснение недостаточно. Это обстоятельство действительно помогает понять причины концентрации талантов русского народа именно в литературе. Но оно не объясняет, почему русский народ мог протянуть одного столетия

породил так много выдающихся талантов и в других областях государственной и культурной жизни России — от военного искусства до музыки (уже одно это доказывает ложность суждений тех иностранных литературоведов, которые утверждают, будто за богатство своей литературы Россия расплачивалась бедностью в других сферах жизни).

Не раз писали о том, что русская литература в течение всего XIX в. черпала свою силу в революционном народном движении (о котором она была связана гораздо теснее, чем литературы других стран Европы).

Это объяснение гораздо более глубокое и верное. Недаром Ленин подчеркивал, что мировое значение Толстого отражает и мировое значение русской революции. Однако, русское революционное движение, при всем его мировом значении, явление в высшей степени своеобразное, обусловленное своеобразием русского исторического процесса.

Общеизвестно, что в новейшее время в эпоху империализма Россия стала центром мирового революционного движения. Но вступление русской революции — как и, не сколько десятилетий ранее, русской литературы — на международную арену было подготовлено всем ходом многовековой истории России.

Очень важным положительным фактором развития русской культуры явилось то, что Россия сравнительно рано сформировалась в государство.

Известно указание товарища Сталина о том, что в странах Восточной Европы, еще до возникновения в них капитализма «интересы обороны от нашествия тугок, монголов и других народов Востока требовали незамедлительного образования централизованных государств, способных удержать напор нашествия» (И. Сталин, Марксизм и национально-колониальный вопрос).

Таким образом, было ускорено становление нации: первые русские цари в этом смысле сыграли весьма прогрессивную роль — как и первые абсолютные монархи в странах Западной Европы. Энгельс писал, характеризуя процесс возникновения национальных государств в эпоху позднего средневековья: «Что во всей

этой всеобщей путанице королевская власть была прогрессивным элементом, — это совершенно очевидно. Она была представительницей порядка в беспорядке, представительницей образующейся нации...» В этом процессе Энгельс отводит место России рядом с Англией и Францией как передовыми европейскими государствами, сумевшими своевременно объединиться, — в противовес Германии и Италии, где надолго закрепилась феодальная раздробленность. «...Даже в России покорение удельных князей шло рука об руку с освобождением от татарского ига и окончательно было закреплено Иваном III. Во всей Европе были еще только две страны, в которых не было ни королевской власти, ни без нее тогда немыслимого национального единства или они существовали на бумаге: Италия и Германия».

Все это существенно иметь в виду при сопоставлении русской литературы, например, с литературой немецкой. Великие русские писатели, начиная с Ломоносова, чувствовали себя писателями великой страны: у них была та общенациональная широта кругозора, то острое чувство ответственности за судьбы родины, которого не могло быть даже у крупнейших художников Германии, так или иначе отмеченных печатью филистерской уности. Передовые немецкие писатели разных эпох и масштабов — начиная с Гете и до Генриха Маннинга — во раз становились на позиции «сверхнационального» космополитизма; их привязанность к собственной нации не могла не оставляться тем, что в Германии XIX—XX вв. отставание национальных интересов обычно приобретало пруссачески-реакционный характер. Это создавало крайне неблагоприятные условия для развития немецкой литературы — особенно во вторую половину XIX в. В противовес этому деятели русской литературы имели историческую возможность сочетать всечеловеческие идеалы с патриотизмом, имели возможность сознавать себя частью большого общенационального целого — и творить во имя этого целого.

Пафос общенародного единства — единства, необходимого для защиты

родины от врагов — звучит уже в таких ранних произведениях русской литературы, как «Слово о полку Игореве»; еще более ярко и полно выражена патриотическая тенденция в русской литературе нового времени. Вместе с тем глубокая любовь к родине, стремление к ее процветанию, богатству и славе всегда сочеталась у русских классиков различных поколений и взглядов со стремлением к общечеловеческому благу. Именно на этой почве возникло в русской литературе ощущение величия исторической миссии России, желание видеть ее, как говорил Белинский, «воплощением идеала человечества».

Другой важнейший фактор, помогший развитию передовой русской культуры,— положение крестьянства в расстановке общественных, революционных сил России. Ленин указал (в письме к Скворцову-Степанову), что центральный вопрос буржуазного переворота в России — крестьянский вопрос, в отличие от Германии, где центральным был вопрос о государственном объединении нации. Если в Германии затяжка в разрешении национального вопроса отвлекала внимание масс от классовых отношений, благоприятствовала появлению реакционно-шовинистических демагогов и крайне отрицательно оказывалась на всех сферах идеологического развития,— в России, напротив, выдвижение на первый план крестьянского вопроса, затрагивавшего жизненные интересы большинства нации, в течение всего XIX века сплачивало широчайшие слои населения страны вокруг наступивших народных требований, создавало атмосферу нараставшего внимания к социальным проблемам, атмосферу нараставшего революционного подъема. Это давало русским писателям огромные преимущества перед писателями не только немецкими, но и французскими и английскими. Пусть даже многие выдающиеся представители русской дворянской интеллигенции тяготились своей оторванностью от народа,— они, сами не всегда это сознавая, были более тесно связаны с народом, чем их западные собратья. «Крестьянин-собственник на Западе,— писал Ленин,— сыграл уже свою роль в демократическом движе-

нии и отстаивает свое привилегированное положение по сравнению с пролетариатом. Крестьянин-собственник в России стоит еще накануне рабочего и общенародного демократического движения, которому он не может не сочувствовать. Он еще смотрит больше вперед, чем назад». Именно благодаря этой своеобразной исторической роли крестьянства в России значительные круги русской интеллигенции — дворянской, потом разночинной — вовлекались в поток широкого общенародного демократического движения или так или иначе подвергались его влиянию. Крестьянин, глядевший вперед, а не назад, силу своего гнева против господ, силу своего горячего стремления к справедливой жизни оплодотворял русскую литературу.

Наконец характерная особенность русского исторического процесса — непосредственное перерастание буржуазно-демократической революции в пролетарскую, отразившееся в преемственности этапов освободительного движения. В силу особенности развития капитализма в России — где буржуазия никогда не была революционной силой — русское революционно-демократическое движение, по сравнению с западным было более тесно связано с народными национальными, более свободно от буржуазных иллюзий и предрассудков. Уже это облегчало переход к революционности пролетарской. Ленин не раз указывал, что в истории России была полоса, когда «демократия и социализм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое». Тенденции демократизма и социализма по-разному сочетались в творчестве нескольких поколений русских писателей, от Белинского и Герцена до Чехова и Короленко,— и именно это сочетание спасало от социального отчуждения тех художников, которые, перерастая рамки общедемократических воззрений, все же, в силу исторических или личных условий, не могли быть социалистами. В России не было того разрыва демократической и социалистической традиции, который имел место в странах Западной Европы во второй половине XIX в.

В годы, когда трагический исход революции 1848 г. завел в тупик

социального одиночества крупнейших писателей Запада — в русской литературе сохранялась демократическая широта апелляции к народу, — и в то же время возникла острая постановка социальных проблем, которая пронесла социалистическое сознание. То решительное «отставивание интересов пародийных масс», которое Ленин считал характерной чертой русского просветительства, — явилось общей идейной базой, на которой развертывалась деятельность ряда поколений русских революционеров и литераторов.

История России за последние сто лет насыщена героикой революционной борьбы, вдохновляющей лучших людей страны, ее художников, ее писателей. — даже тех из них, которые по личным своим взглядам с этой борьбой не были связаны.

Всемирная история не знает такой интенсивности, такой стремительной быстроты общественного развития, какая была присуща России в новейшее время. С такой же быстрой разработкой и русской литература, русский реализм XIX—XX вв. Синтетически вобрав в себя опыт европейского искусства и мысли нескольких столетий, он в несвыханно короткие сроки создал самостоятельные художественные цивилизации мирового значения, превзойдя многие из своих западных образцов.

Старое русское литературоведение охотно подчеркивало, сколь многим обязаны русские писатели своим иностранным учителям. Действительно, русские классики не обогодливались от мировой литературы, охотно черпали из сокровищницы передовой западной мысли, — и это сыграло большую роль в формировании и развитии русской литературы (особенно в XVIII и первой половине XIX в.). Однако надо видеть, что русские классики воспринимали эти итоги Запада активно, творчески; активность их проявлялась и в самом отборе образцов. Некоторые из западных критиков (например, Брандес) справедливо отмечают, что русские писатели умели тщко улавливать все прогрессивные веяния, идущие с Запада.

Вместе с тем русские мыслители,

зачастую независимо от западных, умели самостоятельно поднимать и бесстрашно разрешать проблемы, возникавшие в ходе развития мировой философской и социальной мысли.

Это творческое отношение к идеям, шедшим из-за рубежа, проявилось уже у Радищева, у которого протест против крепостничества перерастает в протест против всякой угнетения человека человеком. Сопоставляя иллюзии западного просвещения (впоследствии — утопического социализма) с живыми впечатлениями попрятанной монархически-крепостнической действительности, русские писатели — уже на разных стадиях развития реализма в русской литературе — находили свой, самобытные формы и образы, свои способы конкретного, реалистического обличения социальной несправедливости.

Не раз, например, писали о влиянии европейской деревенской повести (Жорж Занд, Ауэрбах) на «Записки охотника» Тургенева. Влияние несомненно налицо, это признавал сам Тургенев. Но неверно было бы отводить вездесущую Родину пеплающую роль в возникновении «Записок охотника». По этому поводу высказался еще А. М. Горький в своих лекциях по истории русской литературы: «История Жорж Занд помогли установить, организовать известное отношение к мужику, но интерес и внимание к нему вызвал оли сам, и вызвал грубейшим образом, именно, путем бунтов и волнений». Русская действительность, непосредственно наблюдаемая, конечно, в неизвестно большей мере могла уточнить писателя, нежели западные влияния. И достаточно самого белого свидетельства «Записок охотника» с повестями Ауэрбаха и Жорж Занд для того, чтобы установить много нового внес Тургенев в жанр деревенской повести, насколько он решительнее и острее ставит на балконе социальные вопросы, на сколько его образы крестьян нарисованы более трезвой, более смелой пистолетью, чем добродетельные герои «Маленькой Фадетты», чем роман «Чистота-трагательный мальчик» Анжибо или поварицательные «Крестьяне Ауэрбаха», в которых столь

ко искусственной, сентиментальной идеализации!

В царской крепостнической России порабощение человека человеком носило в высшей степени очевидный наглядный характер — более наглядный, чем в странах Европы периода расцвета капитализма, где эксплуатация затемнялась фтизиазмом денег, атомистической раздробленностью общества на обособленных друг от друга индивидуумов, вуалировалась видимостью гражданской свободы.

«Солдаты в войне всех против всех» — так называл Стефан Цвейг героев Бальзака. Буржуазное общество в изображении классиков европейского реализма — общество, где сталкиваются миллионы противостоящими направлениями воли, где каждый отстаивает свои интересы в ущерб интересам других. Деление буржуазного общества на два больших лагеря — эксплуататоров и эксплуатируемых — было отражено западным реализмом лишь после 1848 года (например, в «Тяжелых временах» Диккенса). Русский реализм подошел к теме эксплуатации раньше западной литературы, он раньше ее опустил наличие «двух наций» внутри одной нации. В «Крестьянах» Бальзака крестьянина выступает преимущественно в своем собственническом обличии. В «Записках охотника» крестьянина дан как угнетенный труженик. Своеобразная расстановка классовых сил в России дала возможность русскому художнику внести нечто принципиально новое в реалистическое изображение деревни.

Разумеется, тема угнетенной личности возникла в западной литературе раньше, чем в русской — возникла еще в эпоху Просвещения. Но русские писатели, исходя из особенностей русской действительности, притали этой теме новую остроту, новую конкретность.

Западная литература XVIII и первой половины XIX в. не раз рисовала «маленького человека» буржуазного города — бедного труженика с непрекрасным кругозором, умеющего, несмотря на тяжкие условия жизни, сохранить свою человеческую цельность. В подобных образах — от станицы Миллера из «Коварства и любви» до диккенсовских бедняков —

проявились лучшие, демократические устремления многих больших художников Запада. Русская литература полошла к образу «маленького человека» несколько иначе. Она первая показала разрушение личности человека под влиянием зависимости и бедности и вылинула на первый план не бедность, а именно зависимость, то есть человеческое, а невещеское отношение. Всем нам памятно пушкинское: «О бедность, бедность! Как унижает сердце нам она!» Этот русский, пушкинский мотив «унижение сердца» лежит в основе таких произведений, как «Станичный смотритель», «Шинель», «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные» — произведений, где угнетенный человек выступает как фигура трагическая не столько в материальном, сколько в моральном аспекте. Именно в таком аспекте стало изображать «маленького человека» западное искусство в конце XIX — начале XX в. — под немалым влиянием русской литературы: если не Гоголя, то Достоевского.

Проблема эксплуатации вставала перед русскими классиками не только при изображении народных изводов: она стояла перед ними всегда.

По верному замечанию Г. Лукача, образ угнетенного крестьянина неизменно присутствует в произведениях Толстого, если не в описаниях быта, то в сознании его героя. Это можно сказать и о многих великих предшественниках Толстого: позеримский образ крепостного крестьянина присутствует, конечно, и в «Евгении Онегине», и в «Горе от ума». Даже там, где типы высшего класса не сопровождаются образами эксплуатируемых ими «души» (вспомним Еремеевича из «Недоросля» и триста Захаров Обломова!) — в произведениях русской классической литературы многократно и настойчиво возникает вопрос: имеет ли человек право жить за счет труда других? Этот вопрос не мог появиться в сознании, скажем, Вильгельма Мейстера, или хотя бы одного из положительных герояев Бальзака или обаятельного Фабрицио дель Донте из «Пармского монастыря». Степелля Но без него немыслимы герои Тургенева.

Конечно, это этическое неприятие эксплуатации, проходящее через всю

классической русскую литературу, обусловлено вовсе не какой-то особой «душевностью» русского человека. Оно объясняется спецификой русских исторических и социальных условий, объясняется тем, что русские писатели скорее и легче могли убедиться в коренной несправедливости всякой эксплуатации, наблюдавшей крепостническую действительность, чем могли в ней убедиться западные писатели (до 1848 года), имевшие дело с действительностью буржуазной, вы袒ировавшей эксплуататорские отношения видимостью свободы. Но несомненно, что русская литература своей этической устремленностью воздействовала на читателя, участвовала в формировании русского национального характера. Несомненно, с другой стороны, что отрицание крепостнического гнета, перераставшее в отрицание всякого гнета, создавало у русских классиков традицию трезвого реалистического анализа фактических социально-имущественных отношений, прививало им в большинстве случаев иммунитет против буржуазно-либеральных идеций, являясь основой той органической антибуржуазности, которая присуща всем большинством явлениям русской литературы.

Это чрезвычайно острое и упорное отрицание порабощения человека человеком во всех его формах, эта настойчивая, психологически глубоко мотивированная защита человеческого достоинства образуют основное звено, связующее классический русский реализм с социалистическим реализмом. В преемственности поколений русских классиков, от Пушкина до Горького, отразилась преемственность этапов русского освободительного движения.

Было бы, конечно, неправильно считать, что своеобразный ход истории в России уже в эпоху Пушкина был для русской литературы только источником преимуществ по сравнению с литературой западной. Социальная и политическая отсталость докреформенной России, не знавшей развитых капиталистических отношений, не знавшей и той относительной свободы личности, какая существовала в странах Западной Европы, оказывала влияние на круг

проблем и образов русской литературы, исключала из нее некоторые ходовые на Западе темы. Отчасти поэтому не были освоены и оценены по достоинству западным читателем Пушкин, Лермонтов, Гоголь; отчасти поэтому не был (по крайней мере при жизни) оценен в России по достоинству Бальзак. Данная в «Баловестской комедии» картина будущего общества, гениальная и чисто-символическая обличающей восприятию русского читателя первой половины XIX в. не могла представаться, как нечто чуждое, далекое (отсюда отдаленное отношение Пушкина к Белинского к Бальзаку). С другой стороны, русская литература второй половины XIX в.— по-своему более решительно, чем классический западный реализм,— вынесла вперед царству «бессердечного чистогана». Плюшкин, как философско-психологическое воплощение искусности, нарисован не менее гениальной кистью, чем Гобек. Но по своей универсальности, по своей всемирной (а не только национальной) типичности Гобек превосходит Плюшкина, именно потому, что гоголевский герой воплощает в себе уродство отживающих социальных отношений.

Антибуржуазность русской литературы, выражавшая на почве непримиримую симпатию к всякого социального гнета, очень ярко сказалась в трактовке русскими писателями темы «молодого человека XIX столетия».

Классический западный реализм (по крайней мере до 1848 года) не хотел к буржуазному обществу как к отвратительной немыслимости. Он создал в разных вариациях преуспевающих карьеристов, имеющих высокой типичностью. Можно было ошибкой трактовать Растильника как «отрицательный тип» в самом понимании этого термина. При многочисленных реальных проявлениях Растильника путь буржуазного карьеризма был единственный типологически лаконичным путем выявления своих творческих возможностей. И когда мы встречаемся с Растильником в последний раз (в «Комнатах незадом для серебря»), мы видим его уравновешенным и доводным.

полном расцвете своих жизненных сил. С горькой иронией повествует Бальзам о триумфе своего героя: он сознает, что, как ни клейми он Растиняков в романе, они торжествуют в реальной жизни.

Русская литература не могла в силу своей конкретностью раскрыть бесчеловечную природу капиталистического дельца. Но она — в силу присущего ей демонизма — в несравненно более яркой исторической форме, чем литература западная, выразила свое отрицательное отношение ко всякой капиталистической погоне за деньгами, ко всяческому собственническому эгоизму. В русских условиях демонизм означал поддержку отжившего строя, а принадлежность к существующему классу — паразитическую бездеятельность: основываясь на жизненном опыте царской, крепостнической России, русские классики отвергали эгоизм во всех его разновидностях. Русская действительность давала им основание предъявить более высокие этические требования к человеку, чем могла предъявить литература западная. Рассматривая жизненный путь молодого человека XIX столетия, русские писатели ставили вопрос не о его личном преуспеянии, а о выполнении им своего человеческого долга. Русские «личные люди», конечно, не так деятельны, как многочисленные герои западных романов, энергично пробивающие себе дорогу в жизни. Но высокую требовательность, предъявляемую к себе, напряженными своими поисками смысла человеческого существования Рудины, Гарини, Бельтона намного выше, чем у западных современников.

Несколько оценка французским литературоведом Мадоном (автором первой монографии о Гончарове) обрасти Александра Агусина. Сравнивая роман «Обыкновенной истории» с первым французской литературы — Раблеем, Люсиеном из «Утраченных поэзий» Бальзака, Фредериком Мюо из «Воспитания чувств» Флобера, Мадон находит, что и Бальзам гораздо рече подчеркнута нравственность, бедность того благородства, которое приобреталось им тем, кого он за карьерой. Он так и подчеркивает смысл финала романа Гончарова: «Посредственность тор-

жествует, таща за собой та недоброкачество счастье, основанное на эгоизме и самообмане, изнанку которого столь энергично обнажает Толстой в жизни Ивана Ильича». Ссылка на Толстого здесь очень уместна: она помогает уяснить природу русского реализма, его органическую, непримиримую враждебность самым ходовым и общепринятым принципам буржуазного поведения. Гончаров в «Обыкновенной истории» дал совершенно оригинальный русский вариант разработки одной из центральных тем европейского романа XIX в.

«Обыкновенная история» появилась накануне революции 1848 года. С этой исторической датой принято связывать ряд сдвигов в западной литературе, как и в развитии других идеологий на Западе. Но до сих пор мало учитывалась та роль, которую с середины XIX в. стала играть русская литература в духовной жизни Европы.

Стало традицией говорить о налажении идеального и художественного уровня европейской литературы после 1848 года. Но следует учитывать, что русская литература как раз в это время, став равноправной участницей мирового литературного процесса, начинает все более наглядно и бесспорно обнаруживать свои преимущества по сравнению с литературами Франции, Англии, не говоря уже о Германии.

Русская литература живо откликнулась на проблематику европейской революции. Брандес говорит о Герцене: «Он — 1848 год в человеческом образе».

Определяя исторические причины духовной драмы Герцена, Ленин делает характерную оговорку: революционность буржуазной демократии уже умирала в Европе... (подчеркнуто мною. — Т. М.). Революционность крестьянской демократии в России, в то время была живая. И это обусловило принципиальное различие в характере духовной драмы, порожденной событиями 1848 года у Герцена и у Флобера, художника, в переживаниях и творчестве которого наиболее ярко отразился критик, вызванный этими событиями в сознании интеллигенции Запада.

Есть сходство в высказываниях Герцена и Флобера по поводу революционных дней в Париже. Герцен «с каким-то ясновидением заглянул в лицу буржуа, в лицу работника — и ужаснулся...» Флобер жгуче не видел буржуа, но «протитанная злостью пуля пролетария» внушала ему перегорие и страх.

Интеллигент Запада после 1848 года мог участвовать в прогрессивном общественном преобразовании только на стороне пролетариата. Путь к пролетариату даже для наиболее честных западных интеллигентов и сейчас мучительно сложен. Для Флобера и его литературных современников он был невозможен.

Русский интеллигент в то время мог еще возлагать большие надежды на общедемократическое народное движение. Герцен, разочаровавшись в западной революции, помнил: «у меня в России есть свой народ!» Именно это уберегло его от отчаяния, от того отчаяния, которое привело Флобера в «башню из слоновой кости». Именно это уберегло его и других больших русских писателей от социального индифферентизма — от того равнодушия, которое, распространяясь во второй половине XIX в. среди европейской интеллигентии, оказалось столь гнетущее влияние на развитие западного искусства.

Известно, что Тургенев долгие годы находился в тесном дружеском и творческом общении с крупнейшими французскими писателями его времени. Круг Флобера — Гонкуров — считал его своим. Но как существенно отличался Тургенев от своих французских собратьев и по характеру творчества, и по своим взглядам на задачи художника.

Братья Гонкур первыми в западной литературе попытались в романе «Жермина Ласерте» — героиней которого является прислуго — дать образ человека из народных низов не романтическими, а вполне реалистическими средствами, без той чистоты тишин, которая была присуща Жорж Зантюю. Но они самы откровенно говорили о том, что выбрали демократический образ с чисто эстетической целью — ради его новизны. Социальная сторона темы их не ин-

тересовала, как не интересовала она и Флобера, когда он писал свой рассказ «Простая душа». Тот живой, напряженный интерес к сущности и страданиям народа, который был присущ Тургеневу — от первых рассказов «Записок охотника» до стихотворения в прозе «Порог» — его французским друзьям был непонятен и недоступен.

Характеризуя пути развития русского и западного реализма во второй половине XIX в., зарубежные критики часто сравнивают русских писателей с Флобером, ибо в творчестве Флобера впервые ярко проявились тенденции, во многом определившие последующее развитие новейшего западного искусства.

Французский романист и критик Поль Бурже в статье о Тургеневе, говоря о грустных концовках романов Тургенева, добавляет: «Но вот тем отличается пессимизм Тургенева от пессимизма первого из наших современных романистов великого и мрачного Гюстава Флобера. Ощущение бесполезности человеческих усилий никогда не выливается у него в человеконенавистничество. Его пессимизм иногда становится очень острым, но никогда он не приводит к мизантропии».

Мельхиор де Рогю в книге «Русский роман» сопоставляет гоголевского Акакия Акакиевича с типами обывателей, созданными Флобером. «Тут же обнаруживается радикальное расхождение, образующее пропасть между романом русским и реализмом французским. У нас карикатуист онотается на своего человечка, извращается над ним, позорит его, обсрамивает на него всю свою ненависть к глупости человеческой. На-против, Гоголь пощупывает над своим человечком, но с оттенком жалости... Для первого из них чистый чухом — это ненавистное чутовище; для второго это — несчастный брат».

Немецкий литературовед Мейер-Гаэфе в монографии о Достоевском сравнивает Флобера и Достоевского с биноклями, отдаляющим и приближающим, противопоставляя флюбировской холодности эмоциональность русского художника. «Если бы, — говорит он о Флобере, — к этому саморазрушителю обратились с призывом выполнить свой долг из-

ред народом, он счел бы это за варварство и не снизошел бы до ответа... Сильнее всего звучит речь Достоевского именно там, где Флобер чувствует себя обреченным на молчание.

Все эти конкретные наблюдения имеют принципиальный смысл. В годы, когда среди западной интеллигентии распространялись настроения пигиализма, мизантропии, равнодушия к жизни и к людям, когда в литературе Запада возникали упадочные художественные течения, русская литература не только сохранила свою содержательность и народность, но и победительно плавнореформистским искусством.

Ко второй половине XIX в. русская литература становится передовой литературой мира, завоевывает прочное международное признание, начинает оказывать мощное влияние на развитие литературы Запада.

Быстрое развитие капитализма в пореформенной России способствовало обогащению содержания русской литературы, делало ее вполне современной по своей проблематике. Если в «Мертвых душах» или «Евгении Онегине» зарубежный читатель имел дело с далекой от него, отчужденной непонятной ему действительностью, — то в «Преступлении и наказании» или в «Анне Карениной» он встречался с жизненными явлениями и проблемами, которые глубоко волновали его самого, и которые, влюбляясь, в романах русских классиков были воинчены с несравненно большей реалистической силой, с несравненно большей глубиной, чем в книгах заочных современников Толстого и Достоевского.

Упадочные идеи художественные течения, распространявшиеся на Западе в конце XIX в., мало оправдывались на развитии русской литературы, не затронули ее основы.

Снижение уровня западной литературы в новейшее времяшло по двум направлениям. Декаданс в его разлитых разновидностях отрицал реализм, ставил на место отражения реальной жизни фантастику, мистику, склоняющуюся к эстетизму, фарфаризму, лукавству. Это были поиски вымысла,

лениной красоты — за счет отказа от правды. С другой стороны, натурализм в его различных разновидностях опровергал реализм, сводил его к пассивному — без отбора — отображению реальной жизни, ее уродства, ее болезней. Это были поиски правдивости искусства, понимаемой эмпирически, пассивно — правдивости за счет отказа от красоты.

Русская литература успешно противоборствовала этим процессам упадка.

Эстетико-формалистические течения были, конечно, и в русской литературе, но занимали в ней лишь периферийное место. Большой русской литературе они были и остались органически чужды: красота для нее никогда не была самоцелью. Начиная от Пушкина, стремившегося «чувствовать, любить, пробуждаться», через Белинского, учившего, что «эстетическое чувство есть основа добра», через Толстого и Чехова, от Пушкина до Горького, столь требовательного к морально-общественному облику художника, — русская литература настойчиво утверждала неразрывность связи эстетики с этикой, придает огромное значение активной воспитывающей функции искусства. Эстетика европейского декаданса, основанная на аморализме, возникшая в постоянный закон искусства отчужденность его от народа, его аристократическую замкнутость, — не могла привиться прочно в русской литературе. В 90-е и 900-е годы, одновременно с книгами русских символистов, выхвачили прозаические Толстого, Чехова, Горького, Короленко, Вересаева, Куприна, Серебрякова. Традиция высокого реализма не прерывалась, а нарастала в русской литературе, как настороживалась, а нарастала традиция революционной борьбы в русской общественной жизни.

Несколько сложнее обстоит дело с влиянием натурализма на русских писателей. Иные западные историки литературы приписывают к натуралистам Тургенева, Толстого, Достоевского, Горького. Но такой взгляд основан на недоразумении.

Золя сводил отличие нового реализма (то есть натурализма) к следующим основным признакам: 1) обыденность фабулы, отсутствие

интриги, максимальная близость повествования к ходу повседневной жизни, 2) обыденность героя. 3) объективизм повествования, отсутствие авторского вмешательства и оценок.

Эти требования отчасти осуществлены во многих произведениях русских классиков, но в своеобразном преломлении. Черты «нового реализма» проявились в русской литературе едва ли не ранее, чем в литературе западной. Предельная естественность, простота повествования, близость его к повседневной жизни — все это в высокой степени свойственно русскому реализму (английский критик Беринг так и определяет его «безыскусственный реализм»).

Западный натурализм принес с собой повышенное внимание к темным, страшным сторонам жизни: он впервые заглянул на «дно» капиталистического города, впервые откровенно заговорил о самых отталкивающих уродствах буржуазного быта. И это для русской литературы не было новинкой. В западной литературе мало странни, которые по мрачной своей правдивости могут сравниться с «Затисками из мертвого дома» или «Нравами Растряющей улицы».

Все то, что в развитии европейского повествовательного искусства после Бальзака можно рассматривать как положительные черты — обогащение изобразительных и выразительных средств, демократизация тематики, смелость в изображении отрицательных социальных явлений — все это вполне соответствовало духу русского реализма и появилось в нем (как легко доказать путем хронологических сопоставлений) независимо от зарубежных влияний.

На Западе все эти достижения несли в себе большие опасности, либо шли за счет идейности, содержательности повествования. У нас они были связаны с поступательным развитием реализма.

В западном романе приближение его к будничным типам и ситуациям влекло за собой снижение духовного уровня героя, истязование драматизма повествования: буржуазное общество, клонясь к своему упадку,

давало все меньше простора развитию личности, — и яркие события яркие люди исчезали из литературы. Русская литература, насыщенная электричеством народной борьбы, находила в повседневной жизни неисчерпаемые источники драматизма, находила в обыденных русских людях — от тургеневских барышень до горьковских боярков — большое духовное богатство. В западном натурализме действие вытеснялось описанием человековещью, характеры — обстоятельствами. В русском реализме человек, его переживания, его борьба неизменно оставались в центре внимания. В западном натурализме тяготение к объективистскому «невмешательству» в повествовании часто создавало оттенок безразличия — не только к изображаемому, но и вообще к человеку, к жизни. Русский реализм от прозы Пушкина до «Войны и мира», от Тургенева до Короленко, от Островского до Чехова умел без ложного пафоса, без наязыкиваемой читателю дилектичи силою языка образов выразить свое отношение к изображаемому, выражать свою скопь, свой гнев, свои надежды.

Принципиальное отличие русского реализма от натурализма неоднократно отмечалось и зарубежной критикой. Например, польский историк литературы Брюкнер пишет: «Русский реализм всегда одухотворен, никогда не сводится к простому фотографированию или регистрацию...»

Произведения западных натуралистов — за очень немногими исключениями — иссили на себе печать иронизма, беспersпективности. Русская литература всегда отличалась перспективностью, устремленностью в будущее, — и это налагало существенный отпечаток на самые мрачные, самые отталкивающие картины социальной действительности, создававшиеся русскими писателями. Классики русской литературы умели видеть «лучи света в темном памятстве», проблески будущего в настоящем. Их демократизм, их вера в народ давали им тысячи возможностей находить источники края оты, поэзии в повседневной жизни, в самых простых рядовых людях. Эта поэзия есть и в Соне Мармеладовой.

и в Акиме из «Власти тьмы», и в чеховском «Ваньке Жукове».

Разрыв поэзии и жизни, красоты и правды — вот чем характеризовалась кризис западного искусства на рубеже XIX—XX в. Русская литература указывала на выход из этого кризиса. Она давала читателю синтез из красоты и правды. Этот синтез, которым когда-то восхищался Мериме в Пушкине, много лет спустя нашел А. Франс в Толстом. «Толстой, — сказал он, — это великий урок. Своим творчеством он учит нас, что красота возникает из правды живою и вполне совершающею, подобно Афродите, выходящей из глубин морских».

Сопоставление Толстого, Достоевского, Чехова с современными им западными писателями помогает осознать глубоко национальную сущность социалистического реализма Горького. И горьковская суровая правдивость в обличении «свинцовых мерзостей» собственнического уклада жизни, и горьковское вдохновение, радостное прозрение неисчерпаемых творческих возможностей, таящихся в человеке в народе, все это, хотя бы в виде отдельных элементов, присутствовало и в классическом русском реализме, все это составляет неотъемлемую часть своеобразия русской литературы. Советские писатели, создающие искусство социалистического реализма, тем самым

развивают лучшие национальные литературные традиции.

Русская литература на протяжении XIX в. выросла во винущительную общественную силу, формировавшая сознание ведущих деятелей русской истории, явились одним из идеологических факторов подготовки русской революции.

Именно поэтому она в новейшее время оказалась в состоянии разрешить ряд сложнейших идеально-художественных задач, которые были не под силу литературам Запада. Понятно, почему она (несмотря на столь частые на Западе ложные ее истолкования) оказывала мощное притягательное действие на всех талантливых и передовых зарубежных художников, так или иначе связанных с освободительными народными устремлениями. Понятно, почему творческий облик Ромэна Роллана был бы иным без Толстого и Горького; Бернарда Шоу — без Толстого и Чехова; Стефана Цвейга — без Достоевского, Толстого, Горького; Томаса Манна — без Достоевского и Толстого; Голсуорси — без Тургенева и Толстого; Иоганнеса Бехера — без Толстого, Горького и Маяковского. Изучение связей новейшей литературы Запада с литературой русской многократно подтверждает правильность слов, с глубокой искренностью сказанных Ромэном Ролланом: «Русская мысль — авангард мысли мира».

А. Лаврецкий

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Статья первая

Социализм и патриотизм

1

Война нашего народа против самого людого из его врагов является отечественной войной. В этом смысле в ней много общего с защитой нашей родины в прошлом. Недаром мысль писателя обращается к славным и священным традициям прошлого. Образы Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского,

Петра I, Суворова, Кутузова зажили новой жизнью, как бы проснулись в народной душе, чтобы помочь ей и примерами и напоминанием о долгах перед нею же самой, укрепить ее уверенность в своем бессмертии. И когда мы слышим и читаем о поистинах эпических подвигах русского человека в боях за родину, — подвигах, о которых будут слагаться песни и легенды, — мы узнаем русского

воина — от дружиинника до солдата, — вынесшего на своих могучих трудовых плечах историю России, историю шестой части света.

Но война, которую мы ведем сейчас, протекает в условиях особых, поистине небывалых. Отечественная по своему характеру, она имеет новыйлик. Враг и трудности, созданные им, до того необычайны, что одоление их стало возможным лишь в силу новых качеств человека и народа — качеств, созданных социалистическим строем. Не немец только пошел на Русь, а немец-фашист, немец-гитлеровец, максимально методичный в подлости и гнусности, которые трудно назвать человеческими, до того степень их превосходит любое воображение. Враг этот, признавший бестиальность высшей нормой поведения, с неслыханным цинизмом отрекшийся от всего человеческого как свойства «неполноценных» людей, оказался вооруженным всеми материальными силами порабощенной Европы. Этот наплыв бронированного варварства, механизированного регресса, поставил вопрос о судьбе всей исторической работы всего человечества. Но решается этот общечеловеческий вопрос нациями в борьбе их за свою родину, в зависимости от их истории, их характера, их социального уклада. В борьбе страны социализма с гитлеровским людоедством эти две стороны вопроса — всемирно-историческое значение борьбы с фашизмом и защита каждым ее участником своей родины — выступают особенно выпукло. Добиваясь полного разгрома немецких захватчиков, мы ратуем, говоря словами товарища Сталина, «за освобождение всех угнетенных народов, стонущих под игом гитлеровской тирании».

Сила национального самосознания, фактор патриотизма, имеет здесь громадное значение не только для отдельно взятой страны, но и для общей победы.

Наш народ изумил спасаемый им мир превзойдшей все исторические примеры любовью к родине. Чем же объясняется ее исключительная сила? Тем, что это патриотизм социалистический.

Новый тип воина, социалистического человека на войне не нашел еще полного своего воплощения. Еще не создан эпос нашей войны

с отчетливыми человеческими характерами, типизирующими действительность, характерами, которые сохраняют для грядущего не отдельных людей, а именно человека эпохи в его социальном, и вместе с тем национальном, аспекте. Зато традиционный, но живой тип скромного русского героя, солдата и офицера, в котором мы узнаем наших старых знакомых по классическим образам литературы, снова восстает перед нами в своих потомках, других поколениях одной и той же семьи. Так, в фигуре Василия Теркина, несомненно, все же больше черт, созданных в нашем воине прошлым, нежели рожденных современностью. В этом образе большая правда, составляющая его обаяние, но не вся правда. Старый герой продолжает жить — и крепко, полно, характерно жить — в своих потомках, но они все же новые люди, с какими-то еще иными качествами. Последние труднее разглядеть и отобразить, чем старые. Ни Пушкин, ни Толстой, ни Некрасов здесь не помогут. И это понятно. Идея родины — чувство национальности — одна из самых исконных человеческих идей-эмоций. Социализм же как элемент конкретной человеческой психологии — явление новое. Для изображения этого нового писателю необходима способность схватывать историю на лету, в процессе образования.

Тем не менее новый социалистический этап в развитии национального типа не может в какой-то степени не отразиться в художественной литературе уже потому, что сам художник — человек ленинско-сталинской эпохи, дышащий атмосферой социализма. Если новые особенности патриотизма, новые стимулы для него не находят пока художественно обобщенного выражения в эпическом образе, то они мелькают перед нами в лирической реакции автора на впечатления от людей отечественной войны.

2

Перед нами одно из наиболее вдумчивых, человеческих по чувству и благородных по стилю произведений наших дней — «Народ бессмертен» В. Гроссмана.

Когда читаешь волнующие лирические страницы Гроссмана о комиссии

аре Богареве и бойце Игнатьеве, невольно истолковываешь их смысл так: в атмосфере социализма нет ничего более естественного, чем патриотизм. У нас нет того, что всячески ограничивало чувство патриотизма в досоциалистическом мире; потому нет и предела для роста этого чувства. В социалистическом обществе шире стала лирическая обогащаясь неведомыми раньше коллективными эмоциями, и в минуту смертельной опасности, угрожающей родине, любовь к ней оказалась здесь еще сильнее, чем могла быть когда-либо раньше. Человек с новым небывалым опытом жизни в стране, где все его касается и во всем он участвует, на войне — в этом величайшем коллективном деле — выражает еще выше. В расширенной личности, живущей общим как своим личным, не может не обостриться ощущение родины, того великого организма, с которым человек связан миллионами переплетающихся нитей.

Боец Игнатьев говорит Богареву: «Я словно другим человеком на войне стал. Идешь — каждую речку, каждый лесок до того жалко, сердце заходит. А жизнь не легкая у народа была, да ведь тяжесть своя — наша. Земля наша, производство наше, жизнь наша, — нелегкая жизнь, а наша. Как же это отдавать? И теперь часто задумываться стал. На войну шол — эх, думаю, все ни почем. А теперь во мне сердце горит. Иду сегодня, а на поляне деревцо шумит, беспокоятся, — так меня пробило, как перекосило всего. Неужели, думаю, опо, махомько, к немцу отойдет? Нет, говорю ребятам, не будет этого. Мой друг один, Родимцев, говорит: горько ли, тонко, стоять надо, за свою землю воюю. Мало что бывало — и жрать нечего, а моя она, жизнь!»

Идея, которую хотел выразить автор словами Игнатьева, значительна и верна. Раньше патриотическое чувство должно было прокладывать себе путь через тысячу премысловий. Надо было ощутить своим, нашим то, что было господским, хозяйственным, что отчуждалось от народа эксплуататорским строем. И душа народа пролагала, — вернее, пробивала — себе путь к познанию и опущению идей родины, всей громадности этой идеи, несознанной не только с каждо-

дневным опытом, но и опытом целых человеческих жизней. В этом сказалось величие народной души, без которой не было бы ни Ледового побоища, ни Куликовской битвы, ни изгнания интервентов в 1912 году, ни разгрома великой армии Наполеона, ни Севастопольской обороны, ни многих других славных страниц родной истории. Но как же должно вырасти великое чувство патриотизма, какие новые качества приобрести, когда ничто не только не мешает ему, а все его поддерживает и вызывает?

Никто не может быть таким патротом, как человек революционной эпохи. Это выразил уже Маяковский. Тому, кто отвоевал родину у врагов, для кого она рождалась как бы заново в борьбе, кто создал ее творческим трудом, — тому она особенно дорога. Это придает советскому патротизму особую силу, которую чувствуют на своих головах и спинах фашистские захватчики.

«Это народ отвоевывал свою землю. Богарев слышал топот сапог, это была поступь нерешившей в атаку России. Она бежала быстрой и быстрой, а «ура» все росло, все крепло, поднималось все выше, разливалось все шире».

К произведениям, не столько адекватно воспроизводящим действительность, сколько лирически откликающимся на нее, принадлежит и рассказ А. Платонова «Одушевленные люди». В предвоенные годы лучшие рассказы А. Платонова импонировали трепетным, подчас проникновенным ощущением рождения новых человеческих чувств, недоступных буржуазно-мещанскому миру. Романтика человеческих чувств, в которую уносился писатель под влиянием лирического переживания, часто волновалась, а иногда и расхолаживала, когда при всей своей субъективной искренности казалась налуманной. Рассказы А. Платонова о войне тоже своего рода баллады о советском человеке, о его «одушевленности» как преобладающей отличительной черте, отделяющей его от тех, у кого фашистская автоматизация убила живую душу. Человек у Платонова дан с одной только стороны, интересующей художника, — правда, не схематически, а лирически, но не в том «многообразии определений», которое создает реалистический худо-

жественный образ. Лирическая односторонность романтики Платонова тяготеет к фантастике порой в ущерб реализму. Но именно потому, что это лирика, интересующий нас момент здесь дан явственнее, чем в эпических произведениях, которым он, по причинам трудности объективного изображения еще не установившихся человеческих черт, менее доступен.

В «Одушевленных людях» больше конкретности и меньше односторонности романтического изображения, чем в других рассказах Платонова. Но и здесь та же тема, что у Просмана, развита специфическими средствами платоновского таланта: и «Одушевленным людям» свойственна известная архаизация стиля, торжественность интонации, памеренная или производящая впечатление нарочитости стилизация под народный язык, соединяющаяся с некоторой язвеловесностью, склонностью придавать символическое значение самым обычным положениям и деталям.

Но и сквозь эту символически затрудненную платоновскую лирику отражается в «одушевленных людях», этих социалистических людях, реальное изменение человеческого сознания: нет больше отчуждения родины от человека, отчуждения, которое хотя и преодолевалось раньше в годы страшной опасности, величием души народной, но не могло все же не сказываться на полноте и свободе патриотического чувства. Советский строй жизни, непрерывно и неуклонно возвращающий трудящегося, его роль и значение в наилучшей стране, утвердил идею родины в сознании миллионов, устранил средостение между народом и его отечеством, средостение, которое составляли и воздвигали господствующие классы. Вот почему при социализме с его интернационализмом нет места равнодушному к своей стране и народу космополитизму, характерному и для отчаявшихся в своей родине и для оторвавшихся от своего народа. Космополитизм — не любовь, а безразличие к человечеству. В условиях нашей эпохи мировой жизни он граничил бы с предательством. Интернационализм — чувство полноценности каждого народа, признание правомерности его самосознания, предполагающее полноценность своего народа и собственное национальное самосознание. Кос-

мополитизм чужд и даже враждебен социалистическому интернационализму. Космополитическому равнодушанию родине гражданин социалистической страны противопоставляет свою страстную любовь к ней. В создании такого убеждения промадная, неоценимая роль принадлежит социалистическому государству. Противоречие между государственным патриотизмом и любовью к своему народу, противоречие, которое так сильно чувствуется среди передовой интеллигенции классового общества, в обществе социалистическом не может иметь места.

Для платоновского героя — политрука, — как говорит один из этих «одушевленных» социалистическим патриотизмом людей, — «родной был все мы».

Патриотическое чувство, по мере того как общество становится бесклассовым, приобретает теплую конкретность, прозрачную ясность. Отношение к общему, требующее в классовом обществе определенной культуры мысли, становится столь же общепонятным и неосредственным, как личные отношения и связи людей. Прежнее «мы калужские» становится невозможным. Советский патриотизм — отношение советских людей, товарищей, друг к другу, помноженное на бесконечность.

«— Комиссар говорил, что мы для него — все, что мы для него родина. И он тоже родина для нас».

Так чувствуют они родину в каждом, а каждый — во всех. Так ощущают ее, начиная от национальной привычности товарища и согражданина, подлинно «одушевленные», социалистические люди.

«Фильченко поглядел на товарищей. Они раскинулись в последнее сне перед пробуждением. У всех них были открытые лица, и Фильченко вгляделся отдельно в каждое лицо, потому что эти лица были для него на войне всем, что необходимо для человека и чего он лишен: они заменили ему отца и мать, сестер и братьев, подругу сердца, и любимую книгу, они были для него всем советским народом в маленьком виде, они поглощали всю его душевную силу, ищущую привязанности».

Это не просто товарищество по несчастью людей одной роты, взвода или окопа. В этом не было бы ничего нового. Вспомним книги Ремарка и

Барбюса. Но то, что в этом товариществе, как солнце в капле, проявляет большее, что оно приводит к чувству неизмеримо более широкого единения, вызывает его: «Они были для него всем советским народом в маленьком виде». В малом — большое. Они неотделимы, они качественно одно и тоже, ибо родина повсюду, как воздух, которым дышат, — от нее не уйти, да никто и не ушел бы, если бы мог.

Подобное представление о родине — одна из характернейших признаков социалистического сознания с его расширенным и углубленным патриотизмом. Кто чужд любви и преданности своей стране, через которую проходит всечеловечеству и всему человеческому, тот далек от социалистического сознания и отношения к миру. Ибо что же такое интернациональная симпатия социалистического человека, как не ощущение других стран и народов достойными сыновьями патриотизма, сочущими их патриотизм? Патриотизм советских людей должен быть особенно силен, как и все колективные чувства; если последние настолько крепки, что приобрели стойкость антикита, то внутри, хотя бы и обицинейшего, но наиболее душевно дорогое коллектива — своего отечества — пекутся грани между ощущением себя и «другого», «близкого» и «далекого», личного и общего. На войне подвижность этих границ должна еще больше увеличиться.

В этом смысле характерен тот факт, что армия — воплощение государства и ее суровой, сверхличной силой — становится чем-то напоминающим родному дому, в котором все — от генерала до солдата, какая бы из многочисленных национальностей общего отечества ни принадлежали, — члены одной семьи.

«Чувство единой семьи связывает армию, — свидетельствует один из самых вдумчивых наблюдателей ее жизни — Видели ли вы, с каким уважением слушают украинцы и волгари заунывную песню, которую заводят заискавший вечером боев-узбек? Тише. Рассулов поэт, — скажет чей-нибудь сердатый голос, и все молча глядят на полузакрытые глаза и смуглое, печальное лицо певца» (В. Гроссман, «На южном фронте»).

Вернувшись после контузии в свою часть, танкист Богачев «почувствовал,

как волна тепла разлилась в его груди, — такое чувство испытал он в детстве, вернувшись после скарлатины из больницы домой». Его ранят во второй раз: «В уме его стояло одно слово: пропал». Но слово это имеет здесь не тот смысл, как обычно в таких случаях. На этот раз, ему это казалось совершенно ясным: он уже не вернется в батальон. И несколько раз он говорил: «Потише, чего вы так быстро идете...» Ему не было больно... Ему было страшно навсегда расстаться с товарищами и хотелось, чтобы этот печальный совместный путь продолжался подольше.

Когда при вторичном возвращении он не сразу нашел товарищей, то «понял страшное чувство человека, пришедшего в свой дом и вдруг увидевшего, что чужой открыл ему двери и равнодушно спросил: «Вам кого нужно?»

В литературе прошлого мы также можем найти аналогичные мотивы, но они имеют иной социально-психологический смысл. Меньше всего тем является в виду рядовой боец. Но даже и в этом случае подобные чувства не вытекают, как у нас, из самого существа общественного строя, а скорее возникают вопреки ему, вследствие других причин.

Один из бойцов в цитированномами рассказе Платонова полон счастья любви к далекой невесте: «Им владело постоянно одно кроткое чувство, которое невозможно было заменить чем-либо другим, или разделить, или хотя бы на время отвлечься от него». Но именно потому, что этого сделать Красносельский не мог, и «воевал он с яростью и равным упорством, видимо, потому, что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем совершение другого подвига — любви и мирной жизни».

Чувство родины и самые простые, самые притягательные человеческие чувства — переплетаются друг с другом, приобретая особую остроту и силу. Лучшие русские люди знали это инстинктивно чувство родины и раньше. Лучшие русские поэты, начиная Пушкиным и кончая Блоком, выражали его. Теперь оно становится общим достоянием. Запицкая людей своей страсти, наш боец оберегает и то что неотделимо от его детей, жены, стариков. От родины неотделимы

Что близкие, их жизнь, она в них она — это они, а близкие не мыслямы без этой великой любимой матери — России, которая их хранит, за них бьется, обливаясь кровью...

3

Своебразное качественное содержание социалистического патриотизма отражено также лирически в поэме М. Алигер «Зоя». Здесь выражалась такая любовь к родине, которой не нужна никакая идеализация, никакое преумножение трудностей строящегося нового мира, чтобы остро ощутить его красоту:

И встал перед ней перенесенный мир,
Туманен и солнечен, горек и сладок.

Каковы бы трудности ни были, у мира нового, социалистического, всегда будет преимущество перед старым: оно уже в том, что он поистине молод, что он строится. В росте не только специфические трудности, но и с чем не сравнимая поэзия.

В юности Зоя отразилась цветущая юность целого мира, его порыв в творимое им грядущее, безграничность его перспектив:

Пусть мечта земной тропинкой
лижет
Утренних туфелек твоих,
Все, за что товарищи боролись,
Все, что увидать Ильич хотел...
Чтоб уже не только через полюс,
Вокруг планеты Чкалов пролетел.
Чтобы мечты уставала мама
За проверкой письменных работ.
Чтоб у пор Сиerra-Гаварана
Победил неистовый народ.
Чтоб вокруг сливавшись воспили
Вести из газет, мечты и сны.
И чтобы напанинские льдины
Доплыла отважно до весны.

Ничто так не окрывает, как перспективность возможностей, а наша родина, как много она ни дала уже, еще больше обещает своим ворным сыновям и дочерям, награждая счастьем преодоления и победы:

Кем ты хочешь быть?
И сердце взмывает

Прямо в небо.
Непочатый край —
Все на свете.
Мир тебе откроет
Все свои секреты.—
Выбирай!

И со всей своей силой наш географический комсомол восстал на холмах, кто посягнул на его свободу вырвав из жизненных путей, кто посягнул на макушки дали, кто пытается прорвать будущее, не только у него, но и у всего мира.

Лиризм нашей литературы выражает то чувства небывалой еще эпохи пор любви к родине и связей, которые являются следствием целого ряда преимуществ советского строя.

Перед литературой нашей встает задача показать, как особенности и преимущества нашего социалистического общества, запечатленные в Сталинской Конституции, стали рогами наших людям в специфических чертах именно советской жизни, даже советского быта. Свобода советского человека от чиста стихийных сил социально-экономического развития, политическое равенство, ставшее реальным, а не формальным, ощущается каждым в формах, существенных его личной жизни, в трудовой деятельности. В каждой жизни имеется что пить, связанные ее с величими целями, со всем необъятным социалистическим чувством. Для крестьянин — это колхоз, для рабочего — его завод, где труд стал искусством, в творческом. Отдельные ручейки дают общее чувство нашего патриотизма, который у каждого имеет определенную окраску, свой специфический характер. Мы ждем от наших художников, чтобы в их произведениях было раскрыто все бессмертие связей советского человека со страной. В последнее время упомянутые произведения, которые подтверждают о том, что литература наша приступила уже к решению этой задачи. Такова, например, книга Б. Горбатова «Непокоренные».

Героя повести — Тараса — связывает с родиной прежде всего труд — искусство, труд — творчество. Он любит свою социалистическую родину как патриот и как рабочий человек. Любит ее и потому, что был на ней строителем, создавал

одногора своими «золотыми», умными руками:

«Моими руками строилось, моими руками упалилось, моими и воскродится».

Тарас любил в ясн свою прошлое и свое будущее мастером.

Долголетний участник в созидаании сущности Тарас справедливо считает своим холмом всех великих выставляемых на продажу. Он тоже мог купить. Базар был богат, но богат был и Тарас — мастер».

Лишь в Стране Советов мастер своего дела занял подобающее ему положение. Оно стало для него за годы советского строя столь естественным, так срослось с его жизнью, что от него он никогда не откажется. Горбатов правильно отметил «спокорство» мастеров.

«Их знали все. Академики с ними советовались. Директора их пофайвались. Новый директор представлялся сперва им, потом обкому. Их можно было убедить, реже — уговорить, приказать им было нельзя.

Они или, крепко опираясь на науки... постарели, поддались мастерам... Но каждый держал голову высоко и прямо. Видно, из последних сил, из неспокорства, которое самой силы крепче, старались они идти гордо и достойно... Словно и впрямь был для них этот конной почетом.

Нет, это не пленные, — невольно подумалось Андрею. — Это... это — «спокоренные».

Связанный с родиной прежде всего трудом для нее, Тарас всем существом восстает против труда на немцев.

В этом отношении характерен его гневный наезд на задающиму сыну — Андрею.

Советский до коры человека, Тарас, однако, лишь в испытаниях и муках войны становится вполне социалистическим человеком, созревает в большевика.

Вначале он пытается отгородиться от напрянувшей мрачности фашизма замками, засовами и другими слесарными изделиями. Но это он такой искусствник! В его «нас это не касается» слышится еще нечто похожее на пассивное сопротивление, «отказ от сотрудничества» со злом.

«Каждый по своей совести живет, — говорит он Степану. — Я свою душу знаю, а до чужой дела нет.

— Вот оно и выходит, — отвечает ему сын большевик, — причем вся — все мы в одиночку чистые...»

Но скоро Тарас приходит к убеждению, защепляемому кровью, что «быть в одиночку чистым» если возможно, то бессмысленно:

— Нет, ты честность свою на стол клади, в борьбу кидай!

Связь с родиной через свое жизненное дело дана и в образе Степана.

Здесь она так же определяется как строительство, но более широкое. В этом смысле тема Степана — развитие темы Тараса. Если Тарас-мастер властвует над вещами трудом своих рук, то Степан — мастер руководства людьми. Трудовой человек становится народным вождем, облекается властью, которая не составляет для него его личной собственности, а остается навсегда народным познанием.

«Еще вчера ходил он, Степан Яценко, по земле плотно, уверенно; властью; — сегодня должен красться тайком. По своей земле!

...Он знал ее всю, на сотни верст вокруг. Он ставил на ней города, прорубал новые плахты, от планировал, где и что рожать полям, и стоял над ними нежный, как муж, и заботливый, как строитель. И за это облекла его она властью над собой и над людьми, живущими на ней, и нарекла хозяином.

Он был беспокойным и строгим хозяином...»

Игната связывает с родиной его колхозная земля. «Моей хозяйственной душе, — заявляет он решительно, — без колхоза теперь жизни нема». А потому «поскольку нет на земле другой власти, согласной на колхозы, кроме советской, — так и для меня другой власти нет». И он по-своему воюет против немцев — за колхозы, советскую власть, за советскую родину.

4

В чистом пламени социалистического патриотизма перегорает всяческого рода эгоизм: личный, семейный, местный, эгоизм «своей колхозни», своей деревни. Вместе с ним перегорает и самый упорный эгоизм, щеголяющий патриотической маской, — эгоизм националь-

ный. Мы уже отметили, что это ни в коем случае не означает космополитизма. Но идеология национальной исключительности или ограниченности никак не может быть отождествлена с патриотизмом, с мудро-человечной любовью к своей стране и народу.

Наше великое многонациональное государство уже по самому своему принципу есть воплощение патриотического интернационализма. Таково оно в своей идее, которая является мощной тенденцией самой жизни, преодолевающей вредные пережитки национальной исключительности и заносчивости. Мы знаем, что гитлеризм со всей своей воинственностью, вмещающей все оттенки человеконенавистничества от маниакального изуверства до мелкого жульничества, пытался и пытается использовать эти пережитки; знаем также, что и эта старка — один из тех его просчетов, о которых говорил товарищ Сталин.

Наша литература выполняет свою оборонную задачу, когда, опираясь на тенденции советской действительности, развертывает тему социалистического патриотизма в направлении братства народов нашей великой родины, не имеющей себе равных в этом отношении во всем мире. Это братство советских народов — источник подлинной национальной гордости каждого из них, и в особенности русского народа. Советские писатели начали разработку этой важнейшей темы, этого чувства, составляющего красоту и гордость советского человека, советского патриота.

Ванда Васильевская в «Братстве народов» рассказала о тяжке, носящем это имя, — тяжке; экипаж которого составляют русский, украинец и еврей. В этих боевых друзьях замечательно то, что различие национальностей не только не отчуждает их, но делает их по-особому дорогими друг другу, придавая своеобразный характер, своеобразную ценность их сотрудству. Они дополняют друг друга, образуя нерасторжимый союз преданных своему общему отечеству на жизнь и на смерть людей. Эта дружба — опора в невероятно тяжелых испытаниях их боевой страды.

Еврейский поэт-фронтовик Э. Финнберг в стихах «Мой отчет» соз-

дал песнь о дружбе народов, окрепленной и проверенной кровью, пролитой за общее отечество. Социалистический строй изменяет психологию целых народов в их отношении друг к другу, утверждая вместе с тем их самосознание. Трепетно-чуткая любовь к советской земле и к ее ведущему народу сочтется с живым чувством своей национальности. Оставаясь евреем, он любит русскую землю: это и его земля; в ней он вырос, с ее природой дышал и дышит одной жизнью. Он не мыслит себя в другой стране, как не мыслит себя и без русского народа, с которым прошел свою жизнь и встречал врага, встречал смерть на поле брани. Культура русского народа, не менее ему, чем своей, вдохновляет его на собственное глубоко национальное творчество.

Советская литература не отразить это взаимопонимание, это братское гостеприимство культур.

В повести А. Бека «На краю» на первом рубеже казах Момыш-Улы — командир юного казахского панфиловцев батальонов. Юношеский дух, ясно выраженным и ясным самосознанием.

— Я был и останусь казахом, — сказал он. — Среди нашего народа попадаются люди, стесненные тем, что они казахи. Когда я ходил в школу вместе с русскими, многие ребячники-казахи стали иначинчати, именуя на русском языке Меня. Стаси звать Борисом. Я гонорал: «Я не Борис, я Бауржан и останусь Бауржаном». Мальчики опять: «Боря!» Я кричал: «Боря! Вот тебе Боря!» Я — Боря — так и стыдну.

Когда Момыш-Улы вырос, он любил русскую культуру настолько, что «свободно владел богатством гипней речи», он не ушел от своего народа. Он предан ему, как верны сыны, но именно поэту он не знает национальной исключительности и не щадит своего согражданина казаха, когда тот нарушает высший закон — равенства не только прав, но и обязанностей перед общим для всех народов Союза отечеством. Когда Бааранбаев, которого Бауржан любил за ловкость и смелость, доказывающую даровитость казахов, изменяет своему воинскому долгу

Момын-Улы приказывает расстрелять его перед выстроенным ба-
тальоном.

Нелегко дается это Момын-Улы, но поступить иначе он не мог. Это означало бы изменить не только долгу командира, но и своему на-
роду, поступиться своей националь-
ной гордостью, которая выражается здесь в требовании равной доли
усилий, опасностей, неизбежных
жертв...

Литература наша, как мы видели, уже осваивает большую тему со-
циалистического патриотизма, а
какие перспективы уже раскры-
ваются перед ней, как только при-
подымает она эту пелену! Отражая
природу нашего государства, спра-
вившегося с вопросом, труднейшим
для классового общества, — вопросом
национальным, она покажет
миру еще неизвестный образ человека,
который вмещает в себя и пре-
данность своей национальности и
преданность более широкой и более
общей многонационального отече-
ства: гордится и своим народом и
своей душой, своим братством с
другими народами, членом семьи
которых он является.

5

Всякая отчественная война на-
шла щитом фашистских извергов ис-
ключительна не только по громад-
ным материальным силам, по много-
миллионности стоявшихся челове-
ческих миц. Она вышла за пред-
елы столкновения более или ме-
нее ограниченных интересов вою-
ющих государств. Вождение фа-
шизма-империализма империализма
столкнулось, гитлеризм жаждет
захватить в свои сети столько

жизней, столько стран и народов, тающую прямую угрозу несет он са-
мому существованию русской, укра-
инской, французской и многих, мно-
гих других наций, что виной
отечество свободолюбивых народов
стало Фронтом борьбы человечества,
защита национальной и национально-
сти — общечеловеческим долгом. Но
даром для нас люди Вишни и всякие
иные квислинги — изменники и пре-
датели общечеловеческого дела. На-
циональная борьба против гитлериз-
ма стала священной войной за
общечеловеческую свободу, за воз-
можность и право каждой нации
живь по-своему, говорить и мыслить
на своем языке, созидать свои
культурные ценности, как неотъем-
лемую часть ценностей общечеловеческих. Создается всемирный гибель-
фашизму лагерь объединенных на-
ций борющихся против врага, на-
мыслившего истребление или, что
равносильно, порабощение всего
мира. Поэтому воинствующий па-
триотизм сейчас не может не быть
интернациональным. Социалистиче-
сому человеку этот опыт времени осо-
бенно ясен. Воинствующий патрио-
тизм отечественных войн современ-
ного мира раздвигает национальные
рамки. Когда метят убийцам за
своих, за русских детей, понизбезно-
метят за брох детей, которых с кук-
лами и мячиками в поснечных от
холода руточках ведут на расстрел
(детей — на казнь!..) выродки, кото-
рым нет места среди людей. Гиги-
нейшему отрицанию элементарной
человечности не может не противо-
стоять величайшее ее утверждение.
И в войне против такого врага
растет в нашем воине и гражданин
своего отечества и борец за обще-
человеческое счастье.

ОБ УКРАШАТЕЛЬСТВЕ И УКРАШАТЕЛЯХ

У Алексея Суркова есть программиное стихотворение, озаглавленное «Жизнь и мечта». Умолкнут громы войны, — говорит поэт, — пройдут годы, и мы с улыбкой на устах будем слушать красивые сказки о тех самых людях, к которым запросто входили в землянку, «если с ними хлеб один, и из одной бажажки пили».

Без паньма светлого на лбу,
Гладкая пыль, топча порошку,
Они несли свою судьбу,
Как кирпичей тяжелых ношу.

По мнению поэта, человеческая жизнь «асенда грозней, святей и проще», чем ее впоследствии изображают. Но...

— Пусть их прикрасят! Не бела...
Действительно, если поэт изображает наших современников в ореоле их немеркнущей славы, кто его в том упрекнет? Литература воодушевленная, способная возвысить человека и его историческое дело, нам и теперь дорога. Нам близки ее порывы и мечта, ее страстная жизненность и сосредоточенность в выражении мужественных черт советского человека.

Романтическая гипербоя, извращенная условленность, даже фантастичность не нарушают, а напротив, порой остро выражают реальную природу жизни, если художник проникает в сущность изображаемого и ярко, ярко и ярко показывает скрытые в нем тенденции развития.

Будничность, приземленность, скучность красок, привязанность к фактам обособленным, изъятым из общей связи явлений, все еще являются существенным недостатком ряда произведений нашей литературы.

Но, отталкиваясь против будничности и мелкого бытотипа, яные авторы готовы допустить любые формы приукрашивания жизни.

«Пусть их прикрасят! Не бела!» — Справедлива ли такая отчужденная списокность к литературе? И не столько во имя будущего, сколько во имя сегодняшних художественных интересов. В самом деле, мало

ли у нас уже сегодня литераторов, набивших руку на «высокопарных речениях», литераторов, склонных к фестивалям и приукрашиваниям, уверенных, что войну надо показывать позитивной.

Этой-то литературе, из позитивистского взгляда впоследствии оставшейся и даже вовсе-кем, чтимой в ее действительности выхолощенной и потому безнравственной, мы и первоначально посвящать нам обзор.

Несколько предварительных замечаний. Из множества образов советской литературы мы выбрали те, которые принадлежат к тому, что язвительно склоняющихся и в то же время призывающих к себе читателей. Мы, конечно, не видим в этом их творчества — это скорее попытка разобраться в том, какими авторами писали войну — для нас — в конце концов, уже придиричных читателей. Столький выбор произведений в значительной мере обусловлен почти одновременным их появлением на книжном рынке. Но в этом случае, конечно, есть, как мы увидим, еще одна закономерность.

* * *

Из пяти рассказов, под собирательной книгой К. Паустовского «Софийская ночь», три испортились — на каютах «Софии» Ленинграда, Севастополя и Одессы, и из трех — дом, и борьба, так чтобы мы могли представить себе настроение людей, ушедших из жизни, в общем «самую жизнь» этих городов. Но, конечно, быт писателя не удовлетворяет Паустовского. В частности, в рассказах из военного быта он не видит величественного смысла. Каков же, скажем, «Уж из первой ленинградской»? И если мы узнаем, что автор К. Паустовского — беспокойный и беспомощный в общем провоззимательце, излишне (неожиданности, сюрпризы и т. п.) прогулки, удивительные и непонятные, когда все реальную ткань свою оторвут, когда хлеб, и впрочем симоновской сказке, становятся предметом игры, а музыка властительницей нашей жизни.

На заснеженной улице Ленинграда, у подъезда большого дома лежит без чувств девочка. Голодная ворона набрасывается на оброненный ею хлеб. Мимо проходят два краинофлотца, один из них привосит девочку в чулочно, другой опровергает ворону и подсыпает хлеб. Но сознаваясь в бедной девочке, краинофлотец берет виноград и хочет прихлопнуть ворону. Однако ей удается улизнуть от винограда. Непосредственно после этого действие переносится в квартиру некоего композитора, где написал себе пристанище девочка. Краинофлотцы принимаются за растопку печки — это стоят им немалых нравственных мук. Оказывается печку можно растопить только книгами. Каждую же книгу первой бросить в огонь. — Чехова, Твэна или Кауфмана? Разделяясь со своими сомнениями, и растопив печку, один из краинофлотцов находит поты новой «Ленинградской симфонии». Происходит такой диалог: «Поэтический краинофлотец: — Ах, ты зорг! Сразу как сильно берег! Время не тает, а то бы попробовать? (он перешептывается подшептывая крышку рояля и трогает клавиши). Краинофлотец погрубей: — Нельзя. Скоро такая пебесная музыка плачет, что все у тебя турманом выпадут из башни!»

В эту самую минуту в комнате появляется маленький старичок с муском разбитой пуговицей ограшкой. Он входит со словами: «Страшные вещи происходят в этой квартире». Завязывается беседа о музыке, об архитектуре, и теперь уже краинофлотцы в свою очередь призывают, что в квартире композитора Карпова происходят страшные вещи. Решившись, находит, покинути, отот «там чудес», они по побывшему хотятить бедной сиротке дверь крышки хлеба. Но девочка, только что принесенная в себя поколе голубого обмерока, не ест хлеба, а кладет его под крышку рояля, рассчитывая, что как только вернется хозяин квартиры, он сразу же обнаружит драгоценный подарок.

Так оно и слутается. Приходит «пожилой человек с утомленным лицом», юасится за рояль, находит хлеб и произносит ту же самую скромнотливую фразу: «страшные вещи происходят в этой квартире...»

События в седьмом извиде: снова

появляются краинофлотцы, вид у них заговорщический, они о чем-то шепчутся. Спильным рывком композитор распахивает окно. С улицы доносится морской шаг отряда, идущего на пожар. Композитор садится за рояль. Ленинградская ночь оглашается звуками марша.

Заключительная новелла Паустовского — драматическая беседа; обсуждаются чудеса минувшей ночи и то, какие награды следовало бы избрести для поиздевавшихся детей.

После того как колдовство ночи рассеялось, нечаянно ли призадуматься, почему Паустовский в своей новелле так преобразил лягушку и не остановился перед самими очевидными несущественностями. Что ему до того, что краинофлотцы, целиком посвятив себя делу милосердия, на долго покинули свой пост, что хрупкий лебедь сомнения голодный старичок таскает на себе пуды чугуна, что пишут часами музинируют в помните с арктической температурой?

Что это — реальный мир или сказка? Девочка из «Ленинградской ночи» вспоминает «Синюю птицу», старичок-архитектор верит в волшебство («Я всему могу поверить...»), такая-то магия рождает музыку на пустынной морозной улице, и сыгравшая на рояле симфония затягивает грохот боя. Да существует ли на самом деле скаженный Ленинград и квартира композитора Карпова где-то в районе Биржи?

Вот она же прервана творчество, не заглушила музыку. Да, это так. Но у Паустовского волшебство музыки заглушает «громов» войны. В выдуманный мир про погода войти, в сущности, не проходит. Она застывает где-то у фонари. Искусство перестает у Паустовского быть формой служения обществу и становится чистью, высшим, в самом себе заключенным предназначением.

Великий город в гипнозеции речех сил отстаетает свое существование. Но это неизвестные кроты в зимней сказке Паустовского. В его картонном мире не льется кровь. На этой войне, без труса и потерпев, слушают музыку, читают стихи и коллекционируют узорчатый пугови с изображениями отражений.

Реалистический поэт военной журналистики отвергается Паустовским

видимо, в силу своей «грубой материальности». Писатель ищет иной меры вещей и предлагает нечто удручающее парнасское, вознесение искусства над подвигами и трагедиями реальной жизни. Бумажные человечки из «Ленинградской ночи» слишком заняты игрой, чтобы совершать поступки. Кто поверит в их смешиные фантазии, в их призрачное существование? Чтобы придать всему происходящему хоть видимость реальности, на помощь пожилым идеалистам и добронравной девочке привлекены представители материального мира — краснофлотцы из почтого патруля. Но несмотря на самое свое предназначение, они такие же вымышленные, со своим портовым жаргоном, с пристрастием к музыке и демонстративным человечолюбием. Чтобы судить о степени заинтересованности автора в происходящем, попробуем еще присмотреться к героям его новеллы.

Кто они? — Девочка с цветами лежит с длинными волосами. Краснофлотцы в занедевых шинелях: коренастый с белыми от испева ресницами и просто худой краснофлотец. Старичок, весь покрытый инеем. Пожилой человек с утомленным лицом.

Что же в них приметительного, кроме имен на ресницах, шинелях и очках?

Как мало должна беспокоить писателя судьба его фантомов, если он даже не задумывается об их предметном существовании. Девочка с косичками — это ведь по амплуа. Пожилой человек с утомленным лицом — это не портрет.

Науствовский вообще не очень почитает предметное и земное. Не потому ли почти все героя его военных новелл мало связаны с грубыми, прозаическими сторонами жизни? Это либо одухотворенный музыкант (если он участвует в оборонительных работах, то это в лучшем случае укладка мешков у Медного геадника), либо архитектор, посвятивший свою жизнь изучению чугунных оград, либо бухинист, скрипач, учитель естествознания, чемпион плавания. И что удивительно, управляя с этими избранными обществом оказывается гораздо легче, чем с обычновенными, простыми смертными. Кто станет упрекать «семидесяти-

летнего архитектора в чудацстве? Кому покажется странным, что скрипач придавал звезду «своей матери»?

Это как будто война и в одно время не война. И не в том, что кто-то из этих «изваний» не воюет в прямом смысле, а в том, что и во время войны они продолжают свое особое существование, каким бы внешними формами они не были в то время, в котором они были; в том, что то есть участники событий, они «составляют между собой и этими событиями диаспору», всегда оставаясь приветливыми, горой заинтересованности, а также просто любопытствующими.

В нашей литературе Науствов пользуется широтной репутацией романтика. Но в недостатках его, в рассказов Науствовского рождаются никак не романтика.

Однажды мне случилось встретиться при бокале А. В. Бунинского с видным в то время писателем И. Яром, сторонником «романтизма». Поэт читал свои романтические стихи, а Луначарский остроумно и долго доказывал, что модное на Западе экзистенциальное течение не начало с революционным искусством, а с конца обескураженный поэт. Луначарский задумчиво разглядывал стихами и сказал: — Извините, я не знал. Экспрессионизм и есть то, что я говорю. Просто дрянилые стихи!

Не так ли с писателем Науствовским? Романтика в нем не играет роли. Просто плохой романтик. — Другоеальное явление в творчестве Науствовского, автора ряда талантливых извещений. Вместе с тем этот писатель — не случайная оплошность отечественного писательства. Это способ Науствовского изображать жизнь в его военных рассказах. В остальных новеллах писателя — все тот же узкий мир, тот же подставные картонные персонажи, и та же бедность переживаний, сопровождаю такое же злоупотребление театральным эффектом.

Вот маечный рассказик из шести страниц «Струна». Скрипач, склонившийся озагадчиво на изогнутом острове Эзеле, играет по одной струне. Когда последняя струна «не выдерживает силы звука» и трескается, скрипач становится «сбыточным бойком обычновенной пехотной пати». Но жизнь без музыки, по Нау-

стовскому, обречена на умирание. Скрипач гибнет во время ночных боев. И вот предстаёт предустроенный, что вновь настанет случай... Нежданность и неизвестность скрипача Егорова неизвестна. Но меняет принципиально художественное смысла оживления.

Скрипач и скрипки существуют для нас, это чисто торженье — скрипач — геройская фигура бессмертия. Кто же — и отнюдь не с большим вниманием — о людях. Судьба скрипача — это судьба быковиной, его хороший и чистый песчаной земле, а скрипки бессмертно кутают в байковое одеяло. О скрипаче сказано всё, что о фамилии его Егоров. Но что же из-под его закрытых век выплыла слеза; биография скрипача — это и есть. Это была чудесная история, испорченная весом от старости и неумением лежания». Но обратимся к тому существенному: как война в рассказе Пастернака?

Во-первых, во-первых выступают актеры. Как они ухитряются разыгрывать потемках? Оказывается тёплые света по ночам — театральная традиция, вспоминается спектакль на воднице на актеров карманных электрических ламп. Лучи эти все время как маленькие огненные то лица на другое. Огненные птицы в плоти первого леса — вот что это! Опять война — маэстро, маэстро.

Следующий писатель взобрался Пастернак, чтобы рассказать нам о том, что этом поднятое горючароды. Тогда так с войной не только неизвестно, это бессердечно.

Следующий отнюдь не единственный писатель так называемого «созерцания» в нашей литературе о войне. Загадочно-красивое, таинственно-театральное, капризная игра случая, неумиравшая сила музыки, в общем вся эта мистерия искусства привлекает и других писателей. Приведу несколько примеров, ясных до очевидности, так как даже само действие связано здесь с «волшебством смысла».

У Никулина в сюжете «Самолёт

не вернулся на базу» есть рассказ «Лейтенант Шумской». Драматический актер Борис Шумской, призванный в армию в первый же день войны, проходит вместе со своим полком трудный путь скорби и слезы. На двадцатый месяц войны случай приводит его в город, где три последних зимних сезона перед войной он выступал в драматическом театре. И по воспоминанию того же случая Шумской вместе со своей ротой дерется как раз за тот самый актерский дом, в котором жил до войны. После тридцати шести часов жестоких уличных боев лейтенант оказывается у подступов городского театра. Через артистический вход Шумской профишает за кулисы. И снова все тот же благодетельный наприз судьбы.

«...Стоя у рампы, на обгоревших, взваленных кирпичом и пеком подмостках, Шумской вспомнил, как полтора года назад он стоял здесь, на этом же месте, освещенный огнями рампы, в мундире русского генерала 1812 года. Да, именно здесь, на этой сцене он играл генерала Багратиона и со знаменем и пагодой в руке вел актеров в атаку на народовольцев гренадер, тоже актеров... Это было первое представление пьесы «Фельдмаршал Кутузов», чья сцена изображала Бородинское поле...»

Возможно, что все так действительно и обстояло. У войны, говорили еще в древности, смелая фантазия. И кто отнимет у писателя право на вымысел? Но какова механика этого художественного вымысла? Пользуясь исключительными стечениями обстоятельств в биографии актера и лейтенанта Бориса Шумского, писатель извлекает из этих обстоятельств наибольший коэффициент «полезного действия».

Мало того что Шумской сражается: а) в родном городе, б) у своего дома, в) в театре, где он играл, он г) в пылу боя, вроде как бы повторяет свою мизансцену из «Фельдмаршала Кутузова». Только в пьесе оншел со знаменем и пагодой в руках, а в жизни — вооруженный автоматом. Эффектная декорация подвига Шумского несколько не сближает его образ с Багратионом! А ведь в этом смысле рассказа.

«Лейтенант Шумской» — все та же скорей занимательная, чем человечная литература, где война не более чем живописное зрелище. Грандиозные подмостки, на которых разыгрываются — имению разыгрываются — горнические и печальные сцены из современной жизни... Война, конечно, дает поводы для такого рода художественного вымысла. В ее бытии есть нестабильность и превратности. Но свести свою задачу к изображению этих превратностей, значит сознательно отрицать круг своего опыта и жестоко уничтожить великий смысл народной борьбы.

Для этого искусства, рожденного любопытством, самое дорогое — затейливая выдумка. И если Никулин утверждает, что последним видением уличного боя перед Шумским встали зарево над театром, напоминающее гигантскую огненную лицу, то мы позволим себе в этом усомниться и не только потому, что с близкого расстояния зарево не может показаться южоким па лицу, но и потому, что лейтенанту — молодому актеру не так уж дарог ветхий образ лиры, чтобы он поморщился ему в пресмертный час.

Удивительно, что Никулин, писатель наблюдательный, с живым чувством современности, не смог устоять перед штампами обаяниями лжесофийской литературы.

Другой рассказ в том же сборнике Никулина называется «Бирнамский лес». В лесу под Воронежем писатель, проходя дождливым утром к комашинскому пункту, слышит шекспировские строфы:

Пока Бирнамский лес
Не двинется на Донзинский замок,
Страх мне наведом...

Стройф-рэплист Званин читает с чувством «Макбета» и назидательно говорит, что «Макбет вроде этого Гитлера». Наступают почь, позная пороков и тяжкений. В таинственном мраке писатель отправляется к «высоте 217».

«Ракеты, развернутые точно фонари, шадят вражеским берегом, вдруг вырвали из мрака обрыв над речкой, погорные башни у стены монастыря,

похожие на стены рыцарского замка. Все это вместе называется на карте «высота 217»...

У этой высоты, господствующей над всем районом, идет бой, и из веяного бора к ней движется высокий дикорастущий кустарник.

«Кустарник один. Он странно меял свое место, он двигался к периферию краю, к реке, к высоте 217. Всюду плавила зелень, пышные почки, лес шел на высоту, с каждой минутой он был ближе к той... Лес двигается вперед с оглушительным, сотрясающим трохотом, вот он уже совсем близко...»

Лейтенант Шумской, очутившись на сцене своего театра, спрашивал себя, то бредит ли он. Никулин тоже не верит глазам своим. Это не-постижимо, говорит он — Что за наваждение!

И однако же никаких чудес не происходит — танцы, замаскированные зелеными почками, двинулись на немецкие позиции. Тот, кто однажды видел танцы, идущие в атаку, никогда не скажет, что это крелище похоже на движущийся лес.. Никулин этого не может не знать. Но как же быть с «Макбетом» в Бирнамском лесу? Теперь легко догадаться, что танцует Званин читает Шекспира не потому, что он чувствует в этом потребность. «Макбет» — это только романтическое хобби чтеца.

Не слишком ли все это смотрело, соглашавшося; фантазия разыгрывается как по графику. Но искожа ли война у Никулина на театральную стилизацию?

В этом декоративном мире нет простора для человека. С читателем Шекспира мы знакомимся на ходу, и о третьем томе нам сообщают подробности.., это хорошее издание.. и оно нехватает первых 30 страниц, на титульном листе надпись «Калуга, городская библиотека». Затем автору танцует Званин, когда вокруг него таинственная тишина Бирнамского леса. Такого рода случайные впечатления о войне у нас до сих пор неведомо почему называются романтической литературой.

Горький когда-то говорил, что романтическое искусство прежде всег о навевает человека и его земное дело. В произведениях Нику

романтической литературы менее всего повезло человечку. Пользуясь классическим определением, можно сказать, что мы больше пишем об осушке болот, чем о людях, их осушающих. Не самый поэтический, а обстоятельства, ему соответствующие, не герой, а его поступки — таков преобладающий интерес этой «романтической» литературы, для которой действительность все еще разобщенное посвящение. Деятель прятается в тени, а действие живописуется в ярких, горючих самоцентрических ярцах, то к такого рода произведениям относится и первоначальный вариант сценария «Малахов курган» В. В. Войтехова, Зархи и Хейфца, оконченного обзором Севастополя. Идея о том, что этот неизданный, но уже подвластный себе говорить о том, как он обсуждался на засекречном соревновании кинодраматургов?

«Малахов курган» написан как бы в целях передать живописную панораму тех войн. Южные края, первые розы пейзаж, горы, море и город с белыми улицами, обсаженными деревьями. Все это в ореоле ярких красок и необычайности: бархатные из несгораемых шкафов, ярко-красный зеркало, фрагмент бомбы в блескящем юмоваре; моряки теснятся на фронт и сразу же вываливаются и чистят их сапоги; батарея стреляет по своим, чтобы уничтожить позиции, куда уже проросли новые, и все остальные в этом же роде. Разноцветная, мозаичная сюита войны, обектики мирного быта, видения повседневной жизни — в севастопольской осаде.

В сценарии есть такой эпизод: офицерская ресторанная «Прибой» готовят посетителям съедать штывки. Стыдливо, потому что «фронт требует подвиги», и эти бутылки — прямо с разбитых столиков, теперь уже погибших горючей жидкостью, попадают в начающиеся танки. Можно ли в тонах этой веселой напропалубенности передать подвиг севастопольцев?

Пять прославленных севастопольских бронебойщиков ведут бой с немецкими танками. Четырехморские волны в сценарии дуются и умирают с таким изысканным первоклассием, что среди их поэзии воспринимается как эпическое мастерство

«Федорченко (брюзя бутылку под танк). Маруся, науши шампанского!»

Лукьянов. «Маруся, бутылку Клико!»

Гуловко (выбрка из пустой лице). Извиняюсь, кончилась, умоляя телефон!»

У Андрея Платонова в лучшем его военном рассказе «Однодневные люди» гибель каждого из пяти севастопольских моряков — огромное горе. Мы прощаемся с людьми для нас людьми. Читатель «Малахова кургана» не испытывает тяжести утраты. Это расставание без муки, без сознания невосполнимой потери. Начальник коммуникации Лихачев говорит в сценарии: «Убивать немцев — трудная работа». Но в «Малаховом кургане» нет трудной работы войны. Все развивается легко, непринужденно, с улыбкой.

Кажется вот-вот недавно отшумели громы «Малахова кургана» и мы в Новороссийском порту встречали последние катера с уцелевшими из Севастополя моряками. Это было совсем недавно, только вчера, в сценарий Войтехова, Зархи и Хейфца читает как рассказ о чем-то давно минувшем. Этот рассказ вызывает любопытство, а не гордость и горючесовременника.

Авторов «Малахова кургана» можно упрекать в пристрастии к экипажам, в условной манере изображения жизни, но им нельзя отказать в остроте отдельных наблюдений.

Теперь представьте «Малахов курган» без непринужденной любви к действию, без тонко подмеченных подробностей. Получится что-то очень примитивное.

Севастопольская новелла «Держимся, товарищ Нахимов» Паустовского тоже, очевидно, задумана как сценарий для киноматографа.

Умирает прекрасной смертью светловолосый юноша, моряк Гаврилов, последний защищает северной стороны Севастополя. До этого на протяжении пятнадцати страниц истории он производит восемь — десять фраз, каждая из которых должна передать оттенки его душевного состояния.

Неуверенность: «Ночью катер проходит с Корабельной, может выручить».

Интенсивность чувств и любовь к природе: «Наша весна как зацветет над морем, так на сотни миль дышит акацией».

Любовный порыв: «Я вас так давно знаю, на все состязания ходил, чтобы на вас посмотреть. Побоялся я вас издалека, как невесту. Да, вот как пришло нам встретиться и расстаться». (Гаврилов, оказывается, тайно любил чемпионку по плаванию и вот благодетельный случай привел ее на позиции в его смертный час).

И, наконец, самоотверженность: «Все равно мне смерть, Вася. Весь я пол кровью застыл. Плыви! Плыви немедленно!» (Раненый Гаврилов отказывается покинуть порт и принимает на себя последний удар немцев.)

Светловолосый юноша складывается как портативная детская игрушка — любовь к жизни, преданность долгу, нежность, чувство природы. Совершенство гармонический портрет! Проделки писателя в этом случае сводятся к собиранию размечтанных деталей.

Большинство наблюдений у Паустовского здесь так поразительны, что он вынужден в патетические минуты привлекать цитаты из фельетонов Эренбурга или приглашать самого Нахимова для беседы (козетто во сне) с юным Гавриловым. Адмирал приветствует русских моряков и их невест, умиление целует в лоб чемпионку по плаванию и говорит: «Героиня! Наша душа! Наше счастье!» Умиляется Нахимов, умиляется его собеседник Гаврилов, умиляется автор новеллы. Так выглядит романтика Паустовского в последнем издании.

Помещенная в том же сборнике одесская новелла Паустовского уже не сказка, не гротеск, а южнокавказский водевиль с участием старого дядюшки-буккниста, влюбленной пярочки, смешного разочора, зубного врача и бравого бомбмана на пачки; водевиль с недоразумениями, с пуганическим, с постыдным письмом и счастливым финалом.

Лейтенант сторожевого катара и молодая девушка избирают для любви переписки в высшей степени странный способ. У букиниста в тонике Пушкина они оставляют записки друг для друга. Однажды во

время артиллерийского обстрела дальний бойцовый снаряд убивает девушку, а лейтенанту на завтра предстоит рискованная операция.

«Уходит лейтенант, — говорит симпатичный бомбман для Феди, — душа у него соходит, какой с него тогда будет командир. Оставить может чеховик и пойдет он на рискованное дело с развороченным сердцем и очень свободно, что он проиграет это дело и через то покидают сотни моряков. Не могу я этого допустить...»

И вот общими усилиями зубной врач, букинист и бомбман сочиняют письмо от имени девушки. Лейтенант приходит в назначенный час и читает записку при свете ракеты. Вылазка моряков удается блестяще. К этому времени выясняется, что девушка жива и здорована. И довольные своим благородным поступком трое старичков отправляются в эвакуацию с таким чувством, будто они едут на дачу.

Что это — трагедия задушевного? Что в этом — ласковость любви к человеку? Такая розовка водится и в мирное время вызывает непрятственные чувства, а теплая она требует самого неизлечимого осуждения. Нельзя же в этом деле думать, что убогенка из фильма «Аттракционы» вроде «Томик Пушкина» придется под вкусу любому, узаконившим влечения и страстные страсти.

Мы помним Одесу 1941 года, сражавшуюся, перебившую, горячую, в синеве огней трута, руины Никитинской конюшни, деревья на бульваре, горы у спортивного театра. Мы помним ее энтузиазм и ее отчаяние, и мы пишем же можем попять, откуда у советского писателя могла исчезнуть мысль написать об этом и о нем. Да, именно фокусиль.

Немилуйте, скажут авторы подпольной литературы. Что будного в том, что мы не склонны видеть войну в троцкистском свете? Каждому свое. Почему же папки утром не может быть прогательное и забавное, дутье ветериль, но водиль добросердечный, способный принять любовь любому пустяжку. Всяким смешным погодобоястям жизни. Нашли героя действительно не отыщутся особой утонченностью, их персонажи вся на пасты. Вы не обнаружите в них никаких лу-

щевных глубин, зато они люди простого сердца, кроткие и любовь-обильные, из разво этого аклоу!

До чего же это характерно, что го самые литераторы, которые и пыту не ступят без интеллигентности, без старицк-коллекционеров, оросаются в другую красотность и обзывают себя сторонниками простоты и общедоступности!

Разве еще жалко до войны Пастуховский не написал пьесы «Простые сердца»? Название это отнюдь не случайно.

Разве не к тому времени относится и самое понятие «простые сердца», очень ходкое и теперь еще выражающее жизненную философию некоторых литераторов.

Но не просто случайностью бывает, что книга военных рассказов Б. Лавренева называется этим же самым «Простые сердца».

Бывает непрерывно твердящий, что простые души, что простота исконного, вековечного добра и добра, вызывает у нас чувство восторженности. Откуда эта простота и смиренность и не скованность и она для современного читателя? Быть ли здесь синхроничность старшего к младшему, старшего и умирающего восторга: да, они хорошие! — и не является ли это все взятое вместе отсутствием порождением бархатного недоверия писателя к другой, истинной жизни обычного русского современника? Тогда читатель оценивается в этой «простодушной литературе» не с любопытством — полноты душевной жизни, цельности характера, а с любопытством нашей новой этики. И не есть ли это до крайности злой молодец без изъяна, изъяна, морозь, милица, готовый уступить и обслужить ближнего, существо бесхитростное, добродушное, ни на что не претендующее, способное довольствоваться малым, — в общем какой-то хилый вариант кара-таевщины и без ее нравственной идеи.

Такова она, литература «простых сердец», на одном краю которой ленинградский стариц — коллекционер узорчатого чугуна, а на другом — балаклавский грек Жора Фемелиди из рассказа Б. Лавренева «Чайная роза». Несмотря на всячес-

кое различие умственных и бытowych интересов, ленинградский артист и балаклавский моряк представляют одну и ту же литературную разновидность. Романтически замкнутый и изолированные, одни своим благородным чудо-чеством, другой своим простодушием и покойностью, они обладают рягой свой фальшивой глубиной и нестрой мешаниной чувств совершающими определяющуюся ложную тенденцию некоторых литераторов — прокрасить мир войны.

Из двенадцати рассказов, помещенных в книге Б. Лавренева «Люди простого сердца», мы сознательно останавливаемся только на «Чайной розе». У этого рассказа есть своеобразная предистория, очень для нас поучительная. Об обстоятельствах жизни Жоры Фемелиди и старшего сорокинта Бондарчука писатель уже однажды нам рассказал в своем очерке о знаменитом снайпере Людмиле Павличенко. Но то, что в биографии Павличенко состоялось лишь малозначительную подробность, в рассказе стало предметом повествования.

...Однажды в команду снайперов к Людмиле Павличенко пришли два друга — Киселев и Михайлов, из морской пехоты. Двое анархических и дерзких «лихачей-кудрявичей». Увидев, к кому они попали в подчинение, лихачи переглянулись, сплюнули, как по команде, на землю, расстегнули воротники бушлатом и с независимым видом уперлись руками в бока, как бы показывая, что Людмилу они начальством не признают...

Людмила заговорила с ними. Они отвечали, скажи зубы, если я эти слова. Она на них прикрикнула, как строгий командир. Лихачи сцепились, но своей развязной языком не изменили. Тогда, положив руку на кобуру нагана, она заподибила в таком спокойно непреклонном тоне, от которого склоняют самые отчаянные сорви-головы. Дружки вытянулись в струнку и смирились как овечки пошли по указанию Людмилы к передовому снайперскому посту. Задача, которая им выпала, была чрезвычайно трудной, но они держались стойко, зная, что за ними наблюдает из своего гнезда Люд-

мила. Это была уже гордость солдата. Осрамиться перед сержантом они не хотели и не могли. Потом Людмила подползла к ним.. Возвращались они вместе, и оба лихача, как поговору, держались так, чтобы своим телами прикрывать старшего сержанта от немецких выстрелов.

С этого дня Киселев и Михайлов стали преданными друзьями Людмилы Навицченко. Однажды во время отхода она оказалась окружённой и отрезанной немцами. Киселев и Михайлов, пренебрегая смертельной опасностью, прорвались сквозь вражеское кольцо, отстрелявшись и пробились к нашим частям..

Такова первооснова рассказа «Чайная роза», изложенная в очерке Б. Лавренева «Неукротимое сердце», опубликованном в сборнике «Сталинское племя» (изд. «Молодая гвардия», 1943).

Теперь попытаемся проследить за поэтической реконструкцией этих фактов. Как поступает с ними писатель, что он оставляет неизменным и к чему обращает свою фантазию.

Внешне схема рассказа остается та же. Лихач, сердцеед, самолюбивый и вспыльчивый моряк, грек из Балаклавы, Жора Фемелиди, по представлению лейтенанта, желающего отдохнуть от «шумливого потомка Гомера», попадает в снайперскую команду. Тут происходит совершенно незначительное недоразумение. Жора не замечает треугольничков на защитных петлицах сержанта Бондарчука, и ее появление комментирует по всем правилам морской галантности. Девушка с «точеным носиком и «по-детски припухшими губками» его обрывает: «Кто вы такой?» Тогда, по свидетельству Лавренева, обиженный Жора «напружился злостью, как морской огурец, готовый плюнуть зелёй мякотью», и брякнул: — Ну вот что, милая барышня, раз вам деликатный разговор непонятен, то и проваливайте мелким шариком.. Тоже чайная роза».

Конфуз необычайный. Жора узнает, что перед ним его командир. От неожиданного оборота событий он столбенеет..

На следующее утро Жора отправляется на снайперскую позицию. Здесь его обнаруживают, ранят в левое плечо и загоняют в смертель-

ную ловушку. Но в роковую минуту сержант оказывается рядом с Жорой. Несколькоими выстрелами Бондарчук уложила немецкую засаду и вместе с Жорой стала карабкаться сквозь колючую лесную чащу к своим позициям. Они спускались по отвесному склону через заросли дёрна.. Здесь..: «на сломанном стебле перед его глазами медленно расцвяжалась, горя на солнце, как волнистая чайка, из прозрачного розового краинского фарфора, огромная чайка роза».. Весь в пыли, оборванный, окровавленный, балаклавский грек Жора дал руку сержанту Бондарчуку на вечную морскую дружбу и всунул в кармашек ее гимнастриум чайную розу. При этом глаза Жоры «сверкали преданностью», и в синих зрачках сержанта «пробежал мимый свет».

Из очерка «Неукротимое сердце» мы узнали, как война превратила архаических бесчестивых лихачей в образцовых солдат, какою у них оказалось рыцарское сердце и какова сила фронтовой дружбы, выставившая этих людей рисковать своей жизнью, чтобы спасти свою команду. В очерке есть живая картина войны — драматизм протяжки, близость огня, чувство солдатского братства; но этот очерк, самая обыкновенная неинтересная военная публицистика. Но вот от очерка мы переходим к рассказу и как будто узнаем очертания существенные подробности: там, рядом с Людмилой было двое поизносивших и бушлатах, здесь Жора Фемелиди — королевная жанровая фигура, там просто дружба, а здесь свет в глазах и всякие лирические намеки. Чем же объяснить, что, читая очерк, мы были совершенно убеждены в достоверности происходящего, а здесь это чувство исчезло с первой строки?

Все события в «Чайной розе» теряют свою определенность, будто их кутают ватой с блестками. Снайперский щедрин, джентльменское поведение Жоры, даже его ранение, все это беллетристические краски, а не война в ее подлинности. Самая композиция рассказа конструируется вокруг «Чайной розы», которая очевидно и служит поэтическим символом, ради которого написана новелла. Но символ этот простая незужность,

«какая-то блата из «флирта цветов», — вот это абсолютно замешалое.

В разное же время имеет надобности быть самим верженным. Его солдатские дела берут свои ореол, он оказывается натурой только, чувствующейся ей. Знаменное отголосок трагическое, это отчуждение батальной симфонии спектаклем любовью. Но скажу, трагизмы и в мере отчуждениях. Есть у нас, оказывается, литераторы, которые в своем трагизме видят «прензионное дело» — сердца отдохновление, а коррекция, ают «брязгать» и только. И вот, все это происходит? В сущности, исторические месивы войны.

Денежные призы людям много отравляют. Она обрекает нас на разлуки, которые и почти непрерывные разделяются. Кто из нас не испытал ее злополучий. Зачем же, думают литераторы, созданные литераторы, созданные в ее шепчиглядной превратности будем о ее тяготах, найдя путь в стороннее и воображаемое, в мир прекрасного, вот какова сущность этого искусства «простых сюжетов».

Чтогоди рассказы Лавренева о плачах любых и забытых проишествиях на войне, о том, как девять лет спустя он погиб молодую женщину за старую бабку, как умер подле портала ее сына художник Лыкошин и как вспоминался в госпитале как-нибудьм погиб со своей строптивой женой, тогда-то актрисой, а теперь фаворитом, читаясь и думаешь — и вспоминая уже знакомая нам беллетристика умчалася и равнодушная; так же художественный принцип — мы описываем, и по всякое описываем, а бывательно ингересенное, чтобы со сценическими эффектами с вдохновенными встречами, с сюжетами.

Нападают против литературы во всех его выдах, против писателей занимательного и «бесхудожественного», мы тем самым подаем под бором под свою защиту тех «одиссеи» художественных, которые еще до конца объявляли себя стоящими гудничности и убежденными фронтами красоты и вымысла. Нападу искусству эти педанты и

прокламанности серебряного века это чудеса, как и завещаные поэтическими презианами чудеса. И не потому мы отвергаем военчество писателя Исауловского, Лавренева и др., что их авторы целиком или почти целиком, ищут для своих изображений острые формы, в общем выражены словом и оно чистой преобразованы, и потому, что поиски эти показывают равнодушное, отстраненное для литературы в наши дни, цеховое, узко профессиональное понимание видов литературы. Когда-то это называлось олимпийством, а теперь, обожинище отчужденность от видов профессии народного искусства. Разве нам по дорого искусство романтическое и возвеличивающее человека, силу его чувств? Разве мы против ярких красок и игры фантазии? Нет, мы против литературного комбинаторства и холодных приемов ремесла, против скоровистой «беллетристичности» в том именно смысле, какой предавали этому определению классики русской литературы.

«...Бывает мрачнение, когда повторное солнце золотит предметы, на которые светит. Г-н Айвазовский берет это мгновение и пишет золоченую картину... В ней корабль, стоящий на якоре под берегом, освещен солнцем так, что правый борт его вспыхивает из розового золота. Бросьто два-три пятна из розового золота, как споттал Гоголь в описании стены, но покалите глаза зрителя и не давайте золотой картины Отто-то-Дюма и не художник, что ще мокрый удеркается в своей разгульданной фантазии от преувеличительных эффектов» (Достоевский).

Не довольно ли с нас разгульданной фантазии и преувеличительных эффектов, не слишком ли много золотого золота в этой литературической литературе?

Нет, нет, мы против украйнистства, против пинущих красок и более всего беспокоящих об удобствах читателей — те пострадают бы! — против беллетристики, которой войну представить в самом пыльдикатном виде, против грубой, ожирелоточной литературы «простых сюжетов», унижающих достоинство современника.

СОДЕРЖАНИЕ

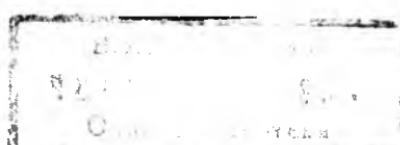
ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ — Цикл стихов	1
К. СИМОНОВ — Дни и ночи, продолжение	6
ПАВЛО ТЫЧИНА — Реквием (перевод с украинского Л. Озерова)	64
Я. КИСЕЛЕВ — Три рассказа	69
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Стихи	82
СТЕФАН ГЕЙМ — Заложники, роман, окончание	84
С. МАРШАК — Из английской поэзии	146
Н. КРАНДИЕВСКАЯ (ТОЛСТАЯ) — Стихи	147
* * *	
Генерал-лейтенант А. А. ИГНАТЬЕВ — Пятьдесят лет в строю, часть четвертая, окончание	148

С ФРОНТА

КОНСТ. ФЕДИН — Несколько населенных пунктов, записи	218
Генерал-лейтенант Е. ШИЛОВСКИЙ — О военном искусстве	247

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Академик Е. ТАРЛЕ — Книга о Суворове	255
Т. МОТЫЛЕВА — Русская литература и Запад	257
А. ЛАВРЕЦКИЙ — Социалистический человек в Отечественной войне	269
А. МАЦКИН — Об украшательстве и украшателях	278



Редакция: В. Вишневский, А. Исаев, В. Лебедев-Кумач, В. Луценко, Е. Михайлова (отв. секретарь), А. Новиков-Прибой, М. Соколовский, Л. Тимофеев

Адрес редакции «Знамя»: Москва, ул. 25 Октября, д. 10/2, Гослитиздат.
Телефон К-52-93

Подписано к печати 24/III 1944 г. А7927. Печ. л. 18. Уч.-авт. л. 27.
В печ. л. 63 200 зн. Тираж 30 000 экз. Цена 10 руб. Зак. 1226

18-я типография треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР.
Москва, Шубинский пер., 10